В. В. Сиповскій.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Часть 3. — Вып. 1.

НОВАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Пушкинъ, Гоголь, Бѣлинскій)

Изданіе четвертое.

PG
3001
.S576
1910
ch.3
vyp.1

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе Я. Башмакова и К°.
1913

В. Рессинъ



ИСТОРІЯ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Часть III.

ВЫПУСКЪ I.

(Исторія новой русской литературы XIX столѣтія).

(Пушкинъ, Гоголь, Бѣлинскій).

СОСТАВИЛЪ

В. В. Сиповскій,

примѣнительно къ новымъ программамъ ср. учебн. завед. М. Н. Пр (мужскія гимназіи, реальныя училища и женскія гимназіи), а также соотвѣтственно новымъ программамъ, принятымъ въ учебныхъ заведеніяхъ IV Отдѣл. Вѣдомства Императрицы Маріи.

Изданіе 4-е, исправленное.

Изданіе 1-е допущено Учен. Ком. М. Нар. Пр. въ качествѣ учебнаго руководства для среднихъ учебныхъ заведеній.

Цѣна въ переплетѣ 1 руб. 20 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Я. БАШМАКОВА и К°.
1913.

Типографія 1-й Спб. Трудовой Артели. Лиговская ул., 34.
15/v 1913—24/vii—1913 г.—Напечат., 10,000 экз.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Пушкинъ, Гоголь и Бѣлинскій—крупнѣйшія явленія въ исторіи нашей литературы. Они не только объясняютъ *все* въ ея *прошломъ*,—они, своей литературной дѣятельностью, даютъ ключъ къ разумѣнію всей *послѣдующей* русской литературы. Вотъ почему изученіе ихъ творчества особенно важно, такъ какъ оно даетъ возможность уяснить великій *историческій смыслъ* изученія послѣдовательнаго (не эпизодическаго) курса исторіи русской литературы. Оттого считалъ я цѣлесообразнымъ характеристикѣ этихъ трехъ великихъ русскихъ писателей отвести побольше мѣста въ своемъ учебномъ руководствѣ. Я постарался органически связать ихъ съ исторіей русскаго народнаго, письменнаго и книжнаго творчества предшествующихъ вѣковъ. Послѣдній (второй) выпускъ III-ьей части моего руководства отведенъ выясненію тѣхъ литературныхъ результатовъ, къ которымъ привела русскую литературу въ XIX ст. дѣятельность трехъ названныхъ писателей.

Полагаю, что детальный анализъ произведеній Пушкина и Гоголя долженъ пріучить учениковъ внимательнѣе относиться къ великимъ произведеніямъ русскаго литературнаго слова. Нѣтъ физической возможности составить руководство, въ которомъ съ такою же детальностью анализированы были произведенія многочисленныхъ русскихъ лириковъ и романистовъ XIX столѣтія. Изъ попытки написать классное руководство съ такими

широкими планами вышло бы нѣсколько объемистыхъ томовъ, которые „руководствомъ" быть, конечно, не могли бы. Вотъ почему, съ педагогической точки зрѣнія, я считаю полезнымъ пріучать учениковъ къ литературному анализу на болѣе доступныхъ, по мысли и объему, произведеніяхъ Пушкина и Гоголя—съ тѣмъ, чтобы ученики самостоятельно могли примѣнять полученные „навыки" къ анализу произведеній новѣйшихъ русскихъ писателей. Вотъ почему послѣдняя часть моего руководства которая охватитъ 40—60, отчасти 70-ые годы исторіи русскаго, творчества, представитъ собою — 1) сжатую характеристику главнѣйшихъ русскихъ литературныхъ направленій второй половины XIX в.,—2) выясненіе той генетической связи, которая соединяетъ важнѣйшія литературныя явленія XIX ст. въ одно органически-послѣдовательное развитіе,— 3) указаніе на ту связь, которая русскую литературу этого періода неразрывно соединила съ идейнымъ содержаніемъ русской жизни XIX-го ст.

Я думаю, что такое „историческое" освѣщеніе литературной жизни XIX-го столѣтія подыметъ у учениковъ интересъ къ изученію величайшихъ произведеній эпохи и оставитъ для ихъ *самостоятельности* широкій просторъ. Пусть въ ихъ рукахъ будутъ произведенія, историческій смыслъ которыхъ имъ ясенъ,—литературный анализъ произведутъ они сами, благодаря основательнымъ знакомствомъ съ Пушкинымъ, Гоголемъ и Бѣлинскимъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

*) Въ предыдущихъ частяхъ этой книги выяснены *семь* періодовъ исторіи русской литературы.

СТРАН.

Сочиненія прив.-доц. Имп. Спб. Университета В. В. Сиповскаго.

1) **Исторія русской словесности.**

Допущено Уч. Ком. М. Н. Пр. въ качествѣ руководства въ мужскія и женскія гимн. и реальныя училища М-ва Нар. Пр.; вслѣдствіе такого постановленія допущено въ качествѣ руководства и въ коммерческія училища Мин. Торг. и Пром. и въ женскія гимназіи Вѣд. Императрицы Маріи.

Часть I. Выпускъ 1-й: Народная словесность. Изданіе 5, стереотипное. Ц. въ переплетѣ 60 к.

Часть I. Выпускъ 2-й: Исторія русской письменности отъ начала до XVIII вѣка. Изданіе 4. Ц. въ переплетѣ 1 руб.

Часть II. Исторія литературы съ эпохи Петра Великаго до Пушкина. Изд. 3. исправленное, Ц. въ переплетѣ 1 р. 20 к.

Часть III. Выпускъ 1-й: Исторія новой русской литературы XIX столѣтія (Пушкинъ, Гоголь, Бѣлинскій). Изданіе 3. Ц. въ переплетѣ 1 р. 20 к.

Часть III. Выпускъ 2-й: Очерки русской литературы XIX ст. 40—60-хъ годовъ. Изд. 2. Ц. въ переплетѣ 1 р. 25 к.

2) **Историческая хрестоматія по исторіи русской словесности.** Примѣнительно къ «Исторіи русской словесности».

Томъ 1, вв. 1—5, т. 2, вв. 1—5 и т. 3, вв. 1, 2 и 3 *допущены Ученымъ Ком. М-ва Нар. Пр. въ качествѣ учебнаго пособія въ средне-учебныя заведенія Мин. Нар. Просв.; вслѣдствіе такого постановленія они допускаются и въ учебн. зав. Вѣд. Императрицы Маріи и учебн. зав. М. Т. и П.*

Томъ I. Вып. 1-ый: Народная словесность. Изд. 4. Ц. въ пер. 90 к.

Томъ I. Вып. 2-ой: Русская письменность съ XI до XVIII вѣка. Изданіе 4. Ц. въ переплетѣ 90 к.

Томъ I. Вып. 3-й: Русская литература XVIII-го в. Изд. 4. Ц. въ пер. 80 коп.

Томъ II. Вып. 1-ый: Русская литература XVIII—XIX в. Изданіе 2. Ц. въ перепл. 75 к.

Томъ II. Вып. 2-й: Русская литература начала XIX в. Изданіе 2. Ц. въ перепл. 75 к.

Томъ II. Вып. 3-й: Русская литература начала XIX в.. Ц. въ перепл. 60 к.

Томъ II. Вып. 4-ый: Русская литература 20—30-хъ годовъ XIX в. Пушкинъ и Гоголь. Ц. въ перепл. 1 р. 50 к.

Томъ II. Вып. 5-ый: Русская литература 30—40-ыхъ годовъ XIX в Кольцовъ. Лермонтовъ, Бѣлинскій. Ц. въ переплетѣ 1 р. 40 к.

Томъ III. Вып. 1-й: Русская литература 40—60-ыхъ годовъ XIX в. Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій. Ц. въ перепл. 1 р.

Томъ III. Вып. 2-й: Русская литература 40—60-ыхъ годовъ XIX в. Л. Толстой и Ѳ. Достоевскій. Ц. въ переплетѣ 1 р.

Томъ III. Вып. 3-й: Русская литература 40—60-ыхъ годовъ XIX в. Н. Некрасовъ, Гр. А. Толстой, Я. Полонскій, А. Майковъ, Ѳ. Тютчевъ и А. Фетъ. Ц. въ переплетѣ 60 к

Томъ III. Вып. 4-й: Русская критическая литература XIX в. Ц. въ пер. 1 руб.

3) **Бѣлинскій, В. Г.** подъ редакціей и со вступительной статьей В. В. Сиповскаго. Избранныя сочиненія о Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ. Цѣна въ папкѣ 50 к. Содержаніе: **Вступительная статья В. В. Сиповскаго. Пушкинъ:** Народность, гуманность и художественность—отличительныя черты поэзіи Пушкина. Евгеній Онѣгинъ. Борисъ Годуновъ. **Гоголь:** Повѣсти. Ревизоръ. **Лермонтовъ:** Стихотворенія. **Кольцовъ.** Стихотворенія. **Мысли о литературѣ:** Поэзія, ея область и высокое значеніе. Идеализація и типы. Отношеніе поэта къ дѣйствительности.

4) **Пушкинъ.** Жизнь и творчество. Ц. 3 р. 50 к. Рек. М. Н. Пр.

5) **Очерки изъ исторіи русскаго романа.** Томъ I. Вып. 1-ый и 2-й до 1500 стр. Ц. 7 р.

Складъ всѣхъ сочиненій В. В. Сиповскаго у Я. Башмакова и К°, въ С.-Петербургѣ.

Пушкинъ въ александровскую эпоху.

Сложность общественной жизни русскаго общества въ александровскую эпоху.

Во второй части моей «Исторіи русской словесности» (стр. 187-193) я сдѣлалъ характеристику того любопытнаго времени, лучшимъ выразителемъ котораго былъ у насъ Пушкинъ. Я отмѣтилъ сложность культурной жизни этой эпохи, указалъ на пестроту ея общественныхъ настроеній, на разнообразіе интересовъ тогдашняго общества,—разнообразіе, доходившее до разительныхъ противорѣчій. Яснѣе всего эти противорѣчія сказались на личности самого Александра I. Подобныя противорѣчія наблюдаются и въ русскомъ обществѣ: рядомъ съ консерватизмомъ Карамзина («Записка о древней и новой Россіи», «Исторія Государства Россійскаго») и его идеализаціей Московской Руси—развиваются и зрѣютъ либеральныя мечты русскихъ конституціоналистовъ, разбившіяся 14 декабря 1825 года о крѣпкіе устои самодержавія. На ряду съ интересами *политическими* въ тогдашнемъ обществѣ сильны были (особенно, подъ конецъ царствованія Александра I) интересы *религіозные,* выразившіеся, между прочимъ, въ усиленіи мистицизма (секты, масонство)—и, наконецъ, стали уже ясно опредѣляться интересы *философскіе* (вліянія нѣмецкой идеалистической философіи Шеллинга и Гегеля).

Сложность литературной жизни.

Въ области *литературной* надо отмѣтить такое же существованіе въ одно время самыхъ различныхъ настроеній. Вслѣдъ за *крайнимъ индивидуализмомъ оптимиста*-Жуковскаго, который не признавалъ никакихъ общественныхъ интересовъ и сосредоточился исключительно на созерцаніе своей «прекрасной души», намѣчается такая-же индивидуалистическая *лирика*, но *пессимистическая* (Боратынскій), и, въ то же время, расцвѣтаетъ направленіе *чисто-эстетическое* (Батюшковъ), которое также было чуждо всякой политики и признавало *чистую красоту* един-

ственнымъ содержаніемъ поэзіи. Въ то же время и *политическія* настроенія эпохи нашли себѣ выраженіе въ лирикѣ Рылѣева, Одоевскаго и др. *Реалистическое* направленіе выразилось въ творчествѣ Крылова и Грибоѣдова; *народническое*, намѣченное еще XVIII-ымъ вѣкомъ, тоже развивалось, захватывало дѣятельность почти всѣхъ тогдашнихъ писателей,—крупныхъ и мелкихъ, старыхъ и молодыхъ, но не находило себѣ еще яркаго выразителя.

Пушкинъ—итогъ всей предшествовавшей русской литературной жизни.

Пушкинъ было любопытнымъ *итогомъ* всѣхъ этихъ «направленій»: въ теченіе недолгой своей литературной дѣятельности онъ, начавъ съ *псевдоклассицизма*, перешелъ къ *романтизму* и кончилъ *реализмомъ* и *народничествомъ*. Онъ былъ и индивидуалистомъ, который живетъ только интересами своей души, былъ и скорбникомъ-пессимистомъ, былъ и эстетикомъ-«жрецомъ», служителемъ «чистой красоты», былъ и политикомъ-судьей русской тогдашней жизни... И не только настроенія изящной литературы XVIII—начала XIX-го вѣка были имъ пережиты,—ему болѣе, чѣмъ кому-либо изъ его предшественниковъ, удалось понять и выразить въ своемъ творчествѣ духъ древней Руси и идеалы простого русскаго народа. Вотъ почему все это заставляетъ видѣть въ Пушкинѣ *итогъ всей русской литературы*, не только новой, но и древней и даже народной словесности (см. 1 стр. I т. 1-го вып. моей «Исторіи русской словесности»). Оттого извѣстное изреченіе Герцена: «Петръ Великій бросилъ вызовъ Россіи, и она отвѣтила ему Пушкинымъ»—далеко не охватываетъ всего содержанія пушкинскаго творчества.

Біографія Пушкина. Отецъ и мать.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ родился 26 мая 1799 года, въ достаточной дворянской семьѣ. Дома онъ не получилъ хорошаго воспитанія. Отецъ его былъ пустой свѣтскій человѣкъ, — актеръ-любитель, охотникъ разсказывать анекдоты и собирать сплетни; онъ гордился своей славой остряка, умѣвшаго сочинять каламбуры и экспромты. До старости онъ остался эгоистомъ, которому до семьи дѣла никакого не было. Жена его тоже жила только интересами свѣтской жизни. Какъ мужъ, она не занималась ни хозяйствомъ, ни дѣтьми. Но, кромѣ того, она была вспыльчива и несправедлива,—такъ, напримѣръ, она съ ранняго дѣтства не взлюбила будущаго поэта,—и эта «нелюбовь» сохранилась у нея навсегда. Пушкины жили широко, «по-барски»,—они были друзьями всей Москвы, и двери ихъ квартиры были открыты для всѣхъ,—«для званыхъ и незваныхъ, особенно изъ иностранныхъ». Вѣчно запутанные въ долгахъ, они представляли собою примѣръ полной безалаберности.

Свѣтлой чертой С. Л. Пушкина была любовь къ литературѣ,—у него была богатая библіотека, составленная изъ французскихъ и русскихъ пи-

сателей XVIII в. Эта библіотека въ жизни его знаменитаго сына сыграла большую роль: благодаря ей, онъ, еще ребенкомъ, познакомился съ литературой XVIII в. и рано взялся за перо: еще въ родительскомъ домѣ началъ онъ сочинять подражанія Мольеру и Вольтеру. Но особенно увлекала его «легкая поэзія» французовъ, съ ея жизнерадостными настроеніями, веселымъ содержаніемъ. Обладая съ дѣтства феноменальной памятью, Пушкинъ «выучилъ наизусть» всю эту литературу,—оттого такъ сильны были ея вліянія на первыхъ опытахъ его собственнаго творчества. Познакомился Пушкинъ и съ произведеніями русскихъ писателей; нѣкоторыхъ онъ узналъ даже лично: И. И. Дмитріевъ, Н. М. Карамзинъ, В. А. Жуковскій посѣщали домъ его отца. Но не только съ книгами знакомился А. С. Пушкинъ,—его няня Арина Родіоновна разсказывала ему народныя сказки, пѣла пѣсни; она была хорошимъ знатокомъ пословицъ, прибаутокъ и сумѣла заинтересовать мальчика народной поэзіей, заставила его полюбить съ дѣтства народное творчество. Она привязалась къ забытому, нелюбимому ребенку и согрѣла его маленькое отзывчивое сердце своей любовью, спасла это сердце отъ ранняго холода и озлобленія. Сроднивъ его съ простонародной поэзіей, она защитила душу мальчика отъ того презрѣнія къ родинѣ, которое было присуще многимъ людямъ того времени [1]) и которое было результатомъ нерусскаго воспитанія нашего дворянства. На всю жизнь сохранилъ поэтъ благодарность къ своей старой нянѣ. Зато француженки-гувернантки и французы-гувернеры совсѣмъ не сумѣли овладѣть его «неуимчивой» натурой; и, вотъ, не зная родительской любви, почти не вѣдая надъ собой контроля, онъ росъ свободно и безпорядочно.

Литературныя вліянія въ дѣтствѣ на поэта.

Вліяніе няни.

Въ 1811-мъ году родители помѣстили его въ царскосельскій лицей, тогда только-что открытый. Здѣсь Пушкинъ занимался неровно,—только тѣмъ, что его интересовало; педагогическимъ вліяніямъ своихъ лицейскихъ наставниковъ онъ совсѣмъ не поддался. Съ товарищами у него отношенія были тоже непрочныя. Вспыльчивый, неровный въ обращеніи, то назойливый, то обидчивый,—онъ многимъ изъ нихъ остался навсегда непонятенъ. Сблизился Пушкинъ только съ Пущинымъ и Дельвигомъ, которые сумѣли подъ несимпатичной оболочкой открыть его любящее сердце. Они привязались къ нему, и онъ на ихъ чувства отвѣтилъ такой-же неизмѣнной любовью.

Пушкинъ въ лицеѣ.

Особенное значеніе имѣлъ для Пушкина лицей въ томъ отношеніи, что здѣсь окончательно сложились его литературные вкусы: онъ сдѣлался центромъ литературнаго кружка тѣхъ товарищей, которые, какъ и онъ, пописывали стишки. Молодые поэты издавали и свои рукописные журналы. Чтеніе тоже процвѣтало въ лицеѣ. Лицеисты выписывали всѣ лучшіе тогдашніе журналы и слѣдили за русской и иностранной литературой. Впрочемъ, Пушкинъ остался вѣренъ той «легкой» французской поэзіи, съ главными произведеніями которой онъ ознакомился еще дома. Вотъ почему и первые литературные опыты его почти всѣ носятъ слѣды вліяній этой фривольной поэзіи.

Литературные интересы лицеистовъ.

Пользуясь «свободой» лицейской жизни, Пушкинъ часто посѣщалъ общество царскосельскихъ гусаровъ. Здѣсь онъ сблизился съ Нащокинымъ

Вліяніе Чаадаева.

[1]) Самъ Пушкинъ уже въ зрѣломъ возрастѣ признавался, что, благодаря воспитанію, онъ французскій языкъ всегда зналъ лучше русскаго.

и Кавернымъ,— съ ними онъ кутилъ и повѣсничалъ; въ обществѣ гусаровъ подружился онъ и съ Чаадаевымъ. Этотъ образованный человѣкъ, «философъ-трезвенникъ», въ веселомъ обществѣ гусаровъ былъ «загадкой». Пушкинъ заинтересовался имъ, и многіе вечера провелъ въ его кабинетѣ, слушая либеральныя рѣчи этого «мудреца-мечтателя». Можно думать, что либерализмъ Чаадаева былъ чисто-теоретическимъ, оторваннымъ отъ жизни,— тѣмъ не менѣе, онъ плѣнилъ Пушкина. Подъ вліяніемъ его, Пушкинъ сталъ думать о томъ, чтобы «отчизнѣ посвятить души высокіе порывы», онъ сталъ мечтать, что наступитъ время, когда «заря плѣнительнаго счастья» разгорится на родинѣ и воцарится «святая вольность». Вѣроятно, въ такомъ же либеральномъ духѣ были бесѣды Пушкина и съ Пущинымъ, который, еще лицеистомъ, сблизился съ будущими декабристами.

Вліяніе Жуковскаго.

Въ другомъ направленіи вліялъ на Пушкина Жуковскій. Его прекрасная, «кристальная», свѣтлая душа дѣйствовала на мятежное, горячее сердце поэта успокаивающимъ образомъ; она просвѣтляла его и воодушевляла къ высокому и прекрасному. Самъ Пушкинъ признавалъ, что нѣжный голосъ «пѣвца Свѣтланы» обладалъ способностью «утѣшать» его «безмолвную печаль», а иногда его, слишкомъ «шумную, рѣзвую, радость» смирялъ первой неясной «думой».

Жуковскій имѣлъ вліяніе не только на его сердце, но и на творчество, — онъ ввелъ Пушкина въ интересы молодыхъ передовыхъ писателей, сгруппировавшихся въ «Арзамасѣ»,—этимъ онъ помогъ Пушкину скорѣе отдѣлаться отъ французскихъ псевдоклассическихъ вліяній.

Впечатлѣніе отъ войнъ 1812—1814 г.

Къ событіямъ этой эпохи, отразившимся на творчествѣ Пушкина, надо отнести также войну 1812 года. Лицеисты провожали войска, уходившія на войну, и въ 1814 году встрѣчали ихъ побѣдоносное возвращеніе; императоръ Александръ, «спаситель Россіи и всей Европы», вызывалъ въ ихъ впечатлительной юной средѣ благоговѣніе.

Настроенія Пушкина въ лицеѣ.

Въ личной жизни Пушкина событіями были различныя сердечныя увлеченія, самыя разнообразныя,— отъ мимолетныхъ, легкомысленныхъ, до болѣе глубокихъ,— которыя приводили жизнерадостнаго лицеиста-поэта въ настроенія то радостныя, то элегическія, то даже пессимистическія.

Окончаніе лицея.

Въ 1817 г. 9-го іюня онъ кончилъ лицей и вступилъ въ свѣтъ. Для жизни онъ былъ такъ же мало подготовленъ, какъ и тогда, когда изъ родительскаго дома вступалъ въ стѣны лицея: онъ оставался такимъ же неуравновѣшеннымъ человѣкомъ, отзывчивымъ, впечатлительнымъ, равно способнымъ на добро и на зло, — все подъ вліяніемъ «минуты».

Настроенія русскаго общества той поры.

Русское общество этой поры жило самыми пестрыми впечатлѣніями: теперь надвигалась уже реакція, но очень многіе носились еще съ либеральными мечтами первыхъ дней александровскаго царствованія,— къ тому же общество было взволновано патріотическимъ подъемомъ 1812 года. Эта несогласованность настроеній уже выразилась въ столкновеніяхъ правительства и общества. Въ литературѣ обозначилась такая же борьба между консерватизмомъ «Бесѣды» и либерализмомъ «Арзамаса». Кромѣ того, въ широкихъ кругахъ русскаго общества царилъ самый беззаботный разгулъ.

Пушкинъ въ обществѣ.

Пушкинъ всей головой окунулся въ политическій и литературный либерализмъ эпохи и, въ то же время, съ увлеченіемъ отдался свободной жизни тогдашней «золотой молодежи». Поэтъ точно старался обогатить себя самыми сильными

и разнообразными впечатлѣніями. Въ его творчествѣ замѣчаемъ мы полное отраженіе его тогдашнихъ интересовъ: онъ разбрасываетъ злые эпиграммы и памфлеты на тѣхъ дѣятелей, которые примкнули къ реакціи, онъ борется, вмѣстѣ съ арзамасцами, противъ членовъ «Бесѣды»,—онъ воспѣваетъ въ своихъ стихахъ разгулъ, беззаботное веселье и легкомысленныхъ красавицъ. И, рядомъ съ этими гимнами въ честь радостей жизни, онъ знаетъ и грустныя чувства: какое-то «чистое» увлеченіе отравило его жизнерадостность... Впрочемъ, такія увлеченія недолго имъ владѣли,—налетали мятежныя страсти, и онъ отдавался имъ всецѣло, легко забывая свою чистую любовь. Тогда онъ, не безъ задора, говоритъ о своемъ презрѣніи къ «черни», понимая подъ этимъ словомъ людей, не одобряющихъ его эпикуреизма,—людей, скованныхъ благоразуміемъ, или приличіями. Юноша-поэтъ скоро угорѣлъ въ чаду такой жизни и утомился. Ссылка подошла кстати: за свое свободное поведеніе — онъ былъ принужденъ оставить столицу. Заступничество Карамзина, Жуковскаго, Энгельгардта (бывшаго директора лицея) сдѣлали то, что «сѣверъ» (Сибирь или Соловки) замѣненъ былъ ему «югомъ»,—и Пушкинъ былъ отправленъ въ Екатеринославъ служить подъ начало генерала Инзова. Ссылка поэта.

Пріѣхавъ на мѣсто новаго служенія, онъ сейчасъ же захворалъ. Мимоѣздомъ посѣтилъ его Н. Н. Раевскій, знавшій его по Царскому Селу. Онъ ѣхалъ съ семействомъ на Кавказъ и пригласилъ съ собою А. С. Пушкина. Инзовъ отпустилъ его, и поэтъ отправился на Кавказъ. Раевскіе были людьми передовыми, хорошо образованными; они сердечно отнеслись къ Пушкину, и въ ихъ кругу поэтъ отдыхалъ душой послѣ пережитыхъ треволненій. Онъ наслаждался природой Кавказа и внимательно присматривался къ жизни казаковъ [1]). Съ Кавказа они перебрались въ Крымъ, въ Гурзуфъ. Здѣсь онъ интересуется татарами, ихъ пѣснями и, подражая послѣднимъ, пишетъ пѣсню татаръ въ «Бахч. Фонтанѣ». Изъ Крыма Раевскіе отправились въ свое имѣніе Каменку, а Пушкинъ—въ Бессарабію. Пользуясь добротой своего начальника, онъ неразъ посѣщалъ Раевскихъ въ ихъ имѣніи. Здѣсь онъ встрѣтился съ нѣкоторыми будущими декабристами и принималъ участіе въ ихъ политическихъ бесѣдахъ. Пушкинъ на югѣ. Кавказъ и Крымъ.

Службой Инзовъ Пушкина не обременялъ, и въ Кишиневѣ поэту оставалось много свободнаго времени. Мѣстное общество не отличалось культурностью, и Пушкинъ повелъ себя по отношенію къ нему вызывающе — высмѣивалъ мѣстную знать, дрался нѣсколько разъ на дуэли. Въ низкой средѣ Кишинева онъ опять отдается низменнымъ интересамъ: угаръ петербургской жизни на него налетѣлъ еще разъ. Впрочемъ, поэтъ не отдается ему теперь всецѣло,—онъ много читаетъ, стараясь чтеніемъ восполнить пробѣлы своего образованія. Кромѣ того, онъ сближается съ нѣкоторыми передовыми офицерами южной арміи. Интересовался онъ также мѣстными нравами и обычаями, записывалъ пѣсни и сказанія; одно время увлекался греческимъ возстаніемъ. Но все это не заполняло его души, и здѣсь, на югѣ, онъ скоро узналъ приступы «міровой тоски»,—того чувства, которое затронуло все европейское общество, выразившись въ поэзіи Шатобріана, Кишиневъ. „Міровая тоска“ Пушкина.

[1]) Сохранились извѣстія, что изъ этой поѣздки вывезъ онъ нѣсколько пѣсенъ о Разинѣ, записанныхъ имъ лично.

Байрона и многихъ другихъ большихъ и малыхъ «скорбниковъ». Ихъ вліянію поддался и Пушкинъ, и въ творчествѣ его за эту эпоху замѣтно вліяніе обоихъ этихъ пѣвцовъ «разочарованія».

Одесса.

Истомившись въ полудикомъ Кишиневѣ, Пушкинъ перебрался въ Одессу—служить подъ начало гр. Воронцова. На первыхъ порахъ жизнь въ шумной европейской Одессѣ плѣнила его, — онъ посѣщаетъ театры, завязываетъ знакомства, увлекается мѣстными красавицами, особенно г-жей Ризничъ. Но вскорѣ здѣсь его встрѣтили новыя непріятности: онъ не поладилъ со

Столкновенія съ Воронцовымъ.

своимъ начальникомъ, гр. Воронцовымъ, который требовалъ отъ подчиненныхъ исполнительности и корректности, — и тѣмъ, и другимъ Пушкинъ никогда не отличался; да, кромѣ того, онъ былъ избалованъ полной свободой, предоставленной ему въ Кишиневѣ Инзовымъ. Къ тому же Пушкинъ любилъ жену гр. Воронцова, и, кажется, встрѣтилъ взаимность. Хотя это и было вполнѣ чистое, возвышенное чувство, но, конечно, оно могло только ухудшить отношенія между гр. Воронцовымъ и поэтомъ. Оскорбленный презрительнымъ отношеніемъ графа, пренебреженіемъ къ его литературной славѣ, Пушкинъ пересталъ стѣсняться даже въ дѣловыхъ сношеніяхъ съ начальствомъ. Тогда гр. Воронцовъ попросилъ убрать поэта изъ Одессы на сѣверъ. Сдѣлать это было рѣшено въ Петербургѣ еще до полученія просьбы гр. Воронцова, такъ какъ въ руки московской полиціи попало письмо, въ которомъ поэтъ писалъ, что «беретъ уроки атеизма»... Въ дни, когда высшіе круги русскаго общества отличались религіозностью, такое заявленіе поэта сочтено было, конечно, преступленіемъ,—и въ 1824 году онъ былъ отозванъ изъ Одессы и поселенъ въ имѣніи отца, селѣ Михайловскомъ Псковской губерніи.

Пушкинъ въ с. Михайловскомъ.

На первыхъ порахъ здѣсь, въ деревенскомъ затишьи, поэтъ тосковалъ страшно,—его тянуло на югъ, гдѣ и природа такъ прекрасна, и гдѣ остались дорогія его сердцу существа.

Но вскорѣ Пушкинъ обжился въ деревнѣ, сталъ посѣщать сосѣдей, особенно сблизился съ Осиповой, ея дочерьми и сыномъ, студентомъ дерптскаго университета. Въ деревнѣ продолжалъ онъ заниматься самообразованіемъ,—рѣдкое письмо его не заключаетъ въ себѣ просьбы прислать ему книгъ. Онъ перечиталъ въ это время много произведеній иностранной литературы, слѣдилъ внимательно за современной русской, изучилъ русскую исторію, познакомился съ русскими лѣтописями. Къ этому времени относится увлеченіе его Шекспиромъ, Вальтеръ-Скоттомъ и народной русской поэзіей. Особенно помогла ему въ этомъ отношеніи старушка-няня, съ которою ему пришлось коротать вдвоемъ долгіе зимніе вечера. Она пересказывала ему сказки и пѣла пѣсни, которыя когда-то онъ слышалъ отъ нея въ дѣтствѣ. Конечно, теперь къ народной поэзіи онъ отнесся серьезнѣе, чѣмъ въ дѣтствѣ, и самъ сталъ собирать и записывать народныя произведенія и всматриваться въ народные обычаи [1]).

Къ этому же времени относится возникновеніе у него интереса къ Св. Писанію, къ житіямъ святыхъ. Всѣ эти интересы отразились на его творчествѣ. Сказался на его произведеніяхъ также интересъ къ поэзіи

---

[1]) Объ этомъ свидѣтельствуютъ, хотя бы, его примѣчанія къ свадебнымъ пѣснямъ, записаннымъ имъ въ Псковской губ.

чуждыхъ народовъ и эпохъ. Въ настроеніи Пушкина тоже произошли большія измѣненія: онъ успокоился и примирился съ жизнью, узнавъ ближе русскій народъ и его прошлое [1]).

Примиреніе съ жизнью.

Это новое міросозерцаніе его было чисто-философскимъ пониманіемъ жизни, признаніемъ въ ней наличности того добра, которое раньше имъ не понималось, не признавалось. На почвѣ такого нового міросозерцанія развилось у Пушкина и новое пониманіе средствъ служенія обществу,—на прямыхъ, широкихъ и свободныхъ путяхъ. Вотъ почему онъ не примкнулъ къ декабрьскому мятежу, и 11-го мая 1825 года подалъ на имя государя прошеніе о снятіи съ него опалы. 28 августа онъ былъ спѣшно вызванъ въ Москву, 4-го сентября представленъ государю и былъ имъ прощенъ. Государь говорилъ съ нимъ долго и милостиво, обѣщалъ самъ цензировать его сочиненія и поручилъ его надзору гр. Бенкендорфа, тогдашняго шефа жандармовъ. Это былъ человѣкъ исполнительный, но холодный и недоброжелательный: до процвѣтанія русской литературы ему дѣла никакого не было, и потому опека его надъ Пушкинымъ оказалась для поэта очень тяжелой. На первыхъ порахъ Пушкинъ этого не замѣтилъ и беззаботно наслаждался «волей».

Пушкинъ „на волѣ“.

Отношеніе русскаго о-ва и властей къ поэту.

Московское общество приняло Пушкина съ распростертыми объятіями: съ нимъ носились въ «свѣтѣ» и въ литературныхъ кругахъ. Онъ читалъ вездѣ свои произведенія (особенно «Бориса Годунова») и радовался отъ души тому, что его чтеніе вездѣ сопровождалось шумнымъ успѣхомъ. Его радость была отравлена суровымъ выговоромъ Бенкендорфа за то,

---

[1]) За это «примиреніе» Пушкина упрекали и современники, и нѣкоторые позднѣйшіе критики. Но упреки эти неосновательны. Пушкинъ на себѣ пережилъ то, что пережила современная ему европейская мысль. Гёте началъ съ бурныхъ настроеній «Sturm und Drang'a» и кончилъ «отреченіемъ» (resignation) отъ мятежныхъ идеаловъ юности: онъ сталъ говорить о «смиреніи», онъ говорилъ: «мнѣ всегда были противны апостолы свободы. Въ концѣ концовъ, каждый изъ нихъ искалъ только произвола для себя. Если ты хочешь освободить многихъ, то сумѣй *служить* имъ». «Евангеліе отъ Іоанна, пишетъ онъ, я признаю моимъ Евангеліемъ и сущность всей мудрости свожу къ одному изреченію—дѣти, любите другъ друга!». Вотъ, чѣмъ разрѣшился его протестъ. Шиллеръ, начавшій съ «Разбойниковъ», сталъ звать къ такому-же «смиренію»: «примкнуть къ человѣчеству, найти въ его вѣковомъ трудѣ маленькую область, маленькій уголокъ и сосредоточить на этой скромной работѣ всю свою силу»,—это правило предлагалъ онъ къ свѣдѣнію «тому человѣку, который выплылъ съ цѣлой флотиліей въ открытое море жизни и возвратился на одной спасательной лодкѣ въ тихую пристань». «О *человѣчествѣ*, пишетъ онъ, ты никогда не можешь думать достаточно высоко,—какъ ты носишь эту идею въ твоей душѣ, такъ ты и выражаешь ее въ дѣйствіяхъ. Также и *человѣку*, который встрѣчается съ тобою въ тѣсномъ кругу твоей жизни—простирай руку помощи, если онъ въ ней нуждается. Но о благѣ *человѣческихъ поколѣній*, другъ, пусть заботится, какъ вчера, такъ и сегодня—небо, какъ оно заботится о дождѣ и росѣ». Во Франціи это «отреченіе» отъ идеаловъ протеста выразилось въ возрожденіи религіознаго чувства (Шатобріанъ, Ламенэ, Ламартинъ, Нодье, де-Местръ). Всего характернѣе, что самъ Байронъ, подъ конецъ своего творчества, сталъ приближаться къ такому же смиренію и къ отреченію. (Н. Котляревскій «Міровая Скорбь», 307—334).

что онъ осмѣлился читать своего «Бориса Годунова», не испросивъ на это предварительно разрѣшенія государя.

Драма была представлена на высочайшій судъ, и государь пожелалъ, чтобы изъ нея были выкинуты всѣ народныя сцены, и она была обращена въ «романъ». Пушкинъ не согласился исполнить этотъ совѣтъ-приказаніе и на нѣсколько лѣтъ запряталъ «подъ сукно» свою драму. Тяжелое настроеніе опять имъ овладѣло, и его потянуло въ деревенскую тишь. Бенкендорфъ ревниво опекалъ поэта, часто дѣлая ему замѣчанія. Подъ вліяніемъ такихъ непріятностей, Пушкинъ сталъ томиться жизнью: онъ нигдѣ не можетъ найти себѣ мѣсто,—живетъ то въ деревнѣ, то въ Петербургѣ. Онъ чуждъ былъ родной семьи, но, въ то же время, не могъ уже съ прежней юношеской жизнерадостностью отдаваться утѣхамъ холостой жизни,—онъ чувствовалъ себя неизмѣримо выше тогдашняго русскаго общества—и литераторскаго, и свѣтскаго; наконецъ, онъ сознавалъ, что не исполнились его мечты о независимомъ существованіи, ради котораго принесено было столько жертвъ.

Настроенія Пушкина.

Сватовство.

Утомившись одинокой холостой жизнью, поэтъ начинаетъ искать прочной любви, которая могла бы создать его семейное счастье. Съ этой цѣлью онъ пытался сблизиться съ нѣкоторыми барышнями московскаго и петербургскаго свѣта, но всѣ эти попытки долго оставались неудачными.

И вотъ, судьба поставила ему на пути Наталью Николаевну Гончарову. Это была молоденькая, семнадцатилѣтняя дѣвушка, недалекая и малообразованная, но прекрасная собой, какъ Мадонна. У Пушкина, по его словамъ, «закружилась голова», когда онъ ее увидалъ, и онъ рѣшительно пошелъ къ развязкѣ, начавъ сватовство съ матерью плѣнившей его дѣвушки, кажется, не постаравшись заглянуть въ сердце и душу самой дѣвушки. Мать ея была человѣкомъ очень тяжелымъ: набожность въ старомъ московскомъ духѣ и благоговѣніе передъ памятью Императора Александра не спасли ее отъ самодурства, деспотизма и, вообще, недоброжелательства къ людямъ. Она была, во всѣхъ отношеніяхъ, полною противоположностью Пушкину.

Поэтъ, съ его славой вольнодумца религіознаго и политическаго, былъ ей антипатиченъ, но и дочь пристроить поскорѣе она была не прочь. Во всякомъ случаѣ, она дала Пушкину неопредѣленный отвѣтъ, который повергъ его въ такое отчаяніе, что онъ вдругъ почувствовалъ потребность бросить все—и Москву, и Петербургъ, уѣхать куда-нибудь подальше отъ знакомыхъ лицъ, отъ знакомыхъ людей... Не испрашивая никакихъ разрѣшеній, самъ не отдавая себѣ яснаго отчета зачѣмъ,—помчался онъ на Кавказъ. Влекла поэта дѣйствующая армія, гдѣ думалъ онъ размыкать свое горе среди сильныхъ ощущеній войны. Всегда впечатлительный и увлекающійся, онъ вздохнулъ на Кавказѣ свободной грудью: какъ ребенокъ, наслаждался онъ красотами природы и картинами своеобразной кавказской жизни. Онъ принялъ дѣятельное участіе и въ военныхъ дѣйствіяхъ,—съ отвагой бросался въ первые ряды, гдѣ шла горячая свалка. Главнокомандующій Паскевичъ скоро выразилъ ему свое неудовольствіе по поводу того, что онъ не желаетъ слушать его совѣтовъ; кромѣ того, Паскевичъ былъ

Кавказъ.

недоволенъ невниманіемъ Пушкина къ его любезности и сближеніемъ поэта съ декабристами.

Исполняя желанія Паскевича, Пушкинъ отправился во-свояси на сѣверъ.

На родинѣ его ждали выговоры Бенкендорфа за самовольный отъѣздъ и сухой пріемъ Гончаровыхъ. Тѣмъ не менѣе, въ ноябрѣ 1830 года онъ сдѣлался женихомъ Н. Н. Гончаровой; потомъ начались между нимъ и будущей тещей нелады, которые чуть, было, не повели къ окончательному разрыву. Кажется, подъ конецъ, самъ Пушкинъ не прочь былъ отъ этого разрыва: отъ первыхъ очарованій немного оставалось въ его сердцѣ.

Женитьба.

18-го февраля 1831 года свадьба поэта состоялась, и онъ съ молодой женой перебрался въ Петербургъ. На первыхъ порахъ онъ былъ почти вполнѣ счастливъ,—только заботы о деньгахъ тревожили его съ каждымъ днемъ все сильнѣе: онъ то хлопочетъ о разрѣшеніи издавать оффиціальный журналъ, то намекаетъ, что охотно занялъ бы вакантное послѣ Карамзина мѣсто «исторіографа», то старается перехватить въ долгъ у друзей, взять впередъ за свои сочиненія... Его молодая жена совершенно безучастно относилась къ хозяйству,— великому поэту приходилось хлопотать относительно квартиръ, устраивать дѣла съ прислугой; попутно приводилъ онъ въ порядокъ запутанныя дѣла своего безалабернаго, опустившагося отца, безшабашнаго брата Льва и родственниковъ жены... Немудрено, что творчество поэта стало погасать. Къ этому времени относится вторичное принятіе его на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ; кромѣ того, съ разрѣшенія начальства, онъ занимался теперь въ архивахъ «Исторіей Петра Великаго».

Жена поэта.

Въ угоду молодой красавицѣ-женѣ, Пушкинъ повелъ теперь широкій, свѣтскій образъ жизни. Онъ тщеславился своей женой и баловалъ ее во вредъ себѣ. Она, недавно еще скромная, тихая дѣвушка, патріархально-воспитанная, скоро втянулась въ шумную жизнь «большого свѣта».—Для этой жизни она не была вооружена ни умомъ, ни тактомъ, ни знаніемъ людей, и сразу стала дѣлать промахи, которые огорчали и смущали поэта,—въ письмахъ его къ женѣ встрѣтимъ мы по этому поводу рядъ совѣтовъ и просьбъ... Между тѣмъ, въ погонѣ за деньгами, поэтъ не зналъ покоя. Занимаясь исторіей Петра Великаго, онъ вдругъ увлекся пугачевскимъ бунтомъ и, желая изучить вопросъ на мѣстѣ, отправился странствовать въ Казань и Оренбургъ. Письма его къ женѣ полны тревоги за нее,—ревность уже наростала въ его сердцѣ. Въ 1834 году—Пушкина сдѣлали камеръ-юнкеромъ,—это придворное званіе было ему не по лѣтамъ, и поэтъ былъ имъ недоволенъ, — зато ликовала жена: она радовалась тому, что будетъ блистать на придворныхъ балахъ, что попала теперь въ самый высокій кругъ русской аристократіи. Эта знать была почти сплошь интернаціональна,—до русской литературы ей дѣла никакого не было,— немудрено, что на Пушкина здѣсь смотрѣли только, какъ на «выскочку», и мстили ему тонкими и злыми выходками. Это бѣсило его, но его очаровательная Nathalie ничего не замѣчала и веселилась напропалую. Настроенія поэта дѣлаются теперь все мрачнѣе... замираетъ его смѣхъ, порою омрачается его оптимизмъ. Онъ отдыхалъ душою только въ кругу избранныхъ

Отношеніе къ поэту аристократіи.

Друзья.

друзей: Жуковскій, Вяземскій, Гоголь,—вотъ, его друзья-литераторы; Нащокинъ, Соболевскій—его пріятели, съ которыми онъ дѣлился всѣми многочисленными горестями и рѣдкими радостями своей жизни... Хорошо чувствовалъ себя Пушкинъ также въ салонѣ Смирновой (урожденной Россетъ). Здѣсь собирались всѣ друзья Пушкина, сюда приходили иностранцы-дипломаты. Въ теплой, сердечной атмосферѣ этого интеллигентнаго общества Пушкинъ отдыхалъ душой и свободно раскрывалъ самыя завѣтныя свои мысли. Сдѣлавшись теперь искреннимъ христіаниномъ, онъ много говорилъ о религіи; онъ обнаружилъ глубокое знакомство съ всемірной и русской исторіей,—въ оцѣнкѣ русской и западной литературы онъ не зналъ себѣ въ тогдашней Россіи соперника. Даже иностранцевъ поражалъ его «европейскій умъ, широкій и глубокій». Барантъ, французскій посланникъ, самъ извѣстный историкъ, говорилъ о немъ съ благоговѣніемъ, утверждая, что онъ—«великій мыслитель», что онъ «мыслитъ, какъ опытный государственный мужъ» [1]).

Пушкинъ въ послѣдній періодъ жизни.

Дуэль.

Развязка въ жизни Пушкина приближалась: французскій эмигрантъ Дантесъ, принятый государемъ въ Кавалергардскій полкъ, сталъ слишкомъ явно ухаживать за женой Пушкина,—та отвѣчала обычнымъ ей кокетствомъ... Поэтъ былъ увѣренъ въ своей женѣ, но, зная злобное отношеніе къ нему свѣта, боялся больше, чѣмъ слѣдовало, сплетенъ и слуховъ. Однажды онъ и его знакомые получили анонимные пасквили, въ которыхъ набрасывалось пятно на честь его и его жены. Поэтъ вспылилъ, позволилъ себѣ нѣсколько рѣзкостей и вызвалъ Дантеса на дуэль. Потомъ дѣло затянулось, но затѣмъ опять возникло, и 27 января 1837 г. состоялась дуэль, на которой поэтъ былъ смертельно раненъ и скончался 29-го января. Много нашлось людей, искренне оплакавшихъ поэта, но въ высшемъ свѣтѣ нашлись и такіе, которые злорадствовали. По ихъ адресу направилъ Лермонтовъ свою страстную элегію-сатиру: «На смерть Пушкина».

Періоды литературной дѣятельности Пушкина.

Литературная дѣятельность Пушкина можетъ быть раздѣлена на три періода: a) *періодъ лицейскихъ произведеній,* b) *періодъ „міровой скорби“* и—c) *періодъ сближенія съ русской дѣйствительностью.* Съ такимъ дѣленіемъ совершенно совпадаетъ послѣдовательная смѣна увлеченія Пушкина различными художественными школами: a) *псевдоклассицизмомъ,* b) *романтизмомъ* и—c) *реализмомъ* [2]).

---

[1]) Мицкевичъ въ некрологѣ Пушкина писалъ: «Пушкинъ удивлялъ слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума; онъ обладалъ громадною памятью, вѣрнымъ сужденіемъ, изящнѣйшимъ вкусомъ. Когда онъ разсуждалъ о политикѣ иностранной и внутренней, казалось, что говоритъ посѣдѣлый, дѣловой человѣкъ, питающійся ежедневно чтеніемъ парламентскихъ преній. Рѣчь его, въ которой можно было замѣтить зародыши будущихъ его произведеній, становилась болѣе и болѣе серьезной. Онъ любилъ разбирать великіе религіозные, общественные вопросы, самое существованіе которыхъ было, повидимому, неизвѣстно его соотечественникамъ».

[2]) Впрочемъ, это дѣленіе должно быть принято лишь условно: тогда, какъ, напримѣръ, у Бѣлинскаго смѣна настроеній была такъ радикальна, что, увлекаясь однимъ, онъ рѣшительно все прерывалъ съ другимъ,—Пушкинъ, при его разносторонности, въ періодъ классицизма, является

а) *Лицейскій періодъ творчества Пушкина* (преобладаніе псевдоклассическихъ вліяній). Выше было указано, что въ родномъ домѣ мальчика окружали французскія вліянія: преклоненіе передъ Мольеромъ, Корнелемъ и Расиномъ и увлеченіе французской «легкой поэзіей»,—вотъ, атмосфера, въ которой воспитывались дѣтскіе литературные вкусы Пушкина. Объ этой «легкой поэзіи» приходилось неразъ говорить выше [1]). Ей отдали дань почти всѣ русскіе лирики-псевдоклассики, начиная съ Сумарокова. «Остроумная, слегка сентиментальная, и, въ то же время, часто прозрачно-циничная, эта поэзія, повторяя шутки древности, въ пастушескихъ эклогахъ, эпиграммахъ, насмѣшливыхъ эпитафіяхъ, красиво и граціозно воплотила забавы утонченнаго французскаго ума: подъ прикрытіемъ шалостей греческихъ пастуховъ и пастушекъ, Дафнисовъ и Хлой, или веселыхъ олимпійцевъ, рѣзвыхъ нифмъ и сатировъ—часто изображались дѣйствительныя похожденія тогдашнихъ маркизовъ и маркизъ" (II, 57).

а) Лицейскій періодъ.

Французская „легкая поэзія".

У насъ въ XVIII в. эта поэзія имѣла большой успѣхъ: и если «серьезная» лирика (ода), уступая натиску времени, теряла свой возвышенный, строго-величавый характеръ и, наполняясь новымъ содержаніемъ, приближалась къ «поэзіи дѣйствительности», то еще бо̀льшую свободу, въ этомъ направленіи, имѣла «легкая поэзія».

Время Екатерины, время беззаботнаго, изысканнаго прожиганія жизни, вѣроятно, особенно способствовало популярности у насъ этихъ стихотворныхъ бездѣлушекъ, переводныхъ, подражательныхъ и оригинальныхъ. Такими «бездѣлушками» увлекался и отецъ Пушкина, и дядюшка его Василій Львовичъ, небезызвѣстный, въ то время, поэтъ; въ отцовской библіотекѣ мальчикъ нашелъ почти полный подборъ подобныхъ произведеній; ими онъ зачитывался, ихъ выучилъ «наизусть». Немудрено, что рано стали грезиться ему шаловливыя нифмы, фавны, сатиры... Поэзія олицетворилась для

Популярность ея у насъ въ XVIII в.

Вліяніе этой поэзіи на Пушкина.

иногда «реалистомъ», а въ періодъ реализма могъ возвращаться и къ классицизму, и къ романтизму. Тѣмъ не менѣе, указанное мною дѣленіе можетъ быть принято, такъ какъ основано *на преобладаніи* (а *не на исключительности*) опредѣленныхъ художественныхъ міровоззрѣній у Пушкина въ извѣстный періодъ его жизни.

[1]) См. мою «Исторію русской словесности», ч. II, 29, 57, 117 и др. «Легкая поэзія» (poésies légères, poésies fugitives, vers de société)—стихотворныя шалости любовнаго, или шутливаго, характера (пѣсни Анакреона, Овидія, мадригалы, стансы, сонеты, тріолеты, рондо); Хлои и Дафнисы, Психеи и Амуры, Нимфы и Сатиры—любимые образы этой поэзіи. Во Франціи произведеніями въ такомъ родѣ особенно прославились Лафонтенъ, Шолье, Жанъ-Батистъ-Руссо, Вольтеръ и Парни.

него въ видѣ античнаго бога Феба,—или «музы-вакханочки»: онъ бредилъ греческой миѳологіей и легко усвоилъ избитые термины классической и псевдоклассической поэзіи: «лира», «пою», поэтъ-«жрецъ» и пр.

Подъ вліяніемъ этой жизнерадостной, беззаботной поэзіи, онъ даже въ сочиненіяхъ Вольтера не усмотрѣлъ серьезнаго содержанія, и оцѣнилъ только его остроуміе, его блестящій тонкій цинизмъ. За вольтеровскимъ смѣхомъ онъ не подмѣтилъ того безпросвѣтнаго пессимизма, который за нимъ скрывался. Да это и понятно: въ этотъ періодъ жизни Пушкинъ былъ далекъ отъ «пессимизма»: «эпикуреизмъ» классической и псевдоклассической поэзіи,—вотъ, что его плѣняло.

Творчество Пушкина въ лицеѣ. Его философія.

Онъ продолжалъ «творить» и въ стѣнахъ лицея. Прекрасно усвоилъ онъ ученіе «эпикурейцевъ» и неразъ въ своихъ раннихъ юношескихъ стихахъ рекомендуетъ себя поклонникомъ этой утѣшительной системы. За это онъ называетъ себя «мудрецомъ» «апостоломъ мудрой вѣры», «лѣнивымъ философомъ», «поэтомъ сладострастья», «сыномъ нѣги»... Охотно расточаетъ онъ наставленія, въ родѣ слѣдующихъ: «наслаждайся, наслаждайся! чаще кубокъ наливай, страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай!» «любви нѣтъ болѣ счастья въ мірѣ», «безъ вина здѣсь нѣтъ веселья, нѣтъ и счастья безъ любви»; ловить «рѣзвое счастье», расточать безъ боязни «жизни дни златые», «играть», забывая печали, искать истины «на днѣ бокала»,—вотъ, что совѣтовалъ друзьямъ юный «парнасскій волокита». Этотъ «безпечный Пинда

Взглядъ на поэзію.

посѣтитель» тогда легко смотрѣлъ на свою поэзію: муза его—«вакханочка», его «цѣвница»—«мечтаній сладостныхъ пѣвица», его посланія «летучія», стихи его «вѣтреные», веселиться—его «законъ»... Онъ «только съ музой нѣжится младой», своимъ произведеніямъ онъ не придаетъ особаго значенія,—они «плоды веселаго досуга», «не для безсмертья рождены, для самого себя, для друга, да для Темиры молодой». Онъ самъ откровенно указываетъ, откуда пришли къ нему эти беззаботныя настроенія—онъ себя называетъ «наслѣдникомъ поэзіи» Лафора, Шолье, Парни. Ихъ онъ именуетъ «врагами труда, заботъ, печали»; эти «сыны безпечности лѣнивой» были ему «любезны»; «муза праздности счастливой вѣнчала ихъ», «веселыхъ грацій перстъ игривый» «оживлялъ ихъ младыя лиры»,—и нашъ молодой поэтъ, по его словамъ, увлекаемый ими, «крался вслѣдъ за ними», покоренный ихъ легко-

вѣсной славой [1]). Изъ русскихъ писателей особенно увлекалъ юношу Батюшковъ, который въ первомъ періодѣ своего творчества былъ такимъ же беззаботнымъ пѣвцомъ эпикуреизма.

Цѣлый рядъ произведеній Пушкина, въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись пастухи и пастушки, нифмы и сатиры, былъ результатомъ этого преклоненія передъ Парни и др. [2]). Даже мрачной, холодной поэзіей Оссіана увлекся онъ въ передѣлкахъ Парни [3]). Произведенія автобіографическаго содержанія проникнуты такимъ же безоблачнымъ настроеніемъ: вино, любовь и дружба,—вотъ, единственные мотивы этихъ произведеній; къ нимъ относятся всѣ многочисленныя посланія его къ друзьямъ и красавицамъ, мимоходомъ плѣнявшимъ его легко-воспламеняющееся сердце.

Содержаніе его поэзіи.

Надо, впрочемъ, добавить, что многія изъ тѣхъ шумныхъ и широкихъ развлеченій, которыя воспѣвалъ Пушкинъ во время пребыванія своего въ лицеѣ, относились къ области «фантазіи». Онъ самъ неразъ признается, что въ ранней юности былъ большимъ «фантазеромъ-мечтателемъ»

Фантазія поэта.

«Фантазія, тобою
Одной я награжденъ!

—восклицаетъ онъ въ одномъ произведеніи; себя онъ называетъ «невольникомъ мечты младой», говоритъ, что «мечта—младыхъ пѣвцовъ удѣлъ». Въ мечтахъ онъ обладалъ тогда «всѣми радостями земными». Юношу тянуло въ очарованный міръ фантазіи, туда, «гдѣ міръ одной мечтѣ послушный». Чтó это былъ за міръ,—мы видѣли: дѣйствительная жизнь была куда скучнѣе и скромнѣе,—тѣмъ «прекраснѣе» былъ «міръ мечты»: онъ казался ему роскошнымъ садомъ, гдѣ не переводятся цвѣты—увядаетъ одинъ, расцвѣтаетъ другой... Хлоя смѣняется Доридой, любовь—виномъ. Юноша-поэтъ, окрыляемый фантазіей, видѣлъ себя въ роскошномъ хороводѣ красавицъ, въ кругу друзей, гдѣ царятъ тонкія анакреонтическія настроенія. Отуманенный этой оранжерейной атмосферой, не имѣвшей ничего общаго съ дѣйствительностью, онъ пѣлъ восторженную пѣснь безмятежному эпикуреизму...

[1]) Ср. стихи «Посланіе къ Галичу», «Посланіе къ Ив. Ив. Пущину», «Мое завѣщаніе», «Городокъ», «Къ Батюшкову», «Гробъ Анакреона», «Посланіе къ Юдину», «Моему Аристарху».

[2]) Ср. стихи: «Леда», «Блаженство», «Гробъ Анакреона», «Фавнъ и Пастушка», «Амуръ и Гименей», «Фіалъ Анакреона», «Торжество Вакха».

[3]) Ср. стихи: «Кольна», «Эвлега», «Осгаръ».

Эпикуреизмъ Пушкина послѣ лицея.

Позднѣе, когда онъ кончилъ лицей и вступилъ въ жизнь, этотъ «эпикуреизмъ» выразился въ самомъ безшабашномъ прожиганіи жизни,—тогда, вмѣсто безтѣлесныхъ Хлой и Доридъ, поэтъ сталъ воспѣвать живыхъ женщинъ и живую любовь, мало общаго имѣющую съ тѣмъ отвлеченнымъ, фантастическимъ чувствомъ, которое одушевляло его въ лицеѣ.

Но, повторяю, никогда Пушкинъ не былъ въ исключительномъ подчиненіи у однихъ настроеній,—если «эпикурейскіе» мотивы были типичными для этой эпохи, то нельзя умолчать и о другихъ, замѣтно опредѣлившихся въ этотъ періодъ въ его творчествѣ.

Вліяніе войны 1812—14 гг. на творчество Пушкина.

Отечественная война даже съ нѣжной лиры Жуковскаго сорвала нѣсколько могучихъ аккордовъ. Тѣмъ понятнѣе «героическія» настроенія у болѣе разносторонняго и впечатлительнаго Пушкина. И вотъ, рядъ прочувствованныхъ патріотическихъ произведеній написанъ имъ въ честь войнъ 1812-го и 1814-го годовъ [1]). Но эти попытки «парить» во слѣдъ Державину остались въ его творчествѣ одинокими.

Элегическіе мотивы въ поэзіи лицейскаго періода.

Необходимо отмѣтить также присутствіе въ его поэзіи лицейскаго періода *элегическихъ* мотивовъ. Эти мотивы клиномъ врѣзаются въ его эпикурейскія настроенія. Они вызваны были чувствомъ чистой любви, которая впервые охватила Пушкина въ стѣнахъ лицея. Этому чувству посвящено нѣсколько произведеній, грустныхъ и возвышенныхъ по настроенію [2]). Несчастная любовь отравила его радость,—онъ теперь называетъ себя на жизненномъ пиру «гостемъ угрюмымъ», «душа у него больная»; «одной слезы» оказалось достаточно, чтобъ «отравить бокалъ»; «уснувъ лишь разъ,—на тернахъ» онъ проснулся...

Реалистическій элементъ въ поэзіи этого періода.

Характерно, что уже въ эту пору ранняго творчества начали опредѣляться у Пушкина симпатіи къ тому художественному *реализму*, которыя впослѣдствіи упрочили за нимъ славу «поэта дѣйствительности». Такъ, въ стихотвореніи «Городокъ» поэтъ

«Городокъ».

сумѣлъ удачно изобразить трогательную прелесть русскаго захолустья: веселый садъ, съ старыми липами, цвѣтущей черемухой и березами, домикъ «въ три комнаты», тишина, лишь изрѣдка прерываемая скрипомъ телѣгъ... И жизнь такъ же тиха, «безпорывна»

---

[1]) «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ», «Наполеонъ на Эльбѣ», «На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1814 году».

[2]) «Посланіе къ кн. Горчакову», «Разлука», «Уныніе», «Элегія», «Я думалъ». Кромѣ того, объ этомъ чувствѣ говоритъ онъ въ стихотвореніяхъ: «Наѣздники», «Желаніе», «Осеннее утро», «Разлука», «Элегія», «Наслажденіе», «Окно» и др.

въ этой идиллической обстановкѣ,—разсказы словоохотливой старушки и добродушнаго инвалида-старика пріятно разнообразятъ эту «святую» тишину. Въ этой жизни нѣтъ ничего напоминающаго мотивы и картины псевдоклассической поэзіи,—это—неприкрашенная русская правда, всю красоту которой Пушкинъ, очевидно, сумѣлъ прочувствовать еще юношей.

«Но вотъ ужъ полдень. Въ свѣтлой залѣ
Весельемъ круглый столъ накрытъ:
Хлѣбъ-соль на чистомъ покрывалѣ,
Дымятся щи, вино въ бокалѣ
И щука въ скатерти лежитъ...
Сосѣди шумною толпой
Взошли, прервали тишину...

«Сонъ».

Въ другомъ стихотвореніи «Сонъ» опять передъ нами чисто-русскій деревенскій пейзажъ:

«Какъ утро здѣсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубравъ,
Какъ юный день сіяетъ гордо, ясно!
Свѣтлѣетъ все; другъ друга перегнавъ,
Журчатъ ручьи, блестятъ луга безмолвны:
Еще роса подъ свѣжей муравой,
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны...

Значеніе пушкинскихъ эпиграммъ.

Еще въ лицеѣ Пушкинъ сталъ сочинять эпиграммы на различныя событія и дѣятелей лицейской жизни. По окончаніи лицея эти эпиграммы юноши-поэта пріобрѣтаютъ болѣе серьезный характеръ,—ими онъ разитъ теперь не только личныхъ своихъ враговъ,—но и принципіальныхъ противниковъ его литературнаго и политическаго либерализма: поражая противниковъ «Арзамаса» и враговъ Карамзина, онъ такъ же дерзко нападаетъ на тогдашнихъ вожаковъ русской государственной жизни — Аракчеева, Фотія, Голицына. Значеніе этихъ смѣлыхъ и злыхъ стишковъ громадно,—они были вѣрнымъ отраженіемъ того недовольства политикой императора Александра, которое созрѣвало въ сознаніи либеральной части русскаго общества. Но, кромѣ этихъ стихотворныхъ «проказъ», написалъ Пушкинъ въ это время и три серьезныя политическія стихотворенія: «Къ Чаадаеву», «Деревня» и «Вольность». Всѣ они сложились, очевидно, подъ живымъ впечатлѣніемъ чьихъ-то горячихъ искреннихъ рѣчей, случайнымъ слушателемъ которыхъ удалось быть Пушкину. Отзывчивый, какъ всегда, Пушкинъ, въ минуты подъема, настраивалъ свою «изнѣженную», шаловливую лиру на

Политическія стихотворенія.

«Къ Чаадаеву».

возвышенный ладъ, и тогда мечты о конституціи, объ освобожденіи крестьянъ,—мечты, модныя въ русскомъ обществѣ, находили у него прекрасное воплощеніе въ прочувствованныхъ стихахъ:

«Товарищъ! вѣрь, взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна!..

«Деревня». Въ стихотвореніи «Деревня» поэтъ тоскуетъ при видѣ «губительнаго позора, невѣжества русской деревни»; его возмущаютъ картины «барства дикаго» и «тощаго рабства». Кончается это стихотвореніе прекраснымъ вопросомъ:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный,
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?

И шутливыя, и серьзныя политическія стихотворенія Пушкина ходили по рукамъ, переписывались, заучивались наизусть. Такая «Вольность». популярность указываетъ, что творчество поэта было вѣрнымъ «эхомъ» тогдашней повышенной политической жизни. Съ нимъ пришлось считаться петербургскимъ властямъ, и ода «Вольность» (написана въ періодъ отъ 1817 до 1819 г.) послужила предлогомъ для высылки поэта изъ столицы.

Но если реалистическіе и политическіе мотивы очень замѣтны въ творчествѣ Пушкина,—не они характерны для этой эпохи. Онъ, «Чернь». по преимуществу, остается еще «эпикурейцемъ». «Черни презирай ревнивое роптанье»—поучаетъ онъ въ одномъ стихотвореніи, понимая подъ черныю всѣхъ «благоразумныхъ» людей, которые не понимали его эпикуреизма. Такой-же «черныю» былъ для него и «высшій свѣтъ», весь окованный «приличіями». Повидимому, готовъ онъ къ «черни» отнести и литературныхъ «старовѣровъ»,—слишкомъ строгихъ Аристарховъ-псевдоклассиковъ.

Такимъ образомъ, уже въ этотъ первый періодъ опредѣлилось въ Пушкинѣ стремленіе къ независимости чувствъ и мысли,— «черныю», въ его глазахъ, была всякая среда, которая дерзала накладывать свое «veto» на свободное пользованіе *всеми благами* свободной жизни.

«Русланъ и Людмила». Преобладающими настроеніями лицейскаго періода проникнуто первое крупное произведеніе Пушкина: «Русланъ и Людмила» (начато въ 1817 году, окончено въ 1819 году).

Литературная исторія поэмы.

По типу своему, это произведеніе принадлежитъ къ тѣмъ поэмамъ и романамъ конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, въ которыхъ ясно сказалось тяготѣніе къ творчеству въ «народническомъ» духѣ. Для полнаго осуществленія его—нужно было только *понять народъ.* Это сдѣлалъ Пушкинъ, но гораздо позднѣе, въ періодъ жизни въ селѣ Михайловскомъ. Теперь же онъ стоялъ такъ же далеко отъ пониманія народа, какъ Чулковъ, Поповъ, Карамзинъ и др. (см. II ч. моей «Исторіи русской словесности», стр. 293—298). Поэтому всѣ эти первыя «народническія произведенія» отразили на себѣ вліянія псевдоклассицизма и сентиментализма,—въ такой же мѣрѣ зависѣли они и отъ волшебно-рыцарскихъ романовъ; истинная же «народность» русская очень слабо выразилась въ этихъ произведеніяхъ. Тѣмъ не менѣе, въ тяготѣніи къ народному, въ интересѣ къ родному творчеству—великій смыслъ «народническаго» направленія. «Русланъ и Людмила» сложился цѣликомъ подъ вліяніемъ творчества этихъ писателей.

„Народничество" въ поэзіи XVIII в.

Такимъ образомъ, Пушкинъ былъ неправъ, называя содержаніе своей поэмы «*дѣлами* давно минувшихъ дней», «преданьями старины глубокой». Такъ опредѣляя свое произведеніе, онъ стоялъ на той обычной точкѣ зрѣнія, которая не только въ народныхъ былинахъ, но и въ романахъ Чулкова видѣла поэтическія воспоминанія о дѣйствительныхъ фактахъ русскаго прошлаго.

Мы видѣли уже, что волшебно-рыцарскіе романы Чулкова и Попова и др. тѣсно примыкаютъ къ поэмамъ Аріосто, Боярдо, къ романамъ-пародіямъ Виланда («Оберонъ») и пр., съ тѣмъ только отличіемъ, что въ русскія подражанія вставлены имена русскихъ богатырей,—имена, взятыя изъ былинъ, а иногда и вымышленныя.

Построеніе волшебно-рыцарскихъ романовъ, иностранныхъ и русскихъ.

Какъ всѣ волшебно-рыцарскіе романы и поэмы («Амадисы», «Пальмерины», «Влюбленный Роландъ», «Неистовый Роландъ»), такъ и романы Чулкова и Попова построены на шаблонныхъ схемахъ: рыцари разыскиваютъ красавицъ, похищенныхъ чародѣемъ, или какимъ-нибудь насильникомъ. Для освобожденія красавицы нужно преодолѣть рядъ трудностей, испытаній, надо вооружиться особыми «талисманами», «волшебными мечами», «копьями» и пр. Подвигъ, конечно, удается—чародѣй оказывается побѣжденнымъ, и благодарная красавица награждаетъ своею любовью избавителя-рыцаря. Здѣсь и добрые чародѣи, помогающіе герою совѣтомъ, или дѣломъ, здѣсь и волшебные замки, съ очарованными красавицами, и соблазны, и ужасы...

Построеніе поэмы Пушкина.

Совершенно такъ же построена поэма Пушкина,—сравнительно съ романами Чулкова и Попова, въ ней нѣтъ ни одного новаго мотива, но зато она граціозна, удивительно свѣжа, вся пропитана тонкимъ остроуміемъ, блещетъ яркостью красокъ и легкой примѣсью изящнаго эпикуреизма, который такъ характеренъ для многихъ пушкинскихъ произведеній лицейскаго періода. Рыцарскіе авантюрные мотивы, которые у многихъ писателей разрабатывались серьезно, въ поэмѣ Пушкина разработаны шутливо: скептицизмъ XVIII-го вѣка, вліянія Вольтера, Виланда, Гамильтона, Лафонтена внесли въ юношескую поэму Пушкина эту своеобразную окраску, сближающую поэму Пушкина съ «*пародіями*» на рыцарскіе романы. Такимъ образомъ, это *ироническое* отношеніе автора къ содержанію своего произведенія и, въ то же время, полное неумѣніе разобраться, что въ сказочныхъ мотивахъ народнаго происхожденія, что книжнаго,—помѣшали

Пародіи на волш.-рыц. романы.

Поэма Пушкина—пародія.

Достоинства поэмы.

первому произведенію Пушкина сдѣлаться «народнымъ». Къ достоинствамъ поэмы надо отнести прекрасную форму этого произведенія, легкій, игривый стиль, бодрое, задорное настроеніе, которое пронизываетъ всю поэму, ярко и полно отразившую на себѣ идеалы и настроенія лицейскаго періода.

Отношеніе русскаго общества къ поэмѣ.

Поэма была принята русской публикой восторженно—ясное доказательство того, что она пришлась по плечу русскому обществу,—въ ней увидѣли старое, извѣстное, но сказанное на новый ладъ, возведенное въ дѣйствительную красоту.

a) Сочувственные отзывы о ней.

Впрочемъ, критика русская раздѣлилась на два лагеря—одни восхваляли поэму, другіе ее осуждали. Жуковскій, послѣ прочтенія поэмы, подарилъ Пушкину свой портретъ, съ надписью: «побѣдителю-ученику отъ побѣжденнаго учителя». Другой «арзамасецъ», Воейковъ написалъ длинный разборъ поэмы, въ которомъ ее превознесъ, какъ произведеніе, въ «романтическомъ» духѣ написанное; онъ нашелъ въ поэмѣ и нравственную цѣль, которая достигнута поэтомъ, такъ какъ злодѣйство оказалось наказаннымъ, а добродѣтель торжествующей... Но Воейковъ не удержался и отъ упрековъ,—онъ нашелъ, что поэтъ недостаточно цѣломудренъ: «онъ любитъ проговариваться, изъясняться двусмысленно, намекать, употреблять эпитеты: «нагіе», «полунагіе», говоря даже о холмахъ и сабляхъ—напр.: «холмы нагіе», «сабли нагія»; онъ безпрестанно томится какими-то желаніями, сладостными мечтами и пр.» Такъ наивно судилъ о поэмѣ Пушкина ея поклонникъ: онъ увидалъ въ ней «романтизмъ», котораго тамъ не было,—«нравоучительность», которая отсутствовала, и безнравственность тамъ, гдѣ была только игра молодой фантазіи. Еще курьезнѣе отзывы о поэмѣ ея противниковъ. Одинъ изъ нихъ хулилъ поэму съ точки зрѣнія псевдоклассицизма; попутно онъ высказывается и о народныхъ сказкахъ; ихъ онъ называетъ «плоскими шутками старины», не смѣшными и не забавными, а отвратительными по своей грубости. Поэтому и поэма Пушкина показалась ему произведеніемъ вульгарнымъ, недостойнымъ печати. Онъ восклицаетъ: «позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: «здорово, ребята!»—неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться!». Такимъ же «неприличіемъ» показался ему литературный дебютъ Пушкина.

b) Отрицательные.

Въ чемъ «новизна» поэмы?

Очень важно, что для стариковъ-псевдоклассиковъ поэма Пушкина показалась «проказникомъ»,—это и было «новое слово», внесенное Пушкинымъ; за это превознесли его друзья-арзамасцы, за это на него напали старики. Вся сотканная изъ старыхъ поэтическихъ формулъ, поэма Пушкина была *нова* своимъ свободнымъ отношеніемъ къ литературнымъ традиціямъ; она не была романтическимъ произведеніемъ [1]), но она была «вызовомъ» творчеству «старому», связанному правилами, подчиненному морали,—тусклому и однообразному... Тотъ фактъ, что около этого

---

[1]) Фантастика поэмы не та, съ которой явился романтизмъ. Романтизмъ относится къ своимъ чудесамъ съ «вѣрой» (ср. сочиненія Жуковскаго),—между тѣмъ, у Пушкина отношеніе къ фантастикѣ то, что мы встрѣчаемъ въ волшебныхъ сказкахъ XVIII-го вѣка—скептическое, ироническое.

юнаго произведенія въ русской критикѣ разгорѣлась ожесточенная полемика, доказываетъ всю важность поэмы.

b) Пушкинъ на югѣ. Психологическія основанія «міровой тоски» у Пушкина.

b) *Пушкинъ на югѣ* (періодъ міровой скорби). Пушкинъ на югѣ подчинился вліянію поэзіи «міровой скорби». Обстоятельства его жизни сложились такъ, что для пессимизма почва была хорошая. Неожиданно попавъ въ опалу, онъ, беззаботный и безмятежный эпикуреецъ, увидалъ оборотную сторону жизни,—непрочность своего положенія, полную зависимость отъ властей; онъ убѣдился, что многіе «друзья» отшатнулись отъ него, опальнаго поэта, увидалъ, что героини его легкихъ пѣснопѣній скоро забыли его... Все это были слишкомъ сильные удары для довѣрчиваго юноши, и разочарованіе въ людяхъ надвинулось на него. Знавалъ онъ и раньше приступы тоски, но тогда она лишь легкой тѣнью проносилась надъ его эпикурействомъ,—теперь она, правда, ненадолго, сдѣлалась господствующимъ настроеніемъ, опредѣлившимъ типичныя черты его творчества на югѣ.

Историческія и литературныя основанія «міровой тоски».

«Міровая скорбь» коренится еще въ серединѣ XVIII-го вѣка. Вѣкъ французской философіи былъ эпохой блестящей, самодовольной цивилизаціи,—эпохой холодной и умной, по своимъ убѣжденіямъ, впрочемъ, не всегда глубокимъ и потому шаткимъ. Въ вожакахъ эпохи было мало любви и страсти,—«много логики». Этотъ вѣкъ, додумавшійся до безпросвѣтнаго матеріализма, человѣка представившій, какъ машину («L'homme machine»), умудрился не только на всю жизнь человѣка, всего государства, но и на жизнь міра смотрѣть такъ же просто и близоруко. Руссо, во имя забытаго «чувства», выразилъ свой протестъ,—онъ обрушился на эту холодную, разсудочную культуру,—онъ призналъ, что цивилизація дѣлаетъ людей «несчастными»... Это признаніе и было зерномъ, изъ котораго развернулась европейская «міровая скорбь». На первыхъ порахъ ученики Руссо попытались бороться съ разсудочностью вѣка, съ ложью и односторонностью цивилизаціи—во имя идеаловъ правды, простоты и любви. Въ Германіи эти сторонники Руссо создали настроеніе «Sturm und Drang'a», во Франціи—ту революцію, которая должна была перестроить всю жизнь на началахъ любви, на проведеніи въ жизнь идеаловъ «равенства», «братства» и «свободы». Въ Германіи это увлеченіе протестомъ, увлеченіе своей «свободной личностью», привело къ Вертеру, разочарованному юношѣ, который кончаетъ свои дни самоубійствомъ. На землѣ ему нѣтъ мѣста,—или онъ долженъ смириться, какъ смирились Гёте, Шиллеръ и другіе. Во Франціи разочарованіе выразилось еще сильнѣе,—революція показала, что апостолы прекрасныхъ словъ: «свобода», «равенство» и «братство» часто оказывались самыми обыкновенными тиранами, необузданными и свирѣпыми... Революція разбудила въ обществѣ всѣ темныя силы, и недавній гражданинъ-идеалистъ предсталъ звѣремъ. И вотъ, насколько прежде была безгранична въ людяхъ вѣра въ себя и въ ближняго, настолько теперь стало безгранично ихъ отчаянье. Идеалистъ озлобился противъ людей, виновниковъ этого несчастія, сталъ пре-

зирать ихъ и ненавидѣть, отъ любви перешелъ къ враждѣ, къ холодному индифферентизму и кончилъ самымъ мрачнымъ осужденіемъ жизни... Его скорбь объ этомъ мірѣ дошла до крайнихъ предѣловъ,—она превратила его въ скептика и мизантропа. И революція, и имперія Наполеона одинаково вели къ этому антиобщественному настроенію. «Рене» Шатобріана, этотъ разочарованный эгоистъ, бросающій родину и уходящій отъ людей въ лѣса и степи Америки, лучшій представитель этого настроенія.

«Рене» Шатобріана.

Поэзія Байрона.

Поэзія Байрона была новымъ словомъ «міровой скорби». Если его предшественники-«скорбники» ограничивались жалобами, или удаленіемъ отъ людей, отъ цивилизованнаго міра,—то Байронъ выступилъ съ «протестомъ», съ «вызовомъ»... Апостолъ «свободы», защитникъ униженныхъ и оскорбленныхъ, слѣдовательно, человѣкъ гуманный—онъ часто знаетъ настроенія яркой мизантропіи; тогда онъ не находитъ для людей словъ любви. Въ такія минуты онъ создаетъ своихъ мрачныхъ титановъ-героевъ, сердца которыхъ полны ненависти къ человѣчеству, или холоднаго равнодушія. Такіе герои отрицаютъ любовь и состраданіе считаютъ слабостью. И вотъ, изъ «эгоиста», на нашихъ глазахъ, выростаетъ «эготистъ», т. е., независимая личность, гордая, сильная, которой не надо людей, не надо общества,—это—титанъ-«сверхчеловѣкъ», стоящій выше людскихъ законовъ и обычаевъ. Такимъ образомъ, «байронизмъ»,—изъ всѣхъ видовъ «міровой скорби» является самымъ сложнымъ: онъ складывается изъ «разочарованія» въ жизни, въ людяхъ, въ культурѣ, изъ «протеста», который выразился въ проповѣди «свободы», и, наконецъ, изъ «культа личности», переходящаго въ крайній «эготизмъ».

Съ поэзіей «міровой скорби» Пушкинъ познакомился еще въ Петербургѣ: Шатобріанъ, съ его Рене, былъ ему давно извѣстенъ, и, быть можетъ, въ минуты утомленія отъ жизни, уже тогда отражался въ его радостномъ творчествѣ сѣрыми тонами. Теперь для этихъ настроеній почва была благодарная: Пушкинъ былъ оторванъ отъ прежней жизни, онъ имѣлъ основанія быть неудовлетвореннымъ ею, оставалась въ сердцѣ пустота,—лучшая почва для разочарованія.

Пушкинъ и Шатобріанъ.

Любопытно, что подъ вліяніемъ литературныхъ образовъ, Пушкинъ сталъ воображать себя *добровольнымъ* изгнанникомъ, подобно Рене, *по своей волѣ* покинувшимъ прежнюю жизнь. Какъ разъ въ это время подошло увлеченіе Байрономъ,—этимъ геніальнымъ ученикомъ Шатобріана. Гордая муза англійскаго скорбника, полная презрѣнія, даже вражды къ человѣчеству, нашла отзвукъ въ впечатлительной душѣ поэта; онъ зналъ уже раньше первые приступы этого «презрѣнія» къ «черни»—теперь, когда судьба оторвала его отъ толпы, когда онъ былъ далекъ отъ нея, отъ ея вліяній,—онъ тѣмъ сильнѣе могъ ощутить это «презрѣніе» къ людямъ, къ ихъ культурной жизни, къ чувствамъ «минутной дружбы» и «минутной любви»... Спокойная жизнь въ радушной семьѣ Раевскихъ, живыя впечатлѣнія Кавказа и Крыма, пестрота

кишиневскихъ и одесскихъ впечатлѣній ослабили остроту этого разочарованія, спасли сердце Пушкина отъ байроновскаго озлобленія, отъ его безпощадной жестокости. Впрочемъ, и сердце Пушкина, мягкое и любящее, было не байроновскаго склада—онъ могъ лишь «байронствовать», но не могъ перевоплотиться въ Байрона. Даже тогда, когда онъ самъ считалъ себя послѣдователемъ Байрона, онъ, на самомъ дѣлѣ, шелъ за Шатобріаномъ и его Рене. Стоитъ сравнить элегію Пушкина «Погасло дневное свѣтило», которую онъ самъ назвалъ «подражаніемъ Байрону», съ прообразомъ ея,—«прощальной пѣсней» Чайльдъ-Гарольда,—и мы сразу увидимъ, какъ далекъ былъ Пушкинъ отъ Байрона, даже въ разгаръ его увлеченія англійскимъ поэтомъ.

Пушкинъ и Байронъ.

«Погасло дневное свѣтило» и «Пѣснь Чайльдъ-Гарольда».

Произведеніе Пушкина проникнуто чувствомъ тихой грусти: прощаясь съ родиной, онъ весь во власти «воспоминаній прошлаго»; вокругъ него летаютъ мечты, въ глазахъ его «родились слезы вновь»; онъ жалуется, что «отцвѣла его младость», и покидаетъ онъ родину съ «глубокими ранами любви». Не такъ прощается со своею родиной герой Байрона,—онъ прерываетъ все съ прошлымъ, воспоминаньямъ онъ не даетъ воли надъ собой, онъ не жалѣетъ о дняхъ счастья въ родной сторонѣ, ему не о комъ «сронить ни единой слезы»,—«смѣясь», онъ покидалъ свой край родной... Это смѣхъ недобрый, жесткій,—и тяжело дѣлается отъ него на душѣ. Только маленькій пажикъ Чайльдъ-Гарольда, съ его искреннимъ плачемъ, смягчаетъ это холодное прощаніе. И, право, нашъ Пушкинъ ближе по духу къ этому пажику, чѣмъ къ его господину—Чайльдъ-Гарольду-Байрону.

Въ 1821 году окончилъ Пушкинъ поэму: «*Кавказскій Плѣнникъ*».

«Кавказскій Плѣнникъ» и «байронизмъ» этой поэмы.

Это произведеніе тѣсно связано съ жизнью Пушкина. И опять-таки въ этомъ произведеніи специфически-байроновскаго очень немного: нѣтъ тутъ ничего «мрачнаго, богатырскаго, сильнаго»[1])—нѣтъ и слѣда энергіи байроновскихъ героевъ: никогда Байронъ и его герои «подъ бурей» не поникали «томною главой»—бури дѣйствовали на нихъ возбуждающе. Въ словахъ «посвященія» къ «Кавказскому Плѣннику»: «Когда я погибалъ, безвинный, безотрадный»—слышится жалоба, чуждая байроновской поэзіи...

Далѣе говорится о желанномъ успокоеніи на лонѣ дружбы:

«... другъ друга мы любили
И бури надо мной свирѣпость утомили—
Я въ мирной пристани боговъ благословилъ.

---

[1]) Такими словами Пушкинъ въ одномъ письмѣ опредѣлилъ сущность байронизма.

Байронъ, въ періодъ расцвѣта своего творчества, никогда бы не благословилъ «мирной пристани»,—онъ былъ, по собственному признанію, «врагомъ покоя»: онъ жаждалъ борьбы, гоненія судьбы ему были нужны, такъ какъ они воспламеняли его энергію.

Характеристика героя.

Все поведеніе пушкинскаго героя, съ начала его прибытія на Кавказъ до бѣгства оттуда, подтверждаетъ его признаніе, что онъ «вянетъ жертвою страстей», «безъ упованья, безъ желаній». Онъ живетъ прошлымъ,—слушая черкешенку.

«Онъ забывался: въ немъ тѣснились
Воспоминанья прошлыхъ дней.

«Слезы» катятся изъ его глазъ, такъ какъ на родинѣ осталось то существо, въ которое онъ былъ безнадежно влюбленъ. Отъ этой неудачной любви онъ «гаснетъ, какъ пламень дымный». Онъ хочетъ умереть «забытымъ, одинокимъ», «съ воспоминаніями, грустью и слезами». Итакъ, герой Пушкина—юноша, только «напустившій» на себя холодъ душевный, но на дѣлѣ сохранившій и теплыя чувства, и надежды—онъ связанъ съ прошлымъ; «грусть», «слезы», «мечты»—все это знакомо ему; покоя онъ жаждетъ, а борьбы страшится.

Автобіографическое значеніе поэмы.

Стоитъ сравнить этотъ образъ съ тѣмъ, который вырисовывается изъ элегій: «Погасло дневное свѣтило», «Я пережилъ свои желанья»—и мы убѣдимся, что герой поэмы—отраженіе личности самого поэта, котораго своимъ сѣрымъ крыломъ коснулась «міровая скорбь». Это—юноша, покинутый вѣтреными друзьями шумной юности,—юноша, еще привязанный къ воспоминаніямъ прошлаго, потому тоскующій,—юноша, у котораго мягкое сердце, но мало энергіи, который легко изнемогаетъ въ борьбѣ, но легко и ободряется.

«Байронизмъ» въ чертахъ героя.

Итакъ, въ образѣ героя нѣтъ ничего схожаго съ героями Байрона. Если есть въ немъ черты байронизма, то они лишь искусственно привязаны къ его облику. «*Грозное* страданіе», «*бурная* жизнь», т. е., тѣ «богатырскія», сильныя черты, которыя казались Пушкину характерными для поэзіи Байрона,—совсѣмъ не вяжутся съ образомъ плѣнника. Такимъ же неудачнымъ наслоеніемъ «байронизма» въ поэмѣ оказалась любовь къ «свободѣ»... Съ призракомъ свободы (и чтобы позабыть неудачную любовь?) онъ ѣдетъ на Кавказъ... Зачѣмъ? Чтобы убивать горцевъ?.. Но при чемъ же тогда «призракъ свободы»? Или герой Пушкина хотѣлъ «опроститься», жить съ горцами и дѣлить съ этими «свободными» сынами ихъ радости и печали? но тогда зачѣмъ же бѣжать отъ нихъ? и куда бѣжать?

«Гордое, одинокое страданіе»—тоже черта байроническая,—черта, которую мы находимъ и у пушкинскаго героя,—

«Таилъ въ молчаньи онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на челѣ его высокомъ
Не измѣнялось ничего.

Но и эта черта недолго удержалась за нимъ: у него, оказывается, и слезы градомъ льются; въ порывѣ восторга онъ даже «вопитъ»... Такимъ

образомъ, глубокаго вліянія Байронъ не имѣлъ на созданіе героя «Кавказскаго Плѣнника». Слѣдовательно, если Пушкинъ и увлекался въ это время произведеніями британскаго поэта, то увлеченіе это его не поработило,—онъ оставался самимъ собою, чуждымъ байроновской энергіи, далекимъ отъ гордости и титаническаго «эготизма».

Вліяніе «Рене».

Гораздо ближе и герои Пушкина, и самъ онъ подходятъ къ Шатобріану. Этого французскаго писателя Пушкинъ зналъ еще до Байрона, и помнитъ его тогда, когда давно уже пересталъ говорить о Байронѣ: въ 1837 г. Шатобріана онъ называетъ «первымъ изъ современныхъ писателей, учителемъ всего пишущаго поколѣнія». Герой Шатобріана—совершенный «Кавказскій Плѣнникъ»: онъ не возмущается, не ненавидитъ, не мститъ,—онъ жалуется, тоскуетъ, такъ какъ онъ—жертва, а не боецъ. Глубокая меланхолія,—вотъ, чувство, которымъ онъ живетъ. Онъ—юноша «sans force et sans vertu», бросившій родину вслѣдствіе несчастной любви; среди цивилизованныхъ людей ему мало мѣста съ его безмѣрнымъ эгоизмомъ. Рене бѣжитъ къ дикарямъ, но тоска, грусть слѣдуютъ за нимъ по пятамъ; теплая, самоотверженная любовь дикарки не вытѣсняетъ изъ его сердца думъ о той женщинѣ, которая осталась на родинѣ.

Героини поэмы Пушкина и повѣстей Шатобріана.

Героини обѣихъ повѣстей Шатобріана («René», «Atala») напоминаютъ черкешенку изъ «Кавказскаго Плѣнника»: Atala, влюбленная въ плѣнника, появляется къ нему ночью, и съ тѣхъ поръ постоянно ходитъ тайкомъ къ юношѣ и ведетъ съ нимъ долгія бесѣды о любви. Потомъ она освобождаетъ его изъ плѣна и умираетъ въ борьбѣ съ своею любовью. Другая героиня Celuta, отдавшая всю жизнь Рене, услышала отъ него признаніе, что сердце его занято думой о другой женщинѣ; Celuta, потерявъ Рене, бросается въ рѣку.

Пушкинъ, Шатобріанъ и Байронъ.

Такимъ образомъ, говоря о настроеніяхъ «міровой скорби», которыя овладѣли творчествомъ Пушкина, мы должны признать, что онъ одинаково увлекался и Шатобріаномъ, и Байрономъ, хотя вліяніе перваго было болѣе сильнымъ, *органическимъ*, такъ какъ коренилось въ свойствахъ души самого Пушкина.

Отношеніе Пушкина къ поэмѣ.

Самъ Пушкинъ очень строго отнесся къ своей поэмѣ вскорѣ послѣ ея окончанія. Онъ говоритъ въ одномъ письмѣ, что въ поэмѣ пытался создать «характерный типъ» своего времени. «Я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка» [1]), но онъ признавалъ, что нарисовать «характеръ» ему не удалось. Тѣмъ не менѣе, по его словамъ, онъ любилъ свою поэму, такъ какъ въ ней были «стихи его сердца».

---

[1]) Элегія: «Я пережилъ свои желанія», написанная черезъ два дня послѣ окончанія «Кавказскаго Плѣнника», прекрасно рисуетъ это настроеніе.

Отношеніе критики.

Критика не была такъ разборчива, какъ самъ авторъ. Если недостатки характера героя были замѣчены нѣкоторыми критиками, то они превознесли умѣніе поэта рисовать картины кавказской природы,—тотъ couleur locale, который въ этомъ произведеніи былъ введенъ, какъ художественный пріемъ...

Кромѣ того, критика совершенно справедливо оцѣнила бо́льшую содержательность этого произведенія, бо́льшую идейность, сравнительно съ «Русланомъ и Людмилой». Здѣсь была усмотрѣна попытка психолога разобраться въ душѣ «героя времени». Здѣсь были и настроенія болѣе глубокія: «трогательное уныніе, болѣе чувства, болѣе силы, болѣе возвышенной поэзіи»,—какъ выразился одинъ критикъ.

Критика о вліяніи Байрона.

Единодушнымъ хоромъ критика современниковъ признала, что на поэмѣ сказалось вліяніе Байрона: кн. Вяземскій указалъ на Чайльдъ-Гарольда, какъ на образецъ пушкинской поэмы. Характеры пушкинскихъ героевъ показались русскимъ критикамъ «чужеземцами-эмигрантами, переселившимися изъ байронова міра». На разные лады повторяетъ русская критика свои мнѣнія о «байронизмѣ» Пушкина, и еще въ 40-хъ годахъ Н. Полевой утверждалъ, что «Байронъ возобладалъ совершенно поэтическою душою Пушкина и это владычество на много времени лишило нашего поэта собственныхъ его вдохновеній». «Кавказскій Плѣнникъ», по его мнѣнію, былъ рѣшительнымъ сколкомъ съ того лица, которое въ исполинскихъ чертахъ, «грознымъ привидѣніемъ пролетѣло въ поэзіи Байрона». Эти категорическія утвержденія упрочили въ исторіи русской литературы ходячее мнѣніе о «байронизмѣ» Пушкина.

Тщетно нѣкоторые критики указывали на несходство Пушкина и Байрона, на самостоятельность русскаго генія (Булгаринъ, Фарнгагенъ-фонъ-Энзе, Надеждинъ, Бѣлинскій, Чернышевскій, Катковъ, Добролюбовъ); мнѣніе о полной подчиненности Пушкина Байрону,—мнѣніе, невѣрное вслѣдствіе своей односторонности, дожило до нашихъ дней.

Исторія созданія героя этой поэмы.

Образъ «Кавказскаго Плѣнника» складывался у Пушкина, очевидно, тогда, когда онъ еще ѣхалъ на югъ «въ ссылку»; Кавказъ, куда онъ пріѣхалъ съ Раевскими, подсказалъ для его картины фонъ; знакомство съ Байрономъ (въ семьѣ Раевскихъ) наложило на готовый образъ нѣсколько невѣрныхъ, чуждыхъ ему, чертъ. Когда поэма была написана, настроенія Пушкина уже далеко разошлись съ нею: оттого она ему не нравилась, какъ только была окончена.

«Бахчисарайскій Фонтанъ».

Подъ впечатлѣніемъ Крыма, его природы и преданій, написалъ Пушкинъ вторую свою поэму: «*Бахчисарайскій Фонтанъ*».

Вліяніе Байрона.

Въ этой поэмѣ вліяніе Байрона сказалось въ попыткѣ заимствовать у англійскаго писателя манеру изображать южную природу, восточную жизнь,—словомъ, couleur locale и couleur éthnografique. «Слогъ восточный, пишетъ Пушкинъ, былъ для меня образцомъ, сколько возможно намъ, благоразумнымъ, холоднымъ европейцамъ. Европеецъ и въ употребленіи восточной роскоши долженъ сохранять вкусъ и взоръ европейца. Вотъ почему Байронъ такъ прелестенъ въ «Гяурѣ» и въ «Абидосской не-

вѣстѣ». «Бахчисарайскій Фонтанъ», говоритъ Пушкинъ, отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ». Дальше этихъ воздѣйствій на *манеру письма* вліянія Байрона не простирались,—ни одинъ изъ героевъ этой поэмы не можетъ быть отнесенъ къ «байроническимъ», ни одинъ не отличается даже чертами «Кавказскаго Плѣнника». Впрочемъ, современники поэта умудрились увидѣть черты байронизма въ образѣ Хана-Гирея, который послѣ смерти Маріи и казни Заремы, сдѣлался мрачнымъ, и въ то же время, разочарованнымъ и тоскующимъ... Когда ему приходилось «въ буряхъ боевыхъ» носиться по бранному полю, «мрачнымъ» и «кровожаднымъ», иногда «безотрадный пламень» вспыхивалъ въ его сердцѣ и дѣлалъ его вдругъ безсильнымъ,—сабля, поднятая въ пылу битвы, оставалась тогда неподвижной, и могучій Гирей дѣлался слабѣе ребенка. Только упорное желаніе связать Пушкина съ Байрономъ могло находить эту поэму «байронической» *по духу*. Герой поэмы.

Критика съ восторгомъ привѣтствовала это произведеніе Пушкина,—всѣ были поражены удивительной картинностью произведенія, ея гармоническимъ стихомъ. Герои поэмы, Гирей и Зарема, показались нѣкоторымъ критикамъ до того близкими къ героямъ Байрона, что одинъ критикъ утверждалъ, будто «Ханъ-Гирей составленъ по героямъ Байрона настолько чувствительно», что «самыя движенія Гирея, самыя положенія подражательны». Гораздо справедливѣе были другія указанія на то, что въ этой поэмѣ только въ «манерѣ письма» Пушкинъ слѣдовалъ за англійскимъ писателемъ. Отношеніе критики.

Гораздо больше нареканій въ русской критикѣ вызвало «предисловіе» къ пушкинской поэмѣ, написанное кн. Вяземскимъ и представляющее собою защиту романтизма противъ нападенія классиковъ. Защита была не изъ сильныхъ, такъ какъ самъ Вяземскій не понималъ еще сущности «романтизма». Но онъ довольно вѣрно указалъ недостатки старой школы письма. Во всякомъ случаѣ, важно, что, начиная съ этого произведенія, Пушкинъ, такъ сказать, «оффиціально», признанъ былъ «романтикомъ». Предисловіе кн. Вяземскаго.

Это болѣе широкое и расплывчатое наименованіе вѣрнѣе подходитъ къ его поэмѣ, чѣмъ «байронизмъ». Романтизмъ этой поэмы.

Въ такой же мѣрѣ, не «байроническимъ», а «романтическимъ» произведеніемъ можетъ быть названа третья поэма его: «*Братья-разбойники*». Примыкая своимъ сюжетомъ къ «Шильонскому узнику» Байрона (два брата заключены въ тюрьмѣ; болѣзнь и смерть младшаго на глазахъ у старшаго), произведеніе это, въ чертахъ героевъ, не имѣетъ ничего специфически-байроническаго. Какъ и въ Ханъ-Гиреѣ, такъ и въ разбойникахъ, герояхъ этой третьей поэмы,—изображены личности крупныя, сильныя въ «романтическомъ вкусѣ»,—но «міровой скорби» нѣтъ въ ихъ настроеніяхъ. «Братья-разбойники».

Всѣ эти поэмы, сравнительно съ «Русланомъ и Людмилой», представляютъ явленія, болѣе сложныя, въ литературномъ отношеніи. Въ первой поэмѣ Пушкина нѣтъ ни разработки «характеровъ» героя, нѣтъ драматизма, нѣтъ картинъ природы. Все это по- Сравненіе этихъ поэмъ съ «Русланомъ и Людмилой».

является лишь въ указанныхъ трехъ произведеніяхъ. «Кавказскій Плѣнникъ» еще относится къ субъективному творчеству, такъ какъ Пушкинъ *свои* настроенія изобразилъ въ своемъ героѣ; остальныя поэмы «объективны» по манерѣ письма; причемъ особой драматичностью отличается «Бахчисарайскій Фонтанъ»,—сцена появленія Заремы въ комнатѣ Маріи принадлежитъ къ первымъ удачнымъ опытамъ Пушкина въ драматическомъ родѣ. Вмѣсто пустой, шаловливой сказки («Русланъ и Людмила») получились первые психологическіе очерки, указывающіе на быстрый ростъ художественныхъ интересовъ Пушкина.

Лирическое творчество на югѣ.

Лирическое творчество Пушкина, за время пребыванія его на югѣ, отличается разнообразіемъ и пестротой. Кромѣ указанныхъ («Погасло дневное свѣтило», «Я пережилъ свои желанія», прологъ къ «Кавказскому Плѣннику»), въ другихъ стихотвореніяхъ мы не найдемъ слѣдовъ «міровой тоски»,—напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ свидѣтельствуютъ о душевномъ спокойствіи поэта, — такъ, въ стихотвореніи «Чаадаеву» поэтъ прямо говоритъ, что въ его—

«Чаадаеву».

«...сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь, и тишина.

Оставивъ шумъ и суету культурной жизни, онъ теперь узналъ «и трудъ, и вдохновенье». Въ другомъ посланіи къ «Чаадаеву», противорѣча предисловію къ «Кавказскому Плѣннику», онъ говоритъ:

«Къ Чаадаеву».

«Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ.
Для сердца новую вкушаю тишину,—
Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.

Музы, «богини мира», явились теперь къ нему. Либеральныя настроенія его отразились въ немногихъ произведеніяхъ [1]). Много стихотвореній посвящено Крыму и его природѣ [2]); немало было написано имъ стихотвореній, отражающихъ его тогдашнія сердечныя увлеченія [3]).

«Наполеонъ» въ лирикѣ этого періода.

Любопытны стихотворенія этой эпохи, посвященныя Наполеону [4]). Еще недавно французскій императоръ казался Пушкину

---

[1]) «Кинжалъ», «Отрывокъ».

[2]) «Нереида», «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», «Бахчисарайскому Фонтану», «Желаніе», «Въ Юрзуфѣ бѣдный мусульманъ», «Таврида».

[3]) «Мой другъ, забыты мной», «Элегія» («Простишь-ли мнѣ», «Ненастный день потухъ», «Ночь»)

[4]) «Наполеонъ», «Къ морю».

только «преступникомъ»—теперь, подъ вліяніемъ Байрона, онъ, въ сознаніи Пушкина, выросъ до размѣровъ «титана». Такимъ образомъ, прежде «поэзія міровой скорби» понята была Пушкинымъ только со стороны *разочарованія, унынія,*—въ результатѣ получился герой «Кавказскаго Плѣнника». Теперь эта поэзія повернулась къ Пушкину другой своей стороной—гордымъ сознаніемъ «личности» («эготизмъ»). Отсюда, изъ этого сознанія, вылилось нѣсколько стихотвореній, въ которыхъ чувствуется, что поэтъ ставитъ себя выше пошлой и мелочной толпы. Вліяніе Байрона (эготизмъ).

Особнякомъ стоятъ среди произведеній этой поры: «Пѣсня о Вѣщемъ Олегѣ» и «Демонъ».

Первое произведеніе, одно изъ лучшихъ произведеній Пушкина, по содержанію и по формѣ, является подражаніемъ «думѣ» Рылѣева: «Олегъ Вѣщій»,—стихотворенія, написаннаго раньше пушкинскаго и Пушкину извѣстнаго. Произведеніе Пушкина, въ ряду другихъ, совершенно одиноко по содержанію и по настроенію,—ясное доказательство того, что созданіе его не было результатомъ продолжительныхъ настроеній, или интересовъ, а было «случайнымъ» произведеніемъ, написаннымъ подъ впечатлѣніемъ нечаянно-блеснувшей идеи. «Пѣсня о Вѣщемъ Олегѣ».

Въ стихотвореніи «Демонъ» современники Пушкина увидѣли отраженіе личности А. Н. Раевскаго. Существуетъ разсказъ, что, познакомившись съ поэтомъ и желая подшутить надъ нимъ, Раевскій прикинулся всеотрицающимъ скептикомъ. Бесѣда съ нимъ произвела на поэта сильное впечатлѣніе и вылилась въ стихотвореніи «Демонъ». Самъ Пушкинъ предлагалъ иное толкованіе своему произведенію,—онъ предлагалъ видѣть въ немъ «олицетвореніе человѣческаго сомнѣнія», «олицетвореніе отрицанія», ссылаясь даже на Гёте, который «вѣчнаго врага человѣчества назвалъ духомъ отрицающимъ». Эта ссылка на Гёте, быть можетъ, указываетъ на литературное заимствованіе Пушкинымъ для своего произведенія нѣкоторыхъ чертъ отъ Мефистофеля. «Скептицизмомъ" самъ Пушкинъ забавлялся наканунѣ ссылки на сѣверъ: онъ писалъ письмо, что беретъ уроки «атеизма», отрицанія... Такимъ образомъ, произведеніе это, можетъ быть, въ равной мѣрѣ, литературнаго и автобіографическаго происхожденія; къ «байроническимъ» оно не можетъ быть отнесено, такъ въ немъ нѣтъ никакихъ типичныхъ чертъ байроновской поэзіи. «Демонъ», литературное и автобіографическое значеніе этого произведенія.

На югѣ началъ Пушкинъ писать «*Цыганъ*» и «*Евгенія Онѣгина*». Первое произведеніе, начатое въ 1823 г., окончено въ

1824 году (10 окт.), второе начато было въ 1822 и окончено въ 1831-омъ [1]).

Такимъ образомъ, обѣ поэмы писались въ одно время и окончаніе «Цыганъ» почти совпало съ окончаніемъ 3-ей главы «Онѣгина»,—поэтому, и поэма эта, и начало романа должны быть отнесены къ періоду творчества Пушкина на югѣ. Оба они любопытны для характеристики отношеній поэта къ «байронизму».

«Цыгане».

Поэма *Цыгане*, въ равной мѣрѣ, является отраженіемъ личной жизни поэта и литературныхъ вліяній. Наблюденія надъ жизнью полувосточнаго Кишинева, знакомство съ бытомъ бессарабскихъ цыганъ,—все это заставило Пушкина всмотрѣться въ то своеобразное мѣстное пониманіе «любви», которое было совершенно чуждо культурнаго человѣка [2]). Оказалось, что среди цыганъ сохранилась еще та свобода любовныхъ отношеній, которая носитъ всѣ черты первобытнаго общества и въ культурномъ обществѣ давно замѣнена цѣпью зависимостей,—отъ писанныхъ законовъ до условій свѣтскаго «приличія» включительно. Изъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ любовь, соединяющая мужчину и женщину, чувство самое эгоистическое. Пушкинъ выбралъ этотъ трудный вопросъ для провѣрки героя, зараженнаго ядомъ «міровой тоски»—врага культурной жизни, съ ея ложью... Мы видѣли, что всѣ «скорбники» (Рене, герои Байрона, герой «Кавказскаго Плѣнника») проклинаютъ культурную жизнь, всѣ прославляютъ жизнь дикарей... Выдержитъ-ли такой герой *всю* первобытную жизнь, со *всей* простотой ея быта, чистотой и свободой чисто-растительнаго и животнаго бытія? И герой поэмы «Цыгане» не выдержалъ испытанія. Одной ненависти къ культурѣ оказалось недостаточнымъ для того, чтобы сдѣлаться дикаремъ *во всемъ*. Выросшій въ атмосферѣ эгоизма и насилія, культурный человѣкъ несетъ съ собой всюду, съ прекрасными словами и мечтами—эгоизмъ и насиліе.

Любовь въ этой поэмѣ.

Культурный человѣкъ въ первобытномъ обществѣ.

История Алеко.

Какъ Рене, какъ нѣкоторые герои Байрона, какъ герой «Кавказскаго Плѣнника», Алеко бросаетъ городъ и цивилизованныхъ людей, разочарованный ихъ жизнью. Онъ отказался отъ всѣхъ условій ихъ жизни,—и объ этомъ не жалѣетъ. Молодой цыганкѣ Земфирѣ онъ говоритъ:

---

[1]) 1-ая глава начата 28 мая 1822 г.; 2-ая окончена 8 дек. 1823 г.; 3-ья—2 октября 1824 г.; 4-ая—въ январѣ 1825 г.; 5-ая въ 1825—6 г.; 6-ая 1826 г.; 7-ая въ 1827—8 г.; 8-ая глава—въ 1830—31 г.

[2]) Этотъ интересъ Пушкина къ мѣстному пониманію «любви» выразился также въ стихахъ: «Черная Шаль», «Рѣжь меня, жги меня».

«О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!—
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главу предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей.

Ему ненавистно все въ брошенной имъ жизни,—жизнь цыганъ его плѣняетъ, и онъ мечтаетъ, что сынъ его, выросши дикаремъ, не будетъ никогда знать:

«...нѣги просвѣщенья
И пышной суеты наукъ...

зато онъ будетъ:

«безпеченъ, здравъ и воленъ,
Не будетъ вѣдать ложныхъ нуждъ;
Онъ будетъ жребіемъ доволенъ,
Напрасныхъ угрызеній чуждъ.

Алеко «опростился», сдѣлался настоящимъ цыганомъ, водитъ ручного медвѣдя и этимъ зарабатываетъ пропитаніе. Но онъ не слился съ этой первобытной жизнью: какъ Рене, онъ временами тоскуетъ: Алеко-цыганъ.

«Уныло юноша глядѣлъ
На опустѣлую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себѣ не смѣлъ.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ—вольный житель міра,
И солнце весело надъ нимъ
Полуденной красою блещетъ.
Что жъ сердце юноши трепещетъ?
Какой заботой онъ томимъ?

Но стоило ему убѣдиться, что его подруга Земфира ему измѣнила,— въ немъ проснулся прежній эгоистъ, выросшій въ условіяхъ культурной «несвободной» жизни. Онъ убиваетъ измѣнницу-жену и ея любовника. Таборъ цыганскій бросаетъ его, и, на прощанье, старый цыганъ, отецъ убитой Земфиры, говоритъ ему знаменательныя слова: Эгоизмъ его. Отношеніе къ нему цыганъ.

«Оставь насъ, *гордый человѣкъ*!...
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ—оставь же насъ.
Прощай! да будетъ миръ съ тобою!

Развѣнчиваніе байронизма въ лицѣ Алеко.

Въ этихъ словахъ Пушкинъ указалъ полную несостоятельность «байроническихъ героевъ»—«эгоистовъ», которые слишкомъ живутъ *собой* и *для себя*[1]). Этихъ героевъ Пушкинъ теперь развѣнчиваетъ, въ характеристикѣ, хотя бы, поэмъ Байрона: «Гяуръ» и «Донъ-Жуанъ»—въ нихъ, по его словамъ:—

«...отразился вѣкъ.
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Въ этихъ словахъ,—вся характеристика Алеко и ясное раскрытіе новыхъ отношеній поэта къ байронизму,—въ поэзіи Байрона увидѣлъ теперь Пушкинъ только «безнадежный эгоизмъ».

Алеко развѣнчанъ Пушкинымъ: съ него смѣло сдернута маска, и онъ стоитъ передъ нами безъ всякихъ прикрасъ, наказанный и униженный.

Отношеніе Байрона къ своимъ героямъ.

Байронъ никогда не развѣнчивалъ своихъ героевъ, такъ какъ они—его любимыя созданья, выношенныя на его сердцѣ, вскормленныя его кровью, воодушевленныя его духомъ. У него сюжетъ, положенный въ основу поэмы «Цыганъ», конечно, имѣлъ бы другой конецъ... Жаль, что въ своихъ, наиболѣе типичныхъ, поэмахъ онъ никогда не подвергалъ своихъ героевъ такому испытанію, какому рискнулъ подвергнуть своего Алеко Пушкинъ.

У Байрона герой, проклинающій людей, съ ихъ суетой, съ ихъ цивилизаціей, бросается на лоно природы, и, если духъ его не сливается всецѣло съ жизнью природы, такъ какъ нигдѣ не умиротворяется,—то все таки никогда природа эта не становилась ему на дорогѣ въ видѣ той неумолимой, суровой силы, которая сломила Алеко.

Итакъ, Алеко—герой, который можетъ быть сопоставленъ съ героями Байрона, такъ какъ въ немъ чувствуется и энергія, и мрачность духа, оскорбленнаго въ борьбѣ съ людьми; въ немъ есть и манія величія, присущая истымъ созданіямъ байроновской фантазіи, но Алеко осужденъ Пушкинымъ,—онъ не окруженъ даже тѣмъ блѣднымъ ореоломъ мученичества, которое слабо мерцаетъ вокругъ чела «Кавказскаго Плѣнника». Алеко—уже не Пушкинъ, и байроническіе мотивы, звучащіе въ рѣчахъ героя «Цыганъ», не прошли сквозь сердце Пушкина,—онъ просто взялъ любопытный типъ, перенесъ его въ своеобразную обстановку и поставилъ въ столкновеніе съ новой интригой. Здѣсь было чисто-объективное творчество, характеризующее въ литературной жизни Пушкина переходъ къ *періоду эпическаго творчества.*

Литературное вліяніе на эту поэму Байрона и Шатобріана.

Литературныя вліянія, сказавшіяся въ созданіи этой поэмы, шли со стороны Байрона и Шатобріана: первый помогъ поэту нарисовать «типъ», помогъ изобразить couleur locale, далъ самую форму поэмы, перебивающуюся діалогами. Второй далъ нѣкоторыя детали въ обрисовкѣ героевъ, и, быть можетъ, помогъ разобраться въ душѣ героя.

---

[1]) См. выше стр. 7, подр. прим. 1, слова Гёте объ «апостолахъ свободы».

Мы видѣли уже, что за Алеко, какъ за Рене, тоска слѣдуетъ по пятамъ—это ихъ характерная черта. Затѣмъ въ романѣ Шатобріана встрѣчаемъ мы любопытный образъ патріарха индѣйскаго племени—Chaktas. Онъ знаетъ жизнь, съ ея бѣдами и печалями, много видѣлъ на вѣку,—онъ является судьей эгоизма и сердечной пустоты юноши Рене. Если Chaktas не произноситъ такихъ энергичныхъ укоровъ, которые услышалъ Алеко отъ стараго цыгана,—тѣмъ не менѣе, зависимость пушкинскаго героя отъ шатобріановскаго вполнѣ возможна. Сходство между произведеніемъ Пушкина и Шатобріана простирается до тожества замысла,—оба писателя сознательно развѣнчиваютъ своихъ героевъ, наказывая ихъ за пустоту души.

Отношеніе критики.

Русская критика и публика восторженно приняла новое произведеніе Пушкина. Всѣхъ плѣнили описанія цыганскаго быта, заинтересовалъ и драматизмъ поэмы; отмѣтила современная критика и самобытность Пушкина въ отношеніи къ герою, отмѣтила зависимость отъ Байрона лишь въ «манерѣ письма». Критикъ «Московскаго Вѣстника» указалъ, что съ «Цыганъ» начинается новый, третій періодъ въ творчествѣ Пушкина, «русско-пушкинскій» (первый періодъ онъ назвалъ «итальяно-французскимъ», второй—«байроническимъ»). Совершенно справедливо отмѣтилъ критикъ: 1) наклонность Пушкина къ драматическому творчеству, 2) «соотвѣтственность съ своимъ временемъ», т. е., способность изображать «типичныя черты современности» и—3) стремленіе къ «народности».

Если въ «Цыганахъ» Пушкинъ развѣнчалъ байроническій типъ въ обстановкѣ бессарабскихъ степей, то въ «Евгеніи Онѣгинѣ» поэтъ осудилъ его въ другой обстановкѣ—въ шумѣ столичной жизни и въ тиши русской деревни.

«Евгеній Онѣгинъ».

Евгеній Онѣгинъ имѣетъ большое значеніе не только въ исторіи русскаго романа, но и какъ произведеніе, носящее автобіографическій характеръ. Образъ героя сложился въ воображеніи автора тогда, когда къ байронизму онъ относился уже вполнѣ отрицательно. Но въ памяти его свѣжи были еще воспоминанія о своемъ недавнемъ увлеченіи англійскимъ поэтомъ. И вотъ, по признанію Пушкина, онъ пишетъ «*сатирическое* произведеніе», въ которомъ задается цѣлью высмѣять «москвичей въ гарольдовыхъ плащахъ», т. е., современныхъ ему юношей, корчившихъ изъ себя разочарованныхъ байроническихъ героевъ. Самъ Пушкинъ грѣшилъ этимъ еще недавно, и не скрылъ этой слабости въ своемъ романѣ.

Первоначальное отношеніе Пушкина къ герою.

Поэмы Байрона: «Донъ-Жуанъ» и «Беппо», въ которыхъ и къ героямъ, и къ жизни авторъ относится съ легкимъ юморомъ, задали тонъ первымъ главамъ пушкинскаго романа,—въ началѣ своего произведенія Пушкинъ такъ же подтруниваетъ надъ Онѣгинымъ, быть можетъ, не предвидя элегической развязки романа,—вѣдь, самъ онъ впослѣдствіи указывалъ, что въ началѣ «даль свободнаго романа» онъ «сквозь магическій кристаллъ еще неясно различалъ».

Байроническій «типъ» въ «Евгеніи Онѣгинѣ».

Если въ своихъ двухъ поэмахъ: «Кавказскій Плѣнникъ» и «Цыгане» онъ далъ трагическую *«развязку»* въ жизни русскаго «скорбника», то въ романѣ «Евгеній Онѣгинъ» онъ показалъ намъ *всю* жизнь этого типа, отъ дѣтства до того момента, когда въ жизни его наступаетъ крушеніе, «развязка»... Если въ двухъ первыхъ произведеніяхъ указаны лишь мелькомъ причины «разочарованія» героевъ, то здѣсь онъ даетъ намъ полный психологическій очеркъ развитія этого чувства въ сердцѣ русскаго «байрониста».

Начало романа.

Начинаетъ Пушкинъ свой романъ съ того, что сразу вводитъ читателя въ глубь холоднаго, эгоистическаго сердца героя, который торопится въ деревню за наслѣдствомъ къ умирающему дядѣ. Этотъ отталкивающій образъ поэтъ такъ скрашиваетъ своимъ свѣтлымъ, добродушнымъ юморомъ, что отнимаетъ у читателя всю силу негодованія. Затѣмъ онъ раскрываетъ намъ, какъ сложился характеръ этого юноши. Онъ выросъ безъ любви, не зналъ родительской ласки, на рукахъ наемныхъ воспитателей... Его готовили къ свѣтской жизни, ему прививали только свѣтскія добродѣтели—знаніе французскаго языка и хорошихъ манеръ, умѣнье вести легкую, салонную болтовню. «Ребенокъ былъ рѣзовъ, но *«милъ»*—таково первое мнѣніе «свѣта» о героѣ: мнѣніе, не идущее вглубь его сердца, а касающееся только его внѣшнихъ качествъ.

Воспитаніе Онѣгина.

«Свѣтъ».

Когда онъ вступилъ въ «свѣтъ», онъ съ избыткомъ зналъ все, что требовалось условіями тогдашней «свѣтской» жизни:

«Онъ по-французски совершенно
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ
И кланялся непринужденно...
Чего жъ вамъ больше?

И свѣтъ вторично высказался въ его пользу: «онъ уменъ и очень *милъ*». Опять слово «*милъ*», и опять—ни слова объ его сердцѣ—его не нужно было для свѣтской жизни. Въ «свѣтѣ» Онѣгинъ сумѣлъ себя поставить такъ, что его вездѣ «замѣтили»—и въ кругу «золотой» молодежи, и среди «серьезныхъ» людей свѣта, ведущихъ за карточнымъ столомъ «важные споры», и въ кругу свѣтскихъ дамъ... Отдавая дань вѣку, Онѣгинъ интересовался модной тогда политической экономіей, и зналъ изъ сочиненій Адама Смита нѣсколько «ходячихъ истинъ». Это было «модно»,—это было признакомъ «хорошаго тона»...

Содержаніе жизни Онѣгина.

Но не это заполняло его жизнь,—ловля женскихъ сердецъ, вотъ, чѣмъ особенно прилежно занялся Онѣгинъ. И здѣсь ждалъ его успѣхъ. Пушкинъ помогаетъ намъ понять, откуда Онѣгинъ получилъ свои знанія:

«Любви насъ не природа учитъ...
...Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ
И узнаемъ ее въ *романѣ...*
Онѣгинъ это испыталъ.

И Пушкинъ указываетъ, какой романическій герой былъ образцомъ Онѣгина,—это ричардсоновскій Ловласъ, «побѣдитель женскихъ сердецъ». Цѣль его жизни—«покорять женскія сердца»; для этого онъ выработалъ себѣ опредѣленную тактику, изучилъ психологію женскаго сердца: легкія пебѣды ему неинтересны; онъ любилъ «трудную борьбу»,—это для него своеобразный «спортъ»...

Причины его тоски.

Жизнь Онѣгина катилась, безоблачная и спокойная, среди всевозможныхъ удовольствій—театры, балы, обѣды въ модномъ ресторанѣ, заботы о наружности и костюмѣ заполняли его пустое и пошлое существованіе. Судьба надѣлила Онѣгина «умомъ» и «сердцемъ», не давъ ему ни образованія, ни воспитанія, не указавъ исхода его душевнымъ силамъ. Отъ такого несоотвѣтствія богатства силъ со скудостью содержанія души произошелъ въ немъ разладъ,—и немудрено, что онъ скоро утомился и заскучалъ:

«Рано чувства въ немъ остыли,
Ему наскучилъ свѣта шумъ,
Красавицы недолго были
Предметъ его привычныхъ думъ:
Измѣны утомить успѣли,
Друзья и дружба надоѣли...
И, хоть онъ былъ повѣса пылкій,
Но разлюбилъ онъ, наконецъ,
И брань, и саблю, и свинецъ.

И вотъ, имъ овладѣлъ «англійскій сплинъ», или русская хандра—да къ тому же и мода въ высшемъ свѣтѣ перемѣнилась, и «слава Ловласа обветшала». Тогда онъ подражаніе Ловласу смѣнилъ на подражаніе Чайльдъ-Гарольду,—сталъ «корчить чудака». «Какъ Childe Harold, угрюмый, томный, въ гостиныхъ появлялся онъ»...

Сердце было пусто, умъ былъ празденъ. Онъ попытался заняться литературой, но упорный трудъ былъ ему несносенъ,—и онъ бросилъ перо. Взялся онъ за книгу, но и «читать» онъ не былъ пріученъ, къ тому же тогда, когда онъ извѣрился въ жизни,—не могъ онъ повѣрить книгѣ. «Читалъ, читалъ, а все безъ толку. Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ»... Свою «хандру» и «апатію»,—результатъ утомленія и пустоты душевной, онъ счелъ «разочарованностью» и охотно прикрылся, моднымъ тогда, плащомъ Чайльдъ-Гарольда. Недаромъ изъ всѣхъ книгъ онъ читалъ только творенія Байрона:

«Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно;
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Онѣгинъ былъ яркимъ представителемъ того «полуобразованія», которое такъ характерно было для тогдашняго русскаго общества. Умъ не позволилъ Онѣгину на всю жизнь слиться съ этимъ обществомъ, но искать цѣлей бытія внѣ этого общества онъ не умѣлъ. И, въ результатѣ, въ его лицѣ получился въ русской литературѣ первый образчикъ «лишняго человѣка».

Книга была отброшена, и Евгеній остался безпомощнымъ въ жизни, «безъ руля» и «безъ вѣтрилъ», съ «рѣзкимъ, охлажденнымъ умомъ», страннымъ мечтателемъ безъ цѣли жизни, угрюмымъ—съ жалобами на злобу слѣпой фортуны, съ презрѣніемъ къ людямъ, съ язвительными рѣчами...

Онъ чуть, было, не отправился путешествовать, но извѣстіе о смертельной болѣзни деревенскаго дяди вызвало его въ деревню.

Деревня.

Въ деревнѣ Онѣгинъ сначала интересовался новизной жизни, необычными для него красотами тихой природы; онъ заинтересовался, было, участью своихъ крѣпостныхъ, и облегчилъ ихъ существованіе,—«яремъ барщины старинной» замѣнивъ «легкимъ оброкомъ»,—но вскорѣ онъ и здѣсь заскучалъ и повелъ уединенную жизнь, мизантропіей отдаливъ отъ себя своихъ сосѣдей. Наивные деревенскіе жители въ оцѣнкѣ героя не были такъ снисходительны, какъ петербургскій «свѣтъ»—они признали Онѣгина и вольнодумцемъ («фармазонъ», т. е., франкъ-масонъ), и «неучемъ»...

Ленскій.

Въ это время въ сосѣднюю деревню пріѣхалъ Ленскій. Это былъ человѣкъ другого душевнаго склада, чѣмъ Онѣгинъ: воспитанникъ нѣмецкой идеалистической философіи («съ душою прямо геттингенской»),—поэтъ, душа котораго была воспламенена поэтическимъ огнемъ Шиллера и Гёте. Въ глушь русской провинціи привезъ онъ много страннаго:

«Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.

Онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ «прекраснодушныхъ» юношей, которыхъ много было тогда въ Германіи, и которые получили тамъ кличку: «die schöne Seele». Его сердце было чисто; онъ былъ полонъ вѣры въ искренность дружбы и чистоту любви. Онъ былъ мечтателемъ-мистикомъ, вѣрилъ въ сродство душъ, въ божественное призваніе избранныхъ вносить свѣтъ въ жизнь земли. Въ своихъ поэтическихъ опытахъ онъ воспѣвалъ только чистыя, возвышенныя чувства. И нравственный обликъ его, и мотивы его творчества удивительно напоминаютъ Жуковскаго:

Близость Ленскаго къ Жуковскому.

«Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы.
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лоно тишины
Лились его живыя слезы...
Онъ пѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ,
Безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ.

Подобно Жуковскому, онъ былъ неисправимымъ оптимистомъ, который не допускалъ возможности роптать на «Провидѣніе»—все разумно и все необходимо, что происходитъ. Думая о смерти, онъ не отворачивался отъ нея—онъ восклицалъ:

«...правъ судьбы законъ!—
Паду ли я стрѣлой пронзенный,
Иль мимо пролетитъ она—
Все благо: бдѣнія и сна
Приходитъ часъ опредѣленный:
Благословенъ и день заботъ,
Благословенъ и тьмы приходъ!

Ленскій сошелся съ Онѣгинымъ, хоть они были совсѣмъ непохожи другъ на друга: «волна и камень, ледъ и пламень»,—вотъ, какъ ихъ характеризуетъ поэтъ. Но они сдѣлались друзьями «отъ дѣлать нечего»—оттого, что только они одни были «культурными людьми» въ этой «деревенской глуши»,—они понимали другъ друга и не скучали вмѣстѣ. Онѣгинъ не вѣрилъ въ мечты Ленскаго, но его трогала наивная чистота юноши, и онъ щадилъ его вѣру, иногда удерживая себя отъ излишняго «скептицизма». «Дружба» Онѣгина и Ленскаго.

Ленскій ввелъ друга въ семью Лариныхъ: онъ съ дѣтства былъ влюбленъ въ ихъ младшую дочь Ольгу; ее онъ воспѣвалъ въ своихъ прочувствованныхъ стихахъ и ее хотѣлъ показать Онѣгину.

Ларины были простые, добродушные русскіе люди, которые жили тихой, растительной жизнью. Ларины.

«Они хранили въ жизни мирной
Привычки милой старины;
У нихъ на масляницѣ жирной
Водились русскіе блины,
Два раза въ годъ они говѣли,
Любили круглыя качели,
Подблюдны пѣсни, хороводъ...
Имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потребенъ...

Разсказъ о жизни Лариныхъ, праздникъ именинъ въ ихъ домѣ, деревенскій балъ въ этомъ тихомъ «дворянскомъ гнѣздѣ», типы помѣщиковъ-сосѣдей, отъѣздъ Лариныхъ изъ деревни въ Москву—все это прекрасныя, живыя картины русской дѣйствительности, написанныя Пушкинымъ въ добродушно-юмористическомъ тонѣ.

Когда Онѣгинъ знакомится съ Лариными, старика уже нѣтъ въ живыхъ: онъ «былъ простой и добрый баринъ», и краткая эпитафія на его памятникѣ прекрасно рисуетъ всю его жизнь, тихую, безпорывную: Ларинъ.

«Смиренный грѣшникъ, Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ.

Позднѣе Гоголь въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» напишетъ сходную идиллію изъ жизни захолустныхъ дворянъ, но, въ художественномъ

отношенiи, нѣсколько строчекъ эпитафiи, брошенныхъ вскользь Пушкинымъ, гораздо выше цѣлой повѣсти Гоголя, въ которой есть и каррикатурность, и тенденцiозность.

Ларина. Сама Ларина тоже простая женщина, когда-то бредившая романическими героями; выйдя противъ воли замужъ, она сперва потосковала, но потомъ свыклась съ новой жизнью и узнала тихое и вѣрное счастье.

«Привычка свыше намъ дана—
Замѣна счастiю она...

Ольга. У Лариной двѣ дочери. Одна—Ольга, простая, недалекая дѣвушка, живая и немного сентиментальная. Только фантазiя Ленскаго могла идеализировать эту дѣвушку, въ сущности, мало-оргинальную и мало-интересную. Пушкинъ говоритъ о ней—

«...любой романъ
Возьмите,—и найдете, вѣрно,
Ея портретъ: онъ очень милъ,
Я прежде самъ его любилъ,
Но надоѣлъ онъ мнѣ безмѣрно!..

Татьяна. Гораздо интереснѣе была старшая сестра Татьяна,—полная противоположность Ольгѣ и во внѣшности, и въ характерѣ. Она ребенкомъ еще жила въ родной семьѣ одиноко,—«казалась дѣвочкой чужой», дѣтскихъ игръ не любила и молча могла просиживать цѣлые дни у окна, погруженная въ мечты. Но, неподвижная и, повидимому, холодная, она жила сильной внутренней жизнью,—«страшные разсказы няни» сдѣлали ее фантазеркой, ребенкомъ «не отъ мiра сего».

Ея простонародный мистицизмъ. Чуждаясь наивныхъ деревенскихъ развлеченiй, хороводовъ и игръ, она зато всей душой отдалась народному мистицизму,—ея наклонность къ фантазированью облегчила ей это.

«Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины:
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказанiемъ луны.
Ее тревожили примѣты.
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствiя тѣснили грудь.
«...Вдругъ увидя
Младой двурогiй ликъ луны
На небѣ съ лѣвой стороны,
Она дрожала и блѣднѣла...
Что-жъ? тайну прелесть находила
И въ самомъ ужасѣ она:
Такъ насъ природа сотворила,
Къ противорѣчiю склонна.

От сказокъ няни она рано перешла къ романамъ.

Чтеніе романовъ.

«Они ей замѣняли все,—
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо...

Изъ фантазерки-дѣвочки она сдѣлалась «мечтательной дѣвушкой», которая жила въ своемъ особомъ мірѣ: она окружала себя героями своихъ излюбленныхъ романовъ, и чужда была деревенской дѣйствительности.

«Давно ея воображенье,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой.
Давно сердечное томленье
Тѣснило ей младую грудь.
Душа ждала кого-нибудь.

Встрѣча съ Онѣгинымъ.

Является Онѣгинъ. Въ толпѣ дикарей-помѣщиковъ онъ—слишкомъ крупная и оригинальная фигура—и Татьяна безъ труда увѣровала, что это и есть ея давно-жданный герой—у ней—

«...открылись очи,
Она сказала: это онъ!

Чувства ея, вызванныя этой встрѣчей.

И вотъ, она бросается къ своимъ давно-перечитаннымъ романамъ, чтобы опять бесѣдовать съ любимыми героями—

«Теперь, съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ.

Всѣ любимые ею романическіе герои—

«Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,—
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.

Себя она воображаетъ тоже героиней, подругой дорогихъ ей романическихъ героевъ—Клариссой [1]), Юліей [2]), Дельфиной [3]). Немудрено, что въ книгахъ она находитъ «*свой* тайный жаръ, *свои* мечты». Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ перечитанныхъ книгъ она сочиняетъ Онѣгину письмо, въ которомъ повторяетъ слова и даже фразы любовнаго письма Юліи къ С.-Прё.

Разговоръ съ няней о любви.

Разговоръ Татьяны съ няней передъ сочиненіемъ этого письма принадлежитъ къ изумительнымъ сценамъ, по своей художественности и психологической правдивости. Въ бесѣдѣ восторженной дѣвушки со старухой сталкивается простонародное воззрѣніе на любовь съ искусственно-приподнятымъ романическимъ чувствомъ; сталкиваются наивная старость и наивная юность.

---

[1]) Героиня романа Ричардсона «Кларисса Гарловъ» (См. выше мою «Исторію Словесности» ч. II, стр. 153).

[2]) Героиня романа Руссо «Новая Элоиза». См. выше «Исторію словесности». ч. II, стр. 154.

[3]) Героиня романа г-жи Сталь—«Дельфина».

Любовь Татьяны.

Поэтъ старается оправдать въ глазахъ читателей поступокъ Тани: съ нѣжнымъ чувствомъ умиленія склоняется онъ къ поэтическому образу своей героини и проситъ для нея снисхожденія. Она такъ чиста и такъ наивна. Въ ней нѣтъ ни тѣни кокетства, нѣтъ той лжи, которой вооружены свѣтскія красавицы—

«...въ милой простотѣ
Она не вѣдаетъ обмана
И вѣритъ избранной мечтѣ.

Она «любитъ безъ искусства»; «послушная» влеченью чувства, она довѣрчива; къ тому же она—

«...отъ небесъ одарена
Воображеніемъ мятежнымъ,
Умомъ и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ.
Ужели не простите ей
Вы легкомысліе страстей?

Отношеніе Онѣгина къ письму Татьяны.

Онѣгинъ былъ «тронутъ» посланіемъ Тани, но онъ «привычкѣ милой не далъ ходу»: его пугала перспектива связать свою свободу «бракомъ» и опуститься до растительной жизни провинціи—«прозой» пахнуло на него отъ семейнаго счастья съ наивной, провинціальной дѣвицей. Ея неопытностью воспользоваться онъ не захотѣлъ—слишкомъ «неинтересна» была для него, «опытнаго охотника», вся эта несложная интрига: для него, ученика Ловласа, «борьба» была слишкомъ легка; кромѣ того, вѣдь, онъ корчилъ въ это время Чайльдъ-Гарольда, а тотъ, какъ разъ, въ подобномъ случаѣ, отвергъ любовь героини, сказавъ:

«Флоранса! если бы сердце это
Я для любви не схоронилъ,
Тогда бъ, повѣрь, любовь поэта
Къ твоимъ ногамъ я положилъ,
Но ты не можешь быть моею—
У насъ различные пути! («Чайльдъ-Гарольдъ»)

Приблизительно то же сказалъ Онѣгинъ Татьянѣ при личномъ свиданьѣ. Только онъ прибавилъ еще нравоученіе въ духѣ тѣхъ, которыя расточалъ Грандисонъ [1]), любившій читать нравоученія тѣмъ «неопытнымъ» дѣвицамъ, которыя предлагали ему свою любовь:

«Учитесь властвовать собой!
Не всякій васъ, какъ я пойметъ,—
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ!

Не безъ юмора разсказываетъ Пушкинъ, какъ «проповѣдовалъ» Онѣгинъ, но онъ тутъ-же спѣшитъ добавить, что, въ этомъ случаѣ, онъ по-

---

[1]) Идеальный герой одного романа Ричардсона.

ступилъ «очень мило», онъ тутъ «явилъ души прямое благородство». Сама Татьяна впослѣдствіи, признавала, что въ этотъ «страшный часъ» онъ поступилъ «благородно». И, конечно, если онъ не любилъ Татьяны, онъ поступилъ прекрасно, но самъ Пушкинъ указываетъ, что онъ почти полюбилъ ее [1])... Онѣгинъ впослѣдствіи самъ говоритъ, что былъ наканунѣ этой любви: «привычкѣ милой не далъ ходу»—изъ эгоизма онъ убоялся потерять «свободу» и предпочелъ разыграть разочарованнаго Чайльдъ-Гарольда, разбивъ чистое и честное сердце Татьяны. Эта «игра» въ разочарованье была «ложью»,—она стоила счастья двухъ молодыхъ жизней, и потому вина Онѣгина велика.

Онъ пересталъ бывать у Лариныхъ, уединился у себя въ деревнѣ, глѣ и повелъ спокойное, эгоистическое существованіе, подражая въ образѣ жизни своему образцу—Байрону. Однажды Ленскій убѣдилъ его пріѣхать къ Ларинымъ на именины Татьяны, увѣривъ, что никакихъ гостей не будетъ. Онѣгинъ явился и былъ непріятно пораженъ при видѣ цѣлой кучи сосѣднихъ помѣщиковъ. Онѣгина взбѣсила перспектива сыграть въ ихъ глазахъ роль «жениха» и сдѣлаться предметомъ новыхъ сплетенъ и пересудовъ. Чтобы отомстить за обманъ, онъ рѣшился дразнить Ленскаго и сталъ ухаживать за Ольгой. Впечатлительный и довѣрчивый Ленскій увидѣлъ въ этомъ глубокое коварство Онѣгина и вызвалъ его на дуэль. Секундантомъ Ленскій выбралъ Зарѣцкаго, стараго бреттера. Этотъ вызовъ былъ неожиданностью для Онѣгина,—онъ сознавалъ, что былъ неправъ предъ Ленскимъ, но, выросшій въ чувствѣ страха передъ судомъ общества, онъ имѣлъ слабость бояться того, что̀ о немъ будутъ говорить его сосѣди, которыхъ въ душѣ онъ презиралъ.

Ссора съ Ленскимъ.

«И вотъ, общественное мнѣнье,
Пружина чести, нашъ кумиръ
И вотъ, на чемъ вертится міръ—»

—съ горечью восклицаетъ поэтъ.

«Дико свѣтская вражда
Боится ложнаго стыда!»

Дуэль состоялась, и Ленскій былъ убитъ. Онѣгинъ, мучимый совѣстью, оставилъ деревню и пустился странствовать «безъ цѣли», нигдѣ не находя себѣ мѣста... Пушкинъ даетъ указаніе, что кровавая исторія его съ Ленскимъ вылѣчила его отъ страсти слѣдовать «модѣ»,—онъ уже не корчилъ изъ себя ни романическаго героя, ни «космополита», ни «патріота», ни «квакера», ни «ханжу» (Пушкинъ перечисляетъ всѣ «моды», которыя пережило русское общество [2]) при императорѣ Александрѣ I). Онѣгинъ разъ навсегда сбросилъ съ себя модную мишуру лжи и сдѣлался тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, въ сущности, всегда—«добрымъ малымъ», какъ «цѣлый свѣтъ»... Страсть «маскироваться» прошла. Дорогой цѣной заплатилъ онъ за свое лѣченіе.

Смерть Ленскаго и судьба Онѣгина.

---

[1]) По крайней мѣрѣ, въ черновой рукописи есть строфа, въ которой говорится, что «скоро сталъ Евгеній, какъ Ленскій».

[2]) См. мою «Исторію русской Словесности», ч. II, 192—3.

Судьба Татьяны.

Между тѣмъ, и въ жизни Татьяны произошла перемѣна. Она не могла забыть Онѣгина, и, воспользовавшись его отъѣздомъ изъ деревни, пробралась въ его домъ и перечитала книги, имъ любимыя. Оказалось, онъ интересовался только Байрономъ, да романами, гдѣ выводились типы разочарованныхъ и озлобленныхъ людей.

Вчитавшись въ эти романы, Татьяна поняла, по какимъ рецептамъ жилъ ея Онѣгинъ, «чудакъ печальный и опасный». И, вотъ, Татьяна спрашиваетъ себя—

«Что же онъ? Ужели подражанье?
Ничтожный призракъ, иль еще—
Москвичъ, въ гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,—
Ужъ не пародія ли онъ?

Простая, деревенская барышня, доросшая до такого сознанія, поняла теперь лучше Онѣгина, но она не разлюбила его,—она простилась съ нимъ навсегда, полная сожалѣній, что счастье, столь близкое и возможное, не осуществилось потому, что «добрый малый» въ Онѣгинѣ былъ побѣжденъ «модою»... Вѣроятно, и въ сердцѣ Татьяны, послѣ первой ошибки, изсякли ея романическія мечты,—и она сумѣла стряхнуть съ себя вліяніе книгъ, книжныхъ чувствъ и книжныхъ идеаловъ. Ея умственный кругозоръ расширился: теперь «ей открылся міръ иной»—сознательнѣе и проще стала она относиться къ жизни.

Замужество Татьяны.

Уступая желанію матери, она вышла замужъ за пожилого князя, въ то время извѣстнаго и почтеннаго дѣятеля.

Встрѣча съ Онѣгинымъ.

Онѣгинъ встрѣтилъ ее въ Петербургѣ и былъ пораженъ перемѣной, съ ней происшедшей: вмѣсто наивной, мечтательной и восторженной барышни, передъ нимъ была спокойная, выдержанная великосвѣтская дама, закованная въ непроницаемую броню свѣтскихъ «приличій». Онѣгинъ влюбился въ нее безъ памяти,—теперь онъ никого уже не «корчилъ» изъ себя,— онъ былъ теперь просто «добрый малый», съ утомленнымъ, несчастнымъ сердцемъ... Онъ ничего не ждалъ для себя отъ своей любви, но онъ не смогъ справиться съ собой, написалъ Татьянѣ письмо, въ которомъ каждое слово было правдиво, и каждое было имъ выстрадано. Произошло послѣднее объясненіе героевъ.

Послѣдній разговоръ Татьяны съ Онѣгинымъ.

Татьяна сбросила свою маску «великосвѣтскаго тона»,—она предстала передъ Евгеніемъ простой, сердечной женщиной, у которой навѣки разбито сердце. Она призналась Онѣгину, что несчастна, призналась, что любитъ его, но заключила свою рѣчь словами:

«Я другому отдана
И буду вѣкъ ему вѣрна!

Такое глубокое пониманіе обязанностей жены освѣщаетъ высоко-нравственный образъ Татьяны. Эти двѣ строчки бросаютъ яркій свѣтъ на ея сердце—и все непонятное въ этой душѣ проясняется... Дикая и одинокая

дѣвочка въ родной семьѣ, Татьяна оттуда, изъ нѣдръ хорошей, простой русской семьи, вынесла свои семейные идеалы, и свято сохранила ихъ въ сутолокѣ интернаціональной столичной жизни.

За эту вѣрность мужу русская критика признала Татьяну «идеальнымъ образцомъ русской женщины». Конечно, странно утверждать, что Пушкинъ *хотѣлъ* изобразить идеальную героиню и создалъ Татьяну,—онъ просто рисовалъ русскую жизнь, съ одинаковой любовью относясь ко всѣмъ своимъ героямъ—и Онѣгину, и Ленскому, и Татьянѣ... Онъ изобразилъ на своихъ герояхъ, какое зло—та «ложь», которымъ жило русское общество, потерявшее связи съ русской родной основой. Татьянѣ нужно было разочароваться въ Онѣгинѣ, чтобы сумѣть воспитать въ своемъ сердцѣ зародыши той «правды», которые были вложены въ него вліяніями русской жизни. Татьяна—идеальный образъ русской женщины.

Историческое значеніе романа Пушкина велико—онъ попалъ въ руки русской публикѣ, которая дочитывала еще сентиментальныя повѣсти Карамзина, которая увлекалась романтическими героями Марлинскаго, а изображенія русской жизни видѣла въ произведеніяхъ писателей, въ родѣ Булгарина. Понятенъ тотъ восторгъ, съ которымъ русское общество встрѣчало каждую новую главу пушкинскаго романа. Въ прекрасныхъ стихахъ, въ перемежку съ лирическими отступленіями, нарисованы удивительно-художественно картины изъ русской жизни... Юморъ и элегія, романтизмъ и реализмъ, правда и мечта—все въ этомъ романѣ сплелось въ одну причудливую цѣпь... Отношеніе публики въ первымъ главамъ романа.

Описанія городской жизни Петербурга и Москвы, деревни (типы помѣщиковъ, семья Лариныхъ, зима, осень и весна въ деревнѣ),—все это было новшествомъ въ русской литературѣ—первымъ опытомъ нарисовать въ широкихъ предѣлахъ *поэзію русской прозы*... Никто до Пушкина не рискнулъ-бы изобразить, напримѣръ, сцену разговора Татьяны съ няней. Вѣдь въ такой бесѣдѣ было мало «интереснаго» для писателя, любящаго эффекты сентиментализма и романтизма,—только великій «поэтъ дѣйствительности» могъ понять красоту и поэзію этого маленькаго «неинтереснаго» эпизода. Нужно быть великимъ знатокомъ жизни и сердца человѣческаго, чтобы въ одной эпитафіи на могилѣ старика-Ларина нарисовать всю душу его и всю его безпорывную, тихую жизнь. Описанія. «Поэзія прозы».

Сцены чисто-бытовыя написаны въ романѣ широко и ярко: русская жизнь 20-хъ годовъ, и столичная, и деревенская, предстала передъ читателемъ, нарисованная мягкими, успокаивающими тонами,—здѣсь нѣтъ протеста, нѣтъ проповѣди, нѣтъ сатиры — «поэтъ любви» сумѣлъ любовными глазами посмотрѣть на современную жизнь [1]), безъ всякой злобы,—только отъ легкаго чувства грусти отдѣлаться онъ не могъ,—оттого весь романъ, особенно благодаря лирическимъ отступленіямъ автора, производитъ впечатлѣніе огромной «элегіи». Это прекрасно передано Чайковскимъ въ его оперѣ... Сцены бытовыя. Романъ-элегія.

По формѣ своей, романъ Онѣгина напоминаетъ поэмы Байрона: «Чайльдъ-Гарольдъ», «Беппо» и «Донъ-Жуанъ». Въ этихъ произведеніяхъ «романъ Литературныя вліянія.

---

[1]) Единственнымъ диссонансомъ звучатъ строфы, посвященныя въ послѣднихъ главахъ романа «высшему обществу».

въ стихотворной формѣ» тоже переплетался съ лирическими отступленіями—такимъ образомъ, получилось лиро-эпическое произведеніе. Только въ настроеніи мало сходства между байроновскими произведеніями и пушкинскимъ. Судя по намѣреніямъ, съ которыми приступилъ Пушкинъ къ сочиненію своего романа, онъ сперва хотѣлъ изъ него сдѣлать «сатиру» на русскую жизнь; если бы это желаніе онъ осуществилъ,—получилось бы произведеніе, подходящее къ байроновскому «Донъ-Жуану»,—но Пушкинъ далъ, въ концѣ концовъ, не «сатиру», а «элегію», и внесъ въ свое твореніе столько любви къ героямъ, что далеко отошелъ отъ своихъ первичныхъ замысловъ.

Сатира-элегія.

Вліяніе «Новой Элоизы».

Большое значеніе для «Евгенія Онѣгина» имѣли также романъ Руссо «Новая Элоиза» и романы г-жи Сталь. Руссо удалось изобразить *психологію любви*, и его произведеніе,—особенно *стиль* его, на много лѣтъ сдѣлались образцовыми для всѣхъ европейскихъ романистовъ, бравшихся за изображеніе чувствъ любви [1]). На письмахъ Татьяны и Евгенія сказалось вліяніе стиля тѣхъ писемъ, которыми обмѣнивались герои Руссо—Юлія и С.-Прё [2]).

Вліяніе «Дельфины».

Очень близка Татьяна также къ Дельфинѣ, героинѣ одного романа г-жи Сталь—и по характеру, и по сульбѣ. Романъ г-жи Сталь есть не что иное, какъ картина женской души, картина подробная, мелочная. Такимъ образомъ, «психологія женской души»—главное содержаніе романа. Другая сторона въ этомъ произведеніи, «философская», не менѣе важна для насъ. Романъ посвященъ изображенію борьбы одинокой, талантливой личности съ безличной, безформенной, но страшной силой—«общественнымъ мнѣніемъ», составляющимся изъ разныхъ предразсудковъ, сплетенъ, мелкихъ интригъ. Въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой [3]). Жизнь Татьяны въ деревнѣ съ отрочества была нѣмымъ протестомъ противъ будничной, патріархальной жизни сытыхъ русскихъ помѣщиковъ. Татьяна «дика, печальна, молчалива», — она чуждается беззаботнаго веселья сверстницъ; она жалуется, что ея «никто не понимаетъ»,—одинокая, она «должна молча гибнуть». Жизнь Татьяны въ Москвѣ, а потомъ въ петербургскомъ свѣтѣ, является такимъ же «нѣмымъ» протестомъ противъ «среды». Правда, Татьяна не смотритъ уже исподлобья на общество, которое ее окружаетъ, но въ душѣ она протестуетъ противъ всей этой «ветоши маскарада», «постылой жизни мишуры»... Припомнимъ тѣ жалобы на «общественное мнѣніе», которыя слышатся неразъ отъ самого Пушкина (о воспитаніи Онѣгина, о жизни его въ свѣтѣ, въ разсказѣ о вызовѣ его на дуэль) — и мы должны будемъ признать, что на романъ Пушкина должны смотрѣть, какъ на художественное выраженіе протеста противъ деспотизма общественнаго суда. Конечно, это протесты еще очень слабые, но, несомнѣнно, первые, раздавшіеся въ русской литературѣ. Въ этомъ «соціальное» значеніе пушкинскаго романа [4]).

Соціальное значеніе пушкинскаго романа.

---

[1]) См. мою «Исторію русской словесности», ч. II, 153—4.

[2]) Подробнѣе см. въ моей работѣ: «Онѣгинъ, Ленскій и Татьяна» (въ соч. «Пушкинъ, его жизнь и творчество». Спб. 1907).

[3]) Детальное сравненіе Татьяны съ Дельфиной см. въ той же статьѣ.

[4]) Вопросъ объ отношеніи личности къ обществу слабѣе поставленъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» и «Цыганахъ».

Чѣмъ болѣе выросталъ Пушкинъ, тѣмъ болѣе отставала отъ него современная ему критика. Если первыя главы романа и были приняты ею скорѣе сочувственно, то послѣднія встрѣтили почти единодушное порицаніе. Отношеніе критики.

Во всякомъ случаѣ, важно, что русская критика признала жизненность героевъ романа. Булгаринъ заявилъ, что «Онѣгиныхъ» онъ встрѣчалъ въ Петербургѣ «дюжинами»; Полевой призналъ въ героѣ «знакомаго» человѣка, внутреннюю жизнь котораго онъ «чувствовалъ», но, безъ помощи Пушкина, «не умѣлъ объяснить». То же на разные лады говорятъ многіе другіе критики [1]).

Затѣмъ важно, что по поводу романа возникъ вопросъ о томъ, что такое «народность» въ литературѣ: одни критики признавали за романомъ значеніе произведенія «національнаго», другіе—усмотрѣли въ немъ неудачное подражаніе Байрону. Изъ спора выяснилось, что «народность» первые увидѣли не тамъ, гдѣ ее нужно было видѣть, а вторые просмотрѣли оригинальность Пушкина. Никто изъ критиковъ не оцѣнилъ это произведеніе, какъ «реалистическое», за то многіе напали на форму его, указывали недостатки плана, несерьезность содержанія... Вопросъ о „народности" въ русской критикѣ.

Изъ наиболѣе серьезныхъ отзывовъ о романѣ надо признать статью Полевого,—онъ увидѣлъ въ романѣ «литературное capriccio», образчикъ «шутливой поэмы», въ духѣ «Беппо»,—онъ оцѣнилъ простоту и живость пушкинскаго разсказа. Онъ первый назвалъ романъ Пушкина «національнымъ»: «мы видимъ свое, слышимъ свои народныя поговорки, смотримъ на свои причуды, которыхъ всѣ мы не чужды были нѣкогда». Эта статья вызвала оживленную полемику. Въ образѣ «Татьяны» изъ современныхъ критиковъ только одинъ увидѣлъ полную самостоятельность пушкинскаго творчества; Татьяну онъ поставилъ выше черкешенки, Маріи и Заремы. Отзывъ Полевого.

Критики, доказывавшіе, что «Евгеній Онѣгинъ»—подражаніе байроновскимъ героямъ, все время утверждали, что Байронъ выше Пушкина, и что Онѣгинъ, «существо пустое, ничтожное и обыкновенное», ниже своихъ прототиповъ. Въ сущности, въ этомъ отзывѣ о героѣ Пушкина,—было больше похвалы, чѣмъ порицанія,—Пушкинъ нарисовалъ «живой» образъ, не идеализировавъ его, чего сказать о Байронѣ нельзя. Вопросъ о «байронизмѣ» въ романѣ.

Надеждинъ не придавалъ серьезнаго значенія роману,—лучшимъ произведеніемъ Пушкина, по его мнѣнію, оставалась поэма «Русланъ и Людмила». На романъ Пушкина онъ предлагалъ смотрѣть, какъ на «блестящую игрушку», которую слишкомъ превозносить и порицать не стоитъ. Отзывъ Надеждина.

c) Михайловскій періодъ въ творчествѣ Пушкина.

c) Михайловскій періодъ въ творчествѣ Пушкина. Лирика этого періода.

Изъ стихотвореній этого періода автобіографическое значеніе имѣютъ слѣдующія: «Коварность», «Сожженное письмо», «Къ П. А. Кернъ», «Желаніе славы», «19 октября 1825 г.», «Зимній вечеръ». Изъ этихъ произведеній въ стихотвореніи «Сожженное письмо» справедливо видятъ слѣды увлеченія Пушкина гр. Воронцовой; [2])

---

[1]) См. любопытную статью извѣстнаго русскаго историка акад. Ключевскаго: «Евгеній Онѣгинъ и его предки» («Русск. Мысль», 1887, № 2), въ которой разобранъ герой, какъ историческій типъ.

[2]) Во время пребыванія Пушкина въ Михайловскомъ, онъ, время отъ

«Желаніе славы».

въ стихотвореніи «Желаніе славы», и въ посланіи «Къ А. П. Кернъ», можно видѣть поэтическое выраженіе той страсти, которая завладѣла поэтомъ, когда онъ встрѣтился въ деревнѣ съ красавицей-Кернъ. Это чувство не было спокойнымъ,—оно на первыхъ же порахъ надѣлило поэта разочарованіями, тревогами:

«Я наслажденіемъ весь полонъ былъ—я мнилъ,
Что нѣтъ грядущаго, что грозный день разлуки
Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки,
Измѣны, клевета,—все на главу мою
Обрушилося вдругъ...

«Къ А. П. Кернъ».

Поэтъ весь полонъ былъ «желанія славы» только для того, чтобы дорогая ему женщина была всечасно «окружена» его славой,—

«...чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ...

Гораздо спокойнѣе другое стихотвореніе, посвященное той же Кернъ: «Къ А. П. Кернъ» («Я помню чудное мгновенье»...) Здѣсь нѣтъ мятежной страсти—здѣсь чисто-эстетическое наслажденіе отъ созерцанія чистой женской красоты, воплощенной въ прекрасномъ «мимолетномъ видѣніи». «Геній чистой красоты», съ «милыми», «небесными чертами», предсталъ предъ нимъ и наполнилъ его душу самыми высокими настроеніями,—

«И сердце бьется въ упоеньи,
И для него воскресли вновь,—
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь!..

«Зимній вечеръ».

Отношенія къ старухѣ-нянѣ выразились въ прочувствованномъ стихотвореніи: «Зимній вечеръ». Поэтъ, заброшенный въ деревенское захолустье, скороталъ здѣсь много долгихъ зимнихъ вечеровъ, съ глазу на глазъ, со своей старухой-няней. Поэтъ именуетъ ее «доброй подружкой» его «бѣдной юности» и проситъ спѣть ему пѣсню о томъ, «какъ синица тихо за моремъ жила», «какъ дѣвица за водой поутру шла»...

Интересъ къ народной поэзіи.

Изъ этихъ пѣсенъ старухи-няни выросъ его интересъ къ народной поэзіи, и ко времени пребыванія его въ Михайловскомъ

времени, получалъ письма съ юга, запечатанныя печатью съ тѣми же знаками, что были вырѣзаны на его перстнѣ (см. стих. «Талисманъ»). Эти письма Пушкинъ сжигалъ сейчасъ же послѣ прочтенія.

относятся сдѣланныя имъ записи народныхъ пѣсенъ и сказокъ [1]). Кромѣ простыхъ «записей», онъ испробовалъ свои силы и въ «подражаніяхъ»: опыты эти оказались до такой степени удачны, что впослѣдствіи Кирѣевскій, знатокъ народной русской пѣсни, безъ помощи поэта не былъ въ состояніи рѣшить, какія изъ этихъ «пѣсенъ» только «записаны» имъ, какія были «сочинены» [2]).

Интересъ къ древне-русской письменности.

Заинтересовался въ это время Пушкинъ и русскими лѣтописями, перечитывалъ житія святыхъ (въ Четьяхъ-Минеяхъ и въ Кіево-Печерскомъ Патерикѣ) и легенды.

Интересъ къ творчеству другихъ народовъ и эпохъ.

Его вниманіе въ это время одинаково привлекаетъ къ себѣ творчество всѣхъ народовъ и всѣхъ временъ. Въ результатѣ, создались произведенія, въ родѣ «Испанскаго романса» («Ночной зефиръ»), переводы изъ Аріосто, «съ португальскаго», подъ вліяніемъ чтенія Корана, пишетъ онъ свои художественныя «Подражанія Корану», подъ вліяніемъ чтенія Библіи—создаетъ замѣчательное стихотвореніе «Пророкъ» («Духовною жаждою томимъ») и пишетъ подраженіе «Пѣсни пѣсней».

Эти «библейскія» произведенія, подражанія «Корану», народныя пѣсни и творчество въ духѣ испанской поэзіи—это явленія одного порядка, указывающія лишь на разростающуюся ширину и глубину интересовъ поэта, на окончательное отреченіе его отъ исключительнаго субъективизма юношескихъ лѣтъ, когда онъ творилъ только «изъ себя» (лирика) и «про себя» («субъективныя поэмы»). Поэтому и стихотвореніе «Пророкъ» никакого отношенія не имѣло къ пушкинскимъ взглядамъ на поэзію,—это произведеніе представляетъ собою только удивительно-яркое, художественное воспроизведеніе библейской картины (превращеніе простого человѣка въ пророка) и больше ничего.

«Пророкъ».

Изумительная способность проникать въ «духъ» чуждыхъ народовъ, въ «настроенія далекаго прошлаго»—характерный признакъ романтизма, выставившаго, какъ извѣстно [3]), своимъ требованіемъ умѣніе понять couleur locale, étnografique и historique.

Если на югѣ Пушкинъ постигъ «романтизмъ» настроенія «міровой скорби», то теперь онъ представляется намъ уже не

---

[1]) «Какъ за церковью, за нѣмецкою», «Во лѣсахъ дремучіихъ», «Въ городѣ, то было, въ Астрахани», «Какъ на утренней зарѣ, вдоль по Камѣ, по рѣкѣ», «Во славномъ городѣ во Кіевѣ».

[2]) Къ этимъ первымъ «опытамъ» создать русскую пѣсню относятся слѣдующія: «Только что на проталинкахъ весеннихъ», «Колокольчики звенятъ», «Черный воронъ выбиралъ бѣлую лебедушку», баллада «Женихъ»,

[3]) См. ч. II моей «Исторіи русской словесности», стр. 203.

субъективистомъ - романтикомъ, а писателемъ-художникомъ, пользующимся «пріемами» и «правилами» романтической школы.

Широкое знакомство Пушкина съ иностранной литературой.

Въ этотъ періодъ жизни Пушкинъ особенно широко интересовался иностранными писателями,—раньше въ лицейскій періодъ и во время пребыванія на югѣ у него были все таки излюбленные писатели, которымъ онъ усиленно подражалъ (Парни, Вольтеръ, Шатобріанъ, Байронъ)—теперь число писателей западноевропейскихъ, упоминаемыхъ имъ въ письмахъ и замѣткахъ, сразу выростаетъ. Имена Байрона, Вальтеръ-Скотта, Вергилія, Горація, Тибулла, Данте, Петрарки, Тассо, Аріосто, Альфьери, Мильтона, Шекспира, Саути. Мура, Руссо, m-me Сталь, Беранже, Ротру, Делавиня, Ламартина, Гёте, Шиллера и мн. др.—указываютъ, какъ разрослись литературные интересы и вкусы нашего поэта,—въ этомъ, еще неполномъ, спискѣ встрѣчаются писатели всѣхъ эпохъ, народностей и направленій.

«Борисъ Годуновъ».

Къ Михайловскому періоду относится созданіе «Бориса Годунова»: чтеніе «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина и увлеченіе Шекспиромъ вдохновили Пушкина, внушили ему идею и форму его драмы.

Содержаніе.

Содержаніе драмы не разбито по дѣйствіямъ и явленіямъ: оно распадается на три части: прологъ, главную часть и заключеніе.

Къ прологу отнесены событія 1598 года (избраніе Годунова на царство; отношеніе къ этому факту бояръ и народа). Главная часть захватываетъ событія 1603-го года (бѣгство Григорія изъ монастыря; Борисъ Годуновъ въ періодъ апогея своей власти, но уже наканунѣ своего постепеннаго паденія; отношеніе къ нему бояръ и народа. Борисъ Годуновъ въ своей семьѣ; появленіе самозванца въ Польшѣ; его любовь къ Маринѣ). Эпилогъ, заключающій драму, захватываетъ событія 1604 года. (Борьба съ самозванцемъ, смерть Годунова, смерть дѣтей Бориса).

а) вступленіе. Отношеніе къ Борису знати.

Въ первой части («прологъ») яркими штрихами очерчены отношенія къ Борису высшаго, родовитаго боярства и простого народа. Въ рѣчахъ коварнаго, злобнаго, но трусливаго Шуйскаго чувствуется затаенная, скрытая злоба именитыхъ бояръ противъ Бориса,—этого всесильнаго «выскочки», готоваго шагнуть на царскій престолъ.

«Какая честь для насъ, для всей Руси!
Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты,
Зять палача и самъ въ душѣ палачъ,
Возьметъ вѣнецъ и бармы Мономаха!

Чувствуется, что здѣсь, въ средѣ этой аристократіи, уже зрѣетъ заговоръ противъ Годунова, хотя онъ не успѣлъ еще и сѣсть на престолъ. Собесѣдникъ Шуйскаго, простодушный Воротынскій, на нашихъ глазахъ дѣлается врагомъ Годунова, благодаря этой хитрой рѣчи Шуйскаго.

Участіе народа въ избраніи Бориса на царство представлено чисто-пассивнымъ, безсознательнымъ... Очевидно, сторонники Годунова собрали толпу, ему сочувствующую; къ ней примкнули, отчасти изъ любопытства, отчасти изъ страха люди, совсѣмъ не заинтересованные въ дѣлѣ Годунова. Въ этой пестрой толпѣ нѣтъ единаго сердца, нѣтъ единой души... Приводя разговоры, ведущіеся въ заднихъ рядахъ этой толпы, Пушкинъ даетъ понять, что эта толпа ненадежна, и «избраніе» сдѣлано не ею, а группой,—царь выбранъ, благодаря энергіи сторонниковъ, но не голосомъ народа. Отношеніе народа къ избранію.

«Но, вотъ, появляется передъ нами и самъ новоизбранный царь. Онъ говоритъ красивую рѣчь, въ которой обращается къ патріарху, боярству, народу. Рѣчь Бориса.

«Ты, отче патріархъ, вы всѣ, бояре!
Обнажена душа моя предъ вами:
Вы видѣли, что я пріемлю власть
Великую со страхомъ и смиреньемъ!
Сколь тяжела обязанность моя!
Да правлю я во славѣ свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ...

«Мы не знаемъ, искренняя, или лжива, эта рѣчь,—говоритъ ли передъ нами дѣйствительно-растроганный человѣкъ, или ловкій лицемѣръ; намъ ясно лишь одно, что это—рѣчь заблуждающагося человѣка. Если Борисъ думаетъ обмануть своихъ слушателей, то тотъ, кто подслушалъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ, народные толки на Дѣвичьемъ Полѣ, скажетъ, что обманывающимся является при этомъ онъ самъ,—этотъ искусный лицемѣръ. Если же Борисъ не лицемѣритъ, если онъ искренне говоритъ о себѣ, какъ о народномъ избранникѣ, то заблужденіе его выступаетъ еще ярче. Поэтому, рѣчь царя, полная мира и любви, полная такихъ свѣтлыхъ надеждъ, оставляетъ въ насъ тяжелое, тревожное впечатлѣніе. Царь говоритъ: Ложь—основа всей жизненной трагедіи Бориса.

«Да правлю я во славѣ свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ...

А намъ слышатся въ это время злобныя рѣчи Шуйскаго, слышится смѣхъ народной толпы...

Великій обманъ — таково общее впечатлѣніе, оставляемое въ насъ и сценой, гдѣ выступаютъ бояре, и сценой, гдѣ дѣйствуетъ народъ, и рѣчью царя... Сѣмя лжи, посѣянное самымъ избраніемъ Бориса, рано или поздно взойдетъ» (Ждановъ)....

Въ «главной части» уже обнаруживаются всѣ результаты этой лжи. Изъ тихой монастырской кельи лѣтописца Пимена выходитъ самозванецъ. Пименъ, старикъ, чуждый мелкихъ интересовъ современности, возвысившійся надъ волной текущей жизни, произноситъ свой судъ Борису. Тѣмъ ужаснѣе этотъ судъ, чѣмъ онъ чище, свободнѣе отъ личныхъ интересовъ. Старый монахъ является воплощеніемъ народной совѣсти, возмущенной преступленіемъ царя и требующей возмездія. Такимъ образомъ, если недовольство бояръ и равнодушіе народа представляютъ собою историческія условія, благопріятныя для паденія Бориса,—то въ осужденіи b) главная часть. Отношеніе народа.

его за содѣянное преступленіе,—осужденіи, очевидно, все растущемъ въ сознаніи народа—наростаетъ новое, самое главное, условіе гибели Бориса—«нравственное». Изъ добродушно-безстрастнаго народъ дѣлается теперь строгимъ судьей Бориса, судьей неподкупнымъ, не поддающимся даже на

Монологъ Бориса.

то добро, которое Борисъ творитъ, какъ правитель. Монологъ Бориса: «Достигъ я высшей власти»—рисуетъ весь трагизмъ его положенія: повидимому, онъ достигъ апогея своего величія, но счастья не обрѣлъ,—онъ видитъ, что какая-то неумолимая, злая сила подтачиваетъ его благополучіе... Въ толпѣ, выкликавшей имя Бориса, «не видно было любви къ Борису, но не было и открытаго нерасположенія къ нему. Теперь мы узнаемъ, что народное настроеніе успѣло выясниться и опредѣлиться не въ пользу Бориса. Призракъ народнаго избранничества разсѣялся. Борисъ увидѣлъ передъ собой народъ, готовый вѣрить всякой сплетнѣ, всякой клеветѣ, если только эта клевета касалась его, Бориса» (Ждановъ).

Отношеніе бояръ къ Борису.

Вотъ почему въ душѣ его нѣтъ покоя: къ тому же совѣсть мучитъ его за содѣянное злодѣяніе. Но онъ еще не понимаетъ, что и голосъ народа, и голосъ его совѣсти—это наростающее возмездіе за преступленіе.

Въ домѣ Шуйскаго собираются бояре. Въ рѣчахъ присутствующихъ чуется уже, что измѣна Борису готова; боярамъ рѣшительно нѣтъ дѣла до преступленія Бориса,—они руководятся только политическими соображеніями; чтобы свалить ненавистнаго имъ «выскочку», они готовы мутить народъ и перейти на сторону самозванца. Событія развертываются все быстрѣе и быстрѣе. Но, вотъ, сознаніе Бориса проясняется,—теперь онъ всѣ свои бѣды объясняетъ тѣмъ, что «прогнѣвилъ небеса», и ждетъ кары, трепеща отъ мысли, что она коснется и его дочери («Безвинная! Зачѣмъ-же ты страдаешь?»), и его сына («Ты невиненъ... А я за все одинъ отвѣчу Богу!»).

c) заключеніе. Отношеніе народа.

Въ заключительной части—развязка всѣхъ тѣхъ положеній, которыя намѣчены въ прологѣ: народъ по отношенію къ Борису принимаетъ явно-враждебное положеніе: потѣшается надъ его приказаніемъ предать «анаѳемѣ» самозванца («пускай себѣ проклинаютъ; царевичу дѣла нѣтъ до Отрепьева»); устами юродиваго народъ въ лицо Борису говоритъ, что онъ

Состояніе души Бориса.

«зарѣзалъ» Дмитрія. На эти слова Борисъ можетъ только простонать: «оставьте его. Молись за меня, бѣдный Николка». Двойная борьба — съ самозванцемъ — на окраинѣ государства — и со всей «землей» въ сердцѣ государства, въ Москвѣ, ему не подъ силу. Оттого, даже побѣда, одержанная имъ надъ самозванцемъ, его уже не радуетъ: онъ чувствуетъ, что это торжество кратковременное,—

«Онъ побѣжденъ—какая польза въ томъ?»

Даже попытка обратиться къ воинскимъ талантамъ Басманова недолго ласкаетъ его надеждой: родовитое боярство, съ его мѣстничествомъ, не уступитъ власти Басманову, да и народъ не окажетъ ему поддержки.

«Волшебный кругъ, обведенный судьбой вокругъ Бориса, замкнулся безысходно. Судьба можетъ оказать лишь одну милость несчастному царю — предупредить позоръ развѣнчиванья, потери власти». Борису не пришлось, дѣйствительно, склонить голову передъ «разстригой». Онъ

умираетъ. Но эта смерть—только начало конца. Мы должны еще увидѣть, какъ, со смертью Бориса, гибнетъ дѣло всей его жизни, гибнетъ его царственное наслѣдство». (Ждановъ).

Только что Борисъ закрылъ глаза, Басмановъ, съ которымъ такъ откровенно бесѣдовалъ Борисъ, на котораго онъ возлагалъ столько надеждъ, переходитъ на сторону Самозванца. На московской площади раздается крикъ:

«Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты!
Ступай вязать Борисова щенка!»
Народъ (несется толпою):
«Вязать! топить! Да здравствуетъ Димитрій!
Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!»

Отношеніе народа къ вѣсти объ убіеніи дѣтей Бориса.

Этимъ могла бы закончиться драма. Мы узнали судьбу Бориса до конца. Но поэтъ даетъ еще одну заключительную сцену. Марія и Өедоръ Годуновы убиты сторонниками Самозванца. Мосальскій объявляетъ: «Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Өеодоръ отравили себя ядомъ. Мы видѣли мертвые трупы». *Народъ въ ужасѣ молчитъ.* «Что же вы молчите?—продолжаетъ Мосальскій.—Кричите: «да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ!» *Народъ безмолствуетъ*». Извѣстно, что первоначально заключеніе пьесы было иное—въ рукописи пьеса оканчивается народнымъ возгласомъ: «Да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ!» На какомъ бы изъ этихъ двухъ варіантовъ мы ни остановились, сущность дѣла не мѣняется. Крикъ народа, который передъ тѣмъ «въ ужасѣ молчалъ», не указываетъ, конечно, на перемѣну настроенія народной массы,—за этимъ вынужденнымъ крикомъ кроется все тотъ же ужасъ, на который указываетъ и «народное безмолвіе». Этотъ ужасъ, это безмолвіе—нѣмой приговоръ Самозванцу... «Народъ въ ужасѣ молчитъ». «Это молчаніе могло быть прервано развѣ рѣчью какого-нибудь юродиваго, который напомнилъ бы новому царю объ убійствѣ Борисова сына, какъ напомнилъ онъ Борису о гибели Дмитрія... Приговоръ надъ самозванцемъ уже составленъ. Наступитъ день, приговоръ войдетъ въ законную силу и будетъ объявленъ въ окончательной формѣ». (Ждановъ).

Вставные эпизоды.

Вставными эпиводами въ это основное содержаніе драмы являются сцены: «Корчма на литовской границѣ», сцены, гдѣ дѣйствуетъ Самозванецъ и Марина (Краковъ, домъ Вишневецкаго. Замокъ воеводы Мнишка въ Самборѣ. Сцена у фонтана. Граница литовская. Равнина близъ Новгорода-Сѣверскаго. Сѣвскъ. Лѣсъ). Всѣ эти второстепенныя сцены нужны были Пушкину для обрисовки Самозванца, но онѣ совершенно излишни для развитія основной интриги.

Борисъ, какъ человѣкъ.

Отмѣтивъ въ душѣ Бориса главную черту—«честолюбіе», Пушкинъ, слѣдуя за романтиками-драматургами, не ограничился этой одной чертой,—онъ далъ всестороннее освѣщеніе его души, обрисовавъ его, какъ человѣка вообще и какъ правителя.

Борисъ, какъ человѣкъ—истинно-драматическое лицо, потому-что доброе и злое просто и правдиво перемѣшались въ его сердцѣ: онъ—не односторонній псевдоклассическій злодѣй, и не романтическій, съ присущей ему красивой позой,—онъ просто несчастный человѣкъ, котораго только страсть и случай толкнули на преступленіе. Онъ возбуждаетъ въ насъ жалость

потому, что въ немъ много добраго: съ того дня, какъ онъ совершилъ преступленіе,—совѣсть его мучитъ; эта страшная душевная борьба свидѣтельствуетъ о неиспорченности его натуры, о томъ, что преступленіе свое онъ искупаетъ въ теченіе многихъ лѣтъ... И этотъ медленный мучительный самосудъ обезоруживаетъ всякаго, кто хотѣлъ бы строго отнестись къ Борису, какъ къ преступнику. Кромѣ того, всякаго подкупаетъ сердечность его въ отношеніяхъ къ народу, къ своей семьѣ.

Борисъ, какъ правитель.

Безразличными, въ моральномъ отношеніи, но, во всякомъ случаѣ, подкупающими качествами его души были—энергія, смѣлость, свѣтлый умъ. Это все достоинства, драгоцѣнныя для «правителя». И дѣйствительно, какъ правитель, онъ стоитъ высоко: обнаруживаетъ знаніе человѣческаго сердца, умѣніе управлять людьми, пониманіе истинныхъ нуждъ отечества: онъ уважаетъ образованіе, стоитъ за сближеніе съ западной культурой, рѣшительно высказывается противъ «мѣстничества». Но всѣ эти хорошія качества «правителя» не помогли ему сдѣлать Россію счастливой; не помогли ему ни его свѣтлый умъ, ни его житейская ловкость,—у него нѣтъ ни одного союзника: и небеса, и люди, простые и знатные, русскіе и поляки,—всѣ и все противъ него.

Борисъ, какъ преступникъ.

Всѣ его административные таланты такъ же оказываются ему безполезны, какъ и шекспировскому Макбету. Богато-одаренный отъ природы, съ широкимъ взглядомъ на жизнь, властолюбивый и честолюбивый, но безъ примѣси корыстнаго эгоизма, отъ всего сердца любящій родину и желающій ей блага и процвѣтанія, рѣшительный и энергичный, Борисъ достигъ престола, руководясь принципомъ: «цѣль оправдываетъ средства». Безнравственность этого принципа губитъ его.

Причины паденія Бориса.

Народъ осудилъ въ его лицѣ преступника; народъ не далъ Борису себя купить,—и Борисъ не сумѣлъ подавить въ себѣ чувства злобы къ этой «неблагодарной черни», не сумѣлъ понять, что мелкому эгоистическому чувству обиды не можетъ быть мѣста тамъ, гдѣ судьба произноситъ свой неумолимый приговоръ. Подъ вліяніемъ этого чувства онъ дѣлается подозрительнымъ, мрачнымъ, даже суровымъ: казни, пытки, шпіонство,—вотъ, къ чему прибѣгаетъ Борисъ для упроченія своего колеблющагося престола,—отъ прежняго, широкаго и свѣтлаго, пониманія своего положенія «царя-слуги народа»,—онъ переходитъ къ эгоистическимъ стремленіямъ удержать престолъ за сыномъ. Въ предсмертной рѣчи своей онъ даетъ сыну совѣтъ, какъ хитрѣе провести своихъ подданныхъ.

Дѣти Бориса погибли, какъ искупительная жертва за преступленія отца,—не обманъ народа и бояръ, не Самозванецъ погубили его дѣло,—обманъ имѣлъ успѣхъ, лишь какъ орудіе той грозной силы, съ которою не поладилъ Годуновъ. А самозванство названнаго Дмитрія, по взгляду Пушкина было ясно для всѣхъ. Плѣнникъ, на вопросъ Отрепьева:

«Ну, обо мнѣ какъ судятъ въ вашемъ станѣ?»

—отвѣчаетъ:

«А говорятъ о милости твоей,
Что ты, дескать, (будь не во гнѣвъ!), и воръ,
А молодецъ...»

Боярская среда, подготовившая паденіе Бориса и торжество Самозванца, тоже совершенно никакой вѣры къ нему не питала (слова Вас. Шуйскаго, Пушкина и др.). Какъ только Бориса не стало, и сынъ его лишился престола—Самозванецъ сыгралъ свою роль. «Раньше, или позже, онъ долженъ былъ удалиться съ исторической сцены, снявъ свой театральный костюмъ, захваченный изъ казны московскихъ государей. Убійство, совершонное рьяными сторонниками Самозванца, не замедлило обнаружить истинное народное настроеніе, скрывавшееся за кажущимся успѣхомъ мнимаго Димитрія». «Народъ въ ужасѣ молчитъ». Въ этомъ указаніи Пушкина приговоръ надъ Самозванцемъ уже произнесенъ.

Интереснымъ лицомъ въ драмѣ является Василій Шуйскій, этотъ «лукавый царедворецъ», хитрый и коварный интриганъ — созданіе Смутнаго времени, которое пріучало людей, ради собственнаго спасенія, лавировать среди всевозможныхъ случайностей тогдашней жизни. По отношенію къ Борису онъ ведетъ сложную и хитрую политику: онъ наговорами и намеками, тайными злыми рѣчами возбуждаетъ ненависть въ средѣ русскаго боярства противъ Годунова,—и, въ то же время, онъ умѣетъ такъ вкрасться въ довѣренность Бориса, что тотъ, при всей своей подозрительности и недоброжелательствѣ къ Шуйскому, передъ смертью на него указываетъ сыну, какъ на такого совѣтника, котораго онъ долженъ приблизить къ себѣ. Ненавидя Годунова отъ всей души, называя его «вчерашнимъ рабомъ», «татариномъ», «зятемъ палача»,—Шуйскій оказываетъ услуги Годунову и льститъ ему, чтобы, вкравшись въ его довѣріе, ловчѣе погубить его. Когда онъ чувствуетъ себя въ безопасности, онъ не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи тонко мстить Годунову: онъ подробно разсказываетъ ему о томъ, какой видъ имѣлъ убитый царевичъ; видя, что каждое его слово терзаетъ измученное сердце Бориса, онъ затягиваетъ свой разсказъ, наслаждаясь муками ненавистнаго человѣка. Это—месть злобнаго раба, душа котораго чужда благородства, который не знаетъ милосердія, отъ котораго ждать пощады нечего... Василій Шуйскій.

Совершенную противоположность Шуйскому представляетъ собою Самозванецъ. Это—смѣлый авантюристъ, которому душно и тѣсно въ монашеской кельѣ, котораго мечты влекутъ къ жизни шумной, полной всякихъ впечатлѣній... Ради этихъ впечатлѣній онъ смѣло вступаетъ на путь, который можетъ его привести къ плахѣ. Но смерти онъ не боится. Онъ беззаботно и смѣло смотритъ въ жизнь и старается отъ нея взять все, что можно, безъ всякихъ хитроумныхъ плановъ. Когда онъ безпечно пируетъ въ замкѣ Мнишка,—онъ готовъ забыть всѣ свои затѣи,—и всей душой отдается веселію; когда онъ влюбляется въ Марину,—онъ не думаетъ ни о чемъ, кромѣ своей любви, и съ легкомысленной смѣлостью открываетъ ей всѣ свои тайны. Пораженіе его не огорчаетъ въ такой мѣрѣ, какъ смерть его любимаго коня. Впрочемъ, эта самоувѣренность и безпечность—вѣрный залогъ его успѣховъ въ борьбѣ съ запуганнымъ, истерзаннымъ-морально Борисомъ. Димитрій Самозванецъ.

Самозванецъ—«рыцарь минуты», орудіе рока, которому суждено было покарать Бориса и затѣмъ безслѣдно исчезнуть [1]), надѣленъ и умомъ, и бла-

---

[1]) «Мнѣніе митр. Платона о Димитріи Самозванцѣ,—говоритъ Пушкинъ, будто бы онъ былъ воспитанъ у іезуитовъ, удивительно дѣтское

городною гордостью, и любовью къ родинѣ, и, кромѣ всего этого, той богатой фантазіей, которой былъ такой запасъ у гоголевскаго Хлестакова... Въ разговорѣ съ Мариной, онъ можетъ такъ увлечься своей ролью, что говоритъ съ ней языкомъ прирожденнаго царевича. Онъ понимаетъ ясно, что, въ рукахъ Польши и іезуитовъ, онъ только удобное оружіе противъ Россіи, и что до его самозванства имъ равно никакого дѣла нѣтъ; передъ сраженіемъ онъ мучится мыслью, что враговъ родины ведетъ проливать кровь своихъ единоземцевъ. Но всѣхъ этихъ качествъ мало для того, чтобы усидѣть на престолѣ, путь къ которому политъ кровью.

Происхожденіе драмы.

О происхожденіи драмы самъ Пушкинъ даетъ рядъ цѣнныхъ указаній: «Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лѣтописей дало мнѣ мысль облечь въ формы драматическія одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Я писалъ въ строгомъ уединеніи, не смущаемый никакимъ чуждымъ вліяніемъ. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ, въ необыкновенномъ составленіи типовъ и простотѣ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени». Это обстоятельное и любопытное указаніе великаго поэта нуждается и въ объясненіи, и въ дополненіяхъ.

Вліяніе Шекспира.

Вліяніе Шекспира сказалось—1) въ обрисовкѣ характеровъ героевъ («*необыкновенное* [1]) составленіе типовъ»). Самъ Пушкинъ признаетъ, что лица, созданныя Шекспиромъ, не таковы, какъ у Мольера,—это не типы *одной* страсти, *одного* порока, но существа живыя, исполненныя *многихъ* страстей, *многихъ* пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителями ихъ разнообразные, многосложные характеры. «У Мольера скупой—скупъ и только; у Шекспира Шейлокъ скупъ, смѣтливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ... У Мольера лицемѣръ волочится за женой своего благодѣтеля, лицемѣря; принимаетъ имѣніе подъ храненіе, лицемѣря; спрашиваетъ стаканъ воды, лицемѣря». Съ этимъ одностороннимъ образомъ Пушкинъ сопоставляетъ болѣе сложный, а потому и болѣе правдивый, образъ шекспировскаго Анджело. «Истина страстей, правдоподобіе чувствованій въ предполагаемыхъ обстоятельствахъ — вотъ, чего требуетъ нашъ умъ отъ драматическаго писателя»—говоритъ Пушкинъ. Изъ характеристики дѣйствующихъ лицъ драмы мы видѣли, что нашъ писатель, дѣйствительно, пошелъ вслѣдъ за Шекспиромъ «въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ».

а) обрисовка характеровъ.

2) Вслѣдъ за Шекспиромъ, отвергаетъ онъ рѣшительнымъ образомъ правила ложноклассиковъ о «трехъ единствахъ».

б) „единства“.

Единство «*дѣйствія*» нарушается введеніемъ въ драму исторіи Самозванца, его любви, сценой въ корчмѣ, сценами въ замкѣ воеводы Мнишка и пр. Единство *мѣста* нарушается такъ же легко: дѣйствіе переносится изъ Москвы въ Польшу, въ корчму, въ палаты царя, въ монастырь, въ домъ Шуйскаго и пр.; единство *времени* тоже не соблюдено: первая часть драмы связана съ 1598-ымъ годомъ, послѣдняя—съ 1604-ымъ. Такимъ образомъ,

---

и романтическое. Всякій былъ годенъ, чтобъ разыграть ту роль». Говоря такъ, Пушкинъ хотѣлъ сказать, что не личность мнимаго Димитрія, а обстоятельства того времени, сумма условій, воспитавшихъ и создавшихъ самозванца, обусловили ему успѣхъ.

[1]) Очевидно, «обыкновеннымъ» считалъ Пушкинъ то, что было принято у псевдоклассиковъ.

драма Пушкина написана не по правиламъ, тогда господствовавшимъ въ русской драмѣ. Чтенiе «драматургiи» Шлегеля, разъяснившаго сущность построенiя драмы у псевдоклассиковъ и у Шекспира, помогло нашему поэту сознательно отнестись къ этому вопросу. Любопытно, что «Борисъ Годуновъ» написанъ *за два года* до появленiя во Францiи первой романтической драмы Гюго: «Кромвель» (1827 г.), съ тѣмъ знаменитымъ предисловiемъ, которое совершило переворотъ въ исторiи французской драмы въ томъ же смыслѣ, въ какомъ драма Пушкина раньше сдѣлала переворотъ въ этой же области у насъ.

3) Кромѣ этихъ крупныхъ особенностей, взятыхъ у Шекспира, воспользовался Пушкинъ еще характернымъ прiемомъ великаго англiйскаго драматурга смѣшивать «комическое» съ «трагическимъ». Въ этомъ отношенiи характерно внесенiе сценъ: «Корчма на литовской границѣ», «Келья патрiарха» и др. Это тоже было «новшествомъ» въ русской драмѣ, которая, слѣдуя указанiямъ псевдоклассической теорiи, до Пушкина строго различала «трагедiю» и «комедiю». Слѣдуя за Шекспиромъ (и Вальтеръ-Скоттомъ), Пушкинъ въ этихъ комическихъ «бытовыхъ» сценахъ воспользовался языкомъ «вульгарнымъ», что также нарушало правила псевдоклассицизма. **c) смѣшенiе комическаго съ трагическимъ.**

4) Введенiе народныхъ массъ и большого числа дѣйствующихъ лицъ тоже должно быть признано результатами влiянiя Шекспира. У него же позаимствовался Пушкинъ и прiемомъ разбивать дѣйствiе пьесы на многочисленныя и короткiя сцены. У Шекспира этотъ прiемъ находился въ связи съ устройствомъ тогдашней сцены, подраздѣленной на отдѣленiя. Такой сценарiй—наслѣдiе средневѣковыхъ мистерiй. Онъ прiучилъ и зрителей, и авторовъ пьесъ къ подвижности дѣйствiя, легко переносимаго съ мѣста на мѣсто, потому что не требовалось перемѣны декорацiй; такимъ образомъ, отдѣльныя сцены, связанныя съ разными мѣстностями, могли происходить даже параллельно одна другой. Это была одна изъ «условностей» театра Шекспира, которая не привилась на сценѣ новаго современнаго театра. **d) введенiе массъ, многихъ дѣйствующихъ лицъ. Дробность дѣйствiя.**

5) Влiянiе Шекспира сказалось на нѣкоторыхъ частныхъ заимствованiяхъ: слѣдуя англiйскому писателю, Пушкинъ хотѣлъ въ своей пьесѣ дать драматическую «хронику»,—нѣчто въ родѣ «трилогiи», въ которой «Борисъ Годуновъ» былъ бы лишь первой частью (за ней должны были слѣдовать—«Димитрiй Самозванецъ» и «Василiй Шуйскiй»). Кромѣ того, согласно указанiямъ изслѣдователей, заимствовалъ Пушкинъ отдѣльные стихи и даже сцены изъ «Ричарда III», «Генриха IV», «Генриха V». **e) драма-хроника.**

6) Но не въ этихъ деталяхъ главное значенiе влiянiя Шекспира. «Истина страстей, правдоподобiе чувствованiй въ предлагаемыхъ обстоятельствахъ», «правдоподобiе положенiй», естественность дiалога—вотъ, «настоящiе законы трагедiи», по мнѣнiю Пушкина, изучившаго Шлегеля и Шекспира. Это новшество и было главнымъ заимствованiемъ нашего великаго поэта у Шекспира. **f) естественность дѣйствiя.**

Н. Раевскiй, заинтересованный пьесой Пушкина, еще до ея окончанiя, давалъ поэту такiе совѣты-предсказанiя: «ты сообщишь дiалогу движенiе, которое сдѣлаетъ его похожимъ на разговоръ, а не на фразы изъ словаря, какъ было до сихъ поръ. Ты довершишь водворенiе у насъ простой и естественной рѣчи, которой еще наша публика не понимаетъ... Ты све- **Раевскiй о драмѣ Пушкина.**

дешь, наконецъ, поэзію съ ходуль...». И Пушкинъ оправдалъ это предсказаніе прозорливаго друга.

Вліяніе Карамзина.

Изъ взглядовъ самого Пушкина на свою «драму» видно, что онъ считалъ свое произведеніе «романтическимъ», себя—реформаторомъ русской драмы. Зная характерныя черты романтизма, допускавшаго даже то, что мы называемъ «натурализмомъ» [1]), мы, дѣйствительно, можемъ, вслѣдъ за Пушкинымъ, назвать его драму «романтической». Но, употребляя терминъ, который былъ ему еще невѣдомъ, мы съ большимъ правомъ назовемъ его пьесу «реалистической».

О вліяніи «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина на драму Пушкина много говорилось въ русской критикѣ. Современники Пушкина готовы были видѣть въ его пьесѣ «отрывки изъ X и XI т. Исторіи, передѣланные въ разговоры». Несомнѣнно, въ происхожденіи драмы «Исторія» эта сыграла большую роль: X и XI томы, заключающіе въ себѣ эпоху Ѳеодора Іоанновича, Бориса Годунова и Смутнаго времени вышли въ свѣтъ въ 1824-омъ году, т. е., за годъ до написанія «Бориса Годунова». Уже эта хронологическая близость позволяетъ утверждать, что интересъ къ личности Бориса у Пушкина сложился подъ вліяніемъ Карамзина. Такимъ образомъ, его «Исторія»—главный источникъ историческихъ свѣдѣній Пушкина. Оттого, слѣдуя за Карамзинымъ, Пушкинъ считаетъ Бориса виновникомъ смерти Дмитрія; изъ его «Исторіи» почерпаетъ онъ пониманіе характеровъ многихъ другихъ дѣйствующихъ лицъ. Слѣдуя за Карамзинымъ, усваиваетъ его морализующую точку зрѣнія на исторію: преступленіе наказывается, добродѣтель вознаграждается. Но великій поэтъ сумѣлъ спасти свое произведеніе отъ нехудожественности, которая явилась бы въ случаѣ слишкомъ односторонняго пользованія такой тенденціей,—объясняя причины паденія Бориса, онъ, кромѣ моральныхъ причинъ, внесъ и историческія, и психологическія (недовольство Борисомъ бояръ и народа, характеръ самого Бориса). Такъ же свободно использовалъ Пушкинъ историческіе матеріалы,—онъ настолько не былъ порабощенъ «Исторіей»—что, во многихъ отношеніяхъ, дополняетъ ее свѣдѣніями, почерпнутыми изъ другихъ источниковъ, которыми Карамзинъ не воспользовался [2]).

Пушкинъ, какъ историкъ.

Удержавшись отъ односторонности историка-моралиста, Пушкинъ, благодаря этому, сталъ неизмѣримо выше Карамзина въ пониманіи событій,—

---

[1]) См. мою «Исторію русской словесности», ч. II, 203 и 204.

[2]) Подробный разсказъ Пимена о смерти Ѳеодора взятъ изъ «Житія царя Ѳеодора Ивановича»; подробности пораженія Самозванца (издыхающій конь), пропущенныя въ «Исторіи» Карамзина, взяты изъ исторіи Щербатова; въ вопросѣ о закрѣпощеніи крестьянъ Пушкинъ отошелъ отъ Карамзина, и примкнулъ къ мнѣнію Татищева; при обрисовкѣ Марины, Пушкинъ воспользовался «Краткою повѣстью о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ». Карамзинъ радужными красками изобразилъ избраніе народомъ Годунова на царство: ликованіе толпы, ликованіе бояръ,—такова картина этого избранія; тѣмъ непонятнѣе въ его изложеніи дѣлается крутая перемѣна въ отношеніи народа къ Борису во вторую половину его царствованія. Перемѣна въ поведеніи царя Карамзинымъ тоже не выяснена. Мы видѣли выше, что всѣ эти недостатки Карамзина Пушкинъ исправилъ, по своему разработавъ психологію бояръ, народа и Бориса (народъ при избраніи Бориса, бояре). Акад. Ждановъ указываетъ,

онъ выдвинулъ боярство въ дѣлѣ подготовки перваго самозванца, онъ, первый изъ русскихъ историковъ, указалъ на стихійное значеніе въ исторіи народныхъ массъ [1]).

Вліяніе произведеній древней письменности на драму.

Наконецъ, самъ Пушкинъ указалъ на литературное значеніе лѣтописи для своей драмы. Образъ Пимена-лѣтописца весь сложился изъ этого изученія великимъ поэтомъ лѣтописей. Онъ самъ такъ говоритъ о своемъ лѣтописцѣ: «въ немъ собралъ я черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ: умилительная кротость, младенческое и, вмѣстѣ, мудрое простодушіе, набожное усердіе ко власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности, дышатъ въ сихъ драгоцѣнныхъ памятникахъ временъ давно-минувшихъ, между коими озлобленная лѣтопись кн. Курбскаго отличается отъ прочихъ лѣтописей, какъ бурная жизнь Іоаннова изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ иноковъ».

Наряду съ чтеніемъ лѣтописей, должно быть поставлено чтеніе житій святыхъ, Четей-Миней, которыми увлекался Пушкинъ въ с. Михайловскомъ. Всѣ эти старинныя произведенія помогли ему уловить тотъ историческій колоритъ (couleur historique), который исчезаетъ въ изложеніи этой эпохи у Карамзина и другихъ тогдашнихъ историковъ. Очевиднѣе всего, это сказалось на стилѣ дѣйствующихъ лицъ: онъ пестритъ архаизмами: «сосудъ дьявольскій», «наряжены городъ вѣдать», «соборомъ положили», «по старинѣ пожалуемъ», «кладезь», «днесь», «зане» и др.

Вліяніе псевдоклассиковъ-драматурговъ.

Но, кромѣ этихъ «источниковъ» драмы, отмѣченныхъ самимъ поэтомъ, изслѣдователи указываютъ еще немало другихъ [2]). Такъ, рядомъ съ господствующимъ вліяніемъ Шекспира, умѣстились и вліянія псевдоклассиковъ (напр., Расина). Мы видѣли уже, что Пушкинъ, какъ человѣкъ, всегда былъ очень разностороннимъ,—такими же особенностями отличался онъ, какъ писатель: онъ признавалъ большія достоинства за Корнелемъ и Расиномъ. «Я классицизму честь отдалъ», — говоритъ онъ самъ. «Каюсь, что я въ литературѣ скептикъ, сказалъ онъ однажды,—и что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодую сторону». «Односторонность есть пагуба мысли»,—писалъ онъ Катенину. «Поэзія бываетъ исключительною страстью немногихъ, родившихся поэтами,—писалъ онъ.—Она объемлетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія жизни». Этотъ «эклектизмъ», умѣніе *вездѣ* находить интересное, заставили

кромѣ лѣтописей, на слѣдующія сочиненія, облегчившія Пушкину трудъ самостоятельно оцѣнивать изображаемую имъ эпоху: «Новый Лѣтописецъ». «Сказаніе Авраама Палицына», «Грамота объ избраніи Бориса Годунова» и нѣк. др.

[1]) Совершенно фальшиво представленъ Карамзинымъ «народъ»: «народы всегда благодарны: оставляя небу судить тайну Борисова сердца. Россіяне искренно славили царя, когда онъ, подъ личиною добродѣтели, казался имъ отцомъ народа, но, признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидѣли его и за настоящее, и за минувшее; въ чемъ, можетъ быть, хотѣли сомнѣваться, въ томъ снова удостовѣрились, и кровь Димитріева явнѣе означилась для нихъ».

[2]) Такъ, въ трагедіи Шиллера: «Димитрій Самозванецъ» разговоръ Самозванца съ Одовальскимъ при переходѣ русской границы напоминаетъ разговоръ пушкинскаго Самозванца съ Курбскимъ. Монологъ Годунова: «Достигъ я высшей власти» довольно близко, по настроенію и содержанію, подходитъ къ «думѣ» Рылѣева: «Борисъ Годуновъ».

Пушкина, въ нѣкоторыхъ частностяхъ своей драмы, примкнуть къ Расину, который въ героинѣ своей трагедіи «Athalie» нарисовалъ образъ, аналогичный Годунову. Аталія приказала умертвить царевича Жоаса и сама завладѣла царствомъ Израиля. Престолъ ея нетвердъ. Она заботится о народѣ, но онъ настроенъ противъ нея враждебно. Она это чувствуетъ, мучается отъ зловѣщаго сна, окружаетъ себя кудесниками и колдунами, прибѣгаетъ къ насильственнымъ мѣрамъ, но ничто не спасаетъ ее, — она погибаетъ. Шуйскій и Воротынскій находятъ себѣ прототипы въ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицахъ этой трагедіи; роль, отведенная народу, тождественна въ обѣихъ пьесахъ, — это особенно характерно. Сходство наблюдается и въ томъ поученіи, которое выслушиваютъ царевичъ въ трагедіи «Athalie» и царевичъ въ «Борисѣ Годуновѣ». Но, кромѣ всѣхъ этихъ частностей, есть болѣе важныя основанія сближать Пушкина съ псевдоклассиками. Въ своей пьесѣ нашъ поэтъ изобразилъ лишь моментъ *кризиса*, какъ это было принято и въ классической трагедіи: передъ читателемъ нѣтъ постепеннаго зарожденія и развитія страсти въ душѣ героя, какъ у Шекспира. Кромѣ того, романтики, подражая Шекспиру, всегда старались выдвинуть интересъ дѣйствія внѣшняго, интересъ развитія сложныхъ и чрезвычайныхъ событій [1])—въ Борисѣ Годуновѣ замѣчается простота построенія. Кромѣ того, въ отличіе отъ Шекспира и романтиковъ, Пушкинъ приблизился къ псевдоклассикамъ и въ томъ отношеніи, что обнаружилъ въ своей пьесѣ стремленіе къ морализаціи.

«Athalie» Расина.

Впрочемъ, мораль пушкинскаго произведенія гораздо интереснѣе съ этической стороны, чѣмъ нехитрый дидактизмъ псевдоклассиковъ. Впервые въ русской литературѣ, задолго до романа Достоевскаго «Преступленіе и наказаніе», Пушкинъ въ своей драмѣ поднялъ вопросъ о значеніи личности, о свободѣ того индивидуализма, который выступаетъ на борьбу съ условіями общественности [2]). Въ такой постановкѣ вопроса Пушкинъ далеко отходитъ отъ псевдоклассиковъ. Герой классической трагедіи — представитель «общечеловѣческихъ» свойствъ,—онъ страдаетъ, или наслаждается, гибнетъ, или побѣждаетъ въ предѣлахъ такихъ страстей, которыя, въ разной мѣрѣ, могутъ быть свойственны людямъ всѣхъ странъ и временъ. Романтики выдвинули «личность», какъ протестъ противъ общества, — оттого ихъ заинтересовалъ типъ реформатора, революціонера, заговорщика, узурпатора [3]). Борисъ—герой такого-же типа: онъ—«идейный преступникъ», переступившій законы человѣческаго общежитія ради опредѣленной и высокой цѣли. Если имъ и овладѣло властолюбіе, то, въ равной мѣрѣ, онъ мечталъ о власти для того, чтобы разумнымъ управленіемъ упрочить благосостояніе родной страны. Но, переступивъ законъ человѣческій, онъ находитъ кару въ собственномъ сознаніи. Въ такомъ же положеніи были нѣкоторые герои Гёте и Шиллера [4]). Почти всѣ эти герои

«Мораль» пушкинской драмы.

«Идейный преступникъ».

[1]) Въ этомъ отношеніи, болѣе въ романтическомъ духѣ развитъ характеръ Самозванца.

[2]) Ср. постановку этого вопроса въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», «Цыганахъ», «Евгеніи Онѣгинѣ».

[3]) См. мою «Исторію словесности», II, 204.

[4]) Гецъ—изъ гётевскаго «Гецъ-фонъ Берлихингенъ», Фіеско—изъ шиллеровскаго «Заговоръ Фіеско», Марино — изъ байроновскаго «Марино Фальери», его же «Сарданапалъ».

думали, что «цѣль оправдываетъ средства», что «нѣсколько капель человѣческой крови»—сущее ничто,—и всѣ были наказаны муками совѣсти. Такимъ образомъ, высокая мораль драмы Пушкина сводится къ мысли, что счастье даже цѣлаго человѣческаго рода не можетъ быть куплено цѣной насильственной смерти «одного изъ малыхъ сихъ». Оптимистъ по натурѣ, Пушкинъ вѣрилъ въ неминуемое торжество правды, вѣрилъ, что, по собственному его признанію, «лучшія и простѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя приходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества». Въ это время, «примирившись съ жизнью», онъ былъ уже противникомъ всякой насильственности—безразлично—сверху, или снизу. Такимъ образомъ, въ своей драмѣ Пушкинъ опредѣленно сталъ за ограниченіе крайняго развитія индивидуализма ненарушимостью нѣкоторыхъ завѣтовъ и признаніемъ правъ за всякой личностью, какъ бы ни была она мала. Эта высокая идея—отблескъ той широкой, міровой любви къ человѣчеству, которая сдѣлалась въ послѣдній періодъ основой пушкинскаго міросозерцанія. Мораль драмы.

Въ этомъ отношеніи, Пушкинъ выше Шекспира, который совсѣмъ не задается этическими вопросами. Его Макбетъ совершаетъ преступленія, мучается ими, но продолжаетъ ихъ совершать... Для него преступленіе становится преступленіемъ только въ силу того зла, которое онъ причиняетъ людямъ—Дункану, Макдуффу и др., а не по отношенію къ нему самому. Пушкинъ же всѣ свои интересы переноситъ на душу самого преступника, какъ впослѣдствіи Достоевскій—на душу Раскольникова [1]).

Отношеніе Пушкина къ своей драмѣ.

Пушкинъ съ большимъ интересомъ относится къ своей драмѣ. «Писанная мною въ строгомъ уединеніи, говоритъ онъ, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія». Изслѣдователямъ приходится только признать всю справедливость этихъ словъ,—драма Пушкина есть плодъ долгихъ и добросовѣстныхъ изученій. Она была «новымъ словомъ» въ русской литературѣ, и въ ней Пушкинъ сознательно выступалъ новаторомъ и реорганизаторомъ нашей драмы: онъ самъ говорилъ: «успѣхъ, или неудача моей трагедіи будетъ имѣть вліяніе на преобразованіе нашей драматической системы». Онъ опасался, что публика не пойметъ его произведенія, что ея «робкій вкусъ», скованный еще классицизмомъ, не стерпитъ такихъ «новшествъ», съ которыми выступалъ онъ. Вотъ, почему онъ не сразу и «съ отвращеніемъ рѣшался выдать ее въ свѣтъ»...

Независимость Пушкина, какъ писателя.

Изъ всего вышесказаннаго видно, какъ независимо отнесся Пушкинъ и къ Шекспиру, и къ Карамзину, и къ псевдоклассикамъ. Онъ старался выработать свое собственное пониманіе «драмы»: онъ стремился стать выше литературныхъ партій и школъ, признавая единственнымъ мѣриломъ оцѣнки произведеній искусства—свою художественую совѣсть. «Драматическаго писателя можно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ»,—писалъ онъ Бестужеву. Мы видѣли, что онъ, во многихъ

[1]) Ср. восклицаніе Сонечки Мармеладовой, обращенное къ Раскольникову: «что вы *надъ собой* сдѣлали!»

отношеніяхъ, критически относился къ классикамъ и романтикамъ,—такъ, онъ даже призналъ, что погоня за «правдоподобіемъ» лишила пьесы обѣихъ литературныхъ школъ естественности.

Особенности драмы Пушкина.

Подводя итогъ всему сказанному, мы признаемъ, что—1) отъ драмы Пушкинъ требовалъ соединенія психологическаго анализа съ исторической вѣрностью въ изображеніи эпохи (couleur historique); 2) не признавалъ правилъ о трехъ единствахъ, считая, что народные законы шекспировскихъ пьесъ болѣе сродственны нашему театру; 3) въ обрисовкѣ характеровъ онъ слѣдовалъ за Шекспиромъ (сложность характеровъ героевъ); 4) въ построеніи пьесы онъ оказался оригинальнымъ, одинаково отойдя отъ Шекспира и классиковъ, и одинаково пользуясь тѣми и другими; 5) въ идейномъ отношеніи онъ сталъ выше Шекспира и классиковъ.

Отношеніе критики.

Опасенія Пушкина, что его драма не будемъ понята русской критикой вполнѣ оправдались: только немногіе избранные друзья поэта пришли въ восторгъ отъ его произведенія, да и то восторгъ этотъ не былъ связанъ съ глубокимъ пониманіемъ всего великаго значенія этой драмы. Зато публика и критика обнаружили полное ея непониманіе. Графъ Бенкендорфъ, отъ имени государя, рекомендовалъ передѣлать драму въ романъ, въ родѣ вальтеръ-скоттовскихъ. Критика назвала «Бориса Годунова» «убогой обновой», «школьною шалостью», собраніемъ нѣсколькихъ холодныхъ историческихъ сценъ, переложеніемъ «Исторіи Государства Россійскаго» въ діалогъ... Противники Карамзина поэтому сдѣлались и противниками пушкинской драмы. Надеждинъ отозвался о произведеніи Пушкина такъ: «ни комедія, ни трагедія, ни чортъ знаетъ что!»; находя достоинства въ обрисовкѣ нѣкоторыхъ лицъ, онъ всю пьесу обрекалъ на «сожженіе». Изъ критиковъ, болѣе снисходительныхъ, надо назвать Полевого, который призналъ въ драмѣ «шагъ къ настоящей романтической драмѣ»; несмотря на многочисленные «недостатки» драмы (близость къ Карамзину, несоблюденіе правилъ «романтической» драмы, историческіе промахи), онъ рискнулъ признать «Бориса Годунова» произведеніемъ, наиболѣе типичнымъ для Пушкина, но, тѣмъ не менѣе, и онъ не призналъ за нашимъ великимъ поэтомъ права встать въ ряды «европейскихъ писателей».

VIII. Николаевскій періодъ русской литературы.

(30—50-ые годы).

Русское общество въ царствованіе императора Николая I. Выше были указаны тѣ громадныя историческія послѣдствія, которыя остались въ исторіи русскаго общественнаго самосознанія отъ первыхъ либеральныхъ начинаній юнаго императора Александра. Эти результаты были настолько глубоки, серьезны, что впослѣдствіи какъ правительственная реакція, такъ и общественная, смѣнившія либерализмъ, оказались не въ состояніи искоренить изъ сознанія русскаго общества зародившейся въ немъ мечты о правахъ личныхъ и гражданскихъ. Почти обѣщанная императоромъ конституція Россіи дана не была,—реакція смѣнила либеральныя мечты.

Русское общество въ царствованіе императора Николая I.

И вотъ, одни уступили этой реакціи, другіе вступили въ борьбу съ ней, рѣшившись самостоятельно добиться того, что не даровано было свыше. Консерватизмъ правительства и бо́льшей части тогдашняго общества обострили энергію и фанатизмъ тогдашнихъ либераловъ-конституціоналистовъ. То, что́ недавно еще было въ ихъ сознаніи только «мечтой», «утопіей»,— теперь, обостренное борьбой, стало искать себѣ выраженія въ жизни; теорія стремилась воплотиться въ практику... Военный мятежъ 14 декабря 1825 года былъ первой попыткой со стороны оппозиціонной части русскаго общества вступить въ открытую борьбу съ правительствомъ. Опытъ оказался очень неудачнымъ. Мятежъ былъ подавленъ безъ труда, потому что нѣсколькихъ десятковъ до фанатизма убѣжденныхъ людей оказалось недостаточнымъ для того, чтобы создать настроеніе среди такихъ массъ, которыя къ конституціи относились безъ всякаго сознанія и интереса, о правахъ личности еще не имѣли представленія, или либеральничали только потому, что это было тогда «модой»... Къ тому же въ средѣ русской интеллигенціи тогда очень силенъ былъ сознательный и стойкій консерватизмъ, сильный не Аракчеевыми, Фотіями, Магницкими,—а сознательной любовью къ родной старинѣ (Карамзинъ, Шишковъ), искреннею вѣрой въ то, что «самодержавіе», «православіе» и «народность»—главныя основы русской исторіи, что не въ подражаніи Западу сила Россіи, а въ поддержаніи, укрѣпленіи и развитіи этихъ «основъ», признанныхъ исключительно народными.

Либералы конца александровской эпохи.

Николай I, какъ политическій дѣятель.

Энергичнымъ и убѣжденнымъ поклонникомъ такихъ взглядовъ явился императоръ Николай I. Онъ былъ во многихъ отношеніяхъ, полной противоположностью Александру I. Новый императоръ былъ человѣкъ, не знавшій колебаній, прямолинейный и рѣшительный, оставшійся вѣрнымъ своей системѣ отъ восшествія на престолъ до смерти. Свою политику онъ построилъ на томъ сознательномъ консерватизмѣ, лучшимъ представителемъ котораго былъ въ царствованіе Александра Карамзинъ,—его «Исторія Государства Россійскаго» и «Записка о древней и новой Россіи»—сдѣлались политическимъ Евангеліемъ Николая I.

Онъ энергично расправился съ фанатиками-либералами, — и изъ русскаго общества были вырваны самые замѣтные его дѣятели, одухотворявшіе своими мечтами большую часть общества. Ихъ не стало, замеръ и «духъ мятежный». Правительство, опираясь на Карамзина, потянулось къ дореформенной, допетровской Россіи. Пытаясь уничтожить «зловредныя» вліянія Запада, оно ставило крестъ на всемъ царствованіи Александра I; оно критически относилось къ реформамъ императрицы Екатерины, отчасти даже Петра, — зато политическіе идеалы *старой* Москвы, «третьяго Рима» [1]), теперь опять воскресли съ новой силой. «Самодержавіе», «православіе», и «народность»—сдѣлались лозунгомъ николаевскаго правленія.

«Офиціальная народность».

Націоналистическое направленіе русскаго правительства этихъ годовъ носитъ, обыкновенно, названіе «офиціальной народности». Необходимо отмѣтить, что императоръ Николай сумѣлъ окружить себя ореоломъ мощи. Это было большое моральное завоеваніе. Особенно ему, въ этомъ отношеніи, помогла быстрая побѣда надъ декабристами.

Немудрено, что массы общества, недавно равнодушныя ко всякой политикѣ, или, слѣдуя за модой, тяготѣвшія къ декабристамъ, теперь безъ труда перешли на сторону правительства, покоренныя обаяніемъ его силы. Расшатанное при Александрѣ самодержавіе вновь укрѣпилось въ сознаніи массъ. Императоръ Николай сумѣлъ взять рѣшительный, энергичный и самоувѣренный тонъ въ сношеніяхъ не только со своими подданными, но и съ государствами Западной Европы,—и тамъ тоже надолго увѣровали въ мощь самодержавной Россіи. Такъ создалось обаяніе личности императора и русской непобѣдимости,—обаяніе, которое было разсѣяно лишь Крымской кампаніей.

Отношеніе массы русскаго общества къ политикѣ правительства.

Но задолго до этого разочарованія, въ началѣ царствованія Николая I, режимъ, имъ введенный, былъ очень популяренъ даже въ кругахъ русской интеллигенціи. Общественныя движенія эпохи Александра объяснялись теперь, какъ результатъ поверхностнаго воспитанія молодежи, какъ вольнодумство, явившееся слѣдствіемъ увлеченія тлетворными идеями, западноевропейской жизни.

Чтобы впредь не повторялись подобныя треволненія, правительство рѣшило взять въ свои крѣпкія руки дѣло «перевоспитанія» русскаго об-

---

[1]) См. мою «Исторію русск. словесности», 2-ой вып. 1-ой части, стр. 137—9 и др.

щества и притомъ на основахъ чисто-«народныхъ». Впервые, съ эпохи Московской Руси, заговорило русское правительство о русской «народности».

Развитіе націонализма—законное явленіе.

Съ исторической точки зрѣнія, это возрожденіе національзма было явленіемъ вполнѣ закономѣрнымъ: выше, пересказывая судьбы русской литературы въ XVIII-омъ и въ началѣ XIX-го вѣка, я отмѣтилъ постепенное проясненіе національзма въ русскомъ самосознаніи. Но уже въ эпоху Александра I этотъ національзмъ изъ сферы чисто-литературной перешелъ въ сферу политическую, выставивъ противъ либеральныхъ начинаній императора такую консервативную общественную массу, которая вступила въ борьбу во имя ясно-сознанныхъ историческихъ идеаловъ. Такъ произошло скрещиваніе и соединеніе «націонализма» съ «консерватизмомъ». Теперь, въ эпоху Николая I, эти консервативно-националистическіе идеалы восторжествовали въ силу историческаго закона, по которому всякій моментъ интенсивнаго движенія впередъ всегда сопровождается моментомъ такого же интенсивнаго стремленія назадъ. Такимъ образомъ, національзмъ этихъ идеаловъ и въ царствованіе Александра, и въ царствованіе Николая I не созрѣлъ спокойно, какъ слѣдствіе мирной эволюціи общественнаго самосознанія,—онъ опредѣлился, какъ результатъ политической борьбы. Такой боевой, *полемическій* характеръ русскаго офиціальнаго національзма придалъ его идеаламъ и односторонность и излишнюю страстность. Увлеченные борьбой съ «западниками», наши «націоналисты» готовы были—1) отвергать *всякій прогрессъ*, 2) считать *ненароднымъ* все, что видѣли въ западной жизни. Между тѣмъ, въ понятіе истиннаго «народничества» отнюдь не входилъ такой крайній консерватизмъ, какъ доказали это своими взглядами «славянофилы» этой же эпохи.

Смѣшеніе націонализма съ консерватизмомъ.

Особенности этого націонализма николаевской эпохи.

Кромѣ этого воинствующаго характера, «офиціальная народность» грѣшила еще тѣмъ, что, опираясь на историческія основанія русскаго прошлаго (односторонне освѣщенныя Карамзинымъ), она, въ то же время, не понимала, что въ исторіи неподвижнаго нѣтъ,—все движется, все развивается, и потому историческія основы, на которыхъ, быть можетъ, дѣйствительно, строилось міросозерцаніе нѣкоторыхъ общественныхъ группъ старой Москвы,—не могутъ оставаться основами общественнаго самосознанія Россіи XIX-го вѣка.

Оппозиція этому націонализму.

Вотъ, почему уже многіе современники этой эпохи начали сомнѣваться въ благотворности такого «народнаго» характера новой политической системы. «Они соглашались, что она удовлетворяла преданіямъ массы, но утверждали, что, въ болѣе широкомъ смыслѣ, она вовсе не была народна, такъ какъ, по своей крайней исключительности, не давала никакого исхода для развитія умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, оставляя огромную долю самого народа въ рабствѣ, и, наконецъ, что даже въ способѣ ея дѣйствій господствовали взгляды, внушенные чужой, западной реакціей» (Пыпинъ). Изъ такихъ мыслей стало складываться оппозиціонное настроеніе въ русскомъ обществѣ николаевской эпохи.

Одинъ изъ современниковъ такъ характеризуетъ внѣшнюю и внутрен-

нюю политику императора, видя въ ней продолженіе идеаловъ Священнаго Союза и развитіе идей Меттерниха: «поддержаніе существующаго порядка не только въ Россіи, но во всей Европѣ, даже въ Турціи, защита охранительнаго монархическаго начала повсюду, исключительная опора на силу войскъ, организація общественнаго воспитанія и развитіе административнаго элемента путемъ централизаціи власти, обрусѣніе иноплеменныхъ народовъ, стремленіе создать единство вѣроисповѣданія, законодательства и администраціи, строгій надзоръ за общественной мыслью»,—вотъ, главныя основанія внѣшней и внутренней политики русскаго правительства этого времени. Событія 1848-го года и польское возстаніе усилили еще болѣе этотъ режимъ, имѣвшій цѣлью объединить Россію и спасти ее отъ вліяній Запада.

Политика внутренняя и внѣшняя николаевской Россіи.

«Перевоспитаніе» русскаго общества.

Но опека правительства направлялась не только на искорененіе изъ русскаго сознанія чужихъ «ненародныхъ» идей, но и на воспитаніе тѣхъ идеаловъ, которые считались «истинно-народными». Въ этомъ отношеніи, правительство дѣйствовало очень умѣло, и, въ концѣ концовъ, создало въ русскомъ обществѣ преувеличенное понятіе о міровомъ значеніи своего отечества [1]).

Міровоззрѣніе русскихъ «націоналистовъ».

Послѣ вѣковъ рабскаго преклоненія передъ Западомъ теперь массы русскаго общества прониклись презрѣніемъ къ этому Западу; любовь къ родинѣ теперь обратилась у многихъ въ національное самомнѣніе, не желавшее видѣть у себя ничего плохого. «Сущность этого представленія состояла въ томъ, что Россія есть совершенно особое государство и особая національность, непохожая на государства и національности Европы. На этомъ основаніи она отличается и *должна* отличаться отъ Европы всѣми основными чертами національнаго и государственнаго быта; къ ней совершенно неприложимы требованія и стремленія европейской жизни. Въ ней господствуетъ наилучшій порядокъ вещей, согласный съ требованіями религіи и истинной политической мудрости. Европа имѣетъ свои историческія отличія: въ религіи—католицизмъ, или протестантство, въ государствѣ—конституціонныя, или республиканскія учрежденія, въ обществѣ—свободу слова и печати, свободу общественную и т. п.; она гордится ими, какъ прогрессомъ и преимуществомъ, но этотъ прогрессъ есть заблужденіе и результатъ французскаго вольнодумства и революціи, поправшей въ прошломъ столѣтіи религію и монархію, и хотя укрощенной, но оставившей слѣды своего пагубнаго вліянія и зародыши дальнѣйшихъ европейскихъ безпорядковъ и волненія умовъ. Россія осталась свободна отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, которыя только разъ пришли возмутить ея общественное

---

[1]) Эта «националистическая» политика русскаго правительства имѣла и положительную сторону: посылка русскихъ молодыхъ ученыхъ въ западные университеты и славянскія земли, открытіе ученыхъ обществъ, этнографическихъ и историческихъ,—все это содѣйствовало быстрому развитію русской науки, этнографіи; благодаря поддержкѣ правительства выдвинулось теперь немало талантливыхъ ученыхъ этнографовъ-археологовъ. См. подробнѣе у Пыпина «Исторія русской этнографіи», ч. I и III.

спокойствіе (14 декабря 1825 г.). Она сохранила въ цѣлости преданія вѣковъ и, будучи тѣмъ предохранена отъ безпокойствъ и обмановъ конституціонныхъ, не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать, съ своей стороны, принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи, Россія также поставлена въ положеніе, несходное съ европейскимъ, исключительное и завидное... Ея исповѣданіе заимствовано изъ византійскаго источника, вѣрно хранившаго древнія преданія церкви, и Россія осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средѣ и произвели протестантизмъ, съ его безчисленными сектами. Правда, въ русской церкви также происходили несогласія, и часть невѣжественнаго народа ушла въ расколъ, но правительство и церковь употребляютъ всѣ убѣжденія къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій».

«Россія и во внутреннемъ своемъ бытѣ непохожа на европейскіе народы. Ее можно назвать вообще «особою частью свѣта»; со своими особыми учрежденіями, съ древней вѣрой, она сохранила патріархальныя добродѣтели, мало-извѣстныя народамъ западнымъ. Таковы, прежде всего,—народное благочестіе, полное довѣріе народа къ предержащимъ властямъ и безпрекословное повиновеніе; такова простота нравовъ и потребностей, не избалованныхъ роскошью и не нуждающихся въ ней. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія, но онъ отвѣчаетъ нашимъ нравамъ и свидѣтельствуетъ о неиспорченности народа; такъ, крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеніи) сохраняетъ въ себѣ много патріархальнаго,—хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянъ, чѣмъ могли бы они сами, и положеніе русскаго крестьянина лучше положенія западнаго рабочаго. На этихъ основаніяхъ Россія процвѣтаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ. Она сильна своимъ громаднымъ протяженіемъ, многочисленностью племенъ и патріархальными добродѣтелями народа. Извнѣ она не боится враговъ; ея голосъ рѣшаетъ европейскія дѣла, поддерживаетъ колеблющійся порядокъ; ея оружіе, милліонъ штыковъ, можетъ поддержать это вліяніе, и ему случалось наказывать и истреблять революціонную крамолу. Есть недостатки въ практическомъ теченіи дѣлъ, но они происходятъ не отъ несовершенства законовъ и учрежденій, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ» [1]). (Пыпинъ). Эта утопія была красивой и стройной системой, льстящей національному самолюбію, и потому она имѣла полный успѣхъ въ значительной части русскаго общества. Многіе видные общественные дѣятели, литераторы и публицисты вдохновлены были ею и легко приспособились къ этимъ идеаламъ «офиціальной народности»

Критика этого міросозерцанія.

Лишь немногіе общественные дѣятели не поддались обаянію этой системы; они доказывали, что, вслѣдствіе примѣненія ея, русское общество ли-

¹) Ср. слова Карамзина, что для Россіи нужна не конституція, а «добродѣтельные губернаторы».

шено самодѣятельности, и въ умственно-нравственномъ, и въ матеріально-экономическомъ отношеніи; охраняя «народную» самобытность, система эта не допускала въ Россію ни смѣлыхъ выводовъ европейской науки, ни желѣзныхъ дорогъ; «самобытность» кончалась умственною и матеріальною бѣдностью и отсталостью (Пыпинъ). Крымская война доказывала справедливость такого критическаго отношенія къ показному блеску николаевской Россіи.

Идейное содержаніе жизни передового русскаго общества въ эту эпоху.

На передовомъ русскомъ обществѣ отразились ярко послѣдствія новой политики правительства: такъ какъ сфера живыхъ общественныхъ интересовъ была закрыта, многіе примкнули къ идеямъ «офиціальной народности»—въ силу вѣры, искренняго убѣжденія, или по причинамъ чисто-эгоистическимъ (Шевыревъ, Погодинъ). Другіе же—или замкнулись въ сферѣ своей интимной, личной жизни (Лермонтовъ), или сосредоточили свою дѣятельность въ области чистаго искусства (отчасти Пушкинъ), отвлеченной философіи (кружокъ Станкевича) и морали (Гоголь). Наконецъ, третьи—занялись вопросами философско-политическими; хотя эти интересы и отличались отвлеченностью, но, все-таки, во многихъ своихъ взглядахъ на прошлое, настоящее и будущее Россіи эти политики-теоретики («славянофилы» и «западники») разошлись съ господствующими взглядами «офиціальной народности». Наконецъ, четвертые, несмотря на всю трудность своего положенія, отъ умствованій отвлеченныхъ переходили иногда къ живымъ вопросамъ современности, разрѣшая ихъ отнюдь не въ духѣ большинства; ихъ можно отнести къ группѣ ярко оппозиціонной по отношенію къ идеаламъ правительства и массы русскаго общества (Герценъ, Бѣлинскій, отчасти Чаадаевъ).

Чаадаевъ.

Въ лицѣ Чаадаева «офиціальная народность» встрѣтила рѣшительнаго противника. Въ самый разгаръ общаго упоенія чувствами патріотизма и народной гордости онъ выступилъ въ неблагодарной роли непримиримаго скептика. Это былъ человѣкъ для своего времени очень образованный, съ философскимъ складомъ ума. Въ юности онъ былъ гусаромъ, принималъ участіе въ войнѣ 1812 г., побывалъ за границей и оттуда вернулся съ запасомъ идей и интересовъ; въ эпоху Александра онъ былъ либераломъ-теоретикомъ, въ тиши своего кабинета на книгахъ воспитавшимъ свои убѣжденія. Его интересовала философія, исторія и религія—практической дѣятельности онъ остался чуждъ. Замкнувшись въ свой интимный міръ политика-утописта, онъ остался въ сторонѣ отъ настроеній николаевской Россіи и неожиданно явился на судъ русской публики съ тѣми идеалами политическаго «космополитизма», которые были такъ характерны для эпохи предшествующей—александровской. Вотъ, почему теперь онъ оказался совершенно одинокимъ дѣятелемъ,—повидимому, не понявшій настроеній современнаго общества и никѣмъ не понятый, далекій отъ всѣхъ общественныхъ группъ, онъ ни въ комъ не встрѣтилъ поддержки.

Его первое «Философическое письмо» появилось въ «Телескопѣ» въ 1836-омъ году; всѣхъ писемъ должно было быть 5—6, но не всѣ могли быть напечатаны, и большинство изъ нихъ осталось въ рукописи. Въ

первомъ письмѣ онъ говоритъ о необходимости религіи, какъ главнаго культурнаго фактора.

Будучи «крайнимъ» западникомъ, онъ преклонялся передъ культурой Запада и, въ основѣ этой культуры, подобно многимъ мыслителямъ Западной Европы, увидалъ католицизмъ [1]). Все это заставило его пессимистически отнестись къ русской исторіи: причины нашей «отсталости» онъ увидалъ въ томъ, что «мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами; мы не принадлежимъ,—говоритъ онъ,—ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣчества, ни къ западу, ни къ востоку, не имѣемъ преданій ни того, ни другого. Мы существуемъ какъ бы внѣ времени, и всемірное образованіе человѣческаго рода не коснулось насъ... То, что у другихъ народовъ давно вошло въ жизнь, для насъ до сихъ поръ есть только умствованіе, теорія»... Обращаясь къ русскому прошлому, онъ не увидѣлъ тамъ ни одного момента сильной, страстной дѣятельности, когда создаются лучшія произведенія поэзіи и плодотворныя идеи. «Въ самомъ началѣ у насъ было дикое варварство,—говоритъ онъ,—потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, — владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ. Вотъ, горестная исторія нашей юности».

«Существованіе темное, безцвѣтное, безъ силы, безъ энергіи» — вотъ, что увидѣлъ онъ въ прошломъ Россіи... «Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ». Въ результатѣ, какое-то вялое, равнодушное существованіе, при полномъ отсутствіи идей долга, закона, правды и порядка... «Отшельники въ мірѣ, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не пріобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества; ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумѣнія и исказили все, что сообщило намъ это совершенствованіе». Мы остались въ сторонѣ отъ эпохи Возрожденія, крестовые походы не сдвинули насъ съ мѣста. Русское «христіанство», вслѣдствіе его культурной «инертности», онъ ставилъ на одну доску съ «абиссинскимъ».—Заключается письмо указаніемъ, что мы должны торопиться съ пріобщеніемъ себя къ культурному міру Западной Европы. Въ слѣдующихъ письмахъ онъ въ апоѳеозѣ представляетъ католичество и и папу, мечтаетъ объ единеніи всѣхъ народовъ подъ покровомъ католической церкви... Тогда, писалъ онъ, начнется мирное развитіе общечеловѣческой культуры,—для этого протестантамъ надо вернуться въ лоно католичества,

---

[1]) Этотъ интересъ къ культурной роли религіи (католической) былъ однимъ изъ результатовъ эпохи французской реставраціи (послѣ революціи) и романтизма, съ его идеализаціей среднихъ вѣковъ. Рядъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей стали доказывать, что западноевропейская культура за все обязана должна быть католицизму. Ламенэ, Де-Местръ, Шатобріанъ («Génie de christianisme»), Мишо—вотъ, главные дѣятели французской литературы, превозносившіе католицизмъ. Усиленіе вліянія католицизма въ Европѣ выразилось, между прочимъ, въ энергической дѣятельности іезуитовъ, которые и въ Россіи сумѣли окатоличить многихъ аристократовъ (Свѣчина, кн. Зинаида Волконская, Гагаринъ, Шуваловъ, Голицынъ). Великую культурную роль католичества превозносили даже нѣкоторые протестанты —такъ, философъ Шеллингъ явился его идейнымъ поклонникомъ. Чаадаевъ былъ лично знакомъ съ де-Местромъ и Шеллингомъ.

намъ отказаться отъ православія. Чаадаевъ договорился до того, что предложилъ отказаться отъ русскаго языка ради французскаго: «чѣмъ больше мы будемъ стараться амальгамироваться съ Европой, тѣмъ будетъ для насъ лучше»—заявляетъ онъ.

Отношеніе массы русскаго общества къ «письмамъ» Чаадаева.

Взрывъ негодованія вызвало это сочиненіе Чаадаева въ широкихъ кругахъ русскаго общества: «люди всѣхъ слоевъ и категорій общества соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятія человѣку, дерзнувшему оскорбить Россію; студенты московскаго университета изъявили желаніе съ оружіемъ въ рукахъ мстить за оскорбленіе націи». Чтобы смягчить впечатлѣніе скандала, произведеннаго статьями Чаадаева, правительство объявило его «сумасшедшимъ». Онъ написалъ въ свое оправданіе еще новое политическое сочиненіе «Апологія сумасшедшаго», въ которомъ опять отстаивалъ свои идеи, хотя и смягчивъ ихъ рѣзкость и опредѣленность. Онъ, не безъ примѣси легкаго презрѣнія, заговорилъ о «толпѣ», его осудившей: «общее мнѣніе (la raison générale) вовсе не есть абсолютно справедливое (la raison absolue); инстинкты большинства бываютъ безконечно болѣе страстны», болѣе узки, болѣе эгоистичны, чѣмъ инстинкты отдѣльнаго человѣка; «здравый смыслъ народа вовсе не есть здравый смыслъ вообще». Затѣмъ онъ указывалъ, что «любовь къ отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекраснѣе любовь къ истинѣ». И, обращаясь къ исторіи своего отечества, онъ вспоминаетъ Петра,—создателя русскаго «могущества», русскаго «величія»... Онъ пересоздалъ Россію благодаря общенію съ Западомъ, благодаря порабощенію Россіи Западу. Этотъ путь, по мнѣнію Чаадаева, былъ правильный. Затѣмъ онъ критикуетъ мнѣніе лицъ, утверждающихъ, что намъ нечему учиться у Запада, что мы принадлежимъ Востоку и что наше будущее на востокѣ. Попутно онъ высказывается рѣзко относительно идеализаціи старины,—этого возвращенія къ «старымъ сгнившимъ реликвіямъ, старымъ идеямъ, которыя пожрало время». Онъ говоритъ, что отечество свое любитъ не меньше своихъ критиковъ, оскорбленныхъ его сочиненіями. «Я не умѣю любить отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами,—говоритъ онъ.. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, что у меня нѣтъ этого блаженнаго (bèat) патріотизма, этого лѣниваго патріотизма, который устраивается такъ, чтобы видѣть все въ лучшую сторону, который засыпаетъ за своими иллюзіями».

«Апологія сумасшедшаго»

Значеніе этихъ «писемъ».

«Философскія письма» Чаадаева полны историческихъ ошибокъ и фантазіи, но много было въ нихъ вѣрнаго, хотя слишкомъ страстно высказаннаго. Но главное значеніе ихъ не въ историческомъ содержаніи, а въ томъ скептическомъ отношеніи къ патріотическимъ «иллюзіямъ», которыми жило тогдашнее русское общество. «Письма» Чаадаева въ исторіи русскаго самосознанія сдѣлались тѣмъ мостомъ, который соединилъ свободную русскую мысль двухъ эпохъ—александровской и николаевской. Идейные противники его «славянофилы» высоко цѣнили его, какъ благороднаго человѣка и какъ смѣлаго публициста. Хомяковъ въ 1860-омъ году въ такихъ словахъ поминалъ его: «просвѣщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце—таковы тѣ качества, которыя всѣхъ къ нему привлекали; въ такое время, когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ особенно былъ дорогъ тѣмъ, что онъ самъ бодрство-

Отношеніе къ Чаадаеву его идейныхъ противниковъ.

валъ и другихъ пробуждалъ»... Есть эпохи, въ которыя это—большая заслуга.

Интересъ русскаго общества къ нѣмецкой философіи.

Уже Чаадаевъ выступилъ передъ русской публикой въ качествѣ последователя нѣмецкой идеалистической философіи, но философъ былъ въ немъ побѣжденъ публицистомъ. Въ нѣкоторыхъ кругахъ русскаго общества, наоборотъ, это увлеченіе нѣмецкой философіей взяло верхъ надъ живыми интересами современности. Здѣсь процвѣтало умозрительное отношеніе къ вопросамъ жизни,—здѣсь болѣе интересовались разрѣшеніемъ міровыхъ вопросовъ, чѣмъ русскою дѣйствительностью,—прошлымъ и будущимъ—болѣе, чѣмъ настоящимъ. Это *увлеченіе нѣмецкою философіею* тѣсно связано съ московскимъ университетомъ. Оно занесено было сюда молодыми профессорами, учившимися въ заграничныхъ нѣмецкихъ университетахъ.

Павловъ, поклонникъ Шеллинга, отчасти Надеждинъ, Шевыревъ и Погодинъ были первыми піонерами въ этомъ отношеніи,—онѣ сумѣли привить интересъ къ философіи студентамъ московскаго университета и проложили дорогу увлеченіямъ Гегелемъ, который у насъ скоро смѣнилъ Шеллинга. Такое преклоненіе русской молодежи предъ нѣмецкой философіей не могло быть глубокимъ; оба названные мыслители были органически и неразрывно связаны со своими предшественниками—Кантомъ, Фихте, даже Спинозой. Что понять ихъ во всей ихъ глубинѣ, надо было уйти въ вѣковую исторію нѣмецкой философіи. Это было не подъ силу большинству русскихъ юношей, которые взялись за изученіе философіи «съ конца». Немудрено, что изученіе и Шеллинга, и Гегеля у многихъ не могло быть глубокимъ и сводилось къ увлеченію нѣкоторыми разрозненными идеями, доступными ихъ пониманію—таковыми оказались, главнымъ образомъ, взгляды *философско-историческіе* и *эстетическіе*.

Шеллингъ. Общій характеръ его философіи.

Шеллингъ прельстилъ русскихъ юношей широкимъ размахомъ своего философскаго міровоззрѣнія. Онъ пытался осмыслить жизнь всего міра, разсматривая природу и явленія духа человѣческаго, какъ грандіозное зрѣлище постепеннаго саморазвитія одного начала, лежащаго въ основѣ всего. Такая широкая постановка задачи философіи объясняетъ отчасти, почему искусство, религія, науки естественныя, математическія, гуманитарныя нашли свое мѣсто въ той увлекательной картинѣ самораскрытія мірового духа, которую Шеллингъ сумѣлъ нарисовать въ своей системѣ, благодаря силѣ своей фантазіи, наклонности къ синтезу, оригинальному уму и широкому образованію. Идея эволюціи, выступавшая тогда все болѣе и болѣе въ трудахъ естественно-научныхъ и историческихъ, нашла въ системѣ Шеллинга философское обоснованіе и художественное выраженіе. Его философія была цѣлой энциклопедіей, которая, шириною захвата, оригинальностью мысли, дѣйствительно, могла плѣнить всякій, не столько логическій, сколько восторженный умъ. Самъ поэтъ въ душѣ и мистикъ, Шеллингъ своимъ ученіемъ создавалъ приподнятое «настроеніе». Его философія была торжественной симфоніей,—облагораживающей, успокаивающей и подымающей человѣка.

Шеллингъ, исходя изъ основъ своей философіи, естественно ставилъ высоко поэзію, придавая ей значеніе метафизическое. Моментъ художественнаго творчества, моментъ вдохновенія Шеллингъ призналъ минутой, когда

человѣкъ можетъ заглянуть въ «святая святыхъ» жизни и почувствовать, что абсолютное, [1]) не уничтожая его свободы и сознанія,—находитъ въ немъ и въ его дѣятельности свое «откровеніе».

Взглядъ его на поэзію. Поэтъ, съ его точки зрѣнія, есть человѣкъ, надѣленный даромъ особой благодати, эта божественная сила отличаетъ его отъ всѣхъ людей, заставляетъ его высказывать и изображать то, въ чемъ онъ самъ не можетъ отдать себѣ полнаго отчета и смыслъ чего безконеченъ, поэзія есть откровеніе: всякое эстетическое творчество абсолютно свободно,—въ этомъ святость и чистота искусства; варварствомъ считаетъ Шеллингъ требовать отъ художника *служенія* не только матеріальнымъ интересамъ, но даже моральнымъ и научнымъ. Художникъ долженъ быть освобожденъ отъ всякаго служенія.

Природа служитъ сферою безсознательнаго проявленія абсолютнаго духа и основою для его сознательной жизни, которая совершается въ людяхъ. Отсюда исторія, по взгляду Шеллинга, есть повѣствованіе о различныхъ формахъ обнаруженія абсолютнаго въ духѣ человѣческомъ, въ человѣческихъ обществахъ и учрежденіяхъ.

Смыслъ прогресса. Смыслъ прогресса заключается въ достиженіи Абсолютомъ той цѣли, къ которой онъ стремится путемъ міровой жизни. Онъ училъ, что міровой духъ управляетъ исторіей; при такомъ міровоззрѣніи, роль личности сокращалась, взамѣнъ чего вводилось понятіе о постепенности и безконечности развитія. Съ такой точки зрѣнія устанавливался спокойный взглядъ на жизнь,—всѣ ея явленія оказывались неизбѣжными, какъ временные моменты міроваго развитія. «Государство», какъ форма, есть созданіе всего человѣческаго рода, но не отдѣльныхъ личностей [2]).

Идеалъ космополитическаго состоянія, основаннаго на правѣ, есть цѣль исторіи, въ которой «случайное» и «закономѣрное» дѣйствуютъ вмѣстѣ, поскольку сознательное свободное дѣйствіе индивидуумовъ служитъ цѣли, предписанной міровымъ духомъ. Такимъ образомъ, люди, даже съ ихъ личными, частными интересами, въ то же время, являются сотрудниками всемірно-исторической драмы, которая ведетъ человѣчество по дорогѣ къ совершенствованію.

Смыслъ прогресса, по мнѣнію Шеллинга, заключался въ смѣнѣ *царства судьбы*, подъ властью которой человѣчество находилось въ древнѣйшія времена, *царствомъ предопредѣленія*, которое должно наступить въ будущемъ; въ этомъ царствѣ божественнаго предопредѣленія и должно было совершиться гармоничное примиреніе человѣческой свободы и необходимости—должно было восторжествовать истинно-религіозное міросозерцаніе, одинаково далекое и отъ фатализма, и отъ атеизма. Въ конечномъ своемъ развитіи онъ видѣлъ сліяніе поэзіи и философіи (религіи и науки), какъ это было въ періодъ миѳологіи (синкретизмъ).

Гегель. Подобно Шеллингу, и Гегель смотрѣлъ на философію, какъ на науку объ *абсолютномъ*, т. е., науку о тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ строится вся міровая жизнь. Но форма, которую далъ философіи Шеллингъ, каза-

---

[1]) Безконечное, безусловное міровое основаніе.

[2]) Точка зрѣнія совершенно противоположная Карамзинской. Оттого Н. Полевой, убѣжденный шеллингіанецъ, исправляя Карамзина, сочинилъ свою «Исторію русскаго *народа*».

лась Гегелю ненаучной: вмѣсто интуиціи, вмѣсто поэтическаго вдохновенія и полета геніальной фантазіи—пріемовъ, которыми пользовался Шеллингъ, онъ рѣшилъ дѣйствовать только при помощи «размышляющаго разсудка».

Задачу всего дѣйствительнаго видитъ онъ въ проявленіи «мірового разума». Оттого истинная дѣйствительность, съ его точки зрѣнія, есть разумъ,—всякое бытіе есть воплощеніе разумной мысли. Постепенное проясненіе абсолюта («мірового разума») и есть тотъ великій міровой процессъ, который изучается философіей. Этотъ процессъ представляется ему въ такомъ видѣ: абсолютъ существуетъ сначала, какъ система доміровыхъ понятій, выражается затѣмъ въ безсознательной сферѣ природы, пробуждается къ самосознанію въ человѣкѣ, воплощаетъ свое содержаніе въ общественныхъ установленіяхъ, чтобы, наконецъ, законченнымъ и обогащеннымъ возвратиться къ себѣ въ искусствѣ, религіи и наукѣ, т. е., достичь болѣе высокой степени, чѣмъ та, на которой онъ стоялъ вначалѣ. Философія есть высшее произведеніе и цѣль этого мірового процесса.

«Міровой разумъ».

Стоя на такой точкѣ зрѣнія, Гегель утверждалъ, что, если всякое явленіе воплощаетъ какую-нибудь мысль, то *все дѣйствительное разумно, все разумное дѣйствительно.* Такимъ образомъ, если у Шеллинга природа была представлена, какъ предметъ развитія, а искусство, какъ конечный пунктъ этого развитія, то у Гегеля предметомъ и цѣлью развитія является *понятіе, идея,* развивающаяся по законамъ разума (діалектическій методъ развитія). Въ основу мірового процесса «обнаруженія абсолюта» Гегель положилъ идею «эволюціи». Въ его философіи эта теорія нашла болѣе полное и логическое обоснованіе, чѣмъ у Шеллинга.

Все дѣйствительное разумно.

Ученіе объ эволюціи.

Исторія человѣчества, съ точки зрѣнія Гегеля, есть постепенное созданіе разумнаго государства; движущая сила этого развитія есть міровой духъ; его орудія—духъ отдѣльныхъ народовъ и великіе люди. Націи бываютъ «историческія» и «неисторическія». Первыя являются носительницами какой-нибудь исторической идеи, выражающей одну характерную сторону мірового духа; совокупныя усилія различныхъ культурныхъ «историческихъ народовъ», проясняя отдѣльныя, частныя идеи этого духа, наконецъ, исчерпываютъ все его идейное содержаніе. Тогда заканчивается великая культурная миссія одной группы народовъ—умираетъ одна цивилизація—ее смѣняетъ другая цивилизація, другой «духъ», выясненію котораго служитъ уже новая группа историческихъ народовъ. Такимъ образомъ, всемірная исторія есть всемірный судъ, который судитъ народы, оцѣниваетъ ихъ культурную работу и, въ зависимости отъ этого, раздаетъ народамъ почетныя права на званіе «историческихъ». Какъ вся исторія есть только матеріалъ для проясненія «мірового разума»,—такъ и великіе люди—только органы чего-то высшаго, чему они служатъ безсознательно: отъ нихъ скрыты ихъ собственныя дѣйствія, ихъ цѣль и объектъ. Такимъ образомъ, по ученію Гегеля, желѣзная и разумная необходимость господствуетъ въ исторіи. Но, въ то же время, безсознательно служа высшимъ цѣлямъ, личность въ исторіи эволюціонируетъ, только проясняясь въ борьбѣ съ обществомъ, становясь постепенно все свободнѣе. Поэтому исторія есть прогрессъ въ сознаніи свободы. Сперва только одна личность сознавала себя свободной, затѣмъ—нѣкоторыя, наконецъ—всѣ. Эти три періода

Взглядъ его на исторію.

въ исторіи освобожденія личности соотвѣтствуютъ тремъ ступенямъ развитія государственныхъ формъ: 1) восточный деспотизмъ, 2) республика (греческая демократическая и римская аристократическая) и, наконецъ, высшая форма 3) германская конституціонная монархія.

Эстетика Гегеля.

«Прекрасное», съ точки зрѣнія Гегеля, есть абсолютное въ чувственномъ существованіи. Съ такой точки зрѣнія, онъ систематизировалъ искусство, опредѣливъ его три формы: a) символическую, b) классическую и c) романтическую, (или—a) восточное, b) греческое и c) христіанское). Христіанское (или романтическое) искусство есть воплощеніе идеальныхъ, возвышенныхъ чувствъ рыцарскаго и религіознаго характера; оно умѣетъ даже мелкое и случайное облагородить своимъ вниманіемъ.

Вліяніе обоихъ ученій на русское общество.

Обѣ философскія системы, особенно «гегеліанство», пользовались у насъ большимъ успѣхомъ. Шеллингомъ проф. Велланскій увлекался еще въ 20-ыхъ годахъ; въ 30-ыхъ годахъ это ученіе исповѣдывали у насъ профессора Павловъ и Надеждинъ, проф. Галичъ [1]), критикъ и историкъ Н. Полевой въ своемъ журналѣ «Московскій Телеграфъ»; отчасти этой же цѣли служилъ журналъ «Московскій Вѣстникъ», въ которомъ развивались эстетическіе взгляды Шеллинга. Поэтъ Веневитиновъ проводилъ ихъ въ своемъ творчествѣ.

Кружокъ Станкевича.

«Гегеліанство» захватило бо́льшее число послѣдователей, и дольше сохранило силу вліянія надъ русскими умами: оно глубоко захватываетъ даже 60-ые годы. При первомъ появленіи своемъ у насъ, оно культивировалось въ кружкѣ Станкевича. Этотъ кружокъ сперва, въ университетѣ, состоялъ изъ Станкевича, Константина Аксакова и Бѣлинскаго. Потомъ къ нему примкнули Бакунинъ, Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій. Кромѣ этихъ извѣстныхъ лицъ, въ кружокъ входило нѣсколько человѣкъ, менѣе выдающихся.

Станкевичъ.

Уже изъ одного перечня членовъ кружка видно, что онъ былъ собраніемъ лицъ различнаго душевнаго склада. Ихъ соединялъ прочно только Станкевичъ—личность свѣтлая, истинно-идеальная. Его вліяніе основывалось на красотѣ его нравственнаго существа: онъ, «не обладая литературнымъ и научнымъ талантомъ, былъ, тѣмъ не менѣе, очень талантливою личностью просто, какъ человѣкъ. Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ давалъ окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства. Его живая, умная и часто остроумная бесѣда была необыкновенно плодотворна для всякаго, кто вступалъ съ нимъ въ близкое общеніе. Онъ всякому спору умѣлъ сообщать высокое направленіе, все мелкое и недостойное, какъ-то само собою, отпадало въ его присутствіи, какъ и въ присутствіи Бѣлинскаго».

Герценъ о «гегеліанствѣ» русской молодежи.

Станкевичъ и его друзья были страстными поклонниками Гегеля. Герценъ не безъ ироніи вспоминалъ объ этомъ обожаніи, доходившемъ до

---

[1]) Лицейскій учитель А. С. Пушкина, издавшій книгу по теоріи поэзіи, построенную на взглядахъ Шеллинга.

фанатизма: друзья зачитывали «до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нѣсколько дней всякую брошюрку о Гегелѣ, ссорились и расходились другъ съ другомъ вслѣдствіе несогласнаго толкованія идей Гегеля, требовали отъ всѣхъ поклоненія Гегелю»... Они жили въ какомъ-то особомъ отвлеченномъ мірѣ умозрительной философіи, и вся современность представлялась имъ только воплощеніемъ различныхъ философскихъ идей. Герценъ иронизировалъ по этому поводу: «всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и, если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ, или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи».

Значеніе этого увлеченія философіей.

Эта философія была нужна мыслящимъ русскимъ юношамъ, такъ какъ въ ней они нашли не только много глубокихъ идей, но и возможность осмыслить жизнь, дѣйствительность. Эта философія учила ихъ первоосновамъ жизни, и то безсмысленное-случайное, что рѣзало имъ глаза, казалось теперь, въ философскомъ освѣщеніи, такимъ маленькимъ, случайнымъ и, въ то же время, имѣющимъ право на существованіе. «Для нихъ философія стала въ полномъ смыслѣ слова религіей, неразъ доводившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Неудивительно, что чисто-научный интересъ отошелъ при этомъ совершенно на второй планъ. «Мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія», говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Такимъ образомъ, дѣло не въ томъ, правильно и глубоко, или нѣтъ понимали юноши философію Гегеля,—важно то, что ихъ увлеченіе было первымъ русскимъ чисто-умственнымъ теченіемъ.

Герценъ и его друзья.

Въ то время, когда Станкевичъ и его друзья увлекались умозрительной философіей, эстетикой и литературой, ихъ современникъ Герценъ со своими друзьями всѣ свои занятія сосредоточилъ на жгучихъ вопросахъ политической современности: его интересовала тревожная, политическая жизнь Запада; изъ крупныхъ русскихъ дѣятелей онъ первый откликнулся на соціалистическія идеи сенсимонистовъ. Всѣ эти интересы тоже довольно далеки были отъ русской дѣйствительности, и для Герцена, и для его друзей, они были на первыхъ порахъ умствованіями скорѣе отвлеченными,—но они все-таки связывались съ «землей», съ ея нуждами и потребностями; ихъ интересовали не философскія «идеи», не первоначала міровой жизни,—а человѣкъ, его печали и радости...

Сенъ-Симонъ и его ученіе.

Выше было уже указано, что послѣ французской революціи началась реставрація христіанства въ видѣ возрожденія католичества. Сенъ-Симонъ, увлеченный этимъ стремленіемъ возстановить «христіанство», явился съ проповѣдью «новаго христіанства»; онъ и его единомышленники рѣзко обличали современную имъ европейскую жизнь (торжество капитала, образованіе

пролетаріата, гнетъ устарѣлыхъ формъ жизни); доказывалъ, что ученіе Христа искажено, что надо возстановить его чистоту, перестроивъ религію на принципахъ любви къ ближнимъ. Поэтому для него люди бѣдные, несчастные—главный предметъ вниманія. Онъ училъ, что только очищенная христіанская религія можетъ создать людямъ земное счастье... Равенство людей, уничтоженіе привилегій рожденія и широкія права «труду»—вотъ, основы его ученія. Послѣдователи его—Базардъ и Энфантенъ развили его ученіе, и придали ему болѣе практическое значеніе. Они такъ же, какъ ихъ учитель, религію полагали въ основу своего ученія и не видѣли въ своихъ идеяхъ никакого подрыва политическимъ формамъ государства, полагая, что ихъ ученіе осуществимо независимо отъ образа правленія.

Его послѣдователи.

Базардъ мечталъ о болѣе правильномъ распредѣленіи труда, объ учрежденіи банковъ, которые должны урегулировать отношенія капитала и труда. Вмѣстѣ съ Энфантеномъ, развивая взгляды Сенъ-Симона, онъ сталъ доказывать, что за женщинами надо признать равноправіе въ жизни съ мужчинами (эмансипація женщины). Энфантенъ училъ, что язычество было культомъ природы, плоти; христіанство — культомъ духа, а «новое христіанство» (сенсимонизмъ) должно дать гармонію между «божественной плотью» и «божественнымъ духомъ».

Столкновеніе Герцена съ Бѣлинскимъ.

Герценъ очень интересовался этимъ ученіемъ и за сочиненія сенсимонистовъ, у него найденныя при обыскѣ, сосланъ былъ въ 1834-омъ году въ Пермь. Когда въ 1839-омъ году онъ вернулся въ Москву, онъ засталъ здѣсь разгаръ увлеченія «гегеліанствомъ».

Исходя изъ положенія: «все дѣйствительное—разумно» [1]), друзья Станкевича, особенно Бакунинъ и Бѣлинскій, пришли къ примиренію съ существующимъ порядкомъ русской дѣйствительности, оправдывали даже существованіе крѣпостного права. Герценъ ужаснулся, видя, до какихъ философскихъ предѣловъ дошли его университетскіе товарищи. И вотъ, онъ самъ изучилъ философію Гегеля, и сумѣлъ доказать Бѣлинскому, что тотъ— 1) слишкомъ узко понималъ Гегеля, и—2) что не въ умозрительныхъ построеніяхъ смыслъ жизни, а въ служеніи человѣку. Со свойственною ему страстностью, Бѣлинскій отъ гегеліанства отказался ради политическихъ интересовъ и сенсимонизма. Уже въ 1841-омъ году онъ сдѣлался единомышленникомъ Герцена.

Изъ совокупныхъ воздѣйствій идей «оффиціальной народности», философіи Гегеля и французскихъ политическихъ ученій сложились у насъ два характерныхъ философско-историческихъ міросозерцанія: *славянфильство* и *западничество*. Первые представители этихъ взаимно-противорѣчащихъ міросозерцаній вышли изъ одного гнѣзда—изъ кружка Станкевича.

---

[1]) Въ толкованіи этой формулы самъ Гегель нѣсколько путался; то онъ говорилъ, что «дѣйствительное» (wirklich) не значитъ «существующее». «Дѣйствительное» есть только то, въ чемъ проявляется «духъ»: вотъ, почему человѣкъ, служащій идеѣ (независимо отъ ея ширины и глубины)—служитъ «дѣйствительности»: служба отечеству, сословію, городу, деревнѣ, семьѣ, любви—все это «дѣйствительность»; все же частное, случайное, неразумное есть «призрачность», есть противоположное дѣйствительности, какъ кажущееся, но не сущее. Когда же Гегелю указали, что его формула оправдываетъ крайній либерализмъ, онъ, консерваторъ по своимъ убѣжденіямъ, готовъ былъ суживать понятіе «дѣйствительное», прибавляя ему смыслъ «существующаго».

Славянофильство.

Славянофильство было ученіемъ болѣе сложнымъ, чѣмъ теорія «офиціальной народности», хотя, несомнѣнно, между ними было большое сходство. Главнымъ отличіемъ между ними были цѣли и средства. Цѣлью «офиціальной народности» было, какъ мы видѣли, внушеніе русскому обществу вѣры въ неподвижные идеалы старины; это было стремленіе чисто-*консервативное*. Первые славянофилы проповѣдывали *свободное развитіе идеаловъ старины*; они были *прогрессисты-народники*. Главнымъ средствомъ для достиженія цѣли у «офиціальной народности» была «опека» надъ обществомъ и борьба съ протестомъ,—славянофилы же стояли за свободу мысли и слова. Но, по существу идеаловъ, обѣ теоріи во многихъ пунктахъ соприкасались.

Исторія славянофильства.

Возникало наше славянофильство, какъ результатъ—1) романтизма, пробудившаго націоналистическія стремленія у многихъ народовъ Европы—2) наполеоновскихъ войнъ, которыя подняли патріотизмъ во всѣхъ странахъ Европы и смѣнили идеалы французскаго космополитизма стремленіемъ къ національному самоопредѣленію [1]), 3)—философіи Шеллинга и особенно Гегеля, съ ихъ широкими взглядами на величественный ходъ міровой исторіи на началахъ развитія. Особенно плодотворна была идея Гегеля относительно того, что каждая историческая нація является носительницей какой-нибудь «идеи». Гегель остановился на грекахъ, римлянахъ и германцахъ. Славянофилы обратились къ «славянамъ»—4) Кромѣ того, къ родной старинѣ и народу славянофиловъ потянуло подъ вліяніемъ того чувства разочарованія, которое многими овладѣло при видѣ того, какое крушеніе потерпѣли западническіе идеалы Александра I въ Россіи, 5)—наконецъ, для народническихъ симпатій было основаніе и въ родной литературѣ: въ поэзіи Пушкина, Жуковскаго, позднѣе Лермонтова, уже сказались національно-патріотическія настроенія; въ ихъ твореніяхъ уже опредѣлилось исканіе родной культуры, выяснились идеалы народа—семейные, государственные и религіозные.

Особенности этой теоріи.

Въ поискахъ самостоятельнаго типа русской культуры славянофильство пріобрѣло демократическій характеръ, наклонность къ идеализаціи старины и тяготѣніе къ панславизму (мечты объ соединеніи всѣхъ славянъ подъ русской державой). Изъ этого видно, что славянофилы, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, близко подходили къ либеральной части русскаго общества (демократизмъ), въ нѣкоторыхъ—къ консервативной (идеализація старины).

Дѣятели этой группы.

Школа славянофиловъ сложилась около второй половины 30-хъ годовъ: братья Кирѣевскіе, Иванъ и Петръ, Хомяковъ, Дм. Валуевъ, Аксаковы, Константинъ и Иванъ, Юр. Самаринъ, — вотъ самые видные дѣятели славянофильства, разработавшіе это ученіе въ философскомъ, религіозномъ и политическомъ отношеніяхъ. Сперва они дружили съ «западниками», но потомъ постепенно разошлись: философскія письма Чаадаева разорвали послѣднія связи,—особенно послѣ злобнаго памфлета Языкова.

Первые славянофилы были люди прекрасно-образованные, воодушевленные горячей вѣрой въ свое ученіе, независимые и потому смѣлые. Они вѣрили

---

[1]) Особенно рѣзко это проявилось тамъ, гдѣ народности пытались бороться за свою самобытность (возстаніе въ Ирландіи, Бельгіи, Венгріи, Польшѣ).

въ великое будущее Россіи, преклонялись передъ «Святой Русью», говорили о томъ, что Москва—«третій Римъ», что тамъ новая цивилизація смѣнитъ всѣ устарѣвшія культуры Запада, и этимъ «спасетъ» «гніющій Западъ». Съ ихъ точки зрѣнія, Петръ совершилъ грѣхъ, задержавъ самостоятельное развитіе русскаго народа. Они изложили теорію о существованія «двухъ міровъ» — *восточнаго*, греко-славянскаго, — и *западнаго*. Они указывали, что западная культура основывается на римской церкви, древне-римской образованности, и государственная жизнь основана на завоеванія. Совсѣмъ иной порядокъ вещей видѣли они въ восточномъ греко-славянскомъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго являлся въ ихъ глазахъ русскій народъ. Восточное христіанство есть православіе, отличительная черта котораго есть неизмѣнное храненіе вселенскаго преданія. Православіе есть, поэтому, единственное истинное христіанство. Наша образованность византійскаго происхожденія; если она уступала западной во внѣшнемъ развитіи разума, то превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Въ государственномъ устройствѣ такая же разница: начало русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ тѣмъ, что у насъ не было завоеванія, а было добровольное призваніе. Этотъ основной фактъ отражается и на всемъ дальнѣйшемъ развитіи общественныхъ отношеній: у насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, которая постоянно дѣлила западное общество; не было сословій; земля была не личною собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ. Этой «общиной» славянофилы особенно гордились: они говорили, что Западъ только въ самое послѣднее время дошелъ до идеи создать «общину» (сенсимонизмъ)—институтъ, вѣками уже у насъ существующій въ деревнѣ. Такимъ образомъ, до Петра Великаго, по мнѣнію славянофиловъ, у насъ развитіе шло естественно; религіозное сознаніе было основной нравственной силой и руководствомъ въ жизни; народный бытъ отличался единствомъ понятія и единствомъ нравовъ. Государство было обширной общиной; власть принадлежала царю, представлявшему общую волю; тѣсная связь членовъ этой великой общины выражалась земскими *соборами*, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимъ древнія вѣча. Съ такой либеральной идеализаціей старины (вѣче, соборы) связывалось самое восторженное преклоненіе передъ простымъ русскимъ народомъ-«богоносцемъ»; въ его жизни славянофилы увидѣли воплощеніе всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей (любовь къ ближнимъ, смиреніе, отсутствіе эгоизма, благочестіе, идеальныя семейныя отношенія). Поэтому формула: *самодержавіе* (ограниченное земскими соборами), *православіе* (съ духовными соборами и полномочіями прихода) и *народность* (съ общиной, соборами и свободой развитія)— сдѣлалась лозунгомъ славянофильства. Стоя на такой точкѣ зрѣнія, они часто являлись строгими критиками русской современности, и потому если не всѣ, то многіе изъ нихъ, должны быть отнесены къ оппозиціоннымъ дѣятелямъ этой эпохи.

(Взглядъ ихъ на Петра и русскую исторію.) (Идеалы славянофильства.)

(Западничество.) *Западничество* этой эпохи отличалось менѣе опредѣленными чертами: оно захватывало слишкомъ много оттѣнковъ западнаго либерализма (отъ конституціонализма до республиканства и сенсимонизма). Самые видные западники эпохи, Бѣлинскій и Герценъ, выросли подъ впечатлѣніемъ событій

14 декабря 1825 года (Бѣлинскому было 14 л., Герцену 13—14). Оба признавали впослѣдствіи, что это событіе было одно изъ самыхъ сильныхъ юношескихъ впечатлѣній ихъ жизни; оба выросли подъ впечатлѣніемъ николаевскаго режима; оба прошли затѣмъ ту же школу гегеліанства, основная идея котораго — «идея законосообразнаго развитія» — легла въ основу ихъ историческаго міровоззрѣнія. Это міровоззрѣніе внесло трагизмъ въ ихъ жизнь. Условія русской жизни этой эпохи мѣшали имъ проводить въ жизнь свои идеалы. Немудрено, что порою они чувствовали себя «лишними» здѣсь, въ Россіи. Сознаніе своей безпомощности заставляло нашихъ западниковъ — или интересоваться европейской жизнью, гдѣ въ это время, вкривь и вкось, шла политическая борьба,—или полемизировать съ «славянофилами»,—такъ какъ даже на писателей, представителей «офиціальной народности», цензура не разрѣшала имъ подымать оружія. Тѣмъ злѣе и пристрастнѣе была ихъ критика «славянофильства».

Критика славянофильства.

Въ мірѣ византійскомъ западники видѣли упадокъ и застой, неограниченный деспотизмъ, поглощеніе личности государствомъ, государства—императоромъ; въ древней русской жизни они тоже не видѣли ничего привлекательнаго; въ пылу полемики они отходили отъ славянофиловъ въ другую крайность,—готовы были пренебрежительно отзываться о народной поэзіи, иронизировать надъ «славянами» и надъ ихъ «великой исторической миссіей». Они превозносили Петра и защищали Западъ; мнѣніе славянофиловъ о томъ, что Западъ «гніетъ», что онъ наканунѣ смерти— западники считали абсурдомъ, увѣряя, что Сенъ-Симонъ и его единомышленники, выступившіе съ рѣзкимъ осужденіемъ западноевропейской жизни, самъ же своимъ ученіемъ предлагаетъ и лѣченіе, которое излѣчитъ, дѣйствительно, «больной Западъ». Они выступили рѣшительными противниками родового быта и излюбленной славянофилами «общины», такъ какъ въ ней «личность» была порабощена, не могла развиваться свободно [1]). Западники въ «смиреніи» русскаго народа видѣли не добродѣтель, а недостатокъ,—слабость «личнаго начала»; мечты о великой культурной миссіи русскаго народа они называли «мистической фантазіей», такъ какъ ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ не видѣли основаній для такой восторженной вѣры. Русская дѣйствительность стояла передъ ними слишкомъ обнаженною,—ея идеализировать они не могли. Вотъ, почему мечтою западниковъ сдѣлалось не сохраненіе и углубленіе національныхъ добродѣтелей русскаго народа, а перевоспитаніе его на началахъ общечеловѣческаго прогресса.

Критика современности.

Литературная дѣятельность Пушкина въ николаевскую эпоху.

Литературная дѣятельность Пушкина въ николаевскую эпоху. Пушкинъ остался нѣсколько въ сторонѣ отъ этой сложной умственной жизни эпохи; она только нѣкоторыми

[1]) Славянофилы на это отвѣтили, что въ древней Руси личность, просвѣщенная греческою церковью, была свободна,—она обладала высокимъ даромъ самопожертвованія и добровольно переносила свою свободу на личность государя... Онъ выражаетъ собою сострадание, благоволеніе и свободную индивидуальность. Каждый отказывался отъ личной самостоятельности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, спасалъ ее въ представителѣ личнаго начала—«государѣ».

сторонами коснулась его. Мы видѣли уже, что къ концу царствованія Александра I онъ доросъ до полной умственной самостоятельности; его міросозерцаніе, политическое и эстетическое, сложилось уже прочно и навсегда. «Примиреніе» съ жизнью, интересъ къ русскому прошлому и простому народу, любовь къ родинѣ,— вотъ, основы его новаго политическаго міровоззрѣнія; онъ отказался отъ оппозиціи, признавъ, что можетъ больше пользы принести отечеству, будя «добрыя чувства», чѣмъ воспѣвая «свободу» и высмѣивая ея враговъ. Развязка 14 декабря должна была сильно подѣйствовать на его впечатлительную душу: онъ преклонился передъ мощью власти; въ націоналистическихъ идеалахъ молодого императора онъ увидѣлъ сродство со своими вѣрованіями; слабость оппозиціи, обнаружившаяся при подавленіи мятежа 14 дек., и легкость, съ которою русское общество отъ поверхностнаго либерализма перешло къ консерватизму, убѣдили его, какъ неосуществимы и преждевременны были либеральныя мечты его друзей. Со свойственной ему способностью увлекаться, онъ сталъ сравнивать императора Николая I съ Петромъ Великимъ; онъ сдѣлался поклонникомъ не только сильной личности Николая [1]), но и его націоналистической политики,—ему стало казаться (въ 1830 г.), что императоръ исправитъ «ошибку» Петра Великаго, устроивъ «контръ-революцію» (возстановленіемъ національзма) его «революціи». Но, при всемъ своемъ почитаніи Николая I, онъ далекъ былъ отъ того, чтобы закрывать глаза на всѣ отрицательныя стороны тогдашней русской жизни: впрочемъ, онъ готовъ былъ вину за многое переносить на помощниковъ царя, его приближенныхъ [2])...

Его міровоззрѣніе.

Отношеніе къ Николаю I.

---

[1]) «Стансы» («Смотрю впередъ я безъ боязни...»), «Друзьямъ» («Нѣтъ, я не льстецъ!..»).

[2]) Послѣ прочтенія «философскихъ писемъ» Чаадаева, Пушкинъ писалъ ему въ 1836-омъ году, что не можетъ съ нимъ согласиться почти ни въ чемъ: онъ находилъ, что Россія сыграла великую культурную роль, спасая собою западно европейскую культуру отъ татаръ,—и это было причиной русской отсталости... Онъ говорилъ, что унижать русское православіе за то, что оно взято у Византіи нельзя, такъ какъ Евангеліе остается Евангеліемъ, откуда бы оно ни было взято, а на нравственность русскую жизнь Византіи не оказала вліянія; духовенство русское до церковной реформы при Петрѣ пользовалось общимъ уваженіемъ... Онъ не соглашался съ Чаадаевымъ, что прошлое Россіи ничтожно: «Петръ Великій, говорилъ онъ, есть самъ—цѣлая всемірная исторія». И въ николаевской Россіи онъ видѣлъ «что-то величественное», «поражающее». «Хотя лично я сердцемъ привязанъ къ императору, писалъ онъ, но я далекъ отъ восхищенія всѣмъ тѣмъ, что меня окружаетъ... Но я клянусь Вамъ честью, что ни за какую цѣну не хотѣлъ бы мѣнять отечество, или имѣть не ту исторію, которую прожили наши предки». Онъ соглашался, что не только въ управленіи страной, но и въ жизни русскаго общества много дурного (отсутствіе общественнаго мнѣнія, равнодушіе къ долгу, справедливости и истинѣ, циничное презрѣніе къ мысли и достоинству человѣка).

Но онъ не отвернулся и отъ своихъ друзей-декабристовъ: восславляя въ стихахъ императора Николая, онъ, въ то же время, написалъ трогательное «Посланіе въ Сибирь» къ друзьямъ-декабристамъ. Такое равное сочувствіе ко всѣмъ людямъ и событіямъ, повидимому, не имѣющимъ между собой ничего общаго, было у Пушкина результатомъ примиренія его съ жизнью. Характернымъ въ этомъ отношеніи является его стихотвореніе на лицейскую годовщину (19 октября 1827 г.); въ немъ онъ привѣтствуетъ своихъ друзей:

Любовь ко всѣмъ людямъ, какъ одно изъ основаній примиренія его съ жизнью.

«Богъ помочь вамъ, друзья мои,
Въ заботахъ жизни, царской службы,
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,
Въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли!

Этотъ широкій привѣтъ одинаково относится и къ друзьямъ-сановникамъ, и къ друзьямъ-каторжникамъ. Но не всѣ современники понимали истинное настроеніе поэта, а за его восхваленія императора многіе открыто обвиняли его даже въ „искательствѣ“. Эти обвиненія были, конечно, несправедливы: Пушкинъ всегда былъ правдивъ и поступалъ согласно убѣжденіямъ и чувствамъ своего честнаго сердца.

Пушкинъ и «офиціальная народность». «Клеветникамъ Россіи».

Къ стихотвореніямъ, въ которыхъ онъ выразилъ свои политическія вѣрованія, откликнувшись на современныя событія, относятся его извѣстныя оды: «Клеветникамъ Россіи», «Бородинская годовщина». Оба произведенія написаны по поводу возстанія въ Польшѣ, и оба проникнуты такимъ патріотическимъ настроеніемъ, которое свидѣтельствуетъ и о народной гордости, владѣвшей тогда его сердцемъ, и о томъ чувствѣ обиды, которое было внушено сознаніемъ, что на Россію враждебно смотритъ Западная Европа, сочувствующая полякамъ. Къ польскому вопросу Пушкинъ отнесся съ точки зрѣнія «офиціальной народности». На историческую роль Россіи онъ взглянулъ съ точки зрѣнія славянофиловъ,—онъ увѣровалъ въ ихъ мечты, что современемъ въ «русское море» сольются «славянскіе ручьи», т. е., что Россія объединитъ всѣ славянскія племена. Мирный поэтъ, увлекаясь духомъ милитаризма, моднымъ въ николаевскую эпоху, готовъ былъ преувеличить военное могущество Россіи, грозя войною всей Европѣ,—

«Иль намъ съ Европой спорить ново?
Иль русскій отъ побѣдъ отвыкъ?

—задаетъ онъ вопросъ «клеветникамъ Россіи», т. е. иностраннымъ журналистамъ, осуждавшимъ русскую политику... Набросавъ картину необъятности россійскихъ предѣловъ, поэтъ задаетъ вопросъ: неужели—

«Стальной щетиною сверкая,
Не встанетъ русская земля?—
Такъ высылайте къ намъ, витіи,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть мѣсто имъ въ поляхъ Россіи
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ!

«Бородинская годовщина».

Въ другомъ стихотвореніи онъ выражаетъ восторгъ по поводу взятія Варшавы. Онъ иронизируетъ надъ мнѣніемъ западноевропейскихъ журналистовъ, будто Россія «больной, разслабленный колоссъ»—и торжествующе вопрошаетъ:

«Вашъ бурный шумъ и хриплый крикъ
Смутили-ль русскаго владыку?
Скажите, кто главой поникъ?
Кому вѣнецъ: мечу, иль крику?
Сильна-ли Русь?—Война и моръ,
И бунтъ, и внѣшнихъ бурь напоръ
Ее, бѣснуясь, потрясали—
Смотрите-жъ: все стоитъ она!
А вкругъ нея волненья пали,
И Польши участь рѣшена.

И въ этомъ стихотвореніи грозитъ онъ западноевропейцамъ гибелью на необозримыхъ поляхъ русскихъ:

«Тяжко будетъ имъ похмелье,
Дологъ будетъ сонъ гостей
На тѣсномъ, хладномъ новосельѣ
Подъ злакомъ сѣверныхъ полей!

Пушкинъ и Шеллингъ.

Таковы были «стихотворныя отраженія» новыхъ политическихъ убѣжденій Пушкина.

Существуетъ мнѣніе, что и философія Шеллинга коснулась его своими эстетическими теоріями. «Московскій Вѣстникъ», органъ московскихъ шеллингіанцевъ, проводилъ взгляды нѣмецкаго философа на «поэзію», какъ на «божественный даръ», на поэта—какъ на «священнослужителя», который стоитъ выше толпы, съ ея низменными потребностями; въ его вдохновенной душѣ—«святая святыхъ», куда онъ можетъ не пускать непосвященныхъ. Поэтъ Веневитиновъ, другъ Пушкина, былъ убѣжденнымъ сторонникомъ такого взгляда на поэзію.

Къ стихотвореніямъ Пушкина этого рода относятся слѣдующія: «Поэтъ» (1827), «Чернь» (1828), «Поэту» (1830). Взгляды Пушкина на поэзію. «Поэтъ».

Въ первомъ стихотвореніи Пушкинъ изображаетъ тотъ моментъ, когда поэтомъ овладѣваетъ вдохновеніе, когда Аполлонъ призываетъ его къ «священной жертвѣ», — тогда поэтъ, еще недавно «малодушно» погруженный въ «заботы суетнаго свѣта» и «межъ дѣтей ничтожныхъ міра», быть можетъ, самый ничтожный,—преображается: ему душно въ мелочной людской толпѣ—

«Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы,
Къ ногахъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы.

«Дикій и суровый» бѣжитъ онъ отъ людей къ природѣ.

Въ этомъ стихотвореніи «вдохновеніе» представлено, какъ «наитіе свыше», творчество—какъ священнодѣйствіе, принесеніе жертвы Аполлону...

Въ стихотвореніи «Чернь» изображено отношеніе къ поэту «толпы», холодной, непонимающей... «Чернь».

«Онъ пѣлъ,—а хладный и надменный,
Кругомъ народъ непосвященный
Ему безсмысленно внималъ.

Слушая вольныя пѣсни поэта, «чернь» судила о томъ, какая будетъ «польза» ей отъ тѣхъ волненій, которыя пробуждались въ ея сердцѣ отъ слушанія этой пѣсни. На эту точку зрѣнія становятся всѣ утилитаристы, которые отъ знанія, отъ искусства, отъ всѣхъ человѣческихъ трудовъ, отъ генія и чернорабочаго — требуютъ только пользы, немедленно обнаруживающейся въ осязательныхъ результатахъ. Эстетическое отношеніе къ жизни чуждо такой узкой точки зрѣнія: «печной горшокъ», въ которомъ варятся щи, оказывается «полезнѣе», а потому и нужнѣе статуи Аполлона Бельведерскаго. Это—точка зрѣнія крыловскаго пѣтуха, который ячменное зерно предпочитаетъ жемчужному. Отъ поэзіи утилитаристы требуютъ только «служенія обществу»: поэтъ могъ быть только «учителемъ», или «обличителемъ» своихъ современниковъ. Но пушкинскій поэтъ безотрадно смотритъ на такое «служеніе» обществу — онъ убѣжденъ, что такого общества не оживитъ гласъ его лиры; не мирному поэту учить и обличать то общество, которое себя учитъ «бичами», «темницами и топорами»... Да, къ тому же, у поэта есть другое, болѣе высокое призваніе:—онъ говоритъ:

«Во градахъ вашихъ, съ улицъ шумныхъ,
Сметаютъ соръ—полезный трудъ;
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?..
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

«Поэту».

Въ третьемъ стихотвореніи Пушкинъ утѣшаетъ поэта, оскорбленнаго непостоянствомъ и легкомысліемъ толпы:

«Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной.

По мнѣнію Пушкина, поэтъ, тѣмъ не менѣе, долженъ остаться «твердъ, спокоенъ и угрюмъ»; по его словамъ, поэтъ—царь; онъ долженъ «дорогою свободной» итти туда, куда влечетъ его «свободный умъ»; не толпѣ судить его, а потому и судъ ея не долженъ его тревожить.

Самостоятельность Пушкина въ этихъ стихотвореніяхъ.

Всѣ три произведенія, дѣйствительно, соприкасаются со взглядами Шеллинга на значеніе поэта,—но большой ошибкой было бы считать эти три произведенія навѣянными знакомствомъ Пушкина съ нѣмецкой философіей—1) противопоставленіе „поэта“ и „толпы“ встрѣчается даже въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина, повторяется и въ позднѣйшихъ [1]); 2) всѣ три произведенія имѣютъ автобіографическое значеніе,—они вызваны столкновеніемъ Пушкина съ русской критикой, гр. Бенкендорфомъ, который подавалъ совѣты Пушкину, какъ надо исправлять его произведенія,—наконецъ, съ русской публикой, охладѣвшей къ поэту; 3) въ литературѣ до ознакомленія съ идеями Шеллинга Пушкинъ встрѣчалъ уже представленіе поэта, какъ существа, высоко стоящаго надъ толпой. Такъ, подражая Гёте (прологъ къ Фаусту), онъ еще въ 1824-омъ году написалъ: «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ»,—произведеніе, въ которомъ намѣчены уже всѣ идеи названныхъ произведеній [2]). Такимъ образомъ, къ тому же времени, когда Пушкинъ познакомился со взглядами Шеллинга на поэта, у него самого сложилось уже сходное представленіе.

Но не слѣдуетъ забывать того, что всѣ эти три произведенія не только не исчерпываютъ взглядовъ Пушкина на поэзію, но даже представляютъ недостаточно вѣрно ихъ сущность: они всѣ созданы подъ вліяніемъ чувства обиды, чувства горечи отъ столкновенія съ толпой,—оттого въ нихъ такъ много тревоги, вызванной оскорбленнымъ самолюбіемъ. Поэтому не въ нихъ только надо искать выраженіе взглядовъ Пушкина на поэзію.

---

[1]) «Добрый совѣтъ» (1817), «Жуковскому» (1818), «Деревня» (1819), «кн. А. М. Горчакову» (1819), «Погасло дневное свѣтило» (1820), «Чаадаеву» (1821), «Пирующіе студенты» (1814), «Посланіе къ Галичу» (1815), «Посланіе къ Юдину» (1815), «Я говорилъ предъ хладною толпой» (1822), «Свободы сѣятель пустынный» (1823).

[2]) Эпиграфъ къ стихотворенію «Чернь» Пушкинъ взялъ изъ Горація: «Procul este, profani»—указаніе, свидѣтельствующее о томъ, что и въ римской лирикѣ онъ подслушалъ мотивы противопоставленія «поэта» и «черни»

Гораздо спокойнѣе, а, слѣдовательно, и правильнѣе высказался онъ въ другихъ произведеніяхъ. Въ стихотвореніи „Эхо“ поэзія представлена зеркаломъ, отражающимъ всю жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ,—грозныхъ и мирныхъ: поэтъ, подобно „эхо“, на все откликается въ силу прирожденной ему отзывчивости,—онъ, какъ эхо, не имѣетъ власти выбирать изъ жизни то, или другое,—онъ долженъ откликаться на *все*. Такой широкой отзывчивостью, отличалось, какъ разъ, творчество Пушкина. Но безотрадно смотритъ онъ на результаты пѣсни поэта: какъ на эхо, такъ и на эту пѣсню, нѣтъ отзыва,—только сознаніе полной отчужденности отъ современнаго общества могло вызвать такія строки. „Эхо“.

Но есть стихотвореніе у Пушкина, въ которомъ онъ опровергаетъ идеи всѣхъ выше-разобранныхъ произведеній. Здѣсь Пушкинъ всего ближе подходитъ къ опредѣленію истинныхъ цѣлей поэта и болѣе правильной самооцѣнкѣ. Это стихотвореніе — „Памятникъ“. Поэтъ отмѣтилъ въ немъ великое культурное значеніе своей гуманной поэзіи. „Памятникъ“.

«И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ;
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ!

Это признаніе совершенно противорѣчитъ тому гнѣвному отвѣту, который поэтъ далъ „черни“, обратившейся къ нему съ просьбой „исправлять сердца собратій“,—явное доказательство, что въ этомъ страстномъ, тревожномъ стихотвореніи („Чернь“), отразившемъ минутныя настроенія, поэтъ говорилъ противъ совѣсти, самъ отрицалъ истинную сущность своего призванія, настоящую цѣну своихъ заслугъ...

Не будучи поэтомъ „дидактическимъ“, не обращая своихъ произведеній въ „нравоученія“, Пушкинъ объективно рисовалъ „добро“ въ жизни,—и въ этомъ великое значеніе его гуманной поэзіи. Въ стихотвореніи „Памятникъ“ нѣтъ презрѣнія къ черни, нѣтъ самовозвеличенія поэта-жреца, нѣтъ и пониманія поэзіи, какъ „художественнаго зеркала“, въ которомъ фатально отражается все,—здѣсь, въ этомъ стихотвореніи, поэзія—есть любовь къ людямъ, къ падшимъ, къ рабамъ, къ „униженнымъ и оскорбленнымъ“... Таково *идейное* значеніе поэта, но Пушкинъ опредѣлилъ и *художественное* значеніе его.

Въ цѣломъ рядѣ произведеній (съ лицейскаго періода) онъ шелъ опредѣленно къ *реализму* творчества и въ стихотвореніи Реализмъ, какъ художественный пріемъ.

„Шалость“ достигъ высшей степени проясненности этого реализма. Изображать жизнь, какъ она есть, не идеализировать ея, не закрывать глазъ на безотрадную дѣйствительность, въ ней умѣть найти настроенія и идею,—вотъ, завѣтъ, который оставилъ Пушкинъ русской литературѣ. Итакъ, *любовь ко всѣмъ проявленіямъ дѣйствительной жизни*,—вотъ, смыслъ всей поэзіи; въ этой „любви“ и въ изображеніи „дѣйствительности“ видѣлъ онъ свое значеніе, какъ художника.

Лирика послѣдняго періода.

Хотя лирическое творчество Пушкина значительно ослабѣло въ этотъ второй періодъ его творчества, смѣнившись творчествомъ эпическимъ, тѣмъ не менѣе, и теперь, время отъ времени, выражалъ онъ въ прекрасныхъ лирическихъ произведеніяхъ жизнь своей души.

Элегіи. a) любовныя.

Такъ, въ цѣломъ рядѣ прочувствованныхъ „элегій“ онъ помянулъ свои прежнія увлеченія (напр. „Воспоминанія“):—Ризничъ („Элегія“ — „Подъ небомъ голубымъ“, „Заклинанье“ „Для береговъ отчизны дальней“),—гр. Воронцовою („Ангелъ“, „Талисманъ“, „Разставаніе“),—А. П. Кернъ („Когда твои младыя лѣта“). Немало лирическихъ стихотвореній посвятилъ онъ и чувствамъ новой любви, овладѣвавшей его увлекающимся сердцемъ (напр... „Нѣтъ, нѣтъ не долженъ я“). Таковы стихотворенія, посвященныя А. А. Олениной („Примѣты“, „Въ Альбомъ“, „Я васъ любилъ“, „Ты и вы“),—Е. И. Ушаковой („Когда бывало“, „Вы избалованы природой“, „Въ отдаленіи отъ васъ“, „Я васъ узналъ“),—Н. Н. Гончаровой („Мадонна“, „Красавица“, „Когда въ объятія мои“).

Изъ этихъ стихотвореній особенной красотой отличаются тѣ, которыя посвящены памяти Ризничъ и стихотвореніе: „Я васъ любилъ“. Въ этомъ произведеніи Пушкинъ возвысился до такой чистоты чувства, что любимой женщинѣ высказалъ пожеланіе быть любимой другимъ „такъ искренно и нѣжно“, какъ любилъ ее онъ. Любовь, чувство самое эгоистическое по существу своему, у рѣдкихъ людей можетъ подниматься на такія высоты самоотреченія, когда любящій человѣкъ любимому существу желаетъ счастья путемъ самопожертвованія.

b) взглядъ на жизнь.

Большая группа произведеній посвящена изображенію тѣхъ настроеній поэта, которыя были слѣдствіемъ—или воспоминаній о его прошломъ, или печальныхъ столкновеній съ дѣйствительностью: въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, глубокихъ по идеѣ, выразилъ онъ свои взгляды на жизнь.

Въ стихотвореніи «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» Пушкинъ съ горечью поминаетъ свою прошлую жизнь, полную ошибокъ... Посѣтивъ въ 1829 году Царское Село, припомнивъ свою юность, онъ, какъ «блудный сынъ», какъ— „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“.

«...отрокъ Библіи, безумный расточитель,
До капли истощивъ раскаянья фіалъ,
Увидѣвъ, наконецъ, родимую обитель,
Главой поникъ и зарыдалъ!»

Вся жизнь пронеслась въ его воспоминаніи, припомнилъ онъ, какъ «много расточилъ сокровищъ сердечныхъ» за «недоступныя мечты», какъ долго «блуждалъ» онъ въ жизни, «раскаяньемъ горя, предчувствуя бѣды!». Въ другомъ стихотвореніи: «Въ началѣ жизни школу помню я...»—онъ вспоминалъ, что съ юныхъ лѣтъ въ его творчествѣ перебивались два противорѣчивыхъ состоянія—одно возвышенное, духовное,—другое чувственное, плотское. Поэтъ разсказываетъ, что изображенія двухъ языческихъ боговъ были ему дороги: „Въ началѣ жизни“.

«Одинъ (Дельфійскій идолъ)—ликъ младой,
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ—лживый и прекрасный».

Обращаясь отъ прошлаго къ настоящему, поэтъ чувствовалъ, что много было имъ прожито, юность и мечты улетѣли (19 окт. 1831 г.).—

«Мы возмужали; рокъ судилъ
И намъ житейски испытанья
И смерти духъ средь насъ ходилъ,
И назначалъ свои закланья.

Въ другомъ стихотвореніи, тоже посвященномъ лицейской годовщинѣ (19 октября 1836 г.) онъ говоритъ: „19 октября 1836 г.“.

«Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...
. . . .
Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился.
Онъ присмирѣлъ, утихъ, остепенился...
. . . .
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается,
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ».

Но это спокойствіе души не приводитъ поэта къ холодному равнодушію; озаренное чувствомъ тихой грусти, оно полно всепрощенія къ людямъ и всей жизни, полно любви ко всему міру, къ его законамъ, смѣняю-

щимъ день ночью, жизнь—смертью, старость—юностью. Еще устами Ленскаго высказалъ онъ такой взглядъ на жизнь:

«Все благо! бдѣнія и сна
Приходитъ часъ опредѣленный.
...Благословенъ и день заботъ,
Благословенъ и тьмы приходъ.

„Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ".

Въ «Стансахъ»: «Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ»—Пушкинъ прекрасно выразилъ это чувство примиренія съ жизнью. Безъ злобы, безъ тѣни эгоизма смотритъ поэтъ на жизнь, быстро летящую мимо него,—онъ привыкъ спокойно думать о смерти и, лаская младенца, онъ думаетъ о будущемъ человѣкѣ, который, въ лицѣ этого младенца, смѣнитъ его въ жизни. И онъ безъ зависти смотритъ на него, любовно уступаетъ ему мѣсто, убѣжденный, что всему свое время и свои права...

«Мнѣ время тлѣть, тебѣ—цвѣсти!»—говорилъ онъ... Любовью къ жизни, къ молодости, къ природѣ звучатъ заключительныя слова его «Стансовъ»,—

«...И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять»...

Онъ знаетъ, что молодость, по существу своему, эгоистична, что природа равнодушна,—и все это не мѣшаетъ его любящему сердцу даже изъ могилы тянуться къ жизни [1]).

„Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье".

Примиряясь со смертью, онъ не отворачивался отъ жизни: въ своей «Элегіи» («Безумныхъ лѣтъ...») онъ выразилъ свои отношенія къ жизни: прошлое ему было тяжело, какъ «смутное похмѣлье»,—настоящее было безотрадно:

«Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море».

Но всетаки жизнь была для него счастьемъ:

«...Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать».

Борьба и страданіе въ поэзіи Пушкина.

Въ юности Пушкину смыслъ жизни представлялся въ „наслажденіи"; потомъ смыслъ жизни сосредоточился въ „борьбѣ"; теперь смыслъ жизни увидалъ онъ въ „страданіяхъ", которыя будятъ „мысль", подымаютъ энергію, очищаютъ душу, наполняя ее сочувствіемъ къ такимъ же страдальцамъ. Аскетъ любитъ „страданія" съ эгоистической точки зрѣнія: спасеніе души и гордое сознаніе своей силы,—вотъ, основы этой любви; гуманный человѣкъ

---

[1]) Совершенно такія же чувства выражены въ стихотвореніи „Опять на родинѣ". Видя, какъ молодая поросль молодыхъ сосенъ эгоистично закрыла собой старыя деревья, Пушкинъ, безъ чувства горечи, шлетъ привѣтъ этому молодому лѣску: „Здравствуй, племя молодое, незнакомое", и любовно представляетъ себѣ своихъ внуковъ, которые смѣнятъ его на землѣ, заслонятъ собою...

любитъ страданья, потому что только они учатъ его сочувствовать ближнему, — мудрый любитъ страданья потому, что, благодаря имъ, человѣкъ постигаетъ цѣну счастья.

Свобода въ поэзіи Пушкина.

Главнымъ условіемъ счастья въ глазахъ Пушкина была „свобода“: съ дѣтскихъ лѣтъ до могилы боролся онъ за независимость своей личности: онъ отстаивалъ ее отъ своихъ родителей, гувернеровъ, лицейскихъ педагоговъ; увлеченный своими друзьями-декабристами, онъ отстаивалъ политическую свободу родины; онъ боролся за художественную свободу вмѣстѣ съ арзамассцами, а потомъ самостоятельно и единолично почти противъ всей русской критики, не понявшей его „Бориса Годунова“ и послѣдующихъ произведеній. Въ 1836-омъ году, незадолго до смерти, изнемогая отъ гнета тѣхъ зависимостей служебныхъ, общественныхъ и семейныхъ, которыя давили его свободолюбивую душу, онъ попытался выяснить, какая „независимость“ *теперь* казалась ему самой разумной, самой необходимой.

„Изъ VI Пиндемонте“.

Въ стихотвореніи «Изъ VI Пиндемонте» онъ говоритъ, что не въ политическихъ правахъ, не въ формѣ правленія—счастье личности человѣческой.

«Иныя, лучшія мнѣ дороги права,
Иная, лучшая, мнѣ дорога свобода.
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи.
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье! вотъ права!»

Стихотвореніе это очень важно для пониманія тревожныхъ настроеній Пушкина въ послѣдній годъ его жизни, но оно отнюдь не характерно для его общаго міросозерцанія.

Уже въ Михайловскій періодъ творчества Пушкинъ испробовалъ впервые свои силы надъ изображеніемъ чувствъ и міросозерцаній другихъ народовъ, восточныхъ и западныхъ.

Вліяніе древне-русской церковной поэзіи.

Мы видѣли уже, какъ увлекался Пушкинъ эстетической и идейной стороной церковной поэзіи: онъ въ это время зачитывался Евангеліемъ, Библіей и Псалмами царя Давида, легендами, житіями святыхъ. Благодаря этому, онъ постигъ душу русскихъ людей XVII-го вѣка, сумѣлъ сродниться съ ихъ міросозерцаніемъ и

въ своемъ творчествѣ откликнулся на тѣ религіозно-поэтическія настроенія, которыми жила древняя Русь [1]).

Хотя этотъ интересъ къ церковной поэзіи не умиралъ у насъ въ теченіе XVIII-го вѣка (Ломоносовъ, Державинъ, Дмитріевъ и мн. др.),—но только въ лицѣ Пушкина онъ выразился особенно полно и ясно.

И въ свѣтской письменности древней Руси онъ сумѣлъ найти для себя интересное чтеніе: „Слово о П. Игоревѣ" онъ зналъ наизусть, по лѣтописямъ сумѣлъ опредѣлить религіозно-поэтическіе мотивы родной старины, и потому на Пушкина можно смотрѣть, какъ на перваго русскаго поэта, близко подошедшаго къ основнымъ настроеніямъ древне-русской письменности.

Античный міръ въ поэзіи Пушкина.

Многія лирическія произведенія этого періода представляютъ собой переводы произведеній древне-греческихъ лириковъ: Анакреона, Аѳенея, Ксенофона, Іона, Горація, Катулла. Высокое значеніе Пушкина, какъ цѣнителя античнаго міра, выяснено русской критикой [2]).

Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ до Пушкина не проникалъ такъ глубоко въ настроенія классической поэзіи. Начавъ съ псевдоклассицизма (poésie légère), который изъ настроеній античнаго міра сумѣлъ усвоить почти только одно—эпикуреизмъ, Пушкинъ перешелъ къ „неоклассицизму" и въ своихъ „переводахъ", особенно въ „подражаніяхъ", сумѣлъ подняться до истинно-античнаго міровоззрѣнія на жизнь, природу и искусство. Въ этомъ отношеніи, на него можно смотрѣть, какъ на итогъ русскаго классицизма, прояснявшагося въ теченіе XVIII вѣка.

Восточная и западная поэзія въ творчествѣ Пушкина.

Встрѣчаются среди лирическихъ произведеній этого періода также произведенія, которыя вѣрно выражаютъ мотивы восточной поэзіи („Не пой, красавица, при мнѣ", „Отрывокъ", „Изъ Гафиза", „Стамбулъ гяуры нынче славятъ", „Подражаніе арабскому), — испанской („Я здѣсь, Инезилья", „Предъ испанкой благородной...", „Альфонсъ", „Родрикъ"),—итальянской („Ты знаешь край", „Подражаніе Данте", „Подражаніе итальянскому"), —англійской („Пью за здравіе Мери", „Шотландская пѣсня") и польской („Конрадъ Валленродъ", „Воевода", „Будрысъ").

---

[1]) Къ удачнымъ произведеніямъ послѣдняго періода, навѣяннымъ поэзіей Св. Писанія относится отрывокъ: „Юдиеь", переложеніе великопостной молитвы Ефрема Сирина („Отцы-пустынники") указываетъ, что и поэзія святоотеческихъ твореній была ему доступна и понятна.

[2]) Черняевъ П., „А. С. Пушкинъ, какъ любитель античнаго міра" К. 1899. Любомудровъ, „Античный міръ въ поэзіи Пушкина". М. 1899.

Этотъ интересъ къ поэзіи другихъ народовъ, это стремленіе постигнуть ихъ „духъ“, ихъ „психологію“, уловить couleur locale было той данью, которую Пушкинъ заплатилъ романтизму. На этой же почвѣ романтическихъ требованій развился его интересъ къ исторіи (couleur historique) и къ народной русской поэзіи.

Русская природа въ творчествѣ Пушкина.

Большая группа лирическихъ и мелкихъ эпическихъ произведеній посвящена изображенію русской природы („Зимняя дорога“, „Зима, что дѣлать намъ въ деревнѣ?“, „Зимнее утро“, „Бѣсы“, „Осень“, „Опять на родинѣ“), сценамъ изъ русской простонародной жизни („Утопленникъ“, „Въ полѣ чистомъ серебрится“, „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ“), событіямъ русской исторіи („Пиръ Петра Великаго“, „Опричникъ“). По прежнему интересовался Пушкинъ и народной пѣсней. Цѣлый рядъ „подражаній“, имъ написанныхъ, указываетъ, до какой степени сроднился онъ съ народнымъ творчествомъ, его пріемами, духомъ и міросозерцаніемъ народа. Къ этимъ „подражаніямъ“ относятся слѣдующія произведенія—„Кормомъ, стойлами, надзоромъ“, „Начало сказки“, („Какъ весенней теплою порою“, „Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ“, „Одинъ то былъ у отца, у матери единый сынъ“, „Другъ мой милый, красно солнышко мое“)...

Народная поэзія въ творчествѣ Пушкина.

Вс. Миллеръ о „народничествѣ“ Пушкина.

Извѣстный ученый этнографъ Вс. Миллеръ говоритъ: «яркимъ примѣромъ удивительнаго процесса полнаго усвоенія народнаго духа и склада являются два отрывка — подражанія народнымъ стихамъ, сохранившіяся въ рукописяхъ Пушкина—начало сказки о медвѣдицѣ и нѣсколько стиховъ о вылетѣ первой весенней пчелки.

«Передъ нами, какъ будто, запись подлинной народной пѣсни, но, всматриваясь въ нее пристальнѣе, мы замѣчаемъ, что это попытка къ художественному воспроизведенію, руководимая замысломъ сохранить весь колоритъ народности, незлобивый юморъ, мѣткія характеристики, типическій стихъ,—попытка, дающая, какъ справедливо выразился Анненковъ, «впечатлѣніе деревенской пѣсни, пропѣтой великимъ мастеромъ». Сказка задумана изъ русскаго животнаго міра и начинаетъ разсказъ о событіи, случившемся въ лѣсномъ царствѣ—въ семьѣ медвѣдя-боярина. Нашъ бурый Мишка всегда пользовался народной симпатіей и своими свойствами—неуклюжестью, лакомствомъ, человѣко-подобными позами—служилъ мишенью народному юмору. Въ сказкѣ Пушкина медвѣдь представленъ «бояриномъ лѣснымъ» въ моментъ горя: умерла у него сударушка-медвѣдиха, и звѣри собираются къ нему выразить свое сочувствіе. Это предоставляетъ Пушкину возможность набросать краткія въ народномъ духѣ характеристики звѣрей: онъ зналъ, что «животный міръ, извѣстный русскому крестьянину—и звѣри, и рыбы, и даже насѣкомыя—даетъ обильную пищу его наблюдательности, вызываетъ въ его воображеніи сравненіе съ міромъ людей и возбуждаетъ тотъ благодушный юморъ, въ которомъ чувствуется симпатія ко всему живому. Онъ могъ знать извѣстную нынѣ во многихъ

записяхъ «старинку» о птицахъ и звѣряхъ, содержащую характеристику болѣе 30 представителей животнаго царства».

«Въ сказкѣ о медвѣдицѣ мы видимъ скорѣе такое же художественное собраніе въ одинъ фокусъ народныхъ красокъ, запечатлѣвшихся въ богатой памяти поэта, какъ въ его знаменитомъ прологѣ къ «Руслану и Людмилѣ»—этомъ дивномъ калейдоскопѣ русскихъ сказочныхъ мотивовъ».

Обработка народныхъ сказокъ въ стихи.

Къ этому же періоду относятся обработки народныхъ сказокъ въ стихи: 1) о рыбакѣ и рыбкѣ, 2) о царѣ Салтанѣ, 3) о попѣ и работникѣ его Балдѣ 4) о мертвой царевнѣ и—5) о золотомъ пѣтушкѣ. Кромѣ того, изъ записанныхъ имъ нѣскольких сказокъ (вѣроятно, еще въ Михайловскій періодъ) онъ далъ Жуковскому свою запись „сказки о царѣ Берендеѣ"—и Далю „о Георгіи Храбромъ и сѣромъ волкѣ". Очевидно, Пушкинъ не только самъ интересовался народнымъ творчествомъ, но старался также привлечь къ нему вниманіе другихъ.

Оригинальность стихотворныхъ размѣровъ въ „народныхъ" произведеніяхъ Пушкина.

Вс. Миллеръ указываетъ на разнообразіе и оригинальность стихотворныхъ размѣровъ, которыми пользовался Пушкинъ для своихъ „сказокъ": напримѣръ, для сказки о Царѣ Салтанѣ онъ облюбовалъ совершенно особый размѣръ, которымъ раньше ничего не писалъ; причемъ трудно себѣ представить размѣръ, ближе соотвѣтствующій отрывистому слогу народныхъ сказокъ [1]). Въ „Сказкѣ о попѣ и его работникѣ Балдѣ" Пушкинъ удачно подражаетъ той рубленой, но снабженной риѳмами, прозѣ, которую мы читаемъ на старинныхъ лубочныхъ картинкахъ. Наконецъ, въ знаменитой сказкѣ: „О рыбакѣ и рыбкѣ" поэтъ отказывается отъ риѳмы и ведетъ разсказъ южно-славянскимъ стихомъ, съ которымъ познакомился онъ въ сербскихъ пѣсняхъ изъ сборника Караджича и который вполнѣ соотвѣтствуетъ спокойному эпическому ходу повѣствованія.

Происхожденіе нѣкоторыхъ „народныхъ" произведеній Пушкина.

Не всѣ „сказки", обработанныя Пушкинымъ, чисто-русскаго происхожденія: такъ, „сказка о рыбакѣ и рыбкѣ", „сказка о мертвой царевнѣ"—сказки нѣмецкія по происхожденію. Нужно было знать и понимать русскую народную поэзію такъ, какъ Пушкинъ, чтобы изъ чужого-заимствованнаго создать чисто-русское и даже простонародное. То же онъ сдѣлалъ позднѣе и съ сюжетомъ, взятымъ изъ нѣмецкой сентиментальной оперы: „Das Donauweibchen", переработавъ его на русскій ладъ въ своей „Русалкѣ".

Работа Пушкина надъ своимъ языкомъ.

Сближеніе съ творчествомъ и жизнью народа заставили Пушкина обратить особое вниманіе на свой, не только литературный

---

1) Этимъ размѣромъ позднѣе воспользовался Ершовъ для своего „Конька-Горбунка".

но и разговорный языкъ. Въ письмахъ его это сказалось лучше всего: съ каждымъ годомъ его рѣчь дѣлается проще, народнѣе: онъ, словно, щеголяетъ простонародными выраженіями, знаніемъ пословицъ... Къ этому онъ шелъ сознательно и упорно. „Сказка сказкой, однажды сказалъ онъ, а языкъ нашъ—самъ по себѣ, и ему нигдѣ нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ сказкѣ. А какъ это сдѣлать?... Надо бы сдѣлать, чтобы выучиться говорить по русски и не въ сказкѣ.. Да нѣтъ трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ въ каждой поговоркѣ нашей! Что за золото! А не дается въ руки, нѣтъ!“.

Эпическія произведенія Пушкина въ этотъ періодъ.

Къ важнѣйшимъ *эпическимъ* произведеніямъ этого періода относятся поэмы: „Полтава“ (1828), „Галубъ“ (1829), „Мѣдный всадникъ“ (1833); романы и повѣсти—окончаніе „Евгенія Онѣгина“ (съ V-ой главы), „Арапъ Петра Великаго“ (1827), „Повѣсти Бѣлкина“ (1830), „Дубровскій“ (1832), „Капитанская дочка“ (1834).

„Полтава“.

Поэма „Полтава“ явилась результатомъ интересовъ Пушкина къ Петру Великому и малороссійскимъ преданіямъ, съ которыми познакомился онъ во время пребыванія своего въ имѣніи Раевскихъ въ „Каменкѣ“. Самъ Пушкинъ и его друзья большое художественное значеніе придавали этому произведенію, усматривая въ немъ много литературныхъ достоинствъ.

Въ поэмѣ нѣтъ единства содержанія,—здѣсь развертываются двѣ темы: 1) любовь, связавшая Мазепу съ Маріей, и—2) столкновеніе Петра съ Карломъ. Обѣ темы связаны только личностью Мазепы.

Мазепа.

Мазепа, въ отношеніяхъ къ Маріи и къ Петру, представленъ эгоистомъ, который ради своихъ личныхъ радостей и личнаго счастья, готовъ жертвовать другими. Въ этомъ отношеніи, и Марія, и Петръ оттѣняютъ собою этотъ эгоизмъ Мазепы,—Марія—своей самоотверженной любовью, Петръ—своимъ пониманіемъ общаго блага и неизмѣннымъ служеніемъ этому благу. И потомство расплатилось съ хищнымъ эгоизмомъ Мазепы,—его проклинаютъ въ церквахъ, тогда какъ трогательный образъ загубленной имъ дѣвушки сдѣлался предметомъ народныхъ пѣсенъ, а въ честь Петра воздвигся монументъ.

Отношенія Пушкина къ своему герою.

Въ обрисовкѣ характера Мазепы Пушкинъ не пожалѣлъ мрачныхъ красокъ. «Однакожъ, какой отвратительный предметъ!—восклицаетъ онъ, всматриваясь въ образъ своего героя: ни одного добраго, благосклоннаго чувства! ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость!» У Пушкина это единственный образъ, для котораго поэтъ не нашелъ ни одной симпатичной черты. Объясняется это, быть можетъ, тѣмъ, что онъ долго не всматривался въ душу Мазепы, а написалъ ее подъ вліяніемъ «думъ» Рылѣева [1],—тамъ Мазепа

[1] „Войнаровскій“, „Мазепа“, „Палѣй“ и др.

представленъ безпросвѣтнымъ злодѣемъ-титаномъ. И это увлекло Пушкина. «Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанныя на всѣ эти ужасы,—вотъ, что увлекло меня—говоритъ Пушкинъ. «Полтаву» написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все!» Послѣднія слова очень характерны,—они свидѣтельствуютъ о томъ, что долго въ героевъ «Полтавы» Пушкинъ не вдумывался, не изучалъ ихъ, что написаны они «порывомъ», вѣроятно, подъ вліяніемъ Рылѣева. Если бы поэтъ *самъ* подошелъ къ этому образу, онъ, конечно, избѣжалъ бы слишкомъ неопредѣленныхъ и, въ то же время, сплошь темныхъ красокъ въ описаніи Мазепы. Поэтъ не обрисовалъ бы героя такими общими чертами:

«...онъ не вѣдаетъ святыни,
...онъ не помнитъ благостыни,
...онъ не любитъ ничего!
...кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
...презираетъ онъ свободу,
...нѣтъ отчизны для него».

Повторяя характеристики, сдѣланныя Рылѣевымъ, Пушкинъ называетъ Мазепу «неукротимымъ», «старикомъ надменнымъ», «дерзкимъ хищникомъ», «губителемъ», «Іудой», «злодѣемъ», «скрытнымъ», съ душой «коварной», «мятежной», «ненасытной»... Слѣдуя за Рылѣевымъ, онъ разсказываетъ о «черныхъ думахъ» Мазепы, объ его «злой волѣ», объ «угрызеньяхъ его змѣиной совѣсти», объ его терзаньяхъ какой-то страшной пустотой, о томъ «кипучемъ ядѣ», который переполняетъ его сердце. Въ описаніи наружности Мазепы Пушкинъ не щадитъ такихъ же красокъ: у Мазепы «блестящій», «впалый взоръ»; онъ «суровъ», «блѣденъ», «угрюмъ», онъ «молча скрежеталъ», у него «коварныя сѣдины», онъ «сверкаетъ очами». Стремительность его неукротимаго духа и у Рылѣева, и у Пушкина выражается въ томъ, что Мазепа постоянно то «мчится», то «несется» на конѣ. Однимъ словомъ, въ лицѣ Мазепы Пушкинъ изобразилъ довольно шаблоннаго романтическаго злодѣя; только прекрасная сцена разговора его съ Маріей смягчаетъ этотъ напыщенный и неестественный образъ.

Петръ. Неизмѣримо выше, въ художественномъ отношеніи, обрисованъ образъ Петра, выношенный въ душѣ поэта, давно имъ любимый, имъ изученный и понятый... Чтобы обрисовать Петра, ему не пришлось обременять его образъ громкими эпитетами, — онъ нарисовалъ только два момента: въ его настроеніяхъ—1) на полѣ полтавской битвы—и 2) пирующимъ послѣ побѣды. Въ первомъ случаѣ передъ нами замѣчательное описаніе внѣшняго облика императора. Это описаніе реально, правдиво,—и, въ то же время, оно полно божественной красоты. Десятки эпитетовъ, которыми Пушкинъ надѣлилъ Мазепу, желая представить его титаномъ зла, блѣднѣютъ передъ слѣдующими немногими строками:

«... Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ.
Онъ весь—какъ Божія гроза...

«... И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ, какъ бой!
Онъ поле пожиралъ очами...

Въ этихъ словахъ Пушкину удалось представить Петра «полубогомъ», создать ему апоѳеозъ, не прибѣгая къ искусственнымъ романтическимъ эффектамъ.

Другой моментъ въ настроеніяхъ Петра—ликованіе его по поводу побѣды:

«Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ.

Это—торжество великаго человѣка, празднующаго не свою личную удачу, а новую эру въ историческихъ судьбахъ своего народа. Оттого такимъ величіемъ и спокойствіемъ полна его радость. Здѣсь нѣтъ мѣста мелкому тщеславію, эгоизму, злорадству. Оттого въ своемъ шатрѣ онъ угощаетъ не только своихъ вождей, но и чужихъ—

«И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Передъ этимъ величіемъ государя, постигшаго духъ своего народа и прозрѣвшаго его великія задачи, жалкими кажутся эгоистическое тщеславіе и честолюбіе Карла и Мазепы... И судьба покарала ихъ за то, что они служили, прежде всего, *себѣ*, своимъ желаніямъ... Изъ царскаго шатра, въ которомъ царитъ чисто-олимпійское величіе и радость, поэтъ ведетъ насъ въ «глушь степей нагихъ»: тамъ— Петръ, Карлъ и Мазепа.

«Король и гетманъ мчатся оба.
Бѣгутъ. Судьба связала ихъ.

Они бѣгутъ, «поникнувъ головою», бѣгутъ навстрѣчу смерти и невѣдомымъ могиламъ въ чужомъ краю...

Весь смыслъ поэмы раскрывается въ эпилогѣ: Смыслъ поэмы.

«Прошло сто лѣтъ—и что жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколѣнье миновалось—
И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ
Насилій, бѣдствій и побѣдъ.
Остатки разоренной сѣни,
Три углубленныя въ землѣ
И мхомъ поросшія ступени
Гласятъ о шведскомъ королѣ.

Такова судьба великихъ людей, которые въ исторіи преслѣдуютъ свои маленькія, личныя цѣли. Между тѣмъ—

«Въ гражданствѣ сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ!

—это награда отъ благодарнаго потомства великому слугѣ своего народа.

Развѣнчиваніе личности въ поэмѣ. Такимъ образомъ, «Полтава», какъ «Цыгане», какъ «Евгеній Онѣгинъ», какъ, отчасти, «Борисъ Годуновъ»—есть развѣнчиваніе «личности». Мы видѣли и въ жизни самого Пушкина это освобожденіе отъ эгоизма.

Художественныя красоты поэмы. Поэма «Полтава», имѣющая большіе недочеты въ «построеніи», отличается обиліемъ отдѣльныхъ сценъ и картинъ, написанныхъ геніально. Таковы, напримѣръ, сцены: разговоръ Мазепы съ Маріей, Орлика и Кочубея, появленіе сумасшедшей Маріи, описаніе украинской ночи и полтавской битвы.

Происхожденіе поэмы. Какъ указано было, поэма отразила на себѣ—1) давно зрѣвшій у Пушкина интересъ къ личности Петра—и 2) вліяніе «думъ» Рылѣева; въ нихъ Рылѣевъ раньше Пушкина началъ ходить вокругъ того художественнаго замысла, который воплощенъ «въ Полтавѣ»: въ «думахъ» его выведены почти всѣ лица, которыя повторяются потомъ въ «Полтавѣ»; кромѣ того, нѣкоторыя отдѣльныя картины, даже стихи Рылѣева повторены въ «Полтавѣ» (черты характера Мазепы, картина привала утомленныхъ бѣглецовъ Карла и Мазепы, пророческія видѣнія Мазепы, анаѳематствованіе въ церкви, казнь Кочубея, появленіе Маріи, у Пушкина развившіяся въ цѣлыя картины, прощанье съ родной землей)—все это, заимствованное Пушкинымъ, имъ перерабатывается и достигаетъ высокой степени совершенства,—3) многіе факты изъ жизни Мазепы взяты Пушкинымъ изъ его «жизнеописанія», приложеннаго къ «думѣ» Рылѣева—«Войнаровскій», и принадлежащаго перу Корниловича.

„Галубъ“. Неоконченная поэма „Галубъ“ интересна тѣмъ замысломъ, который положенъ въ ея основаніе.

Въ семью дикаго Галуба возвращается сынъ его Тазитъ, отданный отцомъ на воспитаніе отшельнику, повидимому, тайному христіанину. Тазитъ, просвѣтленный свѣтомъ христіанства, тяготится суровой жизнью родного аула: онъ оторванъ отъ интересовъ своей дикой родни, онъ не понимаетъ идеаловъ отца,—не рѣшается онъ ограбить беззащитнаго купца-армянина, рабу отца онъ даетъ возможность убѣжать изъ неволи, изъ сожалѣнія не рѣшается мстить убійцѣ брата, приводя въ свое оправданіе, что:

«Убійца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ!

Отецъ прогоняетъ изъ дома Тазита, проклинаетъ его, считая сына недостойнымъ носить имя чеченца.

Изъ сохранившагося въ бумагахъ Пушкина плана поэмы видно, что Тазитъ долженъ былъ отказаться не только отъ родного дома, но и отъ любимой дѣвушки; онъ сближается съ монахомъ, дѣлается миссіонеромъ.

Отрывокъ этой поэмы отличается необыкновенными красотами: описаніе похоронъ горца поразительно своей простой красотой; суровый образъ старика-Галуба отличается цѣльностью и полнотой.

Идея поэмы. Идея поэмы—великое культурное значеніе христіанства, свидѣтельствуетъ о томъ интересѣ, съ которымъ Пушкинъ относился къ исторіи христіанской религіи. О великомъ цивилизующемъ ея значеніи въ началѣ

XIX-го столѣтія говорилось немало и на западѣ (Шатобріанъ «Le génie de christianisme», Ламеннэ, Шеллингъ), и у насъ (напр., Чаадаевъ) [1].

Въ поэмѣ „Мѣдный Всадникъ", какъ въ „Полтавѣ", опять ставится вопросъ о томъ, что выше—счастье личное, или благо государственное. Опять въ лицѣ Петра представленъ великій дѣятель, служившій только благу родины. Для его вѣщаго взора, провидящаго будущее, ясна была необходимость „въ Европу прорубить окно" и, „ставъ ногою твердою у моря", создать Петербургъ, колыбель новой исторической жизни. Великое дѣло Петра потребовало много жертвъ у современниковъ. Большинство этихъ жертвъ было неизбѣжно и необходимо, такъ какъ безъ нихъ никогда не можетъ обойтись ни одно великое событіе. Но и тогда, когда событіе еще только совершалось, и тогда, когда уже развертывались всѣ великіе положительные результаты его—могли обнаруживаться, рядомъ съ нимъ, такія отрицательныя частности этого событія, отъ которыхъ попутно страдали отдѣльныя личности. Эти страданія могли быть и безполезны для общаго блага. Но передъ необъятнымъ благомъ всего народа, въ глазахъ историка, мало цѣны имѣютъ эти случайныя несчастья, даже гибель отдѣльныхъ личностей. Это жестоко, но это неизбѣжно. Весь трагизмъ этой суровой безсмысленной необходимости прочувствованъ Пушкинымъ и выраженъ имъ въ его поэмѣ: „Мѣдный всадникъ". „Мѣдный всадникъ".

Мазепа въ «Полтавѣ» является эгоистомъ, приносящимъ все въ жертву своимъ суетнымъ желаніямъ,—онъ и погибаетъ вслѣдствіе этого. Герой поэмы «Мѣдный Всадникъ», мечтающій только о личномъ благополучіи, не насилуетъ ничьей жизни, не вторгается въ исторію, — онъ только дрожитъ надъ своимъ маленькимъ счастьемъ. Но судьбѣ было угодно погубить это счастье, — и онъ погибъ, какъ случайная жертва великаго дѣла Петра,—погибъ отъ наводненія, которымъ особенно подверженъ Петербургъ вслѣдствіе своего неудачнаго географическаго положенія. Передъ нами одна изъ «безсмысленностей» исторіи, одна изъ тѣхъ ненужныхъ, безполезныхъ капель крови, которыхъ много разбрызгано по пути ея медленнаго величаваго шествія. Неумолимая и желѣзная, она идетъ впередъ, не зная состраданія, не считая своихъ жертвъ. И каждая такая жертва, особенно ненужная и безполезная, внушаетъ къ себѣ только безмѣрную жалость. Пушкинъ прочувствовалъ это и написалъ глубоко-трогательную исторію одной такой жертвы: наводненіе разбиваетъ мечты Евгенія,—его возлюбленная погибаетъ, и онъ сходитъ съ ума. Евгеній—жертва исторической необходимости.

Но Пушкинъ не ограничился этимъ: онъ къ этой грустной исторіи прибавилъ еще одну черту: жертва не сразу подчиняется судьбѣ, — она ропщетъ: во имя своихъ личныхъ, эгоистическихъ чувствъ, Евгеній дерзаетъ святотатственно порицать того Петра, который былъ, въ его глазахъ, глав-

---

[1]) См. выше стр. 61.

нымъ виновникомъ его несчастья. И этотъ жалкій вызовъ сумасшедшаго Евгенія, брошенный гиганту на бронзовомъ конѣ, лишаетъ несчастнаго значительной доли нашего сочувствія: безропотное страданіе внушаетъ къ себѣ неизмѣримо больше сочувствія. И жалкій муравей, возставшій противъ исполина, жестоко наказанъ,—всадникъ, съ разгнѣванныймъ ликомъ, на бронзовомъ конѣ преслѣдуетъ его по пятамъ...

Евгеній—представитель захудалаго дворянства.

Любопытно, что Пушкинъ усложнилъ образъ Евгенія еще нѣсколькими чертами: передъ нами не только человѣкъ, потерявшій «по винѣ Петра» свое личное счастье,—онъ, кромѣ того, принципіальный врагъ Петра за то, что тотъ унизилъ своими реформами русское дворянство. Евгеній, по происхожденію, принадлежалъ къ захудалой дворянской фамиліи, считавшей въ прошломъ въ своихъ рядахъ немало славныхъ именъ. Петръ своею «табелью о рангахъ» далъ дорогу «новымъ людямъ», и привилегіи происхожденія потеряли свою цѣну. Въ любопытномъ отрывкѣ: «Родословная моего героя», относящемся къ поэмѣ, Пушкинъ прямо выражаетъ сожалѣніе по поводу постепеннаго паденія русской родовой, но обѣднѣвшей аристократіи. Самъ Пушкинъ принадлежалъ къ ней, самъ гордился своей генеалогіей, и тяготился униженнымъ состояніемъ своего рода. Отсюда, изъ этихъ настроеній, вышли нѣкоторыя произведенія его, въ которыхъ онъ высмѣиваетъ «высшій свѣтъ», въ значительной своей части состоящій изъ «новыхъ людей», выдвинувшихся только въ XVIII-омъ вѣкѣ.

Евгеній—славянофилъ.

Но, кромѣ такихъ «сословныхъ» причинъ вражды Евгенія къ Петру, Пушкинъ представилъ его и еще націоналистомъ-славянофиломъ, который въ великомъ преобразователѣ усмотрѣлъ «насильника» надъ русской національностью. Собственно, въ дошедшемъ до насъ неоконченномъ текстѣ поэмы нѣтъ указанія на это «славянофильство» Евгенія, но кн. Вяземскій, въ чтеніи самого Пушкина, слышалъ монологъ Евгенія (въ 30 стиховъ), въ которомъ осуждался Петръ за его крайнее западничество и энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи.

Во всякомъ случаѣ, въ художественномъ отношеніи, поэма проиграла бы, если бы Пушкинъ подчеркнулъ сословную вражду Евгенія къ Петру и включилъ бы еще его славянофильство: ослабился бы трагизмъ судьбы Евгенія и померкла бы основная идея поэмы.

Петръ въ поэмѣ.

Петръ Великій, какъ въ «Полтавѣ», представленъ «полубогомъ»: его самого въ поэмѣ нѣтъ, но онъ присутствуетъ, какъ воспоминаніе, какъ ясный историческій образъ, связанный съ Невой и Петербургомъ.

«На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ..

Черезъ сто лѣтъ онъ присутствуетъ здѣсь-же въ видѣ мѣднаго исполина:

«Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?...

О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы.

И затѣмъ, этотъ же бронзовый гигантъ, въ видѣ ужаснаго призрака, чтобы покарать дерзкаго пигмея-Евгенія за его эгоизмъ и мелкую злобу, несется за нимъ ночью по улицамъ столицы.

«И озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ...

Поэма богата прекрасными картинами—къ такимъ надо отнести, напримѣръ, картину Невы до основанія Петербурга и Неву при Пушкинѣ, описаніе наводненія... Написана поэма подъ впечатлѣніемъ тѣхъ разсказовъ, которые услышалъ Пушкинъ отъ очевидцевъ наводненія, и вычиталъ въ тогдашнихъ журналахъ и газетахъ. Картина Невы до основанія Петербурга заимствована изъ сочиненія Батюшкова; «Прогулка въ академію художествъ». Образъ оживленной статуи Петра, по преданію взятъ Пушкинымъ изъ ходячаго тогда разсказа о снѣ кн. Голицына: въ 1812-омъ году ему привидѣлось, будто статуя Петра скакала по улицамъ Петербурга и имѣла бесѣду съ императоромъ Александромъ. Происхожденіе поэмы.

Всѣ эти три разобранныя поэмы неизмѣримо богаче, въ идейномъ отношеніи, раннихъ юношескихъ поэмъ,—тамъ интересъ автора сосредоточенъ на характерѣ героевъ, на описаніяхъ своеобразной природы юга,—здѣсь все вниманіе устремлено на выясненіе глубокихъ историческихъ идей: поэта интересуетъ великая культурная цивилизующая роль христіанства („Галубъ“), его захватываетъ вопросъ о моральныхъ обязанностяхъ личности въ исторіи („Полтава“), объ ирраціональномъ элементѣ въ исторіи, выражающемся въ безполезности случайныхъ жертвъ. („Мѣдный Всадникъ“). Сравненіе этихъ поэмъ съ прежними.

Историческія повѣсти Пушкина: „Арапъ Петра Великаго“ и „Капитанская дочка“—обѣ вышли изъ историческихъ интересовъ Пушкина къ Петру и Пугачеву. Какъ извѣстно, онъ занимался въ архивахъ сначала исторіей Петра, потомъ перешелъ къ Пугачеву. Результатомъ его увлеченія исторической работой была „Исторія Пугачевскаго бунта“, двѣ названныя повѣсти и, отчасти, такія произведенія, какъ „Полтава“, „Мѣдный Всадникъ“, „Пиръ Петра Великаго“. Историческія повѣсти.

Историческія повѣсти Пушкина отразили на себѣ вліяніе, популярныхъ тогда у насъ, романовъ Вальтеръ Скотта. Но это вліяніе сводилось только къ тому, что, слѣдуя за англійскимъ писате- Вліяніе Вальтеръ-Скотта.

лемъ, Пушкинъ испробовалъ свои силы надъ новымъ для него литературнымъ жанромъ—„историческимъ романомъ". Въ манерѣ письма онъ остался самостоятельнымъ и въ своихъ двухъ опытахъ явилъ образцы *реалистическаго* историческаго романа, что было диковинкой и для Запада, гдѣ этотъ жанръ оставался еще *романтическимъ* (погоня за яркими картинами, за интересными героями, приподнятость стиля) — у насъ такимъ романистомъ-романтикомъ былъ старшій современникъ Пушкина — Бестужевъ-Марлинскій.

Н. А. Котляревскій объ историческихъ повѣстяхъ Пушкина.

Н. А. Котляревскій говоритъ о повѣстяхъ Пушкина слѣдующее: «Оба памятника стоятъ совершенно одиноко въ нашей литературѣ тѣхъ годовъ. Мы не найдемъ имъ предшественниковъ ни у насъ въ Россіи, ни даже на Западѣ. Все, что до Пушкина писано въ этомъ родѣ на русскомъ языкѣ, ничтожно и не возвышается надъ уровнемъ литературной посредственности: все, что писано на Западѣ—при всѣхъ красотахъ выполненія—не достигаетъ той художественной простоты, той ясности въ замыслѣ и той жизненной правдивости въ рѣчахъ и поступкахъ дѣйствующихъ лицъ, которая такъ поражаетъ насъ въ историческихъ романахъ Пушкина... Не сравнимъ мы съ ними ни сентиментальныхъ нѣмецкихъ романовъ Лафонтена, или Мейснера, въ которыхъ много чувствительности и мало правды, ни французскихъ романовъ типа Гюго, Виньи, или Дюма—геніально-колоритныхъ и патетическихъ, но всегда сбивающихся на сказку, ни, наконецъ, романовъ англійскихъ—даже такихъ, какъ романы Вальтеръ Скотта, или Бульвера, въ которыхъ воображенія неизмѣримо больше, чѣмъ въ пушкинскихъ разсказахъ, но въ которыхъ, опять-таки, нѣтъ психологической правды въ душевныхъ движеніяхъ, настолько сильной, чтобъ обратить историческую личность въ нашего собесѣдника и насъ—въ его современниковъ. А именно всѣми этими качествами и блещутъ историческія повѣсти Пушкина... Прошедшее становится для насъ дѣйствительностью, и, почти безъ усилія фантазіи, мы начинаемъ себя чувствовать людьми иного вѣка, потому что видимъ предъ собой живыхъ людей и живую обстановку, въ которыхъ соблюдены всѣ условія реальной дѣйствительности. Пушкинъ обладалъ этимъ даромъ заставлять читателя жить прошлою жизнью, и только одинъ изъ всѣхъ нашихъ писателей имѣлъ эту власть надъ временемъ, пока «Война и Миръ» не указали намъ въ лицѣ графа Л. Толстого его законнаго наслѣдника».

Историческая повѣсть на западѣ.

Историческая повѣсть въ Россіи до Пушкина.

Итакъ, русская историческая повѣсть до Пушкина была сентиментальная, или романтическая. Къ этимъ двумъ основнымъ настроеніямъ въ началѣ XIX в. стали примѣшивать элементъ *мнимо-народный*. Онъ проявляется во всѣхъ этихъ произведеніяхъ, всегда въ одинаковыхъ видахъ: «прославленіе православія и самодержавія, перечень разныхъ добродѣтелей, свойственныхъ русскимъ, исчисленіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, извиненіе кое-какихъ пороковъ, археологическая реставрація обстановки, костюма и, по мѣрѣ силъ, самой рѣчи, иногда экскурсіи въ область миѳологіи и народныхъ преданій—вотъ, самые распространенные мотивы и пріемы, при помощи которыхъ авторъ стремился придать своему разсказу историческій и народный характеръ».

Романы Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, Мосальскаго, Вельтмана, Зотова, Кукольника,—вотъ, представители такого вида творчества. Одиноко среди нихъ стоятъ повѣсти Пушкина, какъ «Борисъ Годуновъ»—среди тогдашнихъ русскихъ трагедій, крикливыхъ, въ патріотическомъ духѣ...

„Арапъ Петра Великаго". Русское общество въ повѣсти.

Въ повѣсти „Арапъ Петра Великаго" Пушкинъ обрисовалъ просто и правдиво русское общество петровскаго времени.

На фонѣ широко-нарисованной картины тогдашнихъ нравовъ и обычаевъ высшаго свѣта, онъ изобразилъ типы людей стариннаго склада, враждебно настроенныхъ къ нововведеніямъ Петра (бояринъ Ржевскій)—и типы людей, въ той или другой мѣрѣ, усвоившихъ новые взгляды (Ибрагимъ, Корсаковъ). Не безъ юмора, но безъ всякой карикатурности, нарисовалъ Пушкинъ въ своей повѣсти рядъ характерныхъ сценокъ изъ тогдашней жизни (семейный бытъ русской знати, придворная ассамблея и т. д.). Центральное мѣсто въ повѣсти занимаетъ Петръ Великій, представленный въ обстановкѣ частной, интимной жизни. Пушкинъ представилъ его благожелательнымъ по отношенію къ своему крестнику арапу-Ибрагиму, изобразилъ благодушнымъ хозяиномъ на придворномъ балу, сердечнымъ, простымъ и грубоватымъ въ обращеніи. Такимъ образомъ, идеализаціи въ обрисовкѣ его Пушкинъ себѣ не позволилъ,—нарисовалъ его просто и правдиво. Гораздо блѣднѣе вышелъ у Пушкина арапъ-Ибрагимъ, который, судя по заглавію повѣсти, долженъ былъ занимать здѣсь первое мѣсто. Онъ представленъ сначала въ кругу парижской аристократіи, любовникомъ свѣтской дамы; затѣмъ онъ возвращается въ Россію и, по желанію Петра, дѣлается женихомъ Ржевской. Повѣсть осталась неоконченной, и потому характеръ главнаго героя остался непрояснившимся: намѣчены лишь вскользь простота и благородство его души, способность къ сильной страсти, но, въ то же время, ничѣмъ не доказана сила его воли, — слишкомъ легко подчиняется онъ Петру. Повидимому, въ Ибрагимѣ Пушкинъ хотѣлъ представить человѣка, преданнаго Петру «безъ лести», рядового сотрудника и исполнителя его воли, который, «не мудрствуя лукаво», повинуясь долгу и личной привязанности, идетъ вслѣдъ за нимъ. За эту простоту, трудолюбіе и исполнительность Петръ, повидимому, и любилъ своего арапа.

Петръ Великій.

Арапъ-Ибрагимъ.

„Капитанская дочка".

Если разобранная повѣсть вышла изъ интересовъ Пушкина къ Петру и къ его эпохѣ, то „Капитанская Дочка" есть результатъ его увлеченія „пугачевщиной". Созданію повѣсти предшествовали архивныя занятія поэта, выпускъ въ свѣтъ капитальнаго историческаго изслѣдованія „Исторія пугачевскаго бунта" и поѣздка въ Оренбургскій край—въ тѣ мѣста, гдѣ развернулась одна изъ самыхъ кровавыхъ страницъ русской исторіи.

Русская жизнь и люди въ повѣсти.

Исходя изъ центральнаго пункта своей работы — «пугачевщины», Пушкинъ въ своей повѣсти до такой степени расширилъ предѣлы своей картины, что бунтъ Пугачева явился только эпизодомъ на фонѣ свободно и широко-нарисованной русской жизни XVIII-го вѣка—той провинціальной,

которая мирно текла въ тогдашнихъ «дворянскихъ гнѣздахъ», и на окраинахъ русской земли, въ захолустныхъ «фортеціяхъ» Оренбургскаго края. Мимоходомъ рисуетъ поэтъ уголокъ придворной жизни и военной среды. Онъ выводитъ много лицъ, самыхъ разнообразныхъ, но всегда характерныхъ и исторически-вѣрныхъ: передъ нами, кромѣ главныхъ героевъ, выведены и русскіе помѣщики-дворяне, и гарнизонные офицеры, и бунтующіе крестьяне, и мятежные казаки, и Пугачевъ, и императрица Екатерина, и незабвенный Савельичъ, мелькаютъ и мастерски-очерченные типы француза Бопре, оренбургскаго коменданта Рейндорпа, армейскаго кавалериста Зурина и многихъ другихъ. Вся эта масса лицъ и событій, крупныхъ и мелкихъ, трагическихъ и комическихъ, включена въ рамки «семейной хроники». Петръ Андреевичъ Гриневъ, герой романа, словно въ назиданіе своимъ дѣтямъ, просто и безхитростно повѣствуетъ имъ исторію своей жизни, воспитанія, службы, женитьбы... Тонъ этого повѣствованія выдержанъ Пушкинымъ отъ начала до конца,—онъ умѣло скрываетъ себя за своимъ героемъ, и, благодаря этому, въ результатѣ, создаетъ произведеніе, объективное въ высшей степени.

Первая глава—„дворянское гнѣздо" XVIII в.

Въ первой главѣ романа представлена жизнь въ «дворянскомъ гнѣздѣ» конца XVIII-го вѣка, характеризуется та обстановка, та среда, которая тогда воспитывала рядовыхъ служилыхъ дворянъ, на своихъ плечахъ вынесшихъ всю русскую исторію XVIII-го столѣтія. Вся эта глава разсказана съ легкою примѣсью юмора,—Гриневъ вспоминаетъ свое дѣтство, нѣсколько подсмѣиваясь надъ собой и надъ своимъ воспитаніемъ, но, въ то же время, эта первая глава проникнута сочувствіемъ и любовью къ изображаемому въ ней быту.

Вторая глава—Оренбургскій край.

Вторая глава изображаетъ первыя впечатлѣнія того края, съ которымъ судьба связала молодого Гринева. Картина бурана въ степи, встрѣча съ таинственнымъ вожатымъ и пророческій сонъ Гринева являются прелюдіей къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя здѣсь его ожидали. «Сонъ Гринева имѣлъ значеніе эпизода, прекрасно дополняющаго картину бурана и сцену перваго появленія Пугачева, который сливался въ представленіи молодого Гринева, вмѣстѣ съ вьюгой и ея мглой, въ одно своеобразное и стихійно-грозное цѣлое» (Черняевъ). Сцена въ корчмѣ, споръ Савельича изъ-за тулупа и денегъ, встрѣча героя съ недалекимъ оренбургскимъ губернаторомъ Рейнсдорномъ—сцены, проникнутыя истиннымъ комизмомъ. Обликъ Пугачева, хотя и мелькомъ начерченный въ этой главѣ, врѣзывается въ память читателя.

Третья глава—Бѣлогорская крѣпость.

Третья глава знакомитъ насъ съ жизнью Бѣлогорской крѣпости, съ семьей коменданта крѣпости — съ его женой и дочерью. Жизнь здѣсь отличается комичною патріархальностью. Всѣми несложными дѣлами крѣпости правитъ жена коменданта,—она налагаетъ дисциплинарныя наказанія. Самъ капитанъ Мироновъ, предоставивъ административныя и хозяйственныя хлопоты энергичной супругѣ, занимается спеціально-военнымъ дѣломъ—обученіемъ строю старыхъ инвалидовъ, составляющихъ весь гарнизонъ «фортеціи».

Четвертая-шестая главы—любовь Гринева.

Четвертая и шестая главы представляютъ собою узелъ романа: молодой Гриневъ сближается съ Машей Мироновой; ихъ взаимная любовь вызываетъ ревность и зависть Швабрина. Между нимъ, и Гриневымъ, на

этой почвѣ, разыгрывается ссора, кончающаяся дуэлью. Поправившись отъ ранъ, молодой Гриневъ сватается къ Машѣ, получаетъ согласіе, но отецъ его, согласія на его бракъ не даетъ. Въ этой главѣ вполнѣ опредѣляются всѣ главные герои повѣсти, раскрывается горячій и благородный нравъ Гринева, обрисовывается простая, возвышенная и любящая натура Маріи Ивановны; тѣмъ отвратительнѣе представляется эгоизмъ Швабрина. Здѣсь же, въ этой главѣ, дорисовываются другія второстепенныя лица романа: жена Миронова, Савельичъ, Иванъ Игнатьевичъ.

Шестая—тринадцатая главы—Пугачевщина.

Слѣдующія, съ шестой по тринадцатую, главы посвящены «пугачевщинѣ», и во всѣхъ этихъ главахъ фигурируетъ Пугачевъ: онъ представленъ въ роли «императора», обрекающаго на казнь «государевыхъ ослушниковъ», и въ пьяномъ обществѣ «енараловъ»-сообщниковъ, и въ качествѣ защитника несчастной Маши, и въ роли великодушнаго, признательнаго покровителя Гринева... Въ этихъ главахъ развертывается все содержаніе повѣсти; здѣсь сосредоточены всѣ главныя событія жизни Гринева и Маши Мироновой.

Четырнадцатая глава—развязка романа.

Послѣдяя четырнадцатая глава содержитъ въ себѣ развязку романа: судъ надъ Гриневымъ, жизнь Маши въ имѣніи Гриневыхъ, поѣздка ея въ Петербургъ; перенесеніе дѣйствія изъ захолустной деревенской жизни въ обстановку дворцоваго величія съ императрицей Екатериной въ центрѣ, является величественнымъ аккордомъ, заключающимъ исторію героическихъ страданій героевъ романа.

Скромные, малозамѣтные герои повѣсти получаютъ отъ судьбы все заслуженное ими счастье, и высокимъ духомъ примиренія съ жизнью вѣетъ отъ ихъ простой, правдивой исторіи.

Старикъ Гриневъ.

Старикъ Гриневъ обрисованъ удивительно мастерски: «Это—яркій представитель лучшей части нашего помѣстнаго дворянства, организованнаго и воспитаннаго Петромъ Великимъ въ суровой школѣ военныхъ походовъ и иныхъ «несносныхъ трудовъ» и жертвъ, которыми строилась и крѣпла имперія». (Черняевъ). Онъ—слуга отечеству и государю,—эту службу онъ понимаетъ, какъ свой дворянскій долгъ, и въ такомъ духѣ воспитываетъ сына. Человѣкъ самостоятельный, даже упрямый, честный и негибкій, Гриневъ не ужился на военной службѣ, вышелъ рано въ отставку и повелъ замкнутую жизнь въ своей деревушкѣ. Дѣйствіе романа застаетъ его уже пожилымъ человѣкомъ, лѣтъ за шестьдесятъ, но сохранившимъ всю бодрость духа, всю ясность ума. Нѣсколько суровый, даже деспотическій, онъ, въ то же время, былъ справедливымъ и сдержаннымъ. Къ женѣ, сыну и къ крѣпостнымъ Гриневъ относился съ той патріархальной и «разумной» строгостью, которую рекомендовалъ русскимъ людямъ «Домострой»,—но его и любили, и уважали. Пушкинъ подчеркиваетъ наличность въ его душѣ значительной доли «аристократизма»: къ крестьянамъ относится онъ, какъ «баринъ»,—родословною своей гордится. Эта гордость дворянина, традиціей котораго, изъ вѣка въ вѣкъ, была «служба» родной землѣ, воспитала въ немъ сознаніе долга передъ родиной и государемъ. Отправляя сына на службу, даетъ онъ ему характерный совѣтъ: «служи вѣрно, кому присягаешь; на службу не напрашивайся, отъ службы не отказывайся; не гоняйся за лаской начальника; береги платье съ нова,

а честь съ молоду!» [1]). Вотъ почему слухъ объ измѣнѣ сына поражаетъ его больнѣе, чѣмъ поразила бы вѣсть объ его смерти. «Честь—главный двигатель всѣхъ чувствъ и поступковъ Гринева. Руководствуясь всегда и во всемъ честью, онъ умѣлъ цѣнить ее и въ другихъ. Исповѣдуя культъ чести, какъ вѣрности служебному и сословному долгу, старый Гриневъ невольно и безсознательно привилъ этотъ культъ своему сыну и тѣмъ самымъ спасъ его отъ паденія и ошибокъ въ Бѣлогорской крѣпости и при столкновеніи съ Пугачевымъ. Старикъ, несмотря на свою суровость, отличался и своеобразной добротой. Это видно изъ отношеній его къ Машѣ, которую онъ, несмотря на предубѣжденіе, пріютилъ у себя.

Молодой Гриневъ.

Молодой Гриневъ—«плоть отъ плоти и кость отъ кости своего отца». (Черняевъ). Онъ представляетъ собой типъ, во многихъ отношеніяхъ напоминающій своего отца: только суровость старика смѣняется у него мягкостью сердца, даже чувствительностью... На нашихъ глазахъ, въ два года выростаетъ онъ изъ ребенка, пускающаго змѣя и поѣдающаго пѣнки съ варенья—въ самостоятельнаго человѣка, съ достоинствомъ выходящаго изъ затрудненій очень опасныхъ. «Гриневъ былъ однимъ изъ благороднѣйшихъ представителей дворянства второй половины XVIII вѣка. Какъ и всѣ люди его поколѣнія, онъ началъ жить очень рано и достигъ умственной и нравственной зрѣлости въ такіе годы, когда люди нашего времени смотрятъ на себя, какъ на школьниковъ» (Черняевъ).

Ключевскій о героѣ повѣсти.

Любопытна характеристика Гринева, сдѣланная проф. Ключевскимъ: «Среди образовъ XVIII в. не могъ Пушкинъ не отмѣтить «недоросля», и отмѣтилъ его безпристрастнѣе и правдивѣе Фонвизина. У послѣдняго Митрофанъ сбивается на каррикатуру, обращается въ комическій анекдотъ. Въ исторической дѣйствительности недоросль — не каррикатура и не анекдотъ, а самое простое и вседневное явленіе, къ тому же нелишенное довольно почтенныхъ качествъ. Это — самый обыкновенный, нормальный русскій дворянинъ средней руки. Высшее дворянство находило себѣ пріютъ въ гвардіи, у которой была своя политическая исторія въ XVIII в., впрочемъ, болѣе шумная, чѣмъ плодотворная. Скромнѣе была судьба нашихъ Митрофановъ. Они всегда учились понемногу, — сквозь слезы при Петрѣ I,—со скукой при Екатеринѣ II, не дѣлали правительствъ, но рѣшительно сдѣлали нашу военную исторію XVIII в. Это — армейскіе офицеры, которые протоптали славный путь отъ Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они, съ русскими солдатами, вынесли на своихъ плечахъ дорогіе лавры Миниховъ, Румянцевыхъ и Суворовыхъ. Пушкинъ отмѣтилъ два вида недоросля, или, точнѣе, два момента его исторіи: одинъ является въ Петрѣ Андреевичѣ Гриневѣ, невольномъ пріятелѣ Пугачева, другой—въ наивномъ беллетристѣ и лѣтописцѣ села Горохина—Иванѣ Петровичѣ Бѣлкинѣ».

Отъ отца унаслѣдовалъ Гриневъ взглядъ на смыслъ своей жизни, на свои обязонности, — отъ матери — мягкость ея сердца. Жизнь помогла развиться этимъ добрымъ задаткамъ. заложеннмъ еще родной семьей. Благодаря стараньямъ отца, онъ пріобрѣлъ дома кое-какія свѣдѣнія, и скудный запасъ ихъ онъ пополнялъ охотно,—это была одна изъ причинъ

---

[1]) Старикъ Гриневъ напоминаетъ нѣсколько кн. Болконскаго (старика), одного изъ героевъ „Войны и Мира“.

его скораго сближенія съ Швабринымъ, который покорилъ его своею образованностью и начитанностью.

Рано обнаруживаетъ умѣніе жить своимъ умомъ; дѣлая промахи, онъ не совершилъ ничего постыднаго. Обыгранный не совсѣмъ Зуринымъ, онъ съ негодованіемъ отвергаетъ предложеніе Савельича «не платить проигрыша»,—и это негодованіе обнаруживаетъ въ юношѣ, только что вырвавшемся изъ-подъ родительской опеки, тонкость чувства чести. Онъ довѣрчивъ и наивенъ, но мужества у него—не занимать-стать,—исторія со Швабринымъ это доказала. Чистота его юношескаго сердца, его отзывчивость на все хорошее, простота и благородство души, завоевали ему любовь Маши Мироновой, золотое сердце которой было скрыто ея скромностью, смиреніемъ, ея провинціальною застѣнчивостью, даже дикостью. Его юное благородство, храбрость и искренность покоряютъ ему даже жесткое сердце Пугачева,—Гриневъ становится въ человѣческія отношенія къ нему, и, только благодаря этому, притаившіеся въ душѣ Пугачева добрые инстинкты открываются.

Поэтъ сумѣлъ своего «простого» героя и нарисовать «просто» — онъ не идеализировалъ его, не придавалъ ему красивыхъ позъ и не вложилъ ему въ уста патетическихъ рѣчей. Гриневъ ничего «романтическаго» въ себѣ не имѣетъ,—это образъ, написаный кистью *художника-реалиста*. Эпиграфомъ ко всей повѣсти Пушкинъ выбралъ изреченіе: «береги честь смолоду», желая этимъ подчеркнуть ту основную черту въ характерѣ Гринева, которую онъ вынесъ изъ воспитанія, полученнаго дома.

Старики Мироновы.

Во главѣ, посвященной характеристикѣ Мироновыхъ, Пушкинъ эпиграфомъ беретъ фразу изъ «Недоросля»: «старинные люди, мой батюшка»,—опредѣляя этимъ, что Мироновы живутъ въ кругу старозавѣтныхъ традицій, что даже Гриневы стоятъ гораздо ближе ихъ къ новшествамъ культурной жизни. Гриневы—представители захудалаго, но родовитаго дворянства, Мироновы—бѣдные, служилые люди, попавшіе въ дворяне, благодаря петровской табели о рангахъ.

Мироновъ.

Старикъ Мироновъ сорокъ лѣтъ тянетъ солдатскую лямку; онъ участвовалъ во многихъ походахъ—и противъ пруссаковъ (семилѣтняя война), и противъ турокъ. Онъ плохо знаетъ военные артикулы и, несмотря на всю любовь свою къ военному дѣлу, не можетъ своихъ инвалидовъ научить различать правую ногу отъ лѣвой; онъ не знаетъ и законовъ военныхъ,—всѣмъ въ «крѣпости» распоряжается его властолюбивая супруга, которая даже въ засѣданіи «военнаго совѣта» принимаетъ горячее участіе. Но изъ своей многотрудной жизни онъ вынесъ спокойное мужество, вѣрность солдатскому долгу и равнодушіе къ смерти. Въ послѣднія минуты своей жизни онъ явилъ примѣръ истиннаго героизма и выказалъ всю красоту своей безхитростной и кроткой, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мужественной, благородной души». (Черняевъ). Рѣшившись на борьбу съ Пугачевымъ, онъ зналъ, что идетъ на смерть,—и участь семьи не останавливаетъ его: онъ просто прощается съ подругой жизни, просто благословляетъ дочь. «Въ его послѣднихъ словахъ къ дочери сказывается вся сила его вѣры и вся искренность его безхитростной, простой, чисторусской морали: «Ну, Маша, молись Богу, будь счастлива. Онъ тебя не оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ—дай вамъ Богъ, любовь да совѣтъ. Живите такъ, какъ жили мы съ Ва-

силисой Егоровной». Къ солдатамъ своимъ онъ обращается съ рѣчью простой, чуждой аффектаціи: «что же вы, дѣтушки, стоите? умирать, такъ умирать—дѣло служивое!». Въ немъ много комизма, но въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ обнаруживается его величавое, чуждое всякой аффектаціи чисто-русское мужество, онъ вселяетъ къ себѣ глубокое уваженіе, и вы преклоняетесь передъ нимъ, какъ передъ истиннымъ героемъ, ни мало не уступающимъ тѣмъ героямъ древней Греціи и древняго Рима, которымъ мы привыкли удивляться со школьной скамьи». (Тамъ же). Иванъ Кузьмичъ—изъ разряда тѣхъ смирныхъ, незамѣтныхъ героевъ, которыми такъ интересовался Л. Толстой въ своихъ «Севастопольскихъ разсказахъ» и въ «Войнѣ и Мирѣ». [1]).

Иванъ Игнатьевичъ.

Рядомъ съ Мироновымъ стоитъ близкій ему по духу Иванъ Игнатьевичъ. Въ этомъ кривомъ поручикѣ-старикѣ еще больше комизма, чѣмъ въ его начальникѣ,—онъ еще простодушнѣе, еще безхитростнѣе капитана Миронова, но у него такое-же мужественное сердце и довольно здраваго смысла. И Швабринъ, и даже Гриневъ не прочь посмѣяться надъ этимъ смѣшнымъ старикомъ, который безропотно исполняетъ всѣ приказанія капитанши — помогаетъ ей мотать нитки, по ея приказанію, нанизываетъ грибы для сушенія. Но у него оказывается свои взгляды на жизнь и смерть... Онъ, напримѣръ, чуждъ предразсудковъ «культурнаго общества» и на дуэль смотритъ съ чисто-народной точки зрѣнія. Когда Гриневъ его пригласилъ быть секундантомъ, онъ сказалъ: «помилуйте, Петръ Андреичъ. Что это вы затѣяли! Вы съ Алексѣемъ Иванычемъ побранились! Велика бѣда! Брань на вороту не виснетъ! Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте; онъ васъ—въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье—и разойдитесь; а мы ужъ васъ помиримъ. А то, доброе-ли дѣло заколоть своего ближняго, смѣю спросить? И добро бы ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алексѣемъ Иванычемъ, я и самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлитъ? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросить?» Онъ осуждаетъ дуэль и съ точки зрѣнія христіанской, и съ точки зрѣнія здраваго смысла. Для него это только грѣхъ и нелѣпость,—«рыцарства» въ поединкѣ онъ не понимаетъ и даже, вопреки начальнымъ требованіямъ «приличія», не считаетъ нужнымъ скрывать ввѣренную ему тайну. Умираетъ онъ такъ же просто, повторяя передъ Пугачевымъ слова своего единственнаго авторитета въ жизни—капитана Миронова. Въ эти слова онъ вноситъ только свое добродушіе, сказавъ самозванцу: «ты, *дядюшка*, воръ и самозванецъ!»

Василиса Егоровна.

Характерной парой къ Ивану Кузмичу была его жена Василиса Егоровна. Эта словоохотливая, прямодушная женщина отличалась властнымъ характеромъ; передъ ней пассовалъ ея, обстрѣлянный въ бояхъ, супругъ,—но, относясь къ нему немного свысока, она умѣла уважать въ немъ честнаго друга и честнаго воина. Она до такой степени сжилась съ нимъ, что жизнь у нихъ была общая. «*Мы* ужъ сорокъ лѣтъ на службѣ»,—говоритъ она о мужѣ. Всѣ дѣла мужа поэтому считаетъ она въ одинаковой степени своими. Она обладаетъ мужественнымъ характеромъ и на воен-

---

[1]) Тушинъ, Тимохинъ и др.

номъ совѣтѣ является рѣшительной сторонницей сопротивленія Пугачеву. Она была настоящимъ другомъ своему мужу и въ могилу не хочетъ отпускать его одного. Поэтому она отказывается спасаться бѣгствомъ изъ крѣпости: «нечего мнѣ подъ старость лѣтъ разставаться съ тобой да искать одинокой могилы на чужой сторонѣ,—вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать!»—говоритъ она. «Она была необразована и, по внѣшности, нѣсколько грубовата, но въ ея душѣ таился неисчерпаемый родникъ любви, соединенный съ отвагой и выносливостью человѣка, закаленнаго въ опасностяхъ и трудахъ боевой и походной жизни. Василиса Егоровна—такой же свѣтлый и привлекательный типъ стараго вѣка, какъ Иванъ Кузмичъ, Иванъ Игнатьевичъ, Савельичъ и старикъ Гриневъ съ женою» (Черняевъ).

Марія Ивановна Миронова.

Марія Ивановна подстать Гриневу,—несразу увидишь черты великой души и великаго сердца въ этой простой и незамѣтной дѣвушкѣ. А постигаютъ ее сразу или люди-сердцевѣдцы, какой представлена въ романѣ императрица Екатерина, или инстиктивно чуютъ величіе ея души люди безхитростные: Савельичъ называлъ ее «ангеломъ Божьимъ». Образованія она не получила никакого,—бѣдность не позволила родителямъ ея дать ей ни свѣтскаго лоска, ни блестящаго воспитанія: «они окружили ее атмосферой честной бѣдности и несложныхъ, но возвышенныхъ и твердыхъ взглядовъ на жизнь и людей»... Подобно многимъ русскимъ дѣвушкамъ древней Руси, она все воспитаніе получила въ религіи, да въ семьѣ. «Церковь сдѣлала ее христіанкой въ истинномъ смыслѣ этого слова; отчій домъ поддерживалъ и укрѣпилъ въ ней то настроеніе, которое она вынесла оттуда и прочно привилъ къ ней несложные, но добрые навыки и убѣжденія, на которыхъ держалась старинная Русь». Впечатлительная и женственная, она отличается чуткостью сердца и тонкимъ, какимъ-то, смиреннымъ самолюбіемъ. Но, роняя тихія слезы самолюбія во время беззастѣнчиваго разговора матери объ ея бѣдности, падая въ обморокъ отъ шума битвы и при видѣ Пугачева, она могла быть рѣшительна и смѣла въ своихъ поступкахъ: никакія мученія не заставляютъ ее подчиниться волѣ Швабрина: безъ колебанія идетъ она въ трудный путь,—ходатайствовать передъ императрицей за своего ни въ чемъ неповиннаго жениха. Замкнутая въ себѣ и скрытная, она жила внутренней жизнью и, мало говоря, не выдѣляясь изъ массы людей, сумѣла выработать въ себѣ знаніе людей и научилась въ нихъ разбираться (отношеніе ея къ Швабрину). Рисоваться она не умѣла, всякая аффектація ей чужда. Искренняя и простая, она не любитъ выставлять на показъ своихъ чувствъ. Даже прощалась она съ могилами родителей одна, чтобы дорогой ей человѣкъ не былъ свидѣтелемъ ея горя. Насколько сильны надъ ней древне-русскія воззрѣнія на жизнь, видно, хотя-бы, изъ того, что, узнавъ о нежеланіи родителей Гринева прислать ему благословеніе на свадьбу, она готова подчиниться волѣ Божьей и отказывается отъ мечты соединить свою сиротскую долю съ судьбой дорогого ей человѣка. «Нѣтъ, Петръ Андреичъ, говоритъ она, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастья. Покоримся волѣ Божьей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь другую—Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ, а я за васъ обоихъ буду Богу молиться!». Великодушная безъ мѣры, дѣвушка готова

молиться за будущую супругу дорогого ей человѣка; она думаетъ только объ его счастьи; «безъ ихъ благословенія не будетъ *тебѣ* счастья» — говоритъ она. Подобно своимъ родителямъ, подобно кривому поручику, подобно этимъ «стариннымъ людямъ», она не живетъ модными идеалами, вычитанными изъ книгъ. Она осуждаетъ дуэль, видя въ ней проявленіе злого легкомыслія и эгоизма,—для нея не «правила чести», не приличія свѣтскихъ людей,—а внутренняя, «божеская правда» выше всего на свѣтѣ. «Марья Ивановна прекрасно себѣ усвоила значеніе Евангельскихъ словъ: «будьте кротки, какъ голуби, и мудры, какъ змѣи»; она всецѣло была проникнута величавою народною мудростью, сложившеюся подъ вліяніемъ церкви и ея ученія». Она не кончила своей жизни, какъ Лиза Калитина монастыремъ,—она сдѣлалась счастливой матерью и преданной женой.

Сравненіе этой героини съ Татьяной.

Образъ Маши Мироновой гораздо полнѣе и чище образа Татьяны Лариной. «Кроткое лицо Марьи Ивановны окружено ореоломъ чистоты и поэзіи и, даже можно сказать, святости. Марья Ивановна, съ гораздо большимъ основаніемъ, чѣмъ Татьяна, можетъ быть названа идеаломъ русской женщины, ибо въ ея натурѣ, въ ея стремленіяхъ, и во всемъ складѣ ея ума и характера не было ничего нерусскаго, вычитаннаго изъ иностранныхъ книгъ и, вообще, навѣяннаго иноземными вліяніями. Всѣми своими помыслами и влеченіями Марья Ивановна связана съ русскимъ бытомъ». Только талантъ такого реалиста-художника, какъ Пушкинъ, спасъ образъ героини, этого «ангела во плоти»—отъ фальши. Онъ такъ прикрѣпилъ ее къ землѣ, къ средѣ, къ эпохѣ, что эта идеальная героиня спасена была отъ той «идеализаціи», которая многихъ героевъ стараго, до-пушкинскаго романа, обратила въ какихъ-то манекеновъ, живущихъ по правиламъ прописной морали.

Пугачевъ.

Удивительное мастерство обнаружилъ Пушкинъ и въ обрисовкѣ Пугачева. Въ пору романтизма, когда писатели особенно дорожили риторикой и эффектами, Пушкинъ сумѣлъ въ Пугачевѣ понять и нарисовать не мелодраматическаго героя—а, просто, человѣка, съ человѣческими слабостями и достоинствами. Пугачевъ, въ его толкованьи, тѣмъ интереснѣе для насъ, что къ обрисовкѣ его души Пушкинъ приготовился долголѣтнимъ изученіемъ историческихъ матеріаловъ, записокъ и устныхъ преданій. Такимъ образомъ, въ характеристикѣ самозванца сказался не только поэтъ-художникъ, инстинктомъ прозрѣвающій человѣческую душу, но и добросовѣстный ученый-историкъ. Благодаря такому соединенію точекъ зрѣнія, образъ Пугачева получился полный: Пушкинъ не умолчалъ о преступныхъ чертахъ его души (напр., о кровожадности), но сумѣлъ въ немъ найти широкія черты отваги, удальства и способность отдаваться благороднымъ порывамъ; въ немъ онъ уловилъ и добродушіе, и плутоватый простонародный юморъ. «Пушкинскій Пугачевъ представляетъ соединеніе богатырскаго размаха съ плутоватостью яицкаго казака, прошедшаго огонь и воду, съ повадками разбойника... Не уменьшая крупныхъ размѣровъ Пугачева, Пушкинъ не дѣлалъ изъ него мелодраматическаго злодѣя, или байроновскаго героя; онъ ни на минуту не забывалъ о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя породили Пугачева и пугачевщину». Не широкіе политическіе замыслы, а «прыткость, бодрость молодецкая и хмѣлинушка кабацкая»—какъ поется въ пѣснѣ, выдвинули Пугачева. Смѣлый, отваж-

ный, всегда полагающійся на «авось», этотъ «герой безвременья», умѣющій напустить, когда нужно, ужасъ, можетъ хохотать отъ души заразительнымъ, добродушнымъ смѣхомъ. Г. Черняевъ совершенно справедливо указываетъ, что казнь Мироновыхъ была необходимостью для Пугачева послѣ того, какъ они всенародно называли его «воромъ» и «самозванцемъ». Помиловать ихъ послѣ этого было бы опасною для Пугачева слабостью—онъ уронилъ бы себя въ глазахъ своей кровожадной свиты безвозвратно. Казнь эта была нужна, кромѣ того, и для того, чтобы терроризовать власти.

Простой человѣческій разговоръ Гринева подкупаетъ его и помогаетъ ему установить откровенныя, почти-пріятельскія отношенія. Онъ даже раскрываетъ свои честолюбивые замыслы юношѣ-Гриневу: «Какъ знать! говоритъ онъ. *Авось* и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь поцарствовалъ же надъ Москвой!» Такимъ образомъ, ему хочется только *поцарствовать*,—онъ знаетъ, что судьба Гришекъ Отрепьевыхъ непрочна, но путь къ ней интересенъ,—а Пугачевъ, въ изображеніи Пушкина—именно незаурядная личность: онъ поэтъ-мечтатель,—«съ какимъ то дикимъ вдохновеніемъ» разсказываетъ онъ Гриневу сказку о томъ, что воронъ живетъ триста лѣтъ, потому что питается падалью, а орелъ—недолго, но за то пьетъ живую кровь... И Пугачевъ готовъ жить недолго, да бурно, мятежно,—эту жизнь онъ предпочитаетъ спокойной, трудовой... Пушкинъ сумѣлъ подслушать поэтическія настроенія не только въ душѣ Пугачева, но и у его дикихъ сообщниковъ: они—такіе же «орлы»-авантюристы, знаютъ, что часъ расплаты не за горами. На Гринева производитъ сильное впечатлѣніе разбойничья пѣсня: «не шуми, мати, зеленая дубравушка», которую пѣли товарищи Пугачева: «Невозможно разсказать, говоритъ онъ устами Гринева, какое дѣйствіе произвела на меня эта простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ, и безъ того выразительнымъ,—все потрясало меня какимъ-то піитическимъ ужасомъ! Поэтъ сумѣлъ въ этой сценѣ раскрыть всю психологію разбойничества, проникнуть въ духъ той поэзіи, которая создана была этимъ широкимъ размахомъ личности, вырвавшейся на свободу! [1]).

Удался Пушкину и другой типъ «разбойника»—Хлопуши, сообщника Пугачева. Это—образецъ «древнерусскаго разбойника-богатыря, имѣвшаго, своего рода, рыцарскіе взгляды на свою профессію». Съ презрѣніемъ онъ относится къ мелкому преступнику Бѣлобородову: «Конечно, говоритъ онъ, и я грѣшенъ, и эта рука повинна въ пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутьи, да въ темномъ лѣсу,—не дома, сидя за печкою; кистенемъ и обухомъ, а не бабьимъ наговоромъ». «Въ этомъ отвѣтѣ открывается весь Хлопуша, съ его суровою и дикою храбростью, съ его отвращеніемъ къ коварству, наушничеству и къ изворотамъ, и съ его своеобразными понятіями о разбойничьемъ благородствѣ». Хлопуша.

Если въ обоихъ разбойникахъ сумѣлъ Пушкинъ найти что-то подку- Швабринъ.

[1]) См. мою Исторію русской словесности вып. I, ч. I. Пушкинъ очень интересовался разбойничествомъ,—онъ началъ съ собиранія пѣсенъ о Стенькѣ Разинѣ, а затѣмъ перешелъ къ Пугачеву. Баллада его „Женихъ“ тоже относится къ этой группѣ.

пающее, то въ лицѣ Швабрина не нашелъ онъ ни одной привлекательной черты. Злой, хитрый, даже коварный интриганъ, для котораго нѣтъ ничего святого въ жизни, онъ не отличается и храбростью и, оттого не видя смысла въ жизни, онъ трусливо цѣпляется за эту жизнь. Его умъ, и образованіе не спасаютъ въ немъ «человѣка»—и образъ его въ повѣсти заклейменъ позоромъ. Онъ презираетъ вѣру дѣдовъ и отцовъ; ему чужды понятія о чести и долгѣ,—понятія, которыми жили Гриневы,—но этого хорошаго-стараго онъ не замѣняетъ хорошимъ-новымъ. Это какая-то «пустота»—отрицательная величина, первый русскій «нигилистъ», выросшій на русской почвѣ благодаря плохо-понятому французскому скептицизму.

Писатель не разсказалъ намъ его прошлаго, — въ дѣйствіе вводитъ онъ Швабрина, словно для контраста съ Гриневымъ, — въ его сердцѣ, какъ разъ, нѣтъ ничего свѣтлаго,—нѣтъ понятія обязанностей по отношенію къ отечеству и ближнимъ; у него нѣтъ чести, не только дворянской, но и человѣческой. Онъ трусливъ, мелоченъ, мстителенъ и даже, единственно-смягчающее этотъ образъ, чувство—любовь къ Машѣ рисуетъ его сердце съ самой отрицательной стороны.

Императрица Екатерина.

Небольшую роль играетъ въ повѣсти императрица Екатерина,—но въ этомъ эскизѣ геніально намѣчены ея характерныя черты. Во время перваго свиданья съ Машей «незнакомая дама» поражаетъ насъ какимъ-то «царственнымъ» благодушіемъ; затѣмъ оно смѣняется вниманіемъ, въ которомъ сквозитъ сердечность. Это милостивое отношеніе къ Машѣ смѣняется вспышкой сдержаннаго гнѣва и, наконецъ, въ послѣднемъ свиданьи Екатерина предстаетъ передъ Машей въ ореолѣ холоднаго блеска, — монархиней, награждающей добродѣтель. Каждый изъ этихъ душевныхъ моментовъ удивительно вѣрно передаетъ историческія черты императрицы— и это умѣніе говорить просто, хотя и безъ той сердечной теплоты, которая носитъ характеръ фамильярности, и эта способность отдаться гнѣву, но не безобразному, незнающему предѣловъ, — и это умѣніе очаровать величіемъ своей царственной улыбки, награждающей и прощающей,—все это, дѣйствительно, нѣсколько художественныхъ портретовъ Екатерины.

Савельичъ.

Въ лицѣ Савельича Пушкинъ изобразилъ типъ крѣпостного слуги, который легко носитъ ярмо своего рабства, такъ какъ онъ прожилъ всю свою жизнь въ патріархальной семьѣ Гриневыхъ, гдѣ, очевидно, омерзительныя стороны крѣпостничества не проявляли себя рѣзко, гдѣ возможны были добрыя, задушевныя отношенія между господами и крестьянами. Мы видѣли уже, что старикъ Гриневъ управлялъ домомъ, семьей и имѣньемъ почти по рецепту Домостроя; онъ былъ «домовладыкой», но не былъ «палачемъ»—въ его глазахъ рабы были «домочадцами» (чадо, дитя), т. е. почти родными... Къ нимъ онъ относился строго, но справедливо. Только такія патріархальныя отношенія скрашивали въ нѣкоторыхъ «дворянскихъ гнѣздахъ» жизнь крѣпостныхъ, и русская литература оставила намъ немало указаній на существованіе, даже въ крѣпостное право, такихъ своеобразныхъ, хотя и грубоватыхъ, но всетаки человѣческихъ отношеній. Особенно посчастливилось въ нашей литературѣ типу стараго слуги, душой и тѣломъ преданному своему барину. Отрицательно относясь къ крѣпостному праву, Пушкинъ не могъ вычерки-

вать изъ жизни такихъ явленій, какъ его нянюшка Арина Родіоновна;—онъ облюбовалъ этотъ типъ и изобразилъ его въ нянѣ Татьяны, въ Савельичѣ...

«Внутренній міръ Савельича простъ и несложенъ, но онъ озаренъ свѣтомъ безпристрастной и чистой души. Бѣдная деревенская церковь, родное село, да барская усадьба—вотъ, что воспитало Савельича, вотъ, чѣмъ онъ жилъ весь «свой» вѣкъ. Не мудрствуя лукаво, не разсуждая о томъ, имѣютъ-ли помѣщики нравственное право владѣть крѣпостными, онъ по-христіански несъ выпавшій на его долю жребій. Онъ родился и умеръ рабомъ, но не былъ рабомъ лѣнивымъ и лукавымъ; онъ служилъ своимъ господамъ «не за страхъ, а за совѣсть», и не тяготился своимъ подневольнымъ положеніемъ. Въ немъ нѣтъ и тѣни холопства,—онъ независимо держится и по отношенію къ своему воспитаннику, и даже къ старому барину (письмо его изъ крѣпости). Очевидно, онъ не чувствуетъ гнета крѣпостничества, и считаетъ себя членомъ семьи, съ которою сроднился до того, что и радости, и горести этой семьи — наполняютъ всю его одинокую, самоотверженную жизнь». (Черняевъ) Онъ—вѣрный рабъ, который свято исполняетъ свой *долгъ дядьки* дворянскаго недоросля. Недалекій и безтолковый, онъ не понимаетъ, что обязанности дядьки мѣняются съ годами питомца, и это ставитъ неразъ его, и его питомца въ комическія положенія. Но этотъ комизмъ забывается, когда мы видимъ Савельича, готоваго жертвовать своей жизнью за барчука (Пугачеву предлагаетъ свою голову взамѣнъ барской). Мораль у Савельича своеобразная: понятія о «чести» у него свои. Узнавъ о проигрышѣ питомца, онъ совѣтуетъ ему не платить долга. «Скажи, говоритъ онъ, что родители тебѣ и тратить-то, окромя какъ на орѣхи, запретили». Онъ уговариваетъ своего барина поцѣловать руку Пугачева: «не упрямься! шепчетъ онъ. Плюнь! да поцѣлуй у злод... тьфу! у него руку!» Упрямый и ворчливый, онъ добродушенъ и уступчивъ, и, если своей суетливостью и излишнимъ вниманіемъ ставилъ Гринева неразъ въ смѣшныя положенія, тѣмъ не менѣе, Савельичу его баринъ за многое былъ обязанъ во время тѣхъ передрягъ, которыя выпали на его долю.

Литературная исторія повѣсти. Наброски «Капитанской дочки», сохранившіеся въ бумагахъ Пушкина, свидѣтельствуютъ о томъ, какъ много думалъ онъ о своемъ произведеніи. Сначала онъ предполагалъ героемъ повѣсти сдѣлать историческое лицо—Шванвича, — офицера, передавшагося Пугачеву и потомъ прощенному императрицей. Этотъ Шванвичъ—прототипъ Швабрина. Въ этомъ первоначальномъ набросkѣ еще нѣтъ ни Гриневыхъ, ни Мироновыхъ, ни Савельича. Затѣмъ во второй редакціи повѣсти Пушкинъ героемъ дѣлаетъ Башарина, молодого дворянина, отразившаго на себѣ нѣкоторыя черты Гринева, — онъ, впрочемъ, тоже является измѣнникомъ. Въ этомъ набросkѣ есть уже намеки на любовь героя; бытовая сторона тогдашней русской жизни тоже намѣчается яснѣе. Башаринъ — тоже историческое лицо, о которомъ упоминается въ «Исторіи пугачевскаго бунта». Впослѣдствіи Пушкинъ замѣнилъ его Буланинымъ и, наконецъ, Гриневымъ,—фамиліей тоже исторической.

Вліяніе на повѣсть „Исторіи“. Связь съ «Исторіей Пугачевскаго бунта» въ повѣсти вообще очень замѣтна: описаніе бѣлогорской крѣпости, ея гарнизона съ исторической точки зрѣнія вѣрно; жалкое, но героическое сопротивленіе, оказанное Пу-

гачеву офицерами, вѣрными императрицѣ, тоже срисовано съ дѣйствительности; детали расправы съ ними Пугачева, пониманіе Пугачева, — все основывается на фактическомъ матеріалѣ «Исторіи».

Литературныя вліянія на повѣсть.

Кромѣ такихъ историческихъ вліяній, на «Капитанскую дочку» были вліянія и литературныя.. Съ карамзинскихъ повѣстей: «Бѣдная Лиза» и «Флоръ Силинъ» въ русскую литературу вошло обыкновеніе рисовать малозамѣтныхъ героевъ; въ ихъ сердцахъ русскіе литераторы любили отмѣчать неожиданныя, на первый взглядъ, черты тонкихъ и высокихъ чувствъ. Во многихъ тогдашнихъ журналахъ вплоть до Пушкина помѣщались не только сентиментальныя повѣстушки на такія темы, но даже въ отдѣлѣ «сообщеній» изъ разныхъ городовъ разсказывались различные подобные случаи героизма и добродѣтели мужиковъ, солдатъ, мелкихъ чиновниковъ и пр.,—словомъ, людей такихъ, съ которыми псевдоклассицизмъ никогда не связывалъ героизма. Дѣйствительный случай съ дѣвушкой, которая пришла изъ Сибири въ Петербургъ подавать императору Александру I прошеніе о помилованіи ея ссыльнаго отца поддержалъ эту литературную «моду» Этотъ подвигъ скромной провинціальной дѣвушки разсказывался съ подробностями во многихъ тогдашнихъ журналахъ—онъ же вдохновилъ извѣстнаго французскаго писателя Ксавье-де-Местра на сочиненіе повѣсти: «La jeune Sibirienne» и Н. Полевого: «Параша-Сибирячка». И дѣйствительный подвигъ Параши, и разсказъ Ксавье-де-Местра, и модныя тогда повѣсти о смиренныхъ людяхъ, оказавшихся героями, несомнѣнно, отразились на «Капитанской дочкѣ». Только сентиментальность, и даже «мелодраматичность» всѣхъ этихъ произведеній, Пушкинъ сумѣлъ замѣнить спокойнымъ реализмомъ.

Бытовые романы Пушкина.

Къ „бытовымъ“ романамъ Пушкина надо отнести повѣсть „Дубровскій“, написанную еще до „Капитанской дочки“ въ 1832 году и „Повѣсти Бѣлкина“.

„Дубровскій“.

Въ повѣсти «Дубровскій» Пушкинъ изобразилъ современную ему Россію: жизнь дворянъ въ ихъ помѣстьяхъ, недостатки тогдашней администраціи, нѣкоторыя черты крѣпостничества.

Троекуровъ.

Яркими красками обрисовалъ писатель старика-Троекурова, богача-помѣщика, въ душѣ котораго благородное странно перемѣшалось съ отвратительнымъ: крѣпостное право, богатство, и произволъ администраціи сдѣлали его деспотомъ-самодуромъ, который, ради прихоти, или изъ оскорбленнаго самолюбія, можетъ принести въ жертву и дружбу, и любовь къ дочери. Привольная жизнь Троекурова въ его имѣніи, его развлеченія, отношенія къ мелкимъ дворянамъ и уѣздной администраціи,—все это представлено въ повѣсти мастерски.

Старикъ-Дубровскій.

Не менѣе удачно изобразилъ Пушкинъ и старика-Дубровскаго: это—излюбленный писателемъ типъ—представитель захудалаго дворянства, у котораго отъ блестящаго прошлаго ихъ рода осталась только родословная, маленькое помѣстье и тонкое чувство чести, даже тщеславія... Пушкинъ самъ былъ не чуждъ этихъ чувствъ и неразъ ихъ изображалъ («Родословная моего героя», Гриневъ-старикъ.). Менѣе удачными оказались молодые герои.

Молодой-Дубровскій.

Дубровскій-сынъ, благородный юноша, подобно отцу, воодушевленный высо-

кимъ уваженіемъ къ дворянской чести, дѣлается «романтическимъ разбойникомъ» въ духѣ моднаго тогда романическаго героя Ринальдо-Ринальдини, грабитъ только богатыхъ, не прочь иногда наградить добродѣтель и наказать порокъ,—лицо, съ современной точки зрѣнія—неестественное. Его чистая и высокая привязанность къ Машѣ Троекуровой заставляетъ его отказаться отъ мести ея отцу; эта привязанность заставляетъ его отказаться и отъ личнаго счастья. Подобный типъ благороднаго разбойника-рыцаря,—очень популяренъ въ тогдашнихъ романахъ, переводныхъ и русскихъ. Впрочемъ, намъ, людямъ XX-го вѣка, опасно говорить о *неестественности* такихъ типовъ; воспитанные на романической литературѣ, люди пушкинскаго времени были и въ жизни «романтиками» какъ бывали и байронистами-Онѣгиными... Тѣмъ болѣе это возможно, что предлогомъ къ написанію повѣсти былъ дѣйствительный случай: другъ Пушкина разсказывалъ ему объ одномъ дворянинѣ, который сдѣлался разбойникомъ послѣ того, какъ его сосѣдъ не по праву завладѣлъ его имѣніемъ.

Маша Троекурова—образъ, блѣдно очерченный. Это—мечтательница, любительница романовъ, тихое и кроткое существо, которое безсильно и противъ самодурства отца, и противъ любви Дубровскаго; она придерживается искони-русскаго почитанія святости брака, хотя бы противъ воли заключеннаго. Маша Троекурова.

Гораздо живѣе обрисованы второстепенные типы: гости Троекурова, чины уѣздной полиціи, мужики... Всѣ эти типы представляютъ собой яркій и сложный фонъ, разработанный искусно. Въ «Евгеніи Онѣгинѣ», напримѣръ, дѣйствуютъ только герои,—здѣсь же дѣйствуетъ *масса,* при томъ простонародная,—это было новинкой для русской литературы того времени.

„Повѣсти Бѣлкина“ представляютъ собою соединеніе различ ныхъ разсказовъ, различныхъ по настроенію и даже по стилю, очевидно, написанныхъ въ разное время. Пушкинъ соединилъ ихъ подъ общимъ названіемъ „Повѣсти Бѣлкина“, не желая, какъ извѣстно, подписывать своей фамиліи. Слишкомъ обострены были его отношенія къ тогдашней русской критикѣ. «Повѣсти Бѣлкина».

Повѣсть «Выстрѣлъ», начинающая собою «Повѣсти Бѣлкина»—самая слабая по идеѣ и по выполненію. Дѣйствіе повѣсти развертывается въ военной средѣ. Герой ея—Сильвіо, какой-то «таинственный незнакомецъ», разочарованный, съ чертами байронизма, питающій долголѣтнюю месть въ сердцѣ, оказывается, на дѣлѣ очень чувствительнымъ, благороднымъ человѣкомъ, прощающимъ врага изъ сожалѣнія къ его женѣ. «Выстрѣлъ».

Въ повѣсти «Метель» разсказано, какъ дворянская дѣвица по ошибкѣ обвѣнчалась съ чужимъ, ей незнакомымъ человѣкомъ, и какъ она, только на четвертый годъ послѣ свадьбы, встрѣтила его. Въ повѣсти выведенъ сентиментально-романтическій герой Владиміръ и такая же героиня Марья Гавриловна. Чисто-русскимъ въ романѣ является выраженное въ немъ уваженіе къ святости обряда бракосочетанія: и героиня, и ея мужъ, незнакомые другъ съ другомъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ считаютъ себя связанными той клятвой, которую они произнесли у алтаря. «Метель».

„Гробовщикъ".

Повѣсть «Гробовщикъ»—веселая шутка, съ примѣсью фантастики, во вкусѣ модныхъ тогда повѣстей. Съ тонкимъ, почти гоголевскимъ юморомъ, охарактеризованъ герой повѣсти и его сосѣдъ, нѣмецъ Шульцъ. Единственный разъ, въ этой повѣсти, Пушкинъ заглянулъ въ жизнь русскаго ремесленника.

„Станціонный Смотритель".

Повѣсть «Станціонный Смотритель» представляетъ собою трогательную исторію изъ жизни «маленькихъ людей». Съ теплымъ сочувствіемъ разсказываетъ Пушкинъ о тяжелой жизни станціонныхъ смотрителей, о горѣ, постигшемъ его героя, когда его любимая дочь Дуня покинула его скромный домикъ, увлекшись проѣзжимъ. Старикъ спился съ горя и умеръ. Сочувствіе къ «униженнымъ и оскорбленнымъ», которое впослѣдствіи нашло у насъ выразителя въ лицѣ Достоевскаго, впервые *художественно* выражено было Пушкинымъ. И до него сентиментальные писатели, вродѣ Карамзина, изображали страдающихъ героевъ, стараясь вызывать къ нимъ состраданіе,—но эта «надуманность» ихъ произведеній, этотъ сентиментализмъ, выражающійся въ навязываніи читателю своихъ чувствъ, слащавый тонъ,—все это дѣлаетъ ихъ произведенія нехудожественными въ глазахъ современнаго читателя. Пушкинъ, великій писатель-*реалистъ*, тѣ же чувства состраданія къ «униженнымъ и оскорбленнымъ» возбуждаетъ у читателя объективнымъ и правдивымъ изображеніемъ жизни. Та же идея, но другая манера письма.

„Барышня-крестьянка".

Повѣсть «Барышня-крестьянка» вводитъ насъ въ жизнь современныхъ Пушкину «дворянскихъ гнѣздъ». Передъ нами нехитрая любовь молодого барина Алексѣя Берестова и сосѣдней барышни—Лизы Муромской. Оба героя настроены на романтическій ладъ, но это не мѣшаетъ имъ быть очень жизнерадостными. Русская деревня, помѣщичья жизнь обрисованы здѣсь добродушно и любовно,—въ повѣсти нѣтъ такихъ выпуклыхъ и мрачныхъ картинъ этой жизни, какъ въ «Дубровскомъ».

„Исторія села Горохина".

«Исторія села Горохина» представляетъ собою остроумную шалость Пушкина: онъ высмѣялъ въ своемъ разсказѣ манеру письма нѣкоторыхъ историковъ. Вѣроятнѣе всего, онъ мѣтилъ на сочиненіе Полевого: «Исторія русскаго народа». Разсказъ ведется отъ имени Бѣлкина. Это добродушный, недалекій человѣкъ, съ самыми поверхностными знаніями, но обуреваемый зудомъ писательства. Онъ не можетъ отличить существеннаго отъ несущественнаго и о самыхъ пустыхъ и мелкихъ событіяхъ и лицахъ деревенской жизни повѣствуетъ съ паѳосомъ. Жизнь деревни, съ комической стороны, представлена Пушкинымъ очень удачно. Живыя лица крестьянъ, въ своеобразномъ освѣщеніи Бѣлкина, проходятъ передъ нами.

Драмы Пушкина.

Къ послѣднему періоду творчества Пушкина относится сочиненіе имъ небольшихъ драмъ, или, вѣрнѣе, драматическихъ сценъ. Большинство ихъ написаны въ 1830-омъ году въ селѣ Болдинѣ, гдѣ Пушкинъ жилъ во время холеры и откуда выбраться долго не могъ вслѣдствіе карантиновъ. „Скупой Рыцарь", „Моцартъ и Сальери", „Каменный Гость", „Пиръ во время чумы"—всѣ относятся къ 1830-му году. Ранѣе, въ 1826-омъ году, была написана имъ „сцена изъ „Фауста", и позднѣе—въ 1832-омъ году „Русалка". Всѣ эти драмы, въ сущности, очень похожи, по ком-

позиціи, на „Бориса Годунова", представляютъ собою отдѣльные психологическіе моменты, но не даютъ картины развитія страсти.

Передъ нами выведены характеры, воплощающіе общечеловѣческія страсти. На нѣсколькихъ страницахъ, въ двухъ-трехъ монологахъ, Пушкинъ рисуетъ удивительно сложные характеры. Въ этомъ—ихъ психологическій интересъ,—но эта способность великаго поэта въ немногихъ словахъ сказать многое лишаетъ его драмы всякаго сценическаго интереса.

„Скупой Рыцарь".

«Скупой Рыцарь» представляетъ собою, по глубинѣ психологическаго анализа, по яркости образа, по ширинѣ художественнаго замысла, всесторонне исчерпывающаго во всѣхъ подробностяхъ общечеловѣческій типъ скупца, истинно-шекспировское произведеніе.

Герой-психопатъ.

Въ изумительномъ, по силѣ и содержательности, монологѣ «Скупого Рыцаря» Пушкинъ сумѣлъ изобразить, пожалуй, даже не типъ скупца, а типъ *психопата*, покореннаго «маніей величія», «маніей преслѣдованія», подчиненнаго «навязчивой идеѣ» (idée fixe) и переступившаго уже за предѣлы нормальнаго взгляда на жизнь. Это—мономанъ, который наслаждается «поэзіей зла». Онъ понимаетъ прелесть убійства: «есть люди, говоритъ онъ,—

«Въ убійствѣ находящіе пріятность,—
Когда я ключъ въ замокъ влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая въ жертву ножъ: пріятно...
И страшно вмѣстѣ...

Манія величія

Его «манія величія» выражается въ томъ, что онъ, владѣлецъ несмѣтныхъ богатствъ, воображаетъ себя владыкой міра; онъ «царствуетъ», полагая, что ему покорны и любовь, и добродѣтель, и поэзія, и злодѣйство... Но это—бредъ сумасшедшаго человѣка, который началъ съ собиранія денегъ, быть можетъ, съ мечтами устроить свое бытіе блестящимъ, и кончилъ тѣмъ, что деньги, *средство* для такого бытія, сдѣлалъ *цѣлью*. Онъ—не владыка, деньги—«не слуги и не друзья» его, а господа, и онъ служитъ имъ, по словамъ его сына, «какъ алжирскій рабъ, какъ песъ цѣпной». Его «idée fixe»—наполнять свои сундуки: теперь передъ нимъ вся забота, вся цѣль жизни—наполнить «седьмой сундукъ, еще неполный». Онъ обожаетъ свое золото психопатическою страстью («Какъ молодой повѣса...»). Онъ знаетъ исторію своихъ монетъ и съ наслажденіемъ преступника-психопата вслушивается въ ужасныя ихъ повѣствованія.

Idée fixe.

Манія преслѣдованія.

Онъ страдаетъ «маніей преслѣдованія», такъ какъ ему кажется, что его сынъ, жизнерадостный и беззаботный Альберъ, у котораго атласные карманы не держатъ золота—хочетъ завладѣть его деньгами. Онъ готовъ клеветать на него герцогу; онъ готовъ думать, что Альберъ мечтаетъ объ его смерти, что онъ готовъ его обокрасть... Страдая маніей преслѣдованія, онъ вѣритъ истинѣ своихъ подозрѣній—исчадію бреда. Трогательной чертой, смягчающей искаженный, нечеловѣческій обликъ старика, является проблескъ и въ его черствой душѣ прежняго рыцарскаго благородства, и потому на слова Альбера: «баронъ, вы лжете!»—отвѣчаетъ вызовомъ.

„Поэзія золота“. Пушкину въ монологѣ помѣшаннаго скупца удалось изобразить мрачную «поэзію золота». Оно—могущественное зло; оно ведетъ за собой сумасшествіе, преступленія, оно пропитано слезами и кровью, оно несетъ униженіе и рабство тѣмъ, у кого оно отсутствуетъ,—но оно не щадитъ и того, къ кому оно льется рѣкой. Скупой рыцарь говоритъ о тѣхъ лишеніяхъ, о тѣхъ страданіяхъ, которыхъ оно ему стоило: благороднаго рыцаря, слугу отечества и ближайшаго друга герцога оно превратило въ мрачнаго преступника, помѣшаннаго, клеветника и палача. Золото отнимаетъ у него жизнь. Передъ лицомъ герцога оно отомстило ему за его ужасную страсть, и онъ умираетъ рабомъ, съ крикомъ: «ключи мои! Ключи!».

Альберъ. Совершенною противоположностью старику-рыцарю представленъ его сынъ-Альберъ. Это—жизнерадостный, добродушный юноша, полный любви къ развлеченьямъ и утѣхамъ земной жизни. Онъ честенъ и благороденъ,—ни одна черная мысль не грызетъ его сердца. Онъ говоритъ свое amen, на пожеланія Соломона скорѣе получить наслѣдство, съ беззаботной шуткой, не вдумываясь въ смыслъ того, что̀ онъ сказалъ. Альберъ полонъ рыцарскихъ понятій о чести,—слушая клевету отца, онъ не протестуетъ, когда тотъ говоритъ объ намѣреніяхъ сына убить его, но онъ не выдерживаетъ позорящихъ обвиненій въ попыткѣ обокрасть отца.

Происхожденіе драмы. Литературное происхожденіе драмы неясно. Во многихъ литературахъ встрѣчаются типы «скупцовъ», но никому изъ изслѣдователей не удалось доказать, что Пушкинъ зналъ именно эти произведенія. Если допускать литературныя вліянія на образъ скупого рыцаря, то, всего вѣроятнѣе, можно эти вліянія отыскать въ сочиненіяхъ Байрона,—ихъ, по крайней мѣрѣ, Пушкинъ читалъ навѣрно. Въ «Донъ-Жуанѣ» Байрона есть нѣсколько строфъ, посвященныхъ психологическому анализу скупости и отчасти «поэзіи золота».

„Моцартъ и Сальери“. Типъ героя. Въ другой драмѣ: «Моцартъ и Сальери» Пушкинъ въ лицѣ героя—Сальери вывелъ образъ, нѣсколько напоминающій стараго барона. Сальери—тоже мономанъ, для котораго музыка—все въ жизни; ей служитъ онъ съ дѣтства, надъ ней онъ дрожитъ, какъ баронъ надъ своимъ золотомъ; онъ наслаждается ею такъ же, какъ баронъ своимъ золотомъ—тайкомъ, «про себя»—онъ творитъ и сжигаетъ свои произведенія. Какъ для скупого барона каждый дублонъ полонъ смысла, полонъ краснорѣчивыхъ разсказовъ,—такъ для Сальери каждый музыкальный звукъ есть предметъ изученія, каждый звукъ полонъ значенія: «музыку» онъ «разъялъ, какъ трупъ, повѣрилъ алгеброй гармонію»...

Сравненіе Сальери съ скупымъ рыцаремъ. Наконецъ, онъ достигъ счастья: достигъ совершенства, и слава ему улыбнулась—по его словамъ, онъ былъ счастливъ и «наслаждался мирно своимъ трудомъ, успѣхомъ, славой»... И на пути ему вдругъ всталъ Моцартъ. Такъ мирно наслаждается своимъ накопленнымъ золотомъ скупецъ-баронъ, и такой же разладъ въ его радость вноситъ мысль о наслѣдникѣ,—жизнерадостномъ, легкомысленномъ юношѣ, къ которому перейдутъ его богатства... Скупой баронъ не пощадитъ никого, кто посягнулъ бы на его золото,—онъ даже сына готовъ погубить, только спасая свои сокровища, — такъ и Сальери убиваетъ своего друга, генія Моцарта, за то, что тотъ овладѣваетъ тайной музыкальнаго творчества,—овладѣваетъ безъ труда, безъ заботъ, благодаря геніальности своей натуры...

Онъ легко овладѣваетъ тѣмъ, къ чему всю жизнь стремился Сальери, и чѣмъ онъ еще не овладѣлъ. Сальери упорно шелъ къ своей цѣли: онъ, какъ старый баронъ, «выстрадалъ» свое богатство безсонными ночами, дневными заботами, обузданными страстями: вотъ, почему Сальери возмущается видомъ беззаботнаго, жизнерадостнаго Моцарта, «гуляки празднаго», который безъ всякаго «благоговѣнія» относится къ музыкѣ,—его видъ доставляетъ Сальери тѣ же муки, которыя терзаютъ сердце стараго барона, возмущеннаго мыслью о томъ, какъ въ его святилище ворвется его наслѣдникъ:

«Безумецъ расточитель молодой,
Развратниковъ разгульныхъ собесѣдникъ,

Оттого Сальери видитъ въ Моцартѣ такого-же «богохульника», какъ баронъ—въ Альберѣ.

Съ ужасомъ баронъ думаетъ о томъ, какъ, послѣ его смерти, Альберъ—

«Сундуки со смѣхомъ отопретъ,—
И потекутъ сокровища мои
Въ атласные дырявые карманы.
Онъ разобьетъ священные сосуды,
Онъ грязь елеемъ царскимъ напоитъ...».

За такое же легкое отношеніе къ «святости» музыки Сальери возненавидѣлъ Моцарта. Онъ убиваетъ его потому, что видитъ въ этомъ свой долгъ; онъ поступаетъ, какъ фанатикъ, который убиваетъ святотатца, осквернившаго святыню. Этотъ фанатизмъ—есть уже мономанія, сумасшествіе. Таковъ Сальери въ изображеніи Пушкина.

Но онъ, кромѣ того, и завистникъ,—онъ «глубоко, мучительно завидуетъ» этому генію, который доказалъ ему его бездарность. Такъ завидуетъ скупой баронъ тому игроку, которому улыбнулось счастье, и онъ грудами загребаетъ золото—въ то время, когда ему, скупцу-страдальцу, приходится только «по горсти бѣдной» приносить свою дань «богу золота». Положеніе Сальери тѣмъ трагичнѣе, что онъ—другъ Моцарта, что онъ преклоняется передъ нимъ, какъ передъ геніемъ,—въ немъ, слѣдовательно, не умерли еще человѣческія чувства, какъ въ душѣ скупого барона, въ душѣ котораго даже родственныя чувства погасли. И вотъ, чтобы заглушить эти человѣческія чувства, Сальери старается увѣрить себя, что онъ «долженъ» убить Моцарта потому, что этотъ необъятный геній тѣмъ больше горя принесетъ людямъ, чѣмъ больше будетъ развертываться.

«Нѣтъ! не могу противиться я долѣ
Судьбѣ моей: я избранъ, чтобъ его
Остановить—не то, мы всѣ погибли,
Мы всѣ, жрецы, служители музыки!
Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ-ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!—
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ;

Наслѣдника намъ не оставитъ онъ!
Чтó пользы въ немъ? Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ умереть!»

Сложность душевной борьбы Сальери. Такимъ образомъ, образъ Сальери гораздо сложнѣе, чѣмъ образъ стараго барона: въ его душѣ—мономанія (преклоненіе передъ музыкой), манія величія (онъ готовъ былъ считать себя «геніемъ») усложняются борьбой оскорбленнаго самолюбія (сознаніе своего ничтожества), чувствомъ обиды на несправедливость къ нему небесъ (онъ, труженикъ, ниже «празднаго гуляки»), чувствами зависти и дружбы къ Моцарту и восхищеніемъ передъ его геніемъ («Ты Моцартъ—богъ!»). Изъ этой путаницы психологической онъ выходитъ путемъ софизмовъ, прикрывающихъ его преступленіе.

Моцартъ. Какъ въ «Скупомъ Рыцарѣ», рядомъ съ барономъ, выведенъ его сынъ Альберъ, человѣкъ здоровый, нормальный,—такъ и въ драмѣ «Моцартъ и и Сальери» Моцартъ—образъ человѣка, въ которомъ все уравновѣшено— и плоть, и духъ, у котораго ясный и простой взглядъ на міръ. Какъ «поэтъ» Пушкина, онъ можетъ затеряться въ толпѣ, можетъ оказаться ничтожнѣе всѣхъ «ничтожныхъ земли», и можетъ, въ моментъ вдохновенія, уйти въ міръ идеаловъ, міръ грезъ и звуковъ...

Литературная исторія драмы. Литературная исторія этой драмы не выяснена. Вѣроятно, опера Моцарта «Донъ-Жуанъ», поставленная около 30 года на петербургской сценѣ и шедшая съ большимъ успѣхомъ, возбудила интересъ Пушкина къ біографіи Моцарта; объ этомъ интересѣ свидѣтельствуютъ записки Смирновой. Знакомство съ жизнью Моцарта привело Пушкина къ образу Сальери,—и онъ драматизировалъ попавшій въ біографію Моцарта любопытный слухъ объ его насильственной смерти.

«Каменный Гость». Донъ-Жуанъ. Драма «Каменный Гость» отличается отъ обѣихъ разобранныхъ пьесъ. Героемъ ея является жизнерадостный Донъ-Жуанъ,—это олицетвореніе беззаботной юности. Юноша, полный любви къ жизни, онъ подкупаетъ читателя своею молодостью, своимъ безстрашіемъ, искренностью и способностью увлекаться. Черты Альбера и Моцарта въ этомъ образѣ нашли развитіе и углубленіе. Донъ-Жуанъ никого не боится («Я никого въ Мадритѣ не боюсь!»—восклицаетъ онъ безъ всякаго хвастовства). Онъ, весь яркое воплощеніе жизни, не боится смерти, —ей онъ глядитъ прямо въ глаза...

«Что значитъ смерть? За сладкій мигъ свиданья
Безропотно отдамъ и жизнь!»

И онъ доказываетъ справедливость этихъ словъ: онъ знаетъ, что придетъ на его свиданье статуя командора, и онъ, все-таки, идетъ на это свиданье, идетъ навстрѣчу статуѣ, безстрашно протягиваетъ ей руку и погибаетъ, призывая имя той женщины, которая въ тотъ моментъ владѣла его сердцемъ.

Самъ легко относясь къ своей жизни, онъ не церемонится и съ жизнью другихъ и свой путь со смѣхомъ усыпаетъ тѣлами убитыхъ.

Въ отношеніяхъ къ женщинамъ Донъ-Жуанъ всегда искрененъ; онъ увлекается постоянно, и всякое новое увлеченіе кажется ему *настоящей* любовью. Въ своей небольшой піесѣ Пушкинъ обрисовалъ два только увлеченія,—и въ обоихъ его герой рисуется во весь ростъ: его пламенныя рѣчи, полныя искренней страсти, его безумная отвага, полное отсутствіе думъ о прошломъ («Недолго насъ покойницы тревожатъ»), и о будущемъ—таковъ этотъ обаятельный юноша, служащій «поэзіи любви» съ такимъ же самозабвеніемъ, съ какимъ скупой рыцарь служитъ «поэзіи золота», Сальери—«поэзіи музыки». Въ противоположность обоимъ этимъ мрачнымъ героямъ, Донъ-Жуанъ всегда счастливъ: когда ему обѣщано свиданье, онъ счастливъ, какъ ребенокъ: «Я счастливъ! Я пѣть готовъ, я радъ весь міръ обнять!»—восклицаетъ это обаятельное дитя, опасное своимъ дѣтскимъ эгоизмомъ, своей беззаботностью... — Отношеніе къ женщинамъ. «Поэзія любви».

Ему подъ-пару Лаура, которая хочетъ жить только настоящимъ, которая о будущемъ думать не хочетъ, — для нея Донъ-Жуанъ—«вѣрный другъ, вѣтреный любовникъ»; она ни въ чемъ не упрекаетъ его, такъ какъ сама наслаждается только настоящимъ. Но не такъ относятся къ этому «ребенку», люди, серьезно смотрящіе на жизнь, люди, знающіе муки прошлаго и страхъ предъ будущимъ: устами Донъ-Карлоса они называютъ его «безбожникомъ» и «мерзавцемъ». Въ этихъ словахъ осуждается Донъ-Жуанъ за отсутствіе «принциповъ», за непризнаваніе «законовъ» божескихъ и человѣческихъ, за незнаніе тѣхъ самоограниченій, которыми люди, живущіе въ обществѣ, связали себя, ограждаясь другъ отъ друга.

Еще другой взглядъ высказывается въ піесѣ о Донъ-Жуанѣ устами Донны Анны,—она повторяетъ «ходячее мнѣніе» о немъ: онъ «хитеръ», онъ «демонъ»,—онъ «безбожный развратитель». Это мнѣніе—сужденіе толпы, которая не всмотрѣлась въ сердце Донъ-Жуана.

Пушкинъ дѣйствіе своей пьесы пріурочилъ къ Испаніи, странѣ, которая создала вѣчный типъ Донъ-Жуана. Онъ сумѣлъ въ монологѣ Лауры: — Couleur locale.

«Приди... Открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ...
Ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ!..»

—нарисовать дивный пейзажъ южной ночи. Пушкинъ сумѣлъ и «любовь» изобразить въ этой піесѣ своеобразную, непохожую на увлеченія дикарки Земфиры, на страсть Заремы, на мечтательную любовь Татьяны, на чистую преданность Маши Мироновой... Пушкинъ сознательно изобразилъ этотъ «couleur locale» во вкусѣ романтиковъ, — его не удовлетворялъ «Донъ-Жуанъ» Мольера, въ которомъ «любовь» героя потеряла, по его мнѣнію, всѣ испанскія черты. Образъ Донъ-Жуана ему нарисовать было нетрудно, потому что и въ немъ, какъ въ Альберѣ и въ Моцартѣ, онъ могъ чувствовать кое-какія свои собственныя черты. — «Любовь» въ этой драмѣ.

Происхожденіе драмы необходимо связать съ интересомъ Пушкина къ упомянутой уже оперѣ Моцарта «Донъ-Жуанъ». Существуетъ мнѣніе, что даже содержаніе драмы во многихъ деталяхъ соприкасается съ либретто оперы (соч. абб. де-Понте). — Литературная исторія драмы.

«Пиръ во время чумы».

«Пиръ во время чумы» представляетъ собою вольный переводъ трагедіи Вильсона: «The city of the plague». Общество молодежи собирается пировать на улицахъ зачумленнаго города; молодежь потеряла надежду на спасенье и хочетъ послѣднія минуты земной жизни провести радостно, среди гробовъ и стоновъ умирающихъ, съ бокаломъ вина въ рукахъ, глядя въ глаза безобразной смерти. Пушкинъ въ свой переводъ ввелъ удивительно-сильный «гимнъ» въ честь чумы, котораго нѣтъ въ оригиналѣ.

«Русалка».

Драма «Русалка», написанная въ 1832-омъ году, стоитъ особнякомъ отъ всѣхъ разобранныхъ. Это—любопытная попытка создать русскую драму, опирающуюся на народныя пѣсни, на народные обряды и чисто-народный бытъ.

Особенно типичнымъ нарисованъ въ драмѣ старикъ-мельникъ. Это—мужикъ «себѣ на умѣ», грубоватый и падкій на золото; онъ на жизнь смотритъ практически до цинизма. Но горе дочери и его сломило,—онъ сходитъ съ ума послѣ ея самоубійства. Образъ князя и дочери мельника обрисованы не такъ ярко, не такъ выпукло... Прекрасная картина свадебнаго пиршества: здѣсь много движенія, много жизни. Чисто-русскими чертами обрисованы всѣ здѣсь дѣйствующія лица.

Литературная исторія драмы.

Литературная исторія драмы «Русалка» выяснена акад. Ждановымъ. Это—руссификація нѣмецкой оперы «Das Donauweibchen» Генслера, которая въ русскомъ переводѣ, подъ названіемъ «Русалка», шла съ успѣхомъ на петербургской сценѣ. Интересъ Пушкина къ литературно-народной поэзіи выразился въ созданіи этой піесы.

Пушкинъ, какъ личность.

Пушкинъ замѣчателенъ не только какъ писатель, но и какъ человѣкъ, какъ «личность»... Въ своихъ произведеніяхъ онъ выразилъ всѣ свои нравственныя черты, всѣ настроенія, всю исторію своего міровоззрѣнія.

Его откровенность.

Среди русскихъ писателей нѣтъ другого писателя, болѣе откровеннаго и искренняго, чѣмъ Пушкинъ. Быть можетъ, только Левъ Толстой, и то отчасти, походитъ на него. Эта откровенность и искренность сдѣлали то, что въ распоряженіи біографа оказывается масса наблюденій относительно Пушкина,—наблюденій, въ которыхъ много противорѣчивыхъ показаній.

Впечатлительность.

Отличаясь необыкновенной впечатлительностью, всегда «преданный минутѣ» (слова самого Пушкина), онъ слишкомъ подчинялся всевозможнымъ воздѣйствіямъ извнѣ; обладая широкой, всеобъемлющей душой, онъ въ ней находилъ отзвукъ на всѣ эти впечатлѣнія. Его лирика и письма лучше всего рисуютъ намъ съ этой стороны нашего великаго писателя: онъ за разъ могъ жить самыми разнообразными интересами, хорошо себя чувствовать въ обществѣ различныхъ друзей. Такая широкая

«Многогранность» его души.

отзывчивость и «многогранность» его души спасли его отъ односторонности: оттого въ жизни, и въ творчествѣ онъ такъ существенно отличается отъ такихъ, напримѣръ, одностороннихъ писателей, какъ Жуковскій, Лермонтовъ, Байронъ и под. Но эти же особенности его долго мѣшали ему выработать опредѣленность идеаловъ,—нравственныхъ, политическихъ, религіозныхъ и эстетическихъ. Лишь во второй половинѣ его жизни (въ селѣ

Исторія его міросозерцанія.

Михайловскомъ) опредѣляются его взгляды на жизнь и творчество. Во всякомъ случаѣ, исторія «скитаній его мысли» очень поучительна: путемъ ошибокъ, исправленій, страданій онъ достигъ высокаго просвѣтлѣнія своей души. Этому «просвѣтлѣнію» помогла основная черта пушкинской души—

«любовь къ людямъ»—черта, которая красной нитью проходитъ въ его поэзіи съ лицейскихъ стихотвореній до послѣдняго періода.

Любовь къ людямъ.

Пушкинъ могъ быть несправедливъ, могъ придирчиво относиться къ людямъ, могъ сердиться на обидчиковъ, но это все были вспышки его страстной натуры,—къ *людямъ вообще*, къ *человѣчеству* онъ относился всегда только съ глубокимъ чувствомъ гуманности. Онъ могъ ѣдко и обидно колоть людей своими эпиграммами, но онъ никогда съ такимъ враждебнымъ равнодушіемъ не относился къ людямъ, какъ Лермонтовъ,—онъ не брался учить ихъ, какъ Гоголь,—онъ *просто любилъ людей*, любилъ *жизнь*,—и эта любовь была великою воспитывающею силою, которая привела самого Пушкина къ примиренію съ жизнью, къ признанію, что надо прощать въ ней зло за наличность добра.

Ширина этого чувства.

Его любовь чужда эгоизма. Оттѣнки ея не поддаются учету: и къ друзьямъ, и къ женщинамъ, и къ молодежи, и къ природѣ, и къ Богу, и къ императору Николаю, и къ декабристамъ онъ сумѣлъ отнестись любовно. Пѣвецъ земли,—онъ полюбилъ и тотъ міровой порядокъ, который управляетъ земной жизнью.

«Все благо. Правъ судьбы законъ».

Любовь къ жизни.

Эта жизнь развернулась передъ нимъ полная страданій, но онъ все-таки хочетъ жить, «чтобъ мыслить и страдать». И въ то же время онъ смерти смотритъ прямо въ глаза: лаская младенца, онъ спокойно думаетъ, что долженъ уступить мѣсто на землѣ подростающему поколѣнію.

«Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти!..»—говоритъ онъ младенцу. Равнодушіе природы къ жизни и смерти—и молодежи къ старости не наполняетъ его ненавистью,—онъ чуждъ даже зависти. Въ этомъ—великая философія Пушкина, выросшая изъ его чувства «любви». Оттого Пушкинъ успокаиваетъ такъ, какъ ни одинъ другой поэтъ.

Любовь къ свободѣ.

Другой чертой его души было неумирающее въ ней стремленіе къ «свободѣ». Онъ съ дѣтства отстаивалъ свою «личность» отъ посягательства воспитателей, друзей, свѣта и правительства. Въ этомъ отношеніи онъ былъ неуступчивъ, и до могилы оставался «неуимчивымъ». За эту «свободу» онъ положилъ свою жизнь, такъ какъ жилъ въ обществѣ, которое давило его личность предразсудками, злобой, политическимъ гнетомъ... Это стремленіе къ свободѣ, освященное любовью, вызвало съ его лиры немало вдохновенныхъ звуковъ: «въ жестокій вѣкъ» онъ «славилъ свободу» и будилъ «чувства добрыя» въ своихъ слушателяхъ. Онъ былъ пѣвецъ «правды»,—художественной (реализмъ) и жизненной: онъ самъ былъ всегда правдивъ передъ собой и передъ слушателями. Во имя этой правды онъ казнилъ Алеко, Онѣгина, Годунова, Мазепу, Швабрина,—и превознесъ Татьяну, Машу Миронову.

Любовь къ правдѣ.

Если онъ сказалъ, что въ жизни—

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ» («Герой»),

то онъ говорилъ только о «возвышающемъ» обманѣ, т. е., томъ, который подымаетъ человѣка въ область «идеаловъ», ведетъ въ область красоты и истины, недостижимую на землѣ.

Пѣвецъ «правды», онъ потому рѣшительно возсталъ противъ всякой «ложной мудрости», сказавъ:

«Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»
(«Вакхич. пѣсня»).

Свободомысліе Пушкина.

Пушкинъ не могъ сдѣлаться «фанатикомъ»: его стремленіе къ свободѣ личности мѣшало ему поработиться какой-нибудь одной идеѣ; исканіе «правды» заставляло избѣгать всякой односторонности. Оттого онъ не сдѣлался ни декабристомъ, ни крайнимъ монархистомъ; оттого онъ въ религіозномъ отношеніи не былъ церковникомъ, и, всегда любя Бога, могъ въ юности вольно отзываться о лицахъ св. Писанія; въ художественномъ отношеніи онъ былъ также «свободомыслящимъ», сдѣлавшись эклектикомъ, который отозвался на всѣ литературныя направленія, всѣ ихъ перебралъ, и многимъ отъ всѣхъ воспользовался. Это «свободомысліе» (въ широкомъ значеніи этого слова) сдѣлало его жизнь особенно тяжелой.

Значеніе Пушкина.

Значеніе Пушкина заключается въ томъ, что онъ —

1) подвелъ итоги всей предшествовавшей ему русской литературы— всѣ литературныя направленія XVIII-го вѣка нашли откликъ въ его творчествѣ.

2) Онъ первый изъ русскихъ писателей сумѣлъ опредѣлить поэтическую цѣнность древнерусской письменности и народнаго творчества. Въ этомъ отношеніи, глубоко справедливо изреченіе Герцена, что «Петръ Великій бросилъ вызовъ Россіи, и она отвѣтила ему Пушкинымъ».

3) Россія въ Пушкинѣ раскрыла всѣ свои душевныя силы, въ немъ нашла равновѣсіе въ борьбѣ двухъ противорѣчивыхъ настроеній. Древняя Русь отвернулась отъ плоти (аскетизмъ) и христіанство поняла, какъ умерщвленіе плоти; восемнадцатый вѣкъ, жившій послѣдними отзвуками Возрожденія, отвернулся отъ христіанства въ сторону *плоти,* въ сторону «свѣтскаго житія», увлекся преклоненіемъ предъ *земной* жизнью. Пушкинъ помирилъ *плоть* и *духъ* въ великомъ чувствѣ любви къ жизни, къ землѣ, къ ближнимъ... Онъ—поэтъ земли, поэтъ любви, сумѣвшій опредѣлить *духъ* въ *плоти.* Такимъ образомъ, въ исторіи русскаго самосознанія онъ воплощаетъ собою моментъ истинно-христіанскаго пониманія жизни—христіанства, очищеннаго отъ византійскихъ средневѣковыхъ искаженій. Реформа Петра заставила русскій народъ жить въ теченіе XVIII-го вѣка интенсивной жизнью и придти къ *самоопредѣленію.* Пушкинъ и былъ результатомъ этого самоопредѣленія.

4) Но Пушкинъ не только подвелъ итоги прошлой литературной жизни,—онъ намѣтилъ и все содержаніе послѣдующей. Поэтому изреченіе Герцена можно измѣнить такъ: «Пушкинъ бросилъ Россіи вызовъ, и она

отвѣтила ему Гоголемъ, Тургеневымъ, Гончаровымъ, Л. Толстымъ, Достоевскимъ и другими великими и малыми писателями XIX-го вѣка».

5) Онъ сумѣлъ поэзію сдѣлать вѣрнымъ зеркаломъ своей личной и русской общественной жизни.

6) Онъ нашелъ *поэзію въ прозѣ*, прочувствовалъ «поэзію дѣйствительности». Этимъ онъ необъятно расширилъ предѣлы русской литературы.

7) Проникнувъ въ *духъ* русской народности, не только въ народной поэзіи, но и въ разныхъ слояхъ (дворяне, крестьяне) прошлой и современной ему жизни, — онъ создалъ національную, оригинальную русскую литературу; до него въ XVIII-мъ вѣкѣ она почти сплошь была заимствованной, или подражательной,—она только пробивалась къ національности.

8) Съ нимъ связана реформа русскаго поэтическаго языка и художественныхъ пріемовъ. Будучи художникомъ-эклектикомъ, — онъ никогда надолго не подчинялся одной опредѣленной литературной школѣ: отъ классиковъ онъ взялъ изящество и чувство мѣры, отъ романтиковъ — интересъ къ *духу* различныхъ народовъ и эпохъ, умѣніе соблюдать couleur locale, historique и éthnographique, любовь къ старинѣ, къ народной поэзіи, свободу творчества, художественный реализмъ. Въ исторіи *европейскаго* романтизма онъ занимаетъ почетное мѣсто (его «Борисъ Годуновъ» предшествуетъ «Кромвелю» Гюго).

9) У насъ онъ былъ первымъ пѣвцомъ «свободной личности», не уединенной въ «прекраснодушіе» Жуковскаго, а стоящей лицомъ къ лицу съ жизнью своего времени.

10) Онъ внесъ «идейность» въ русскую литературу. Онъ увидѣлъ ясно въ жизни добро и зло. Реалистъ, по манерѣ письма, онъ былъ идеалистомъ въ выборѣ сюжетовъ и обрисовкѣ героевъ: изъ дѣйствительности настоящей и прошедшей онъ выбиралъ всегда наиболѣе красивое, или хорошее,—даже въ «злѣ» онъ умѣлъ находить искры добра. Въ его безмѣрной благожелательности къ «землѣ» тонутъ его немногочисленныя обличенія «зла», выраженныя въ сатирахъ и эпиграммахъ.

11) «Идейность» его произведеній была не только моральнаго характера; онъ, человѣкъ 20-ыхъ годовъ, сумѣлъ заглянуть въ тѣ интересы, которыми русское общество стало интересоваться позднѣе. Такъ, онъ первый изъ нашихъ писателей отвѣтилъ на нѣкоторые вопросы соціальной жизни (отношеніе человѣка къ обществу, свобода личности, «идейное преступленіе»); онъ первый изъ русскихъ литераторовъ далъ образы героевъ-психопатовъ. Въ этомъ отношеніи онъ берется разрѣшать труднѣйшія задачи новѣйшей русской литературы (Достоевскій). Не зная философіи Гегеля, онъ самъ пришелъ въ своемъ творчествѣ къ проповѣди «примиренія», оправданія «дѣйствительности». Независимо отъ Шеллинга, онъ подошелъ къ пониманію его эстетики (взглядъ на поэзію). Все это указываетъ на геніальную прозорливость Пушкина. Онъ былъ «великимъ сыномъ» не только своей родины, но и своего вѣка.

Николай Васильевичъ Гоголь.

(1809—1852 г.).

Біографія Гоголя.

Николай Васильевичъ Гоголь родился 19-го марта 1809 г. въ достаточной малороссійской помѣщичьей семьѣ. Раннее дѣтство его протекло въ небольшомъ имѣніи отца Полтавской губерніи —Васильевкѣ, или Яновщинѣ. Отецъ будущаго писателя былъ человѣкъ добрый и сердечный, надѣленный живымъ умомъ. Талантливый разсказчикъ и хорошій знатокъ малороссійской жизни и народной поэзіи, онъ былъ нечуждъ литературныхъ занятій, сочинилъ нѣсколько веселыхъ бытовыхъ комедій-шутокъ [1]). Гоголь-отецъ вообще интересовался театральнымъ дѣломъ: былъ самъ хорошимъ актеромъ и режиссеромъ въ домашнемъ театрѣ своего сосѣда и далекаго родственника (по женѣ)—богача-магната Трощинскаго, екатерининскаго вельможи, который доживалъ свои пышные дни въ деревнѣ. Благодаря широкому гостепріимству, Трощинскій былъ постоянно окруженъ толпой сосѣдей, родственниковъ, друзей и прихлебателей. Сюда, въ деревню, угасающій вельможа занесъ привычки блестящаго двора Екатерины: постоянныя увеселенія, музыка, театръ, гулянья создали изъ его дворца мѣсто утонченныхъ развлеченій. Для захолустныхъ помѣщиковъ-сосѣдей его имѣніе было «Аѳинами»—мѣстомъ, гдѣ развивались ихъ умственные интересы и эстетическіе вкусы. Подъ живымъ впечатлѣніемъ театральныхъ развлеченій въ этихъ «Аѳинахъ», и отецъ Гоголя взялся за сочиненіе своихъ пьесъ изъ народной малороссійской жизни. Мать Н. В. Гоголя была женщина очень добрая—«золотого сердца», впечатлительная до болѣзненности и очень религіозная; она сумѣла эту черту своей души рано привить и своему сыну. Такимъ образомъ, отъ отца унаслѣдовалъ онъ наклонность къ сочинительству, отъ матери—тотъ религіозный складъ міровоззрѣнія, который, съ годами, все замѣтнѣе развивался въ немъ, покоряя всѣ другія черты его многосторонней, сложной души [2]). Весело и беззаботно текли дѣтскіе годы Гоголя въ мирной, счастливой семейной обстановкѣ. Впечатлительный

Мать.

---

[1]) Послѣ его смерти была напечатана его комедія: «Простакъ»; кромѣ того, сочинилъ онъ еще комедію: «Собака-овца»,—но она до насъ не сохранилась.

[2]) Впрочемъ, религіозность матери отличалась тѣмъ своеобразнымъ характеромъ, который такъ типиченъ былъ для міросозерцанія людей древней Руси,—безотраднымъ аскетизмомъ вѣяло отъ этой религіи. Власть надъ міромъ наивно дѣлилась между Богомъ и дьяволомъ, и человѣкъ дѣлался какой-то игрушкой въ ихъ рукахъ: «воля Бога» направляла жизнь человѣка на «неис-

и живой мальчикъ всматривался жадно въ жизнь окружавшихъ его людей—дворянъ-помѣщиковъ и крестьянъ, а также въ картины своеобразной малороссійской природы. Онъ рано полюбилъ родные малороссійскіе обычаи, пѣсни, даже пляски... Въ домѣ Трощинскаго онъ съ дѣтства полюбилъ театръ. Вѣроятно, и самый обликъ Трощинскаго заинтересовалъ его.

Вліяніе малороссійской природы и народности.

И природа, и народъ, воспитавшіе Гоголя, отличаются своеобразными чертами. «Есть какая-то затаенная грусть въ малороссійской природѣ,—говоритъ Н. А. Котляревскій,—въ ней нѣтъ ни строгости, ни энергическаго величія природы сѣверной, ни жгучей, страстной красоты настоящаго юга; ея красота, по преимуществу, томная, мечтательная, какъ греза, безъ ясныхъ очертаній и сильнаго движенія. Народъ, живущій издавна среди этой природы, одаренъ и соотвѣтствующими чертами характера — идиллическимъ настроеніемъ души, переходящимъ иногда въ волевую слабость, грустною мечтательностью, которая всегда споритъ съ весельемъ, и живой, но не грандіозной фантазіей. Природа надѣлила малорусскій народъ, кромѣ того, особымъ даромъ—юморомъ, столь типичнымъ для всѣхъ, даже скромныхъ, представителей этой національности. Трудно опредѣлить точно, въ чемъ этотъ даръ заключается; иногда это просто комическая жилка, способность оттѣнить въ предметѣ, или въ вопросѣ его смѣшную сторону, чтобы позабавиться—такъ, для невинной потѣхи; иногда - это своеобразный взглядъ на вещи, ищущій въ насмѣшкѣ противовѣса грусти и ограждающій себя смѣхомъ отъ слишкомъ печальныхъ выводовъ и размышленій». Ужъ въ ребенкѣ-Гоголѣ ясно сказались типичныя племенныя черты малоросса: съ наклонностью отдаваться иногда чувствамъ сентиментальной мечтательности, онъ соединялъ способность порою смотрѣть на жизнь съ точки зрѣнія юмориста. И сентиментальность, и юморъ свидѣтельствуютъ о томъ, что человѣкъ, надѣленный этими качествами, живетъ, обыкновенно, своей собственной жизнью, можетъ среди людей жить уединенно въ «своемъ мірѣ». Таковъ былъ Гоголь уже въ дѣтствѣ: скрытность, умѣніе маскировать свои настроенія—черты, ему тоже присущія, вытекали изъ основныхъ особенностей его души. Съ дѣтства привыкъ Гоголь интересоваться не только настоящимъ, но и прошлымъ Малороссіи; оно было полно поэзіи и жизни: Малороссія имѣла свою бурную исторію, и разсказы о томъ, что было пережито родиной — съ дѣтства занимали и увлекали его. «Эхъ, старина, старина!—восклицаетъ Гоголь,—что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про

Гоголь въ дѣтствѣ.

Интересъ къ старинѣ.

невѣдимые пути», и личная воля человѣка парализовалась такимъ пониманіемъ жизни; награда, или наказаніе за гробомъ,—вотъ исходъ человѣческаго бытія. Гоголь на всю жизнь запомнилъ разсказъ матери о страшномъ судѣ: «одинъ разъ я просилъ васъ разсказать мнѣ о страшномъ судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшныхъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность; это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли!» Очевидно, религіозные идеалы древней Руси не были вытравлены изъ русскаго самосознанія XVII-ымъ и XVIII-ымъ столѣтіями,—они дожили въ сердцахъ русскихъ людей (особенно въ провинціи) до XIX в. и создали такихъ людей, какъ мать Гоголя, дали матеріалъ для нѣкоторыхъ типовъ Островскаго, для тургеневской Лизы Калитиной.

то, что давно-давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ!» Интересъ Гоголя къ исторіи Малороссіи отчасти объясняется тѣмъ, что предки его играли нѣкоторую роль въ ея прошломъ.

Такимъ образомъ, воспитаніе Гоголя очень отличалось отъ того, которое получилъ Пушкинъ, —тотъ воспитывался на французскій ладъ, въ кругу интернаціональныхъ интересовъ и идей и лишь позднѣе самъ подошелъ къ народу русскому — Гоголю пришлось въ жизни поступить наоборотъ: выросши на впечатлѣніяхъ чисто національныхъ, онъ лишь потомъ пытался, отчасти подъ вліяніемъ Пушкина, войти въ кругъ общечеловѣческихъ идей.

Десяти лѣтъ отъ роду Гоголь былъ отданъ въ полтавскую гимназію, а затѣмъ, черезъ два года, его отдали въ нѣжинскій институтъ.

Гоголь въ лицеѣ.

Школа эта (съ 1821—1828) для талантливаго мальчика не была въ тягость; здѣсь натуры его не ломали,—онъ росъ свободно, и долго, не выдаваясь ничѣмъ, незамѣченный никѣмъ, свободно развивалъ свои дарованія въ кругу товарищей. Науками занимался Гоголь немного, зато въ послѣдніе годы пребыванія въ лицеѣ весь свой досугъ отдавалъ литературнымъ занятіямъ, рисованью и развлеченіямъ театральнымъ [1]). Кромѣ того, интересы дома онъ перенесъ въ школу и сумѣлъ здѣсь вокругъ себя создать цѣлый кружокъ молодыхъ любителей литературы и театра. Особенно сошелся онъ съ А. С. Данилевскимъ, сосѣдомъ по имѣнію, съ Высоцкимъ и братьями Прокоповичами. Друзья Гоголя слѣдили за всѣми новинками русской литературы, завели даже свою особую библіотеку, издавали журналъ, подъ названіемъ «Звѣзда», и устроили въ лицеѣ театръ, который привлекалъ даже жителей г. Нѣжина. Такимъ образомъ, совершенно справедливо указаніе на то, что если жизнь въ Нѣжинѣ мало дала положительныхъ знаній Гоголю, то все же содѣйствовала его общему развитію. Какъ общество товарищей въ царскосельскомъ лицеѣ помогло Пушкину развить его душевныя силы, создавъ среду, для этого благопріятную, такъ и для Гоголя жизнь въ кругу сочувствующей ему молодежи помогла расширить его кругозоръ, развить и углубить его поэтическіе и вообще художественные интересы. Если онъ мало учился, зато онъ много читалъ. Кромѣ того, найдя въ товарищахъ «публику», которая съ удовольствіемъ поощряла его остроумныя выходки, онъ далъ теперь полную свободу своей наблюдательности и своему прирожденному юмору. Въ его уцѣлѣвшихъ школьныхъ опытахъ-сатирахъ и памфлетахъ—сохранились слѣды его критическаго, лукаво-смѣшливаго отношенія и къ лицейскому начальству, и къ жителямъ города Нѣжина, и къ хохламъ-мужикамъ, чѣмъ-нибудь привлекавшимъ его глазъ.

Меланхолія Гоголя и ея причины.

Но уже на школьной скамьѣ зналъ Гоголь и томительныя, тоскливыя настроенія той грусти, которая навсегда сдѣлалась спутникомъ этого, самаго веселаго, русскаго писателя. Источникъ этой юношеской грусти скрывался въ томъ серьезномъ отношеніи къ труднымъ вопросамъ жизни, которые уже съ юношескихъ лѣтъ стали волновать его душу. Живой, веселый и насмѣшливый въ кругу друзей,—Гоголь наединѣ съ собою дѣ-

---

[1]) Онъ выступалъ съ большимъ успѣхомъ въ роляхъ „старухъ". Лучшая его роль была роль Простаковой.

лался инымъ. Въ раннихъ его письмахъ, писанныхъ изъ лицея, обрисовывается онъ, какъ «искатель правды», какъ моралистъ, съ строгимъ взглядомъ на жизнь. Эти полудѣтскія, полуюношескія «исканія правды» выражены въ его письмахъ такимъ дѣланнымъ, неестественнымъ стилемъ, что можно усумниться, дѣйствительно ли эти вопросы серьезно мучили сердце юноши, не были ли однимъ только кокетничаньемъ съ самимъ собой и съ высокими чувствами... Но такое «исканіе правды» не угасало у Гоголя съ годами,—напротивъ, все глубже вростало въ его душу. Это обстоятельство заставляетъ серьезно относиться къ его дѣтскимъ «тревогамъ», признать ихъ искренность и серьезность. Незадолго до окончанія курса въ лицеѣ писалъ онъ своей матери письмо, въ которомъ представляетъ себя «загадочной натурой», говоритъ о томъ, сколько горя онъ вынесъ въ жизни, какъ хорошо знаетъ онъ оборотную сторону жизни. Все это было преувеличеніемъ, такъ какъ дѣйствительнаго горя Гоголь въ тѣ годы еще не зналъ, но онъ въ своемъ сердцѣ, очевидно, выстрадалъ много *воображаемаго горя*,—и это свидѣтельствуетъ о необыкновенной сложности и, дѣйствительно, загадочности его сердца. Онъ сумѣлъ отъ людей скрыть трагедію своей души, но зато передъ самимъ собою, да передъ матерью старался представить эту трагедію мучительнѣе и выразительнѣе. «Преувеличивать Гоголь любилъ и позднѣе: ему всегда казалось, что жизнь на него смотритъ гораздо болѣе страшными глазами, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ; но эти раннія жалобы на одиночество, на неловкое, трудное, страдательное положеніе среди людей—показатели, хотя и неопредѣленнаго, но все-таки весьма вдумчиваго отношенія юноши къ тому, мимо чего мы, обыкновенно, въ юности проходимъ, то есть, къ общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздробленными впечатлѣніями отдѣльныхъ минутъ и частныхъ будничныхъ столкновеній» (Котляревскій).

«Исканія правды». **Гоголь—«загадочная натура».**

Уже на школьной скамьѣ Гоголь развилъ въ себѣ чувство честолюбія. Онъ понялъ очень скоро, что головой стоитъ выше своихъ товарищей; привычка высмѣивать чужія слабости могла только содѣйствовать развитію въ немъ этого самомнѣнія. Все это сказалось очень курьезно въ тѣхъ поученіяхъ, которыя онъ въ своихъ письмахъ расточалъ своей матери; это выразилось и въ тѣхъ тщеславныхъ мысляхъ, что онъ, особенное существо, имѣетъ какую-то особую миссію—служить великую службу отечеству [1]). Это самомнѣніе Гоголя, съ другой стороны, унижало, въ его глазахъ, всѣхъ окружавшихъ его. «Какъ тяжело быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое!»—писалъ онъ другу. «Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей,—всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ!—восклицаетъ онъ далѣе.—Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія, высокое назначеніе человѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться! Изъ нихъ не исключаются и

«Честолюбіе» Гоголя.

---

¹) Нѣкоторые біографы Гоголя объясняютъ эти мечты также и тѣмъ обстоятельствомъ, что Гоголь въ лицеѣ увлекался изученіемъ «естественнаго права». Талантливый учитель его Бѣлоусовъ сумѣлъ развить въ немъ жажду общественной дѣятельности, которая и представлялась юношѣ, какъ борьба за право, борьба съ неправосудіемъ и съ тѣми людьми, которые своими пороками вносили зло въ жизнь.

Мечты о «служеніи родинѣ».

дорогіе наставники наши!» Если въ этихъ словахъ и высказывается недовольство пошлостью жизни, то это недовольство слишкомъ замѣтно переходитъ въ самомнѣніе... Не подозрѣвая, въ чемъ будетъ заключаться его настоящее дѣло служенія родинѣ, онъ съ увѣренностью говоритъ о томъ, что совершитъ «трудъ важный, благородный, на пользу отечества, для счастья гражданъ, для блага жизни подобныхъ»... «И дотолѣ нерѣшительный, неувѣренный въ себѣ,—продолжаетъ онъ,—я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія—чрезъ годъ вступаю я въ службу государственную!» Онъ не мечталъ совсѣмъ о карьерѣ писателя,—ему казалось, что чиновничество тамъ, въ Петербургѣ,—поприще, на которомъ легко сразу облагодѣтельствовать отечество. Если мы припомнимъ, что это время было эпохой крайней централизаціи власти,—мы поймемъ, почему Петербургъ провинціаламъ той поры казался мѣстомъ, откуда можно управлять всей Россіей [1]). Быть можетъ, эти мечты выдвинуться на служебномъ поприщѣ нашли для своего развитія благопріятную почву въ дѣтскихъ впечатлѣніяхъ отъ величественнаго образа Трощинскаго.

«Уже ставлю мысленно себя въ Петербургѣ,—мечталъ въ одномъ письмѣ Гоголь,—въ той веселой комнаткѣ, окнами на Неву, такъ какъ я всегда думалъ найти себѣ такое мѣсто. Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я точно жить въ этакомъ райскомъ мѣстѣ, или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ!»

Лицейскія сочиненія Гоголя.

Изъ произведеній Гоголя, написанныхъ имъ во время пребыванія въ лицеѣ, сохранились немногія—большинство извѣстно лишь по названію. Кромѣ мелкихъ сатирическихъ произведеній, осмѣивающихъ товарищей, учителей, или жителей Нѣжина («Нѣчто о Нѣжинѣ, или дуракамъ законъ не писанъ»), къ этому юношескому періоду его творчества относятся произведенія болѣе крупныя, отразившія характерныя черты его юношескихъ настроеній. Изъ этихъ произведеній мы узнаемъ, что, въ бытность свою въ лицеѣ, Гоголь находился подъ вліяніемъ Жуковскаго и Марлинскаго,—т. е., отдалъ дань всѣмъ видамъ русскаго романтизма. Къ произведеніямъ въ духѣ Жуковскаго относится его большая идиллія «Ганцъ Кюхельгартенъ»,—которую онъ самъ цѣнилъ такъ высоко, что счелъ возможнымъ отдать въ печать. Этому произведенію біографы Гоголя съ полнымъ правомъ придаютъ автобіографическое значеніе, въ героѣ ея, «прекраснодушномъ юношѣ», усматривая отраженіе настроеній юноши-Гоголя, тоскующаго въ тѣсныхъ рамкахъ семьи и жизни уѣзднаго города. Къ романтической группѣ произведеній относится несохранившаяся трагедія «Разбойники», вѣроятно, подражаніе драмѣ Шиллера, историческая повѣсть, въ духѣ произведеній Марлинскаго—«Братья Твердиславичи», романъ «Гетманъ»—произведеніе, отличающееся фантастичностью, патетическимъ стилемъ и романтическими эффектами. Сюда же должны быть отнесены и отрывки повѣсти изъ народной жизни: «Страшный кабанъ». Это произведеніе, развивающее фантастическое народное преданіе, напоминаетъ собою,

«Ганцъ Кюхельгартенъ» Автобіографическое значеніе.

---

[1]) Въ романахъ Гоголя («Мертвыя души»), Гончарова «Обломовъ» и «Обыкновенная Исторія» выведены юноши, такъ же смотрящіе на Петербургъ.

по типу своему, многія повѣсти, вошедшія впослѣдствіи въ составъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки».

Гоголь-романтикъ.

Всѣ перечисленныя произведенія и нѣкоторые мелкіе безымянные отрывки доказываютъ, насколько сильно былъ покоренъ Гоголь романтизмомъ: всѣ виды этого направленія [1]) его захватили,—зналъ онъ и идеалистическія настроенія «прекрасной души», увлекался онъ, подобно многимъ романтикамъ (напр., Марлинскому), и образами крупныхъ героевъ, превышающихъ своей душой размѣры обыкновеннаго человѣка («Разбойники», «Гетманъ»). Наконецъ, слѣдуя романтикамъ, съ наслажденіемъ почерпалъ онъ сюжеты для своихъ произведеній изъ исторіи и области народныхъ преданій, особенно суевѣрныхъ разсказовъ, извлекая оттуда фантастическое, сверхъестественное...

Гоголь въ Петербургѣ.

Въ 1828 году Гоголь пріѣхалъ въ «завѣтный» Петербургъ, куда его такъ тянуло съ дѣтства. «Здѣсь дѣйствительность сразу рядомъ тяжкихъ ударовъ умѣряетъ горячій пылъ его юношескихъ мечтаній: «вмѣсто квартиры съ окнами на Неву, какъ мечталъ Гоголь, приходится довольствоваться скромнымъ помѣщеніемъ въ верхнемъ этажѣ густонаселеннаго дома въ одной изъ весьма прозаическихъ улицъ» (Шенрокъ). Дороговизна столичной жизни его ошеломила; рекомендательныя письма Трощинскаго не принесли ему той пользы, на которую разсчитывали онъ и его мать. Юношѣ, избалованному довольствомъ домашней жизни и лаской нѣжнолюбящей матери, пришлось узнать лишенія: всю зиму принужденъ онъ былъ «отхватать» въ лѣтней шинели и отказать себѣ въ удовольствіи посѣщать театръ. Его, наивнаго провинціала, поразилъ холодъ и эгоизмъ столичныхъ обывателей [2]). «Скажу вамъ, — пишетъ онъ матери, — что Петербургъ мнѣ показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, также лживы. Жить здѣсь несравненно дороже, нежели думали. Это заставляетъ меня жить, какъ въ пустынѣ: я принужденъ отказаться отъ лучшаго своего удовольствія — видѣть театръ». Не понравились ему и люди петербургскіе: они не имѣли ничего типическаго [3]); иностранцы, живущіе здѣсь слишкомъ обрусѣли, — русскіе «объиностранились». «Тишина (въ Петербургѣ), — разсказываетъ онъ, — необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, — все служащіе, да должностные; всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ, да коллегіяхъ, — все погрязло въ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ». Очевидно, и чиновничья карьера, въ глазахъ Гоголя, потеряла теперь весь ореолъ «великаго служенія родинѣ» и обратилась въ «безплодное», сѣрое существованіе. Это было новое разочарованіе для молодого энтузіаста. Съ лихорадочной поспѣшностью ищетъ онъ себѣ новаго поприща дѣятельности, и не надолго останавливается на мысли поступить въ актеры. Онъ даже рискнулъ подвергнуться испытанію, «но его чтеніе,

Первыя разочарованія.

---

[1]) См. мою книгу «Исторія русской слов.», ч. II, главу о романтизмѣ.

[2]) Ср. разочарованія Тентетникова, Обломова и Адуева въ Петербургѣ.

[3]) Это замѣчаніе Гоголя очень любопытно: очевидно, онъ еще юношей научился отыскивать типичныя черты у людей, отмѣчать у нихъ наиболѣе яркія черты. Очевидно, въ провинціи онъ имѣлъ больше матеріала для наблюденія.

выразительное, совершенно естественное и чуждое всякой ложной аффектаціи, произвело неблагопріятное впечатлѣніе на тогдашнихъ театральныхъ аристарховъ. Гоголь замѣтилъ это самъ, и послѣ испытанія не явился за отвѣтомъ» (Шенрокъ). Затѣмъ онъ рѣшился испробовать счастья на поприщѣ литературномъ и выпустилъ на свой счетъ въ свѣтъ свою идиллію «Ганцъ Кюхельгартенъ», скрывъ свою фамилію подъ псевдонимомъ «В. Алова» [1]). Произведеніе было встрѣчено критикой очень враждебно, и юный авторъ уничтожилъ свое первое «дѣтище», отобравъ изъ магазиновъ нераспроданные экземпляры. И напечатаніе этой слабой поэмы, и сожженіе ея,—все очень характерно для пониманія Гоголя: съ одной стороны, видно и самомнѣніе его, выразившееся въ переоцѣнкѣ своего таланта, съ другой стороны,—болѣзненное самолюбіе, не терпящее осужденія. Онъ надѣялся, что «Ганцъ Кюхельгартенъ» сразу выдвинетъ его въ ряды замѣтныхъ писателей,—этому произведенію онъ, очевидно, придавалъ очень большое значеніе. Понятно поэтому, что неудача «Ганса» сильно потрясла его; онъ даже внезапно рѣшился покинуть Россію и уѣхать за границу. Это рѣшеніе было такъ неожиданно для него самого и его родственниковъ, что впослѣдствіи, затрудняясь самъ дать себѣ ясный отчетъ въ своемъ поступкѣ, онъ рѣшился даже оправдать его вымышленными фактами. Впрочемъ, въ томъ характерномъ письмѣ къ матери, въ которомъ онъ объяснилъ ей свое бѣгство изъ Россіи необходимостью спасти себя отъ какой то безнадежной любви, слышатся искренняя страданія юнаго безпокойнаго сердца, все еще не примиряющагося съ мелочной, прозаическою жизнью обыкновенныхъ «существователей». Неудачи своихъ первыхъ шаговъ на житейскомъ поприщѣ религіозный юноша объясняетъ даже проявленіемъ мудрой воли Божьей. «Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго!» — писалъ онъ матери. Волей Бога объяснялъ онъ и свою неожиданную поѣздку на чужбину: «Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы я тамъ воспиталъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра». Онъ опять повторяетъ, что не хочетъ «пресмыкаться» въ жизни. Онъ утѣшаетъ свою мать, говоритъ, что ему нужно «передѣлать себя», переродиться, оживиться новою жизнью, «расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности», чтобы найти не личное счастье, а возможность посвятить свою жизнь для счастья и блага себѣ подобныхъ». Мы видѣли уже, что съ этими же «мечтами» носился Гоголь еще въ бытность свою въ Нѣжинѣ.

Поѣздка Гоголя за границу.

Гоголь за границей.

Гоголь за границей выжилъ только мѣсяцъ, — онъ соскучился по родинѣ, изъ которой бѣжалъ, да и тоска попрежнему его мучила здѣсь: его юную душу попрежнему мучилъ разладъ. Въ письмѣ изъ-за границы онъ пространно исповѣдуется передъ матерью. Онъ сѣтуетъ, что Богъ, «создавъ такое единственное, или, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ

[1]) Въ предисловіи, отъ имени какихъ-то несуществовавшихъ издателей, Гоголь имѣлъ нескромность заявить, что они (издатели) «гордятся тѣмъ, что, по возможности, споспѣшествовали свѣту ознакомиться съ созданіемъ юнаго таланта».

сердце, какъ его, создавъ такую душу, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному, облекъ ее въ такую грубую оболочку». Это бореніе тѣла и духа, такъ мучительно выразившееся въ юной душѣ Гоголя,—было главнымъ содержаніемъ духовной жизни древней Руси; многихъ оно вело тогда къ аскетизму, подвижничеству, отреченію отъ земли. Это роковое наслѣдство досталось въ удѣлъ Гоголю. Юношей, еще мало вѣдающимъ жизнь, онъ узналъ уже тѣ духовныя страданія, которыми жили и питали свою душу подвижники древней Руси. Подобно имъ, Гоголь-юноша больше всего интересуется своей душой, копается въ ней, бичуетъ себя за ея недостатки. Онъ спрашиваетъ Бога, зачѣмъ онъ допустилъ въ его душѣ такую страшную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія...

Идеалы древней Руси и міросозерцаніе Гоголя.

Душевная борьба помѣшала ему заинтересоваться заграничной жизнью, и потому никакихъ особыхъ впечатлѣній его поѣздка ему не принесла. Вернувшись въ Петербургъ въ первыхъ мѣсяцахъ 1830 года, онъ поступилъ на службу въ департаментъ удѣловъ. Эта казенная служба слишкомъ отличалась отъ того «служенія» родинѣ, о которомъ мечталъ Гоголь, — естественно, что онъ не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ. Даже жалованья чиновничьяго ему не хватало на существованіе. Приходилось давать частные уроки, заниматься гувернерствомъ и заказной литературной работой. Въ поискахъ средствъ къ существованію, Гоголь остановился на счастливой мысли пустить въ литературный оборотъ свои знанія малороссійской жизни. Онъ замѣтилъ, что петербургская читающая публика, подъ вліяніемъ господствующихъ въ тогдашней литературѣ романтическихъ вкусовъ, обнаружила интересъ къ знакомству съ жизнью различныхъ народовъ («couleur locale»), — она узнала кавказскихъ горцевъ по Марлинскому, Пушкину и Лермонтову, крымскихъ татаръ и бессарабскихъ цыганъ—по Пушкину. Немного познакомилась она съ Малороссіей по произведенію Пушкина: «Полтава». Гоголю суждено было полнѣе и глубже ознакомить ее съ поэтической стороной жизни Украйны. Въ поискахъ «хлѣба», принялся онъ за сочиненіе своихъ «Вечеровъ на хуторѣ Диканьки»—и, неожиданно для себя, завоевалъ этими веселыми поэтическими разсказами не только «хлѣбъ», но и «славу»... Этимъ разсказамъ онъ никогда не придавалъ большого значенія, такъ какъ его мучительная душевная борьба въ нихъ не отразилась,—ему дороже былъ его неудачный «Гансъ Кюхельгартенъ» — произведеніе, въ которое онъ вложилъ всю свою душу.

Гоголь на службѣ.

«Вечера на хуторѣ близъ Диканьки».

Впрочемъ, если онъ самъ мало интересовался своими бытовыми разсказами, онъ писалъ ихъ очень добросовѣстно: онъ не довольствовался своими знаніями Малороссіи, своей богатой фантазіей,—для своихъ разсказовъ онъ старательно собиралъ факты и матеріалы; мать его, друзья и знакомые, оставшіеся на родинѣ, доставляли ему въ столицу свѣдѣнія, пополняющія его знанія малороссійской жизни [1]). Эти матеріалы, дѣйствительно, сослу-

Работа Гоголя надъ повѣстями.

---

[1]) Какъ образецъ подобныхъ просьбъ, можно привести отрывокъ изъ письма Гоголя къ матери: «Вы много знаете обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ и потому вы не откажитесь сообщить мнѣ ихъ въ нашей переписке. Это мнѣ очень, очень нужно... Я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ это все называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ

жили Гоголю большую службу,—они придали его веселымъ разсказамъ ту этнографическую полноту и содержательность, которыя отмѣчены были сразу русской критикой.

Гоголь въ апогеѣ славы.

Высокую художественность гоголевскихъ разсказовъ оцѣнили выдающіеся русскіе писатели того времени: Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, Дельвигъ. Они сблизились съ нимъ и ввели его въ кругъ тогдашнихъ русскихъ литераторовъ. Попалъ Гоголь и въ салонъ фрейлины Смирновой, гдѣ собирались лучшіе русскіе умы того времени и выдающіеся иностранные дипломаты. Пушкинъ былъ душой этого салона. Подружился онъ съ Віельгорскими. Въ 1832 году Гоголь ѣздилъ на родину и по дорогѣ остановился въ Москвѣ; здѣсь онъ сошелся съ Погодинымъ, Шевыревымъ, семьей Аксаковыхъ. «Послѣ долгихъ неудачъ Гоголь вдругъ испыталъ какое-то фантастическое, волшебное счастье: онъ сразу почувствовалъ себя перенесеннымъ въ высшія сферы литературнаго міра» (Шенрокъ). Несомнѣнно, подъ впечатлѣніемъ удачи, Гоголь забылъ надолго свои душевныя страданія, — къ тому же онъ всецѣло подпалъ подъ вліяніе Пушкина [1]), который съ любовью занялся литературнымъ и умственнымъ развитіемъ талантливаго «самородка». Онъ указывалъ Гоголю, что̀ надо прочесть, объяснялъ Гоголю характерныя черты его таланта и рѣшительно повелъ его на путь художественнаго реализма. «Изображеніе отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности»—вотъ, дорога, которую указалъ Гоголю Пушкинъ.

Вліяніе Пушкина на а) литературное развитіе Гоголя;

b) философское;

Въ уравновѣшенной душѣ нашего великаго поэта не было мѣста для той борьбы, которая мучила Гоголя: мы видѣли, что Пушкинъ сумѣлъ и въ жизни и въ творчествѣ примирить плоть и духъ. Неизвѣстно, открывалъ ли Гоголь передъ Пушкинымъ тайники своей души, но, несомнѣнно, если бы онъ это и сдѣлалъ, онъ не встрѣтилъ бы сочувствія себѣ со стороны «пѣвца земли». Вѣроятно, оказалъ вліяніе Пушкинъ и на политическое міровоззрѣніе Гоголя. «Націоналистъ» по убѣжденіямъ, вѣрящій въ Россію и примирившійся съ русской дѣйствительностью, Пушкинъ такіе же взгляды привилъ Гоголю. Сдѣлать это тѣмъ болѣе было легко, что Гоголь самъ шелъ къ такому міросозерцанію. И вотъ, взгляды «официальной народности», отчасти «славянофильство» были прочно усвоены Гоголемъ. Вѣра въ незыблемость «православія, самодержавія и народности» вошла въ его міросозерцаніе. Впрочемъ, подобно Пушкину, онъ не примкнулъ цѣликомъ ни къ правительству, ни къ славянофиламъ, не сдѣлался пропагандистомъ ихъ взглядовъ, по крайней мѣрѣ, въ первый

c) политическое.

древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ. Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская ни малѣйшихъ подробностей... Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, о Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть кромѣ того, какіе-либо духи, или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами. Множество носится между простымъ народомъ повѣрій, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ и пр.» Въ этомъ интересѣ къ народной жизни сказалась одна изъ характерныхъ особенностей романтизма—погоня за couleur éthnographique. Интересуютъ его и древнія монеты, рѣдкости, старопечатныя книги; онъ проситъ высылать ему стародавнія рукописи про времена гетманщины. Этотъ интересъ къ старинѣ—тоже черта романтиковъ, увлекавшихся сознательнымъ желаніемъ вѣрно воспроизводить couleur historique.

[1]) Въ «Запискахъ Смирновой» не разъ разсказывается, съ какимъ благоговѣніемъ слушалъ Гоголь все, что говорилъ Пушкинъ. Многія изъ его замѣчаній и сужденій Гоголь немедленно записывалъ въ записную книжку.

періодъ своей жизни. Нѣсколько въ сторонѣ остался Гоголь отъ философскихъ и политическихъ настроеній эпохи. Подъ вліяніемъ своихъ новыхъ петербургскихъ друзей-писателей, онъ съ головой окунулся въ литературную жизнь; онъ сталъ теперь серьезнѣе смотрѣть на занятія литературой; издавъ свои «Вечера» въ свѣтъ въ 1831 году, подъ псевдонимомъ «Рудаго Панька», онъ въ 1832 году, по совѣту Пушкина, берется за сочиненіе большой бытовой комедіи изъ русской жизни. Кромѣ того, старательно изучаетъ русскую литературу, старается выяснить себѣ сущность и цѣли искусства, занимается исторіей [1]... Вообще семь лѣтъ (1829 — 1836), проведенные имъ въ Петербургѣ въ обществѣ Пушкина, были блестящей порой его жизни и творчества: въ этотъ періодъ времени развернулся его талантъ, — онъ написалъ «Вечера на хуторѣ», въ 1835 году «Арабески», «Миргородъ» (въ этотъ сборникъ вошла и повѣсть «Тарасъ Бульба»), «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», «Старосвѣтскіе помѣщики», «Записки сумасшедшаго», «Женитьбу», «Ревизора» (написанъ въ 1835 г., поставленъ на сцену 19 апрѣля 1836 г.), задумалъ и началъ «Мертвыя души», критическія и теоретическія статьи о русской литературѣ и искусствѣ,—словомъ,«сказалъ почти все, что̀ онъ имѣлъ сказать, и затѣмъ только передѣлывалъ, передумывалъ и дополнялъ сказанное или задуманное раньше» (Котляревскій). Его творческій геній роковымъ образомъ померкъ со смертью Пушкина.

Блестящій періодъ творчества Гоголя

Въ эти семь лѣтъ многое перемѣнилось въ жизни Гоголя,—онъ изъ чиновника сдѣлался педагогомъ — преподавателемъ исторіи въ Патріотическомъ институтѣ, потомъ даже профессоромъ всеобщей исторіи въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Этотъ выборъ карьеры оказался очень неудачнымъ,—къ отвѣтственнымъ обязанностямъ профессора Гоголь былъ не подготовленъ, одного таланта и блестящаго воображенія было мало тамъ, гдѣ не было знанія,—немудрено поэтому, что годъ его профессорства былъ очень ему тяжелъ. Эта новая неудача была большимъ ударомъ для впечатлительнаго самолюбія писателя. Но она имѣла и хорошіе результаты,—она приковала Гоголя къ литературѣ. Онъ испробовалъ нѣсколько путей, вездѣ терпѣлъ неудачи: оставался одинъ — писательство. Но любопытно, что своими литературными успѣхами онъ былъ недоволенъ: друзья-писатели, петербургскіе и московскіе, носили его на рукахъ; публика читала нарасхватъ его произведенія; критика русская, вообще недоброжелательная, тоже заинтересовалась новымъ свѣтиломъ, — но Гоголю всего этого было мало. Судя по его письмамъ, онъ все еще мечталъ о какомъ-то «большомъ дѣлѣ» [2]). Пушкинъ указывалъ ему, что это

Гоголь-профессоръ.

[1]) Мысли, имъ выработанныя въ это время, нашли себѣ выраженіе въ тѣхъ статьяхъ, которыя вошли позднѣе въ составъ его сборника „Арабески".

[2]) Онъ съ презрѣніемъ отзывался о своихъ первыхъ произведеніяхъ, которыя принесли ему славу: „да обрекутся они неизвѣстности,—писалъ онъ о „Вечерахъ на хуторѣ",—покамѣстъ что-нибудь увѣсистое, великое, художническое, не изыдетъ изъ меня!" Съ этимъ „великимъ" онъ хотѣлъ связать то „большое дѣло", о которомъ онъ мечталъ.. „Я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе,—писалъ онъ матери въ 1833 году,—Я изслѣдовалъ человѣка отъ его колыбели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ и, между тѣмъ, не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы,

«большое дѣло» можно было сдѣлать литературой, что обличеніе недостатковъ родной русской жизни—тоже дѣло немаловажное, но, должно быть, ему не удалось разубѣдить Гоголя. Вотъ почему и «Ревизоръ» [1]), имѣвшій большой успѣхъ и въ то же время вызвавшій озлобленіе въ широкихъ кругахъ русской публики, принесъ Гоголю больше горя, чѣмъ радости. Произошло это потому, что «на сцену Гоголь смотрѣлъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы, котораго полное торжество заключается въ радушномъ пріемѣ и рукоплесканіяхъ публики, но съ затаеннымъ страхомъ и глубокою скорбью за судьбу своего созданія, въ которое онъ положилъ свою душу, свои лучшія, благороднѣйшія стремленія» (Шенрокъ). Театръ ломился, когда давали «Ревизора», но многіе осуждали пьесу за дерзкую критику русской жизни. Гоголь былъ пораженъ тѣмъ, какое впечатлѣніе произвела на русское общество его пьеса: «Господи Боже!—жаловался онъ.—Ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ!» Измученный и потрясенный своей «неудачей», Гоголь уѣзжаетъ за границу, чтобы тамъ отдохнуть и успокоиться. Онъ убѣдился теперь, что та публика, которой онъ съ юности рвался «служить», не понимала его, относилась къ нему враждебно... Къ тому же, и самъ Гоголь разочаровался въ той пьесѣ, которая недостаточно ясно выразила его основную мечту,—онъ хотѣлъ «проповѣдывать», «морализировать», когда писалъ своего «Ревизора», а оказался «обличителемъ». Произошло это потому, что «великій художникъ,—воспитанникъ Пушкина, побѣдилъ въ Гоголѣ «моралиста». Увлеченный сюжетомъ «Ревизора», сюжетомъ, который былъ ему подаренъ Пушкинымъ, Гоголь предоставилъ свободу своему юмору, — и, въ результатѣ, получилась сатира, поражавшая въ сердце всю тогдашнюю русскую дѣйствительность, съ ея централизаціей, съ ея чиновничествомъ и произволомъ [2]). Гоголь не мѣтилъ такъ глубоко,—онъ ничего не имѣлъ противъ строя тогдашней русской жизни,—онъ хотѣлъ лишь изобличить пороки отдѣльныхъ лицъ, которыя своими личными недостатками вносили дисгармонію въ систему, вообще превосходную, не нуждающуюся въ реформахъ. Говоря словами Капниста, онъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая утверждала, что «законы святы, да исполнители—лихіе супостаты», что вся бѣда не въ порядкахъ, а въ душевныхъ качествахъ отдѣльныхъ людей. Эта точка зрѣнія на русскую жизнь проводилась и Карамзинымъ, и Жуковскимъ, и отчасти Пушкинымъ... Жандармъ, появляющійся въ концѣ комедіи съ извѣстіемъ, что настоящій ревизоръ пріѣхалъ и зоветъ къ отвѣту порочныхъ чиновниковъ, игралъ въ глазахъ Гоголя слишкомъ большую роль, — онъ оправдывалъ строй русской жизни, указывалъ, что порокъ наказывается и въ Россіи. Но эта мораль пьесы оказалась слишкомъ блѣдна,—ея никто не замѣтилъ, ея не поняли,—и это было больно Гоголю.

„Ревизоръ“.

Отношеніе Гоголя къ своему произведенію.

кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ свѣтлый, природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ“. Гоголь даже одно время бросилъ совсѣмъ писать, мучаясь тѣмъ, что его великіе замыслы не находятъ себѣ великаго воплощенія, „мелкаго (писать),—говоритъ онъ,—не хочется, великое не выдумывается“.

[1]) Въ 1-ый разъ поставленъ на сцену 19 апрѣля 1836 г.

[2]) Это понялъ императоръ Николай Павловичъ, присутствовавшій на первомъ представленіи комедіи. „Ну, пьеска! — сказалъ онъ — всѣмъ досталось, а больше всѣхъ мнѣ!“

Въ развязкѣ «Ревизора» онъ самъ объяснилъ истинный смыслъ своей комедіи. Въ уста «перваго комическаго актера» вложилъ онъ свои мысли, свои взгляды. «Нѣтъ такого города на Руси, говорилъ Гоголь его устами, гдѣ бы всѣ чиновники были порочны.» Слѣдовательно, не надо буквально понимать всего изображеннаго, не надо угадывать живыхъ людей въ изображенныхъ герояхъ. Авторъ изобразилъ «душевный городъ»—т. е. человѣческую душу вообще, и всѣ «чиновники», и жители этого города—это олицетворенія пороковъ, съ которыми долженъ бороться человѣкъ,—иначе ждетъ человѣка страшная кара. «Будто не знаете, кто это ревизоръ? Что прикидываться? Ревизоръ этотъ—наша проснувшаяся совѣсть, которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всѣ глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повелѣнію онъ посланъ». Совѣсть — «настоящій ревизоръ» — «Хлестаковъ—вѣтреная свѣтская совѣсть, продажная, обманчивая совѣсть; Хлестакова подкупятъ какъ разъ наши же, обитающія въ душѣ нашей, страсти... Не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ ревизоромъ оглянемъ себя! Клянусь, душевный городъ нашъ стоитъ того, чтобы подумать о немъ, какъ думаетъ добрый государь о своемъ государствѣ. Благородно и строго, какъ онъ изгоняетъ изъ земли своей лихоимцевъ, изгонимъ нашихъ душевныхъ лихоимцевъ! Есть средство, есть бичъ, которымъ можно выгнать ихъ. Смѣхомъ, мои благородные соотечественники! Смѣхомъ, котораго такъ боятся всѣ низкія наши страсти! Смѣхомъ, который созданъ на то, чтобы смѣяться надъ всѣмъ, что позоритъ истинную красоту человѣка. Возвратимъ смѣху его настоящее значеніе! Отнимемъ его у тѣхъ, которые обратили его въ легкомысленное свѣтское кощунство надъ всѣмъ, не разбирая ни хорошаго, ни дурного!.. Не возмутимся духомъ, если бы какой-нибудь разсердившійся городничій, или, справедливѣе, самъ нечистый духъ, шепнулъ его устами: «что смѣетесь? надъ собой смѣетесь!» [1]). Гордо скажемъ ему: «Да, надъ собой смѣемся, потому что слышимъ приказанье Высшее быть лучшими другихъ!.. Не пустой я какой-нибудь скоморохъ, созданный для потѣхи пустыхъ людей, но честный чиновникъ великаго Божьяго государства, и возбудилъ въ васъ смѣхъ,—не тотъ безпутный, которымъ пересмѣхаютъ въ свѣтѣ человѣкъ человѣка, который рождается отъ бездѣльной пустоты празднаго времени, но смѣхъ, родившійся отъ любви къ человѣку. Дружно докажемъ всему свѣту, что въ Русской землѣ все, что ни есть, отъ мала до велика, стремится служить Тому же, Кому всѣ должны служить на землѣ,—несется туда, кверху, къ Верховной вѣчной красотѣ».

Объясненіе Гоголемъ смысла пьесы.

Значеніе смѣха.

Понятно, какъ оскорбительно было Гоголю сознать, что *никто* въ авторѣ «Ревизора» не увидѣлъ «честнаго чиновника великаго Божьяго государства»—проповѣдника добра,—а усмотрѣли или скомороха-шута, потѣшника толпы, или либерала-обличителя, или просто суроваго и несправедливаго судью-самозванца. Онъ убѣдился, что его опять не поняли читатели, и онъ сталъ защищать себя отъ многочисленныхъ и разнообразныхъ обвиненій,—особенно, отъ обвиненій въ томъ, что хотѣлъ уни-

---

[1]) Смыслъ этой фразы, обращенной въ комедіи словно къ публикѣ, дѣйствительно, загадочный, разъясняется только этими словами Гоголя.

зить Россію [1]). «Если бы это была правда,—писалъ онъ Прокоповичу,—то хуже («Ревизора») на Руси мнѣ никто не могъ нагадить. Но, слава Богу, это—ложь... Мнѣ страшно вспомнить обо всѣхъ моихъ мараньяхъ. Они въ родѣ грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ. Забвенья, долгаго забвенья проситъ душа. И если бы появилась такая моль, которая съѣла бы всѣ экземпляры «Ревизора», а съ ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мнѣ въ теченіе долгаго времени ни печаталъ, ни изустно не произносилъ никто ни слова, я бы благодарилъ судьбу». Онъ охладѣлъ къ «Ревизору», какъ прежде къ «Гансу Кюхельгартену», и успокоенія искалъ, какъ и раньше, въ заграничномъ путешествіи.

«Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ»—писалъ онъ Погодину незадолго до отъѣзда, выражая въ этихъ словахъ все свое самомнѣніе и презрѣніе къ русской «черни». Но его все не оставляла мысль, что онъ совершитъ нѣчто великое: называя всѣ свои сочиненія (въ томъ числѣ и «Ревизора») «ученическими», онъ восклицалъ: «пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ!».

Гоголь заграницей.

Гоголь заграницей, въ періодъ 1836—1841 гг.—«большая загадка, которую, вѣроятно, не разъяснятъ никакіе біографическіе матеріалы и даже личныя признанія поэта. Въ этой сложной душѣ, полной противорѣчій, совершалось за этотъ періодъ времени то таинственное бореніе, которое художника, въ концѣ концовъ, обратило въ моралиста и богослова, и въ юмористѣ-бытописателѣ заставило вновь проснуться съ подновленной силой старое романтическое міросозерцаніе. Это было бореніе сначала очень радостное, полное вдохновеннаго восторга, а въ концѣ совсѣмъ болѣзненное, истомившее художника и физически, и нравственно» (Котляревскій).

Заграницей онъ искалъ только впечатлѣній эстетическихъ,—онъ холодно относился къ западно-европейской культурѣ, къ современной жизни Европы, даже къ исторической старинѣ,—чаще всего оставался онъ одинъ, съ глазу на глазъ, со своей душой, мятежной и жаждущей. Къ Германіи, Швейцаріи и Парижу отнесся онъ равнодушно; только Италія нравилась ему. Она успокаивала его больные нервы; свѣтомъ, тепломъ и красотой ласкала его больное сердце. «Кто былъ въ Италіи, тотъ скажи «прощай» другимъ землямъ»,—писалъ Гоголь друзьямъ,—кто былъ на небѣ, тотъ не захочетъ на землю. Европа, въ сравненіи съ Италіей, все равно, что день пасмурный въ сравненіи съ днемъ солнечнымъ». «Душенька моя! моя красавица Италія!—восклицалъ онъ,—никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня! Я родился здѣсь... Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра, театръ,—все это мнѣ *снилось*... О, если бы вы взглянули только на это ослѣпляющее небо, все тонущее въ сіяніи! Все прекрасно подъ этимъ небомъ». Особенно увлекался Гоголь Римомъ: «Здѣсь только тревоги не властны и не касаются души,—писалъ онъ...—Кромѣ Рима, нѣтъ Рима на свѣтѣ,—хотѣлъ было сказать—счастья и радости, да Римъ больше, чѣмъ счастье и радость!».

---

[1]) Это онъ сдѣлалъ не только въ частныхъ бесѣдахъ и письмахъ, но и въ нѣсколькихъ объяснительныхъ статьяхъ, посвященныхъ „Ревизору“: „Отрывокъ изъ письма, писаннаго авторомъ послѣ перваго представленія „Ревизора“ къ одному литератору“, въ „Предувѣдомленіи для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора“ и въ комедіи „Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи“ (1842), „Развязка Ревизора“.

Въ Римѣ Гоголь жилъ въ обществѣ молодыхъ русскихъ художниковъ—слѣдовательно, въ кругу утонченныхъ эстетическихъ удовольствій. Особенно сблизился онъ съ извѣстнымъ энтузіастомъ-художникомъ Ивановымъ, который всю свою жизнь отдалъ созданію одной картины: «Явленіе Христа народу» (находится въ Москвѣ въ Третьяковской галереѣ). Религіозное мистическое настроеніе Иванова было сродни Гоголю, высокое пониманіе миссіи художника тоже связывало обоихъ. Понятна изъ этого ихъ дружба, взаимное вліяніе ихъ и углубленіе въ душѣ обоихъ религіознаго мистицизма. Жизнь въ Римѣ.

Къ этой порѣ пребыванія Гоголя въ Италіи относится увлеченіе Гоголя католицизмомъ. Гоголь, какъ художникъ, былъ побѣжденъ красотою католической службы, великолѣпіемъ храмовъ, набожностью вѣрующихъ католиковъ. «Только въ одномъ Римѣ молятся,—говорилъ онъ,—а въ другихъ мѣстахъ показываютъ только видъ, что молятся». Русскіе аристократы, друзья Гоголя, измѣнившіе православію ради католичества, прилагали усилія, чтобы и Гоголя заставить сдѣлать то же; для этого было организовано постепенное систематическое склоненіе великаго писателя въ католицизмъ. Онъ это замѣчалъ, но этому не противился,—говорилъ даже, что «позволяетъ втирать въ себя нѣсколько хорошихъ мыслей». Впрочемъ, если Гоголь отъ православія и не уклонился, то, несомнѣнно, охотно слушалъ разговоры о «божественномъ»,—вѣдь это было такъ близко основнымъ интересамъ его жизни!..

Любопытно, что въ эту пору полной эстетической и религіозной жизни, когда писателю, удаленному отъ родины, она казалась далекимъ «сномъ»,—творчество его работало интенсивно и все въ томъ же направленіи, которое далъ ему Пушкинъ. Гоголь «жилъ» Италіей, и, въ то же время, «грезилъ» Россіей,—и грезы эти были такъ ясны, такъ мучительно-живы, были облечены въ такую осязательную «плоть»,—что перо Гоголя быстро рисовало одинъ русскій типъ за типомъ: Чичиковъ, Ноздревъ, Собакевичъ,—все это было такъ далеко отъ Италіи, отъ духовныхъ интересовъ Гоголя,—но все это росло передъ нимъ, окрашивалось ярко и жизненно [1]). Отношеніе къ родинѣ.

Въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголь задумалъ опять «великое» произведеніе. Сперва, впрочемъ, онъ не придавалъ серьезнаго значенія своему труду: для Гоголя сначала это произведеніе было только смѣшнымъ анекдотомъ, «карикатурой». Но его поразило, что чтеніе первыхъ главъ романа въ 1835 г. произвело на Пушкина такое впечатлѣніе, что онъ, смѣявшійся при началѣ чтенія, становился все сумрачнѣе и, наконецъ, когда чтеніе кончилось, сказалъ: «Боже! какъ грустна наша Россія!» «Меня это изумило,—говоритъ Гоголь,—Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это карикатура и моя собственная выдумка!» Тѣмъ не менѣе, скоро и самъ Гоголь понялъ, что изъ «смѣшного анекдота можетъ выйти большая картина». Послѣ смерти Пушкина, въ 1837 году, отношеніе Гоголя къ начатому произведенію еще разъ мѣ- „Мертвыя души“.

---

[1]) „Я живу около года въ чужой землѣ,—писалъ онъ одному другу,—вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить каждаго? Ни одной строки не могъ я посвятить чуждому. Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливо глядѣвшимъ на меня“.

няется. Для него трудъ, завѣщанный ему великимъ учителемъ, сдѣлался въ его глазахъ «священнымъ». И чѣмъ болѣе онъ углублялся въ него, тѣмъ шире разростались его художественные замыслы. Не сдерживаемый Пушкинымъ, покоренный своими мистическими настроеніями, онъ задумалъ, наконецъ, изъ «карикатуры» и «выдумки» сдѣлать *поэму*. Подобно Данту, изобразившему въ своей «Божественной Комедіи»: «Адъ», «Чистилище» и «Рай»—исторію человѣческой жизни,—и Гоголь задумалъ написать исторію воскресенія человѣческой души: первая часть его романа должна была соотвѣтствовать дантовскому «Аду», вторая—«Чистилищу», третья—«Раю». Въ этомъ произведеніи Гоголь хотѣлъ изобразить всю Россію,—все зло и добро ея жизни, и съ жаромъ принялся за работу. «Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе,—говорилъ онъ,—я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой... Мнѣ ли не благодарить пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую я въ душѣ своей!» Съ такой вѣрой въ себя принялся онъ за свое «великое» произведеніе; и въ то время, когда картины русской жизни рисовалъ онъ живыми, сочными красками и земные образы оживали передъ нимъ,—въ это время его личныя настроенія и выраженіе ихъ въ письмахъ его принимаютъ все болѣе и болѣе торжественный характеръ; онъ начинаетъ даже говорить библейскимъ стилемъ, усваиваетъ стиль ветхозавѣтныхъ пророковъ: «Горе кому бы то ни было, не слушающемуся моего слова!»—говоритъ онъ въ письмахъ друзьямъ. «Никто изъ моихъ друзей не можетъ умереть, потому что онъ вѣчно живетъ со мною!»—Друзья недоумѣвали, читая такія изреченія, и, мало-по-малу, у многихъ стала зарождаться тревожная мысль, что Гоголь сдѣлался ненормальнымъ.

Болѣзнь Гоголя.

Нервы Гоголя были, дѣйствительно разбиты; онъ самъ чувствовалъ, что боленъ, ждалъ смерти и боялся ея, такъ какъ хотѣлъ сказать людямъ то, чего онъ еще не могъ сказать... Онъ то примиряется съ мыслью о близкой смерти, видя въ этомъ проявленіе мудрой воли Бога, то боится одной мысли о смерти, хватается за жизнь, лечится, молится...

Смерть Пушкина.

Страшное впечатлѣніе на него произвело извѣстіе о смерти Пушкина. «Все наслажденіе моей жизни—говорилъ онъ, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта, ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собой. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ, что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже! нывѣшній трудъ мой («Мертвыя души»), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его». «Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собой только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь: мнѣ дорого было *его* вѣчное и непреложное слово. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ». «О, Пушкинъ, Пушкинъ, какой прекрасный *сонъ* удалось мнѣ видѣть въ жизни,—и какъ печально было мое пробужденіе!»

Въ такихъ искреннихъ жалобахъ великій художникъ оплакивалъ своего генія-вдохновителя и хранителя—Пушкина. Умеръ Пушкинъ, и вдохновеніе иссякло... Гоголю, по его словамъ, вся русская действительность казалась «сномъ» (см. выше),—теперь «сномъ» называетъ онъ и Пушкина... Со смертью последняго Гоголь пересталъ видеть «сны», и «пробужденіе» его было, действительно, «печальнымъ»... Жизнь вела Гоголя къ этому пробужденію, смерть Пушкина ускорила его. Въ Гоголе умеръ великій *художникъ*-жанристъ, ученикъ Пушкина,—остался Гоголь больной, измученный *человѣкъ*, мистикъ и фанатикъ, съ мыслями о смерти, о загробныхъ мукахъ,—человекъ, съ каждымъ днемъ уходившій отъ земли въ таинственный міръ своихъ смутныхъ и неясныхъ идей... Характерно, что «снами» называлъ онъ свои живыя впечатленія земной жизни,—а «пробужденіемъ»—отреченье отъ всего земного, углубленіе въ свой внутренній міръ, въ мысли «неземныя», чуждыя людей...

Смерть Вьельгорскаго

Сильное впечатленіе произвела на Гоголя также смерть юноши друга, Іосифа Вьельгорскаго, умершаго въ Италіи отъ чахотки. По словамъ людей, близко знавшихъ этого юношу, онъ былъ надѣленъ всѣми дарами души и сердца... Поэзіей вѣетъ отъ этого молодого лика! И этотъ юноша умеръ на рукахъ Гоголя, которой пережилъ съ нимъ вмѣстѣ всю ужасную трагедію его медленнаго умиранія. Гоголь былъ потрясенъ этой смертью,—онъ говорилъ, что смерть—удѣлъ всего прекраснаго въ Россіи, говорилъ, что теперь боится смотрѣть на «прекрасное»: «я ни во что теперь не вѣрю, и если встрѣчаю это прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядѣть на него. Отъ него мнѣ несетъ запахомъ могилы» [1]).

Лирическія мѣста 1-й части; ихъ автобіографическое значеніе.

Кромѣ «Мертвыхъ душъ», въ этотъ періодъ времени Гоголь написалъ повѣсть «Шинель» и занимался переработкой прежнихъ повѣстей: «Портретъ», «Тарасъ Бульба» и толкованіемъ своего непонятаго «Ревизора» («Театральный разъѣздъ»). Работая надъ 1-ой частью «Мертвыхъ душъ» надъ изображеніемъ этого «русскаго Ада», Гоголь мечталъ о послѣдующихъ частяхъ,—и эти мечты отразили на себѣ его тогдашніе этическіе, патріотическіе и религіозные взгляды въ тѣхъ лирическихъ отступленіяхъ, которыя кстати и некстати, прерываютъ въ первой части объективное изображеніе отрицательныхъ сторонъ русской жизни. Эти лирическія мѣста и отступленія (напр. «Русь, Русь! вижу тебя...», «не такъ ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься». «Другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ глазами...»)—оазисы, на которыхъ отдыхалъ писатель-идеалистъ, задыхавшійся среди тѣхъ уродовъ, рисовать которые былъ онъ обреченъ въ силу своего таланта.

Гоголь въ Россіи.

Въ 1839—1840-омъ и въ 1841—1842-омъ году Гоголь пріѣзжалъ въ Россію. Но эти возвращенія не приносили ему счастья и успокоенія. Здоровье его таяло [2]); онъ все дальше уходилъ отъ всѣхъ въ свой собственный міръ, а ему въ это время приходилось устраивать денежныя дѣла свои и своей семьи, хлопотать о себѣ, о правительственной субсидіи, объ

---

[1]) „Ночи на виллѣ“—произведеніе, въ которомъ Гоголь изображалъ смерть Вьельгорскаго.

[2]) Особенно серьезно заболѣлъ онъ въ Вѣнѣ въ 1840 г.

изданія своихъ сочиненій... Онъ ничего не имѣлъ, онъ даже въ денежномъ отношеніи зависѣлъ отъ своихъ пріятелей, которые помогали ему,—но духовно онъ отъ всѣхъ оторвался и считалъ себя человѣкомъ, далеко ихъ всѣхъ опередившимъ въ духовномъ отношеніи [1]). Они не понимали состоянія его души и шли къ нему съ непрошенной дружбой, совѣтами, сожалѣніями, указаніями, даже требованіями... Московскіе славянофилы—семья Аксаковыхъ, братья Кирѣевскіе, Погодинъ и Шевыревъ,—представляли собой тотъ кругъ москвичей, въ которомъ преимущественно вращался Гоголь; они считали Гоголя «своимъ» [2]), они считали даже, что имѣютъ на него не только вліяніе, но и «права». Это тяготило Гоголя, но бороться съ этимъ онъ не былъ въ силахъ. Но если онъ раздѣлялъ многіе излюбленные взгляды «славянофиловъ», онъ не былъ ими порабощенъ. Это видно, хотя бы, изъ того, что онъ пытался, было, установить свои отношенія съ людьми другого лагеря—съ «западниками»; такъ ненадолго сблизился онъ съ Бѣлинскимъ, которому даже поручилъ представить въ цензуру рукопись первой части «Мертвыхъ душъ».

Друзья Гоголя.

Отношеніе цензуры.

Хлопоты съ цензурой тоже доставили Гоголю много испытаній,—они доказали ему лишній разъ, что и это произведеніе его не будетъ понято такъ, какъ хотѣлось ему. Московская цензура не пропустила въ печать «поэмы» Гоголя: 1) потому что самое названіе «Мертвыя души» отзывается ересью, такъ какъ *душа* не можетъ быть мертвая; 2) въ романѣ усмотрѣно было нападеніе на крѣпостное право; 3) высказано было замѣчаніе, что покупка мертвыхъ душъ—уголовное преступленіе, можетъ въ Россіи вызвать подражаніе, и—4) потому, что цѣна, которую Чичиковъ даетъ за «душу»—«два съ полтиною»—«возмущаетъ душу» [3]).

Понятно, какъ чуждъ былъ Гоголь всѣхъ этихъ друзей и недруговъ, когда оставался одинъ, съ самимъ собою. Опять потянуло его въ Италію... «Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествѣ! Жду—не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай»,—писалъ онъ другу. «Съ того времени, какъ только вступила моя нога на родную землю—писалъ онъ въ другомъ письмѣ—мнѣ кажется,

---

[1]) Онъ чувствовалъ себя духовно-близкимъ лишь къ Жуковскому, который, подъ старость такъ же, какъ и Гоголь, совсѣмъ ушелъ отъ жизни и ея интересовъ въ свой собственный міръ; онъ, подобно Гоголю, тоже сдѣлался мистикомъ. Близокъ былъ Гоголь и со Смирновой, которая увлеклась религіей.

[2]) „Для своихъ московскихъ друзей Гоголь на склонѣ лѣтъ являлся живымъ воплощеніемъ ихъ сердечныхъ чаяній. Малороссъ, который пишетъ по-русски и любитъ Москву, человѣкъ религіозный и большой патріотъ, геніальный художникъ, въ развитіи своего таланта ничѣмъ не обязанный Западу, мыслитель, задумавшій сказать свое глубокое, Богомъ вдохновенное слово о Россіи,—слово, которое должно открыть русскимъ глаза на святую добродѣтель и великое призваніе ихъ родины—такой человѣкъ долженъ былъ быть принятъ москвичами (славянофилами) какъ великій залогъ того, на что Россія способна безъ посторонней помощи“ (Котляревскій).

[3]) „Человѣческое чувство вопіетъ противъ этого“, сказалъ одинъ „гуманный“ цензоръ. „Хотя, конечно, эта цѣна дается за одно имя, написанное на бумагѣ, но все же это имя—душа, душа человѣческая; она жила, существовала. Этого ни во Франціи, ни въ Англіи и нигдѣ нельзя позволить. Да послѣ того ни одинъ иностранецъ къ намъ не пріѣдетъ!“

какъ будто я очутился на чужбинѣ. Вижу знакомыя, родныя лица; но они, мнѣ кажется, не здѣсь родились, а гдѣ-то я ихъ въ другомъ мѣстѣ, кажется, видѣлъ». Опять Россія стала казаться ему «сномъ», даже «кошмаромъ»...

Его укрѣпляла только вѣра въ то, что его «великій трудъ» будетъ закопченъ и новымъ «откровеніемъ» явится для родины. Себя онъ называетъ теперь «старою», полуразбитою вазой, наполненной драгоцѣннымъ содержаніемъ». «Неотразимая вѣра моя въ свѣтлое будущее и невѣдомая сила говорятъ мнѣ, что дадутся мнѣ средства окончить трудъ мой!»— писалъ онъ друзьямъ. «Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ по той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ. Это больше ничего, какъ только крыльцо къ тому дворцу, который во мнѣ строится и разрѣшитъ, наконецъ, загадку моего существованія!»

Попрежнему, въ интимныхъ своихъ письмахъ пишетъ онъ пророческимъ тономъ, даетъ совѣты, чуть не изрекаетъ предсказанія. «Если что въ жизни смутитъ тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли, вспомни обо мнѣ—пишетъ онъ другому пріятелю—и при одномъ уже твоемъ напоминаніи отдѣлится сила въ твою душу». На себя онъ начинаетъ смотрѣть теперь точно на какой-то источникъ благодати, и щедро изливаетъ ее на друзей [1]). Онъ мечтаетъ теперь о монашествѣ, о поѣздкѣ въ Іерусалимъ.

Въ 1842 году онъ уѣхалъ опять заграницу. Здоровье его слабѣло,— плоть разрушалась, а духъ все дальше и дальше уносился отъ земли въ сферы внутренней жизни. «Скажу, что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свѣтлѣе и торжественнѣе въ душѣ моей,—писалъ онъ Жуковскому,—не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей, что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще и торжественнѣе льются душевныя мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горнаго снѣга, свѣтлѣе небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, — тогда только разрѣшится загадка моего существованія». «Грѣховъ, указанія грѣховъ желаетъ и жаждетъ теперь душа моя! Еслибъ вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, когда открываю въ себѣ порокъ, дотолѣ не примѣченный мною!»

Болѣзнь Гоголя.

Такіе подъемы настроенія нерѣдко смѣнялись паденіемъ энергіи, страхомъ, душевнымъ безсиліемъ,—рѣдко выдавались періоды сравнительно спокойные, когда Гоголь могъ отрываться отъ своей души и продолжать

---

[1]) Онъ шлетъ благословеніе матери, сестрамъ, друзьямъ. Преосвященному Иннокентію онъ тоже шлетъ благословеніе: „Жму заочно вашу руку, — пишетъ онъ и силою вашего же благословенія благословляю васъ! Неослабно и твердо протекайте пастырскій путь вашъ. Всемогущая сила надъ *нами*. Ничто не совершается безъ нея въ мірѣ: и наша встрѣча была назначена свыше. Она—залогъ полной встрѣчи у гроба Господня“.

свой трудъ. Конечно, написанное имъ въ періодъ одного настроенія не удовлетворяло его тогда, когда душой овладѣвало иное настроеніе. Это мучило Гоголя и приводило его въ отчаянье; въ одинъ изъ такихъ припадковъ отчаянья въ 1847 г. рѣшилъ онъ обратиться ко всей русской публикѣ съ исповѣдью-проповѣдью, путемъ опубликованія «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями». Боязнь скорой смерти, страхъ унести съ собой за могилу свои мысли и чувства, не высказанныя всѣмъ русскимъ людямъ, сознаніе того, что не хватаетъ силъ эти мысли воплотить въ томъ «великомъ произведеніи», которое онъ хотѣлъ сдѣлать изъ «Мертвыхъ душъ»,—вотъ «причины появленія этихъ интимныхъ писемъ въ печати. Въ нихъ Гоголь отдавалъ родинѣ все дорогое ему,—все имъ пережитое и прочувствованное. «Человѣкъ не отъ міра сего», для котораго родина была «сномъ», Гоголь не считался ни съ условіями тогдашней русской жизни, ни съ интересами современной жизни. Человѣкъ малообразованный, отставшій отъ жизни русской интеллигенціи, Гоголь въ своей книгѣ выступилъ рѣшительнымъ консерваторомъ, — онъ защищалъ крѣпостное право, враждебно относился ко всякимъ новымъ вѣяніямъ въ области мысли и внутренней политики. Какъ истый сынъ «древней Руси»— онъ заботился только о «душевномъ дѣлѣ», о спасеніи души, проповѣдывалъ аскетизмъ, отреченіе отъ земли и нравственное самосовершенствованіе такому обществу, въ которомъ все сознательнѣе дѣлалась потребность коренныхъ реформъ жизни—подготовлялись 60-ые годы. На него многіе привыкли ошибочно смотрѣть, какъ на врага отрицательныхъ сторонъ русской жизни, а онъ вдругъ выступилъ ихъ рѣзкимъ, фанатическимъ защитникомъ. То, что у Гоголя было внутренней «правдой», съ дѣтства выроставшей въ его сердцѣ, то людямъ, не знавшимъ его, какъ человѣка, казалось ложью, «измѣной прежнимъ либеральнымъ убѣжденіямъ». Его недавніе поклонники обвинили его теперь и въ искательствѣ, и въ неискренности. Никто изъ современниковъ не могъ примирить противорѣчія между мыслями автора—и тѣмъ смысломъ его произведеній, который, обыкновенно, съ ними связывался. Его книгу безпощадно сократила цензура, такъ какъ онъ заговорилъ о многомъ такомъ, о чемъ говорить вообще было непринято; ее высмѣяла публика, жестоко осудила критика,— и Гоголь остался попрежнему одинъ, съ непонятой, истерзанной душой...

«Выбранныя мѣста изъ переписки».

Потрясенный новой неудачей, Гоголь пишетъ свою «Авторскую исповѣдь» и въ 1848 г. ѣдетъ на поклоненіе въ Св. Землю. Послѣдніе годы своей жизни проводитъ онъ на родинѣ, медленно угасая и уходя тѣлесно и духовно въ другой міръ. Молитвы и посты сдѣлали теперь изъ него совершеннаго аскета. Особенно развитію въ немъ аскетизма помогъ одинъ ржевскій священникъ о. Матвѣй Константиновскій; его мрачное мистическое міросозерцаніе покорило больную душу Гоголя; бесѣды съ этимъ священникомъ производили на него потрясающее впечатлѣніе. «Довольно! мнѣ слишкомъ страшно!»—перебилъ онъ однажды рѣчь о. Матвѣя. Передъ смертью онъ совершенно ушелъ отъ міра и его интересовъ, сжегъ свои рукописи и, между ними, вторую часть своихъ «Мертвыхъ душъ». Гоголь скончался 21-го февраля 1852 г. почти отъ голодной смерти, истощенный постами, измученный душевными муками.

«Авторская исповѣдь».

Смерть Гоголя.

Литературная дѣятельность Гоголя распадается на три періода. Первый захватываетъ всѣ юношескія произведенія его и «Вечера на хуторѣ». Это періодъ, по преимуществу *романтическій*. Ко второму періоду, по преимуществу *реалистическому*, относятся всѣ лучшія произведенія его. Третій періодъ, съ конца сороковыхъ годовъ (послѣ 1837 г.) до смерти—періодъ мистицизма. а) Первый періодъ литературной дѣятельности Гоголя.

а) Первый періодъ дѣятельности Гоголя.

Первымъ печатнымъ произведеніемъ Гоголя была, сочиненная имъ еще въ лицеѣ, идиллія «Ганцъ Кюхельгартенъ». Историко-литературнаго значенія это произведеніе не имѣетъ, но оно очень любопытно для біографа Гоголя, какъ краснорѣчивый и ясный показатель его внутренней жизни въ юношескій періодъ. «Эта странная греза, съ ея героемъ изъ нѣмцевъ и съ обстановкой нерусской, была, въ сущности, страницей изъ жизни самого автора, который скрылся подъ псевдонимомъ. Гоголь вложилъ много души въ эту сентиментальную повѣсть, которая причинила ему затѣмъ столько огорченій» (Котляревскій). «Ганцъ Кюхельгартенъ».

Содержаніе идилліи слѣдующее: тихо и мирно живетъ семья деревенскаго пастора. Украшеніемъ этой семьи была дочь Луиза, «рѣзвая, свѣжая, любящая, какъ ангелъ посѣтитель, озаряющая закатъ его дней». Единственной тѣнью въ этомъ счастливомъ бытіи является женихъ Луизы - Ганцъ. Онъ ее любитъ, но любовь эта не въ силахъ разогнать его тоски, не въ силахъ всецѣло овладѣть его сердцемъ... Онъ обнаруживаетъ всѣ симптомы романтическаго душевнаго разстройства... Онъ живетъ въ вѣкахъ прошлыхъ, очарованъ чудесной мыслью, сидитъ подъ сумрачной тѣнью дуба и простираетъ руки къ какой-то тайной тѣни. «Онъ страдаетъ отъ прозы жизни, его тянетъ въ даль - въ даль не только пространства, но и времени. Онъ вздыхаетъ по древней Греціи, по ея свободѣ, славнымъ дѣламъ и прекраснымъ созданіямъ искусства» (Котляревскій). И, побѣжденный своимъ томительнымъ «стремленіемъ», Ганцъ тайкомъ покидаетъ предметъ своей любви и отправляется странствовать по свѣту. Въ его отсутствіе его печальная Луиза, вѣрная своей любви, изучаетъ своего жениха по тѣмъ книгамъ, которыя ему были особенно дороги, которыя были тайными двигателями его жизни, непонятной для другихъ. Перечень этихъ книгъ имѣетъ большую біографическую цѣнность,—очевидно, любимыя книги Ганца были въ свое время любимыми книгами самого Гоголя [1]). Содержаніе.

---

[1]) Н. Котляревскій говоритъ слѣдующее: «Подборъ книгъ чрезвычайно любопытный. Эта библіотека, составленная изъ сочиненій лучшихъ выразителей тѣхъ поэтическихъ мотивовъ, которые преобладаютъ въ поэзіи самого Гоголя. *Платонъ* и *Шиллеръ*, какъ пѣвцы того міра идей, тоска по которымъ не покидала нашего писателя во всѣ моменты его жизни. *Петрарка*, какъ пѣвецъ неземной любви, влюбленный въ воздушный женскій образъ, которымъ бредила разгоряченная фантазія нашего поэта; *Аристо-*

Два года скитался Ганцъ; за это время умеръ старый пасторъ, осиротѣла Луиза... Но отчаянье и ропотъ не овладѣли ея сердцемъ; она все любитъ своего Ганца, ждетъ его и часто ходитъ на могилу отца. Наконецъ, Ганцъ возвращается. Онъ растерялъ свои мечты и надежды, утомился жизнью и пришелъ къ сознанію, что лучше жить мирной жизнью маленькихъ людей, чѣмъ гоняться по свѣту за какимъ-то неяснымъ великимъ дѣломъ. Онъ женится на Луизѣ, и оба ведутъ счастливую уединенную жизнь, чуждую треволненій большого свѣта.

Литературная исторія этого произведенія.

Критики-изслѣдователи литературной дѣятельности Гоголя видятъ на этомъ первомъ его опытѣ вліяніе нѣмецкой идилліи Фосса «Луиза» и баллады Жуковскаго «Теонъ и Эсхинъ» [1]). Изъ перваго произведенія взято, какъ фонъ, изображеніе нѣмецкой жизни, взято сентиментальное настроеніе идиллическаго, мѣщанскаго существованія,—изъ второго произведенія заимствованъ образъ героя, идеалиста-романтика, съ его неяснымъ, но непобѣдимо-могучимъ стремленіемъ «куда-то» вдаль, прочь изъ этой мирной, спокойной обстановки провинціальной идилліи. Мы видѣли уже, что такія неясные позывы были родственны юношѣ-Гоголю, котораго тоже тянуло прочь изъ общества нѣжинскихъ «существователей». Такое совпаденіе міросозерцаній автора и «героя» его юношескаго произведенія—конечно, имѣетъ большое значеніе и придаетъ особую цѣну этому первому печатному произведенію Гоголя.

Недостатки произведенія.

Къ главнымъ недостаткамъ этого юношескаго произведенія, объясняющимъ его неудачу, относятся промахи стиха и стиля. Гоголь никогда не научился свободно владѣть стихомъ, а въ первомъ его произведеніи это неумѣніе выразилось такъ ярко и замѣтно, что картины «грандіозныя» и «страшныя» вышли у него комичными [2]). Немудрено поэтому, что и критика, и публика отнеслись къ произведенію Гоголя заслуженно-строго. Кромѣ того,

---

фанъ—Гоголь Аѳинской республики. *Винкельманъ* —восторженный жрецъ античной красоты и, наконецъ, *Тикъ,*—средневѣковый палладинъ кудесникъ, живущій въ такомъ ладу со всѣми привидѣніями».

1) Кромѣ того, указаны слѣды вліянія Байрона, Пушкина („Евгеній Онѣгинъ"), Батюшкова („Странствователь и Домосѣдъ").

2) Въ поэмѣ встрѣчаются такія строки:

„Подымается протяжно
Въ бѣломъ саванѣ мертвецъ;
Кости пыльныя онъ важно
Отираетъ молодецъ".

Или:

„И остальная жизнь моя—
Заплата (т. е. *плата*) малая моя
За прежней жизни злую повѣсть".

нѣкоторые промахи его произведенія объясняются тѣмъ, что онъ взялся изображать нерусскую жизнь, нерусскую природу, самъ ничего, кромѣ Малороссіи, не зная: по однимъ книгамъ невозможно было вѣрно представить жизнь нѣмецкой провинціи.

«Вечера на хуторѣ близъ Диканьки».

Повѣсти, извѣстныя подъ общимъ именемъ: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», представляютъ собою сборникъ, составленный изъ двухъ частей,—въ *первую* вошли повѣсти: «Сорочинская ярмарка», «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница». Во *вторую* часть вошли—«Ночь передъ Рождествомъ», «Страшная месть», «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка», «Заколдованное мѣсто». Всѣ онѣ представляютъ много сходства и много различія. Сходство заключается въ томъ, что почти во всѣхъ этихъ повѣстяхъ (кромѣ повѣсти «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька») мы найдемъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, всѣ главные признаки романтическаго и реалистическаго направленія. Въ этомъ отношеніи повѣсти Гоголя очень напоминаютъ произведенія Марлинскаго [1]): на фонѣ, написанномъ очень реально, развертываются событія самаго фантастическаго свойства [2]): воображеніе автора не знаетъ предѣловъ, — оно уноситъ его и читателя въ своеобразный міръ народной мечты, народныхъ суевѣрій, примѣтъ, преданій, легендъ,—міръ сказки и миѳа... Авторъ заимствовалъ его у малороссійскаго народа и силою своего духа расширилъ и углубилъ: фантастическое и невозможное онъ представилъ реальнымъ и дѣйствительнымъ. Онъ такъ слилъ мечту съ правдою, вымыселъ съ дѣйствительностью, что художественное міросозерцаніе его — сразу и романтическое, и реалистическое; произведенія же его порою производятъ впечатлѣніе какой-то пестрой галлюцинаціи, въ которой прихотливо сплетена хитрая неправда съ безхитростной правдой. Такою же пестротою отличаются и тѣ настроенія, которыя пронизываютъ эти произведенія: къ міру чертей и вѣдьмъ, къ мистическому міру нездѣшней, потусторонней жизни Гоголь относится то съ веселымъ, радостнымъ юморомъ, то съ ужасомъ человѣка, который безсиленъ передъ этимъ страшнымъ сонмомъ мрачныхъ явленій, властвующихъ надъ людьми, надъ ихъ радостями и печалями... Въ зависимости отъ этихъ настроеній, и освѣщеніе картинъ природы мѣняется до неузнаваемости: она повертывается къ человѣку то съ прекрасной

Сочетаніе романтизма и реализма въ повѣстяхъ.

[1]) См. выше, ч. II моей „Исторіи".

[2]) См. выше, II ч. моей „Исторіи", главу о романтизмѣ. Фантастическій элементъ—одинъ изъ существенныхъ признаковъ романтизма.

стороны,—представляется тѣмъ поэтическимъ фономъ, на которомъ происходятъ событія чудесныя, но свѣтлыя, радостныя, иногда даже смѣхотворныя,—то она дѣлается грозной и мрачной, пронизывается ужасомъ автора-ясновидца...

Въ повѣстяхъ, въ которыхъ преобладаетъ реалистическое пониманіе жизни,—эта жизнь и фонъ ея,—природа представлены безъ всякой фантастики—просто и безхитростно, но въ то же время художественно-просто и правдиво.

Такимъ образомъ, повѣсти, входящія въ составъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки", по характеру своему, дѣлятся на двѣ группы: 1) *съ преобладаніемъ романтизма* и—2) *съ преобладаніемъ реализма.* Въ первую группу входятъ произведенія, въ которыхъ фантастика романтизма представлена: a) въ свѣтломъ, радостномъ освѣщеніи и—b) въ мрачномъ, вызывающемъ ужасъ. Къ произведеніямъ, по преимуществу романтическимъ, относятся веселыя повѣсти—„Сорочинская ярмарка", „Майская ночь, или утопленница", „Пропавшая грамота", „Ночь передъ Рождествомъ", „Заколдованное мѣсто". Къ произведеніямъ романтическимъ, фантастика которыхъ мрачна,—относятся: „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала", „Страшная месть". Къ произведеніямъ чисто-реалистическимъ относится бытовая повѣсть „Иванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка".

Романтическій элементъ въ повѣстяхъ; фантастика повѣстей.

a) *Романтическій элементъ* въ этихъ повѣстяхъ выразился, прежде всего, въ выборѣ сюжетовъ. Гоголь въ своихъ повѣстяхъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливался на различныхъ разсказахъ о событіяхъ и происшествіяхъ чудеснаго характера [1]. Въ „Сорочинской ярмаркѣ" такимъ происшествіемъ представлено появленіе чорта на ярмаркѣ, разыскивающаго свою „красную свитку"; эта свитка приноситъ людямъ несчастье; ея исторія и составляетъ ту основу разсказа, къ которой искусно прикрѣплены всѣ смѣшные эпизоды этой повѣсти. Въ повѣсти „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала" живо передано народное повѣрье о томъ, что папоротникъ, расцвѣтающій въ эту ночь, можетъ помочь человѣку отыскивать клады. Колдунъ Басаврюкъ и вѣдьма завладѣваютъ при помощи этого цвѣтка душой бѣдняка Петра; они заставляютъ Петра убить ребенка, маленькаго брата его невѣсты, и за это дѣлаютъ его богачемъ, мужемъ любимой дѣвушки. Но отъ мученій совѣсти онъ

---

[1]) Онъ пользовался при этомъ не только произведеніями чисто-народной малороссійской фантазіи, но черпалъ сюжеты и изъ литературы, особенно нѣмецкой романтической поэзіи.

сходитъ съ ума и погибаетъ страшной смертью. Жена его идетъ въ монастырь замаливать великій грѣхъ мужа [1]). Въ повѣсти „Майская ночь, или утопленница“ развито поэтическое повѣрье о русалкахъ, ихъ ночныхъ играхъ при лунѣ; кромѣ того, въ этой же повѣсти встрѣчаемся мы опять съ вѣрой въ существованіе вѣдьмъ. Въ повѣсти „Пропавшая грамота“ опять изображена народная вѣра въ существованіе колдуновъ, вѣдьмъ: опять передъ нами вырисовывается герой, душа котораго принадлежитъ дьяволу. Нечистая сила въ этой повѣсти представлена съ такимъ размахомъ необузданной фантазіи, что читатель остается въ недоумѣніи, не вѣритъ и самъ авторъ своимъ разсказамъ. Повѣсть „Ночь передъ Рождествомъ“—сродни „Сорочинской ярмаркѣ; здѣсь все сверхъестественное представлено съ самой мирной, смѣшной стороны,—оттого и вѣдьма-Солоха, и чортъ, ея возлюбленный, и колдунъ Пацюкъ, не вызываютъ ни ужаса, ни отвращенія; ихъ вмѣшательство въ дѣла людскія никому не причиняетъ горя и страданія. Зато въ повѣстяхъ „Заколдованное мѣсто“ и, особенно, въ „Страшной мести“—сверхъестественное, чудесное опять принимаетъ гигантскіе размѣры какого-то безумнаго ужаснаго бреда. Въ повѣсти „Заколдованное мѣсто“ выражена народная вѣра въ то, что „нечистая сила“ оберегаетъ „клады“ отъ человѣка, напуская на него разные страхи. Въ повѣсти „Страшная месть“ художественно передана исторія одного колдуна, который полюбилъ свою дочь и захотѣлъ ею обладать. Это ему не удалось; онъ убилъ зятя, убилъ дочь, но самъ былъ наказанъ страшною казнью. Въ этой повѣсти ужасы громоздятся неисчислимою толпою; образы отвратительные смѣняются другими, еще болѣе отталкивающими; оттого произведеніе это переходитъ границы художественности.

Комическое фантастическое.

Такимъ образомъ, „чудесное“, фантастическое, имѣетъ въ повѣстяхъ Гоголя самые различные оттѣнки — отъ комическаго до ужаснаго. Какъ примѣръ *комическаго-фантастическаго*, можно привести хотя бы участіе чорта въ повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ“.

«Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себѣ въ кулакъ, же-

[1]) Кромѣ народнаго повѣрія о цвѣтахъ папоротника, о колдунахъ и вѣдьмахъ, въ этой повѣсти мы встрѣчаемъ отраженіе легенды о продажѣ души дьяволу изъ-за любви къ женщинѣ. (См. 2-ой вып. 1-ой части „Исторіи“ „Чудо о прельщенномъ отрокѣ“ и др.).

лая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Немудренно, однакожъ, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ, обыкновенно, баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслѣдъ за ней. Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ чулкахъ, то немудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками».

Какъ примѣръ *прекрасно-фантастическаго* можно привести разсказъ о появленіи русалки („Майская ночь“):

«Неподвижный прудъ подулъ свѣжестью на усталаго пѣшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащѣ лѣса слышались только раскаты соловьевъ. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены готовы были забыться и онѣмѣть, голова клонилась... «Нѣтъ, этакъ я засну еще здѣсь!» говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась передъ нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упоительное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не случалось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ въ неподвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Вмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота... И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула привѣтливая головка, съ блестящими очами, тихо свѣтившими сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается. Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала...

Длинныя рѣсницы ея были полуопущены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно, какъ блескъ мѣсяца, но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмѣялась...».

Грандіозно-фантастическое.

Какъ примѣръ *грандіозно-фантастическаго,* можно привести описаніе чудеснаго витязя-призрака, заснувшаго волшебнымъ сномъ на вершинахъ Карпатъ:

«Но кто середи ночи,—блещутъ, или не блещутъ звѣзды, ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣческимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвѣчивается съ исполинскимъ по-

немъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломъ надвинутъ; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены— онъ спитъ и, сонный, держитъ повода; и за нимъ сидитъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, и также спитъ и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ? Куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце,—его не видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не пройдетъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, скачетъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взъѣхалъ на Криванъ. Горы этой нѣтъ выше между Карпатами: какъ царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спустясь, закрыли его».

Ужасно-фантастическое.

Какъ примѣръ *ужасно-фантастическаго* можно привести разсказъ о смерти колдуна изъ той же повѣсти „Страшная Месть“:

«Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послѣ смерти очи; но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресшій. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми глазами, и увидѣлъ поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды схожихъ лицомъ на него.

Блѣдны, блѣдны, одинъ другого выше, одинъ другого костистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукахъ страшную добычу.

Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сдѣлать—такъ великъ выросъ онъ въ землѣ...

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ шумитъ колесами на водѣ,—то въ безвыходной пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ человѣкъ, мертвецы грызутъ мертвеца»...

Съ такимъ же разнообразіемъ очерчены въ этихъ повѣстяхъ и тѣ лица, которыя играютъ главную роль во всѣхъ этихъ фантастическихъ происшествіяхъ. Особенно выдающуюся роль играетъ въ нихъ дьяволъ, затѣмъ колдуны и вѣдьмы.

Дьяволъ въ повѣстяхъ.

Дьяволъ представленъ то въ видѣ безшабашнаго кутилы-парня, который пропиваетъ все, даже свою свитку („Сорочинская Ярмарка“), то въ видѣ чудовища, или цѣлаго сонма безобразныхъ чудовищъ [1] („Пропавшая Грамота“), то въ видѣ франта-любез-

[1]) „...И всѣ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль подняли, Боже упаси, какую! Дрожь бы пробрала крещенаго человѣка при одномъ видѣ, какъ высоко скакало бѣсовское племя... Только завидѣли дѣда—и турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадиныя рыла,—всѣ повытягивались, и вотъ такъ и лѣзутъ цѣловаться“.

ника, подшучивающаго съ людьми и легко попадающаго впросакъ [1]) („Ночь передъ Рождествомъ"), то въ видѣ „нечистой силы", морочащей людей и пугающей ихъ [2]) („Заколдованное мѣсто").

Природа въ повѣстяхъ.

Природа въ этихъ повѣстяхъ Гоголя тоже изображается въ самыхъ различныхъ освѣщеніяхъ, въ зависимости отъ настроенія разсказа. Если разсказъ веселый, природа представлена свѣтлой и ликующей,—когда событіе изображается въ повѣсти мрачное,—сгущаются краски и въ тѣхъ ландшафтахъ, которые служатъ фономъ для развертывающихся событій.

Веселый пейзажъ.

Какъ примѣръ залитаго солнцемъ пейзажа, дышащаго лѣтнимъ жаромъ, истомою и лѣнью,—пейзажа, представляющаго собою словно увертюру къ веселой, свѣтлой повѣсти („Сорочинская Ярмарка"), можно привести описаніе лѣтняго дня въ Малороссіи:

«Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи. Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни тѣни. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной голубизнѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цѣли, стоятъ подоблачные дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живописныя массы листьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщетъ золото. Изумруды, топазы, яхонты эѳирныхъ насѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, осѣняемыми статными подсолнечниками. Сѣрыя скирды сѣна и золотые снопы хлѣба станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало—рѣка

---

[1]) „...Спереди совершенно нѣмецъ: узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что, если бы такія имѣлъ яресковскій голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ казачкѣ, но зато сзади онъ былъ настоящій губернскій стряпчій въ мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожкамъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернскій стряпчій, а просто чортъ".

[2]) „...Со страхомъ оборотился дѣдъ... Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ—какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри—хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей-Богу, какъ двѣ колоды! Красныя очи выкатились наверхъ, и еще языкъ высунула и дразнитъ... Вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть".

въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... Какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!»

Какъ примѣръ мрачнаго пейзажа, можно привести картину Днѣпра въ повѣсти „Страшная Месть“: Мрачный пейзажъ.

«...глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ,— онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все немило; все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибрежными горами, лѣсами, лугами, и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море...»

Изъ повѣсти „Пропавшая Грамота“:

«...Что-то подирало его по кожѣ, когда вступилъ онъ въ такую глухую ночь въ лѣсъ. Хоть бы звѣздочка на небѣ. Темно и глухо, какъ въ винномъ подвалѣ. Только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охмелѣвшія казацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную молвь. Какъ вотъ завѣяло такимъ холодомъ, что дѣдъ вспомнилъ и про овчиный тулупъ свой, и вдругъ, словно сто молотовъ, застучало по лѣсу такимъ стукомъ, что у него зазвенѣло въ головѣ... Глядь, между деревьями мелькнула и рѣчка, черная, словно вороненая сталь... Долго стоялъ дѣдъ у берега, посматривая на всѣ стороны... На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ казачьихъ лапахъ...»

„Описаній природы (исключительно малороссійской) въ повѣстяхъ очень много. Гоголь изобразилъ и лѣтній день („Сорочинская ярмарка“), и вечеръ („Майская ночь“, „Ночь передъ Рождествомъ“), и ночь (тамъ же дважды); описалъ онъ и Днѣпръ („Страшная Месть“), и его берега („Страшная Месть“), лѣсъ ночью („Пропавшая грамота“), волшебный замокъ („Страшная Месть“), горы (тамъ же), видъ земли сверху („Ночь передъ Рождествомъ“). Всѣ эти „описанія“ отличаются своеобразіемъ манеры письма. Они проникнуты субъективизмомъ автора, они передаютъ не столько самую картину, сколько „настроенія“, получаемыя отъ ея созерцанія. Авторъ не скупится на различные поэтическіе пріемы для усиленія впечатлѣнія,—оттого у него гиперболы, олицетворенія, самыя смѣлыя метафоры [1]) громоздятся одна на другую. Но цѣли своей Гоголь этими „описаніями“ достигаетъ, — подымаетъ на- Особенность Гоголевскихъ описаній природы.

[1]) Особенно ярко сказывается эта манера письма въ общеизвѣстномъ описаніи Днѣпра („Чуденъ Днѣпръ...“). Здѣсь гиперболы бьютъ въ глаза (...рѣдкая птица долетитъ до середины его...); метафоры порой вызываютъ недоумѣніе (напр.: „сыплется громъ“).

строеніе читателя, *настраиваетъ* его на тотъ тонъ, въ которомъ ведется разсказъ.

Любовь въ повѣстяхъ.

Къ элементамъ романтизма у Гоголя принято относить также изображеніе имъ чувствъ любви. Онъ охотно берется за изображеніе этого чувства, которое онъ влагаетъ въ сердца идеальныхъ героевъ своихъ повѣстей. Но любовь, имъ изображаемая,—не живое, настоящее чувство, которое можетъ быть доступно героямъ изъ простонародья,—въ изображеніи Гоголя это чувство представляется приподнятымъ, идеализированнымъ. Его герои, особенно героини, представляются ему неземными созданіями, которыя всѣ похожи одно на другое, отличаются индивидуалистическими и національными чертами [1]). Любовныя рѣчи, которыми они обмѣниваются, отличаются риторизмомъ и приподнятостью тона,—тѣмъ лирическимъ паѳосомъ, которымъ Гоголь позаимствовался не изъ жизни, а изъ народной малороссійской пѣсни.

Крестьяне въ повѣстяхъ.

Вліяніе литературныхъ пріемовъ романтической школы въ этихъ повѣстяхъ нѣкоторые критики видятъ и въ изображеніи самой жизни малороссійскихъ крестьянъ,—эта жизнь представлена исключительно съ поэтической и декоративной стороны. Крестьяне Гоголя пляшутъ, поютъ пѣсни, влюбляются, потѣшаются... Ихъ жизнь представлена вѣчнымъ праздникомъ; о трудовой сторонѣ ихъ жизни читатель не догадается по повѣстямъ Гоголя; на крѣпостное право нѣтъ ни одного намека въ произведеніяхъ, посвященныхъ описанію жизни крестьянъ. Такая идеализація жизни, или, вѣрнѣе, художественная односторонность, была результатомъ литературной манеры романтиковъ, искавшихъ и въ природѣ, и въ исторіи, и жизни—только *интересныхъ* картинъ, событій и героевъ.

Романтическое и реалистическое міросозерцаніе.

Поэтому въ поискахъ „оригинальнаго“, „красиваго“—писатель, съ романтическимъ міросозерцаніемъ, обращалъ вниманіе на то, что болѣе поражало его избалованное воображеніе,—крупныя личности, красоты народной поэзіи, своеобразные народные обычаи, оригинальный костюмъ, проявленіе въ народѣ высокихъ чувствъ,—вотъ, что его особенно привлекаетъ. Писатель-реалистъ, смѣнившій романтика, наоборотъ, постарался заглянуть въ будничную жизнь человѣка, постарался правдиво изобразить оборотную сторону его жизни. Съ такимъ *литературнымъ міросозерцаніемъ*

Романтическая и реали-

нельзя смѣшивать *литературной манеры* письма. Вотъ почему

1) Въ изображеніи этихъ героевъ и героинь Гоголь измѣнялъ пріемамъ письма романтической школы. Онъ изображалъ этихъ героевъ такъ отвлеченно, какъ изображали своихъ героевъ псевдоклассики и особенно сентименталисты.

писатель, съ романтическимъ міросозерцаніемъ, можетъ пользоваться реалистической манерой письма. Это и было съ Марлинскимъ,—это особенно замѣтно и на первыхъ повѣстяхъ Гоголя. Оттого въ самыхъ романтическихъ его повѣстяхъ очень силенъ реалистическій элементъ.

стическаая манера письма.

ѣ) *Реалистическій элементъ въ этихъ повѣстяхъ* выразился въ обрисовкѣ бытовыхъ сценъ малороссійской жизни, въ обрисовкѣ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Этотъ реалистическій элементъ пронизываетъ, въ бо̀льшей, или меньшей степени, всѣ повѣсти, входящія въ составъ „Вечеровъ", но въ одной повѣсти онъ является исключительнымъ („Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька"). Мы видѣли уже, что Гоголь очень старательно готовился къ сочиненію своихъ повѣстей: недовольный своимъ прекраснымъ знаніемъ провинціальной жизни Малороссіи, онъ старался отовсюду собирать достовѣрныя свѣдѣнія о жизни и обычаяхъ малороссовъ. Передавая все это въ своихъ повѣстяхъ, Гоголь не прикрашивалъ этого романтизмомъ,—оттого малороссійская жизнь оказалась представленной у него живо и правдиво. Въ „Сорочинской ярмаркѣ" онъ набросалъ яркую картину сельской ярмарки [1]), вывелъ нѣсколько типичныхъ лицъ (Черевикъ и его жена Хивря). Въ повѣсти „Майская ночь, или утопленница" живо изображена жизнь деревни—шумныя потѣхи деревенскихъ молодцовъ, типичные образы головы, винокура, Каленика. Въ повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ" изображена жизнь деревни зимой, развлеченія молодежи (колядованья) и людей пожилыхъ, выведены яркіе типы Чуба, кума, дьячка, Солохи, Оксаны. Въ повѣсти „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька" Гоголь обстоятельно разсказалъ намъ жизнь мелкаго малороссійскаго „пана"—дворянина Шпоньки, тихаго и скромнаго юноши, потомъ офицера и, наконецъ, помѣщика. Рядомъ съ нимъ вырисовывается типичный образъ его тетушки, энергичной, добродушной старухи, и помѣщика Сторченко, прототипа Ноздрева. Наконецъ, въ повѣстяхъ „Пропавшая грамота" и „Заколдованное мѣсто" живо и ярко представляются личности самихъ разсказ-

Реалистическій элементъ въ повѣстяхъ.

Малороссійская жизнь въ повѣстяхъ

[1]) „...Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ—все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пряники—все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосыя рѣчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не слышится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всѣхъ сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звенитъ желѣзо, гремятъ сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумѣваетъ, куда обратиться..." и т. д. Еще описаніе ярмарки въ повѣсти: „Пропавшая грамота"—изображенъ другой моментъ.

чиковъ-фантазёровъ, которые съ такимъ жаромъ, съ такою вѣрою передаютъ различныя небылицы про себя, что и „вралями" ихъ назвать нельзя, хотя и повѣрить имъ невозможно.

Простонародные типы въ повѣстяхъ.

Простонародные типы, представленные Гоголемъ въ его повѣстяхъ, не отличаются особенною сложностью. Онъ выводилъ или равнодушныхъ ко всему, флегматичныхъ и лѣнивыхъ хохловъ, въ родѣ Солопія Черевика („Сорочинская Ярмарка"), или „кума" изъ „Ночи передъ Рождествомъ", или подчеркивалъ въ своихъ герояхъ другую характерную малороссійскую черту—упрямство (Чубъ—изъ повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ"; дѣдъ—въ „Заколдованномъ мѣстѣ"). Хохлацкую „лѣность" онъ воплотилъ въ образъ колдуна Пацюка, который даже ѣсть лѣнится по-человѣчески. Въ лицѣ „головы" (изъ повѣсти „Майская ночь") Гоголь изобразилъ типичное деревенское „начальство"; „голова" полонъ самомнѣнія и упрямства,—въ деревнѣ, вдали отъ комиссара, онъ живетъ „царькомъ", самовластно накладываетъ подати на односельчанъ, умѣетъ ими властвовать; онъ только съ молодежью деревенской да со своей свояченицей не можетъ справиться. Рядомъ съ нимъ выведенъ живой образъ винокура. Это хитрый деревенскій торгашъ, умѣющій провести всякаго, и, въ то же время, человѣкъ, порабощенный народнымъ мистицизмомъ,—онъ вѣритъ примѣтамъ, боится „нечистой силы" и во всемъ видитъ ея присутствіе и проявленіе.

Пожилыя женщины.

Типы „старухъ" и „пожилыхъ женщинъ" въ повѣстяхъ всѣ довольно однообразны,—Гоголь представлялъ ихъ всегда въ комическомъ освѣщеніи—сварливыми, любительницами сплетенъ и ссоръ. Исключеніемъ изъ этихъ шаблонныхъ образовъ является Солоха—типъ хитрой, разбитной деревенской бабы, умѣющей всѣхъ провести. Насколько удачны бывали нѣкоторыя характеристики, имъ сдѣланныя, лучше всего видно изъ портрета кумовой жены (въ повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ") [1].

---

[1]) „Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ немало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома, и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваровъ волостного писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нѣжная супруга у добрыхъ людей, прятала, какъ можно подалѣе отъ своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти

Молодежь въ повѣстяхъ тоже представлена довольно однообразно; особенно это однообразіе замѣтно тамъ, гдѣ Гоголь хотѣлъ изобразить любящую пару, или нарисовать красавицу-дѣвушку, или красавца-молодца. Простыя малороссійскія деревенскія дѣвушки идеализированы имъ до того, что являются какими-то поэтическими отвлеченностями (напр. Ганна изъ „Майской ночи“, Пидорка изъ „Вечера наканунѣ Ивана Купалы“): онѣ окутаны поэтической дымкой, онѣ нѣжны и сентиментальны, ихъ рѣчи многословны и воодушевлены такимъ лирическимъ краснорѣчіемъ, какимъ, конечно, въ жизни простая деревенская „дівчина“ не могла обладать. Наиболѣе жизненнымъ образомъ изъ „дѣвушекъ“ Гоголя является кокетливая, задорная Оксана, избалованная деревенская красавица—предметъ любви кузнеца Вакулы. Молодежь въ повѣстяхъ

Совершенно въ сторонѣ отъ разобранныхъ повѣстей Гоголя стоитъ его интересный разсказъ: „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка“. Прежде всего, это единственный разсказъ, въ которомъ совсѣмъ нѣтъ мѣста фантастикѣ романтизма,—который является „реалистическимъ“ отъ начала до конца. Затѣмъ, это единственный разсказъ въ „Вечерахъ“ изъ жизни мелкопомѣстныхъ дворянъ, тѣхъ „существователей“, о которыхъ не безъ значительной доли презрѣнія отзывался Гоголь еще въ юности. Этотъ разсказъ потому и цѣненъ, въ глазахъ историка литературы, что онъ является словно переходнымъ ко всѣмъ дальнѣйшимъ повѣстямъ Гоголя, въ которыхъ великій писатель уже не касается никогда болѣе міра народныхъ вѣрованій и быта народа, а весь уходитъ въ сѣрый міръ такихъ „существователей“, какимъ былъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька. „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька“.

Иванъ Ѳедоровичъ былъ въ дѣтствѣ «преблагонравный и престарательный мальчикъ»; способностями Богъ его обдѣлилъ, зато онъ былъ настолько послушенъ, тихъ, скроменъ, внимателенъ и вѣжливъ,—что учителя его очень цѣнили и сдѣлали даже наблюдающимъ за успѣхами товарищей. Разъ только провинился Шпонька—проголодавшись, онъ взялъ съ одного лѣнтяя взятку блиномъ, былъ изловленъ во время ѣды и высѣченъ. Это увеличило его робость. Содержаніе повѣсти. Герой.

Не кончивъ училища, онъ сдѣлался офицеромъ пѣхотнаго полка, но и здѣсь, въ веселой и свободной семьѣ офицеровъ, остался одинокъ со своей робкой, кроткой и доброй душой; не принималъ участія въ шумныхъ развлеченіяхъ товарищей, сидѣлъ больше дома и занимался самыми

всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась разсказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ...“

мирными занятіями: «то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книжку, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на постели».

Тетушка его. Его маленькимъ имѣніемъ и восемнадцатью душами его крѣпостныхъ управляла тетушка Василиса Каитаровна, сильная и энергичная старуха, которая никому спуска не давала [1]). Она при всемъ томъ была добродушна и нѣжно любила своего племянника, даже нѣсколько благоговѣла передъ его чиномъ подпоручика. Хорошая хозяйка, она довела маленькое имѣніе Шпоньки до процвѣтанія и, наконецъ, выписала его самого въ деревню. По полученіи ея письма, Шпонька, безъ колебанія, подалъ въ отставку и пріѣхалъ въ родное захолустье. Здѣсь его кроткую душу обвѣяло мирной тишиной и безоблачнымъ счастьемъ спокойной растительной жизни. Даже трудная жизнь крѣпостного рабочаго люда повернулась къ сентиментальному Шпонькѣ съ самой идиллической стороны [2]).

Сторченко. Еще по дорогѣ домой въ деревню, познакомился онъ съ сосѣдомъ своимъ по имѣнію Сторченкомъ. Этотъ помѣщикъ представлялъ собою полную противоположность Шпонькѣ: рѣзкій и грубоватый въ обращеніи, ругатель [3]) и порядочный плутъ, онъ, въ то же время, не былъ обдѣленъ добродушіемъ. Въ лицѣ его Гоголь изобразилъ словно прообразъ Ноздрева, отчасти Собакевича. Своей рѣшительностью онъ совершенно поработилъ робкаго Шпоньку; между тѣмъ Шпонькѣ нужно было вернуть одно завѣ-

---

[1]) Пьяницу мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она собственною своею мужественною рукою, дергая каждый день за чубъ, умѣла сдѣлать золотомъ, а не человѣкомъ. Ростъ она имѣла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенья и своихъ именинъ,—тогда какъ ей болѣе всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато занятія ея совершенно соотвѣтствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя весломъ искуснѣе всякаго рыболова, стрѣляла дичь, стояла неотлучно надъ косарями, знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштанѣ, брала пошлину по пяти копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусила груши; била лѣнивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квасъ, варила медовое варенье и хлопотала весь день и вездѣ поспѣвала.

[2]) „...Онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ десятка и болѣе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечеръ,—и что за вечеръ! какъ воленъ и свѣжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насѣкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По полю, то тамъ, то сямъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вкругъ котловъ садятся усталые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки сѣрѣютъ... Трудно разсказать, что дѣлалось тогда съ Иванъ Ѳедоровичемъ. Онъ забывалъ, присоединяясь къ косарямъ, отвѣдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую въ небѣ чайку...“.

[3]) Впрочемъ, „ругателемъ“ онъ является только по отношенію къ своимъ крѣпостнымъ. Характерна сцена угощенія Шпоньки. Когда онъ отказался взять „стегнышко“, Сторченко заставилъ лакея стать на колѣни и просить Шпоньку: „Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: „Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!“—„Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!“—проревѣлъ, ставъ на колѣни, оффиціантъ съ блюдомъ“.

щаніе, припрятанное Сторченкомъ. Видя, что прямо завѣщанія не вернуть, тетушка рѣшила женить племянника на сестрѣ Сторченка, въ надеждѣ получить завѣщанное въ качествѣ приданаго. Съ ужасомъ узналъ объ этомъ рѣшеніи робкій Шпонька, но онъ не осмѣлился спорить съ тетушкой и ограничился тѣмъ, что впалъ въ полное смущеніе и отчаянье,—даже сны стали видѣться ему все «про жену». Съ будущей супругой своей онъ не зналъ, о чемъ говорить [1]).

Повѣсть кончается разсказомъ объ одномъ такомъ „снѣ", и читатель остается въ неизвѣстности, женился ли Шпонька, получилъ ли онъ свое завѣщаніе, или нѣтъ.

Значеніе повѣсти.

Но отъ этого цѣнность повѣсти не проигрываетъ. Передъ нами мастерской набросокъ нѣсколькихъ лицъ изъ того круга, изъ котораго вышелъ самъ Гоголь. Съ юморомъ и безъ всякой злобы, даже съ чувствомъ симпатіи, нарисовалъ онъ намъ этихъ провинціальныхъ „существователей", цѣль жизни которыхъ ничтожна, но сама жизнь полна содержанія: они тоже волнуются, страдаютъ, у нихъ свои интересы...

Отношеніе Гоголя къ крѣпостному праву.

Любопытно, что въ этой повѣстушкѣ Гоголь коснулся и крѣпостного права, но ничего безобразнаго въ мудрыхъ расправахъ тетушки и въ отношеніяхъ Сторченка къ лакеямъ онъ не замѣтилъ. Онъ, несомнѣнно, одобрялъ „тетушку" за то, что она своей властной дворянской рукой сдѣлала пьяницу „золотомъ"; въ ругани Сторченка и колѣнопреклоненной просьбѣ оффиціанта „взять стегнышко", онъ увидѣлъ только комическое.

Происхожденіе этихъ повѣстей.

О происхожденіи этихъ повѣстей пришлось уже говорить выше. Гоголь занялся ихъ сочиненіемъ потому, что ему хотѣлось въ Петербургѣ пожить впечатлѣніями дѣтства и юности—вспомнить Малороссію, ея жителей и природу [2]); къ этому примѣшались и матеріальныя соображенія,—въ разгаръ романтическихъ настроеній русской литературы интересъ къ Малороссіи и поэтическому содержанію ея жизни былъ въ русскомъ читающемъ обществѣ очень великъ,—и Гоголь рѣшился эксплуатировать его въ свою пользу.

---

[1]) „...Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла. Наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ собрался съ духомъ: „Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!"—произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

— „Чрезвычайно много!"—отвѣчала барышня.—„Братецъ нарочно сдѣлалъ хлопушку изъ стараго маменькина башмака, но все еще очень много".

Тутъ разговоръ опять прекратился.

[2]) Это „писаніе" издалека, какъ результатъ радостныхъ дѣтскихъ воспоминаній, и внесло ту идеализацію въ описанія природы и жизни малороссійской, которая такъ очевидна въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки".

Матеріалы для своихъ повѣстей Гоголь почерпалъ изъ воспоминаній дѣтства,—очевидно, ему самому приходилось неразъ слышать различныя народныя сказки, преданія и веселыя, и страшныя („страховинны казочки") [1]). Эти дѣтскія воспоминанія освѣжалъ онъ, какъ мы видѣли, разсказами и матеріалами, которые, живучи уже въ Петербургѣ, собиралъ на родинѣ при помощи матери и знакомыхъ [2]). Въ результатѣ, источники его матеріаловъ оказались очень разнообразными—народная малороссійская фантазія въ сказкахъ и преданіяхъ, въ суевѣрныхъ представленіяхъ жизни, дала ему богатый матеріалъ для созданіи типа чорта, вѣдьмы, колдуна, оборотней. Увлеченный этой фантазіей, Гоголь, одаренный и самъ богатымъ воображеніемъ, весь ушелъ въ своеобразный міръ народныхъ суевѣрій. Но у народа къ этому міру замѣчается двоякое отношеніе—съ одной стороны, ужасомъ мрачной вѣры вѣетъ отъ многихъ народныхъ преданій и суевѣрныхъ представленій,—съ другой стороны, очень часто народъ умѣетъ съ юморомъ относиться къ этимъ созданіямъ своей фантазіи. Оттого и народныя произведенія фантастическаго содержанія распадаются на двѣ группы: въ одной этотъ міръ народныхъ представленій рисуется съ трагической стороны, въ другихъ—съ комической. Въ народныхъ сказкахъ герои неразъ за панибрата обращаются съ „нечистой силой", надуваютъ ее, обыгрываютъ въ карты, даже поколачиваютъ. Такое двоякое, чисто-народное отношеніе къ „не-

Народный мистицизмъ.

---

[1]) „...Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; а мы всѣ, дѣти, собравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полторакожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу, и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходецъ съ того свѣта... Я принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшагося дьявола".

[2]) Впрочемъ, при всей добросовѣстности Гоголя въ этомъ отношеніи, онъ неразъ погрѣшалъ противъ правды. Его „повѣсти" уже современными критиками разобраны были съ этнографической точки зрѣнія и обнаружили въ Гоголѣ человѣка, который обо многомъ говорилъ съ чужого голоса. Какъ на одинъ изъ яркихъ примѣровъ его отступленій отъ правды малороссійскаго быта, указываютъ, напримѣръ, на свадьбу Грицка съ Параской въ „Сорочинской ярмаркѣ". Народная свадьба сопровождается многими и длинными обрядами и такъ скоро не могла быть закончена, какъ разсказываетъ Гоголь. Такъ же неправдоподобной, по указаніямъ этнографовъ, является сцена вызыванія дѣвушки изъ дома при помощи игры на бандурѣ. Этотъ пріемъ пѣть „серенады" подъ окнами возлюбленныхъ въ Малороссіи не практикуется. Совершенно противорѣчитъ патріархальнымъ обычаямъ деревни и сочиненіе про отца такой пѣсни, какую сложилъ Левко („Майская ночь"). „Переряживаніе", къ которому онъ прибѣгаетъ, тоже противорѣчитъ обычаямъ деревни,—рядятся въ деревнѣ только на Святкахъ.

чистой силѣ“ встрѣчаемъ мы и у Гоголя. Его дьяволъ, колдунъ, вѣдьма, являются мрачными (напр. чортъ и вѣдьма въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купалы“, колдунъ въ „Страшной Мести“), то глуповатыми и смѣшными [1]) (напр. чортъ въ „Ночи передъ Рождествомъ“, Пацюкъ, вѣдьма въ „Пропавшей Грамотѣ“).

Значеніе народной пѣсни для повѣстей.

Народная пѣсня малороссійская тоже оказала сильное вліяніе на эти повѣсти, главнымъ образомъ, на лирическія мѣста, монологи любящихъ, или тоскующихъ героевъ, на описаніе красавицъ и красавцевъ. Приводя ихъ разговоры, Гоголь иногда прямо перифразируетъ слова пѣсни, пересказываетъ ее своими словами, удерживая самое типичное, характерное [2]).

Вліяніе легендъ на повѣсти.

Кромѣ сказокъ и пѣсенъ, воспользовался Гоголь широко и полуцерковными легендами, которыя явились результатомъ скрещенія творчества церковнаго съ народнымъ [3]). Иногда онъ нѣ-

---

[1]) Въ этомъ послѣднемъ случаѣ Гоголю удается удивительно и мастерски сочетать реализмъ съ фантастикой. Какъ замѣчательно реально изображена имъ, напримѣръ, игра въ карты съ вѣдьмой и чертями въ аду: „Козырь!“ вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. „А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?“ Вѣдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. „Вишь, бѣсовское обморачиванье!“—сказалъ дѣдъ и съ досады хватилъ кулакомъ что силы по столу. Къ счастью еще, что у вѣдьмы была плохая масть; у дѣда, какъ нарочно, на ту пору—пары. Сталъ набирать карты изъ колоды,—только мочи нѣтъ; дрянь такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдьма приняла. „Вотъ тебѣ на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!“ Вотъ, дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь—у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ, вмѣсто шестерки, спустилъ кралю. „Ну, дурень же я былъ! Король козырей! что? приняла? А? кошачье отродье! А туза не хочешь? Тузъ! валетъ!“ Громъ пошелъ по пеклу...“

[2]) Напр. „Ивасю, мой любый! бѣги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; разскажи ему все: любила бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила я горючими слезами. Тошно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ—врагъ мнѣ: неволитъ идти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовятъ, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ,—понесутъ меня... Темная, темная будетъ хата! изъ кленоваго дерева и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ“. Такое пользованье народной пѣсней было у Гоголя вполнѣ сознательнымъ. Онъ пѣснѣ народной придавалъ очень большое значеніе, считая, что пѣсня для историка важнѣе документовъ. Въ „Арабескахъ“ онъ говорилъ слѣдующее: „Историкъ не долженъ искать въ нихъ показателя дня и числа битвы, или точнаго объясненія мѣста, вѣрной реляціи. Но когда онъ захочетъ узнать вѣрный бытъ, стихію характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будетъ удовлетворенъ“.

[3]) Напр., летаніе Вакулы на чортѣ есть народная обработка эпизода изъ житія св. Іоанна Новгородскаго, который леталъ на дьяволѣ въ Іерусалимъ. Къ области „легендъ“ относится разсказъ Левко о той лѣстницѣ, которая соединяетъ небо и землю („Майская ночь“).

сколько легендъ и сказаній соединяетъ въ одно; иногда самостоятельно ихъ развиваетъ.

Очевидно, и лирическія преданія, богато окрашенныя народной фантазіей, тоже вдохновляли Гоголя на сочиненіе нѣкоторыхъ повѣстей [1]).

Литературныя вліянія (иноземныя и русскія). Новалисъ, Гофманъ. Жуковскій. Марлинскій. Пушкинъ.

Наконецъ, несомнѣнны надъ повѣстями Гоголя и литературныя вліянія. Нѣмецкій романтизмъ, какъ мы видѣли выше, выдвинулъ цѣлую группу писателей, которые особенно охотно разрабатывали фантастику народнаго творчества. Такъ, Новалисъ, особенно Гофманъ, модный у насъ во времена Гоголя писатель, дали въ своихъ произведеніяхъ образцы, которымъ подражали и русскіе романтики. Изъ нихъ Жуковскій, съ его колдунами, вѣдьмами и дьяволами, оказалъ на Гоголя несомнѣнное вліяніе [2]). Модный, въ то время, Марлинскій нѣкоторыми своими произведеніями (напр. „Страшное гаданіе“) тоже могъ поддержать стремленіе Гоголя творить въ этой же области романтической фантастики. Даже у Пушкина найдемъ мы нѣсколько произведеній такого же рода: баллада „Утопленникъ“ и „Гусаръ“ являются, въ этомъ отношеніи, типичными. Въ польской литературѣ, хотя бы въ сочиненіяхъ Мицкевича, Гоголь тоже могъ встрѣтить разработку такихъ же фантастическихъ народныхъ преданій. Въ русской литературѣ ближайшимъ предшественникомъ Гоголя надо признать Даля („Сказки казака Луганскаго“), который подошелъ къ произведеніямъ народной фантазіи съ той же точки зрѣнія, что и Гоголь [3]).

Источники Гоголевскаго реализма. Квитка.

И реализмъ первыхъ гоголевскихъ повѣстей тоже имѣетъ за собой богато-разработанную почву. Малороссійская сказка дала ему ярко-обрисованные типы упрямаго, лѣниваго хохла, богато надѣленнаго и хитростью, и юморомъ. Эта же сказка дала ему живой образъ сварливой бабы-сплетницы. Оба эти характерные типа еще въ XVII в. изъ сказки попали въ народную комедію („интермедіи“ и „интерлюдіи“, „вертепъ“), а затѣмъ въ ту комедію, которую усердно разрабатывали малороссійскіе писатели въ родѣ Гоголя-отца, Котляревскаго, Квитки-Основьяненко, Арте-

[1]) Напр. народныя преданія о развалинахъ какого-нибудь стараго замка могли лечь въ основу повѣсти „Страшная Месть“. Воспоминанія попа Данилы о казацкихъ подвигахъ тоже относятся къ этой области.

[2]) Напр. продажа Громобоемъ души дьяволу и страхъ его въ послѣднюю ночь напоминаетъ эпизодъ изъ „Пропавшей Грамоты“.

[3]) Впослѣдствіи Тургеневъ, въ его повѣсти „Бѣжинъ Лугъ“, опять введетъ насъ въ этотъ міръ народной фантазіи.

мовскаго-Гулака [1]) и др. Кромѣ того, большое значеніе для повѣстей Гоголя имѣли и такіе талантливые бытописатели, какъ Нарѣжный. Его умѣніе рисовать жизнь Украйны и ея типы отразилось на повѣстяхъ Гоголя. Въ русской литературѣ, конечно, ближайшимъ предшественникомъ и учителемъ Гоголя былъ Пушкинъ, который сумѣлъ въ своихъ произведеніяхъ нарисовать жизнь разныхъ слоевъ русскаго общества,—между прочимъ и захолустнаго, провинціальнаго, не безъ юмора обрисовавъ интересы и идеалы русскихъ деревенскихъ дворянъ. Въ своей „Полтавѣ“ онъ набросалъ яркую картину малороссійской жизни и природы. Нарѣжный.

Рылѣева тоже называютъ учителемъ Гоголя; для своихъ историческихъ „думъ“ онъ очень часто бралъ сюжеты изъ жизни Малороссіи; въ ея прошломъ онъ сумѣлъ найти немало героическихъ образовъ, высокихъ проявленій патріотизма и гражданской доблести. Рылѣевъ.

Наконецъ, русскіе критики указываютъ на Погодина, какъ на писателя, котораго тоже, съ нѣкоторымъ правомъ, можно назвать предшественникомъ Гоголя. Среди русскихъ литераторовъ своего времени онъ былъ „одинъ изъ первыхъ, который попытался въ „картину нравовъ“ включить описаніе быта низшихъ слоевъ нашего общества. Онъ сдѣлалъ больше; онъ не только описывалъ, но изображалъ этихъ намъ тогда мало знакомыхъ людей, изображалъ ихъ чувствующими и думающими, а также разговаривающими и при томъ довольно естественною рѣчью. Содержаніе повѣстей оставалось въ большинствѣ случаевъ романтическимъ, но въ выполненіи проступалъ наружу довольно откровенный реализмъ“ [2]) (Котляревскій). Погодинъ

Въ разсказахъ своихъ онъ рисовалъ драмы маленькихъ людей,—драмы, которыя разыгрывались въ купеческомъ быту („Суженый“, „Черная немочь“), мелкопомѣстномъ дворянствѣ („Невѣста на ярмаркѣ“), опускался онъ даже до вертепа людей падшихъ, чтобы показать читателямъ, что и въ сердцахъ воровъ и мошенниковъ теплятся искры добра; касался онъ и жизни крѣ-

---

[1]) На это знакомство Гоголя съ подобными „комедіями“ указываютъ, хотя бы, тѣ эпиграфы, которые онъ проставилъ въ нѣкоторыхъ главахъ „Сорочинской Ярмарки“. Объ украинской литературѣ до Гоголя см. соч. Петрова „Очерки украинской литературы“.

[2]) Въ II ч. моей „Исторіи“, въ главѣ, посвященной характеристикѣ „романтизма“, указано, что реализмъ былъ тѣсно связанъ съ романтизмомъ, даже вытекалъ изъ него, какъ одно изъ главныхъ требованій романтической школы. Оттого такое сліяніе двухъ направленій встрѣчаемъ мы и у Вальтеръ-Скотта, и у Гюго, и у Виньи, и у русскихъ романтиковъ—Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Погодина и у Гоголя.

постного люда. Наконецъ, есть у него повѣсть изъ малороссійскаго быта,—это трогательный разсказъ о томъ, какъ Петрусь-бѣднякъ любилъ Наталку, какъ гордый ея отецъ не хотѣлъ отдать дочь за бѣдняка, какъ Петрусь отправился зарабатывать деньги, но, вернувшись съ деньгами, засталъ свою Наталку замужемъ за другимъ, но больную и разоренную. Петрусь отдалъ ей всѣ свои деньги.

Отношеніе русской публики и критики къ повѣстямъ.

Успѣхъ „Вечеровъ" въ русской публикѣ былъ большой; даже придирчивая русская критика, въ общемъ, осталась довольна новой книгой. Публика русская оцѣнила въ этихъ повѣстяхъ не только яркость изображенія малороссійской жизни и природы, но и тотъ живой и искренній комизмъ, которымъ вообще не отличалась современная Гоголю русская литература. Чѣмъ-то свѣжимъ, жизнерадостнымъ, неудержимо-веселымъ повѣяло въ русской литературѣ съ появленіемъ книги Гоголя. Съ такой точки зрѣнія похвалилъ ее Пушкинъ. Воейкову онъ писалъ: „Сейчасъ прочелъ „Вечера на хуторѣ". Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился!" Не всѣ критики были такъ доброжелательны,—большинство постаралось, прежде всего, найти недостатки. Одинъ критикъ отмѣтилъ, что повѣсти страдаютъ излишнимъ реализмомъ, доходящимъ до „грубости" („парни ведутъ себя совсѣмъ, какъ невѣжи и олухи"), что особенно бросается въ глаза рядомъ съ чрезмѣрной идеализаціей другихъ образовъ и высокопарнымъ паѳосомъ тѣхъ рѣчей, которыми обмѣниваются иногда дѣйствующія лица. Полевой, не зная еще настоящаго автора этихъ повѣстей, заподозрилъ его въ стараніяхъ поддѣлаться подъ народность. „Этотъ пасичникъ—москаль,—писалъ онъ,—и притомъ горожанинъ; онъ неискусно воспользовался кладомъ преданій; мазки его несвязны"... Сочувственнѣе отнеслись къ Гоголю Надеждинъ и Булгаринъ. Первый указывалъ на отсутствіе въ повѣстяхъ вычурности и хитрости, естественность дѣйствующихъ лицъ и положеній, неподдѣльную веселость и невыкраденное остроуміе. Особенно нравилась ему въ повѣстяхъ выдержанность „мѣстнаго колорита". Булгаринъ хвалилъ Гоголя за стремленіе уловить духъ малороссійской и русской народности. Онъ ставитъ Гоголя выше Погодина, выше Загоскина. Особенно охотно сравнивали Гоголя съ Марлинскимъ. Это сопоставленіе особенно любопытно потому,

что въ то время Марлинскій считался первымъ русскимъ романистомъ,—сравненіе съ нимъ Гоголя указываетъ, на какую высоту онъ сразу поднялся въ русскомъ самосознаніи и кого онъ долженъ былъ смѣнить, кто былъ его ближайшимъ предшественникомъ въ глазахъ русской читающей публики.

Значеніе этихъ повѣстей въ исторіи русской литературы.

Въ исторіи русской литературы «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» занимаютъ почетное мѣсто. Несмотря на всѣ недостатки этихъ повѣстей, онѣ были первымъ наиболѣе полнымъ и художественнымъ опытомъ нарисовать жизнь простонародья, заглянуть въ душу простого человѣка, посмотрѣть на жизнь и природу глазами народа, заглянуть въ тотъ своеобразный міръ темнаго и, въ то же время, не лишеннаго красоты мистицизма, о которомъ пришлось мнѣ говорить въ первыхъ главахъ 1-ой части 1-го выпуска этой книги. Если Гоголь отнесся къ изображаемому только какъ художникъ, какъ поэтъ,—то его ближайшіе послѣдователи-литераторы (особенно Григоровичъ и Тургеневъ) оцѣнили простонародную жизнь не только съ художественной стороны, — они освѣтили ее сознаніемъ общественныхъ дѣятелей, понимающихъ не только показную, но и оборотную сторону жизни. Такое расширеніе идейнаго содержанія картины не должно умалять того факта, что всетаки учителемъ обоихъ нашихъ писателей былъ Гоголь.

„Миргородъ“.

Повѣсти, вошедшія въ составъ второго гоголевскаго сборника «Миргородъ», по характеру своему и содержанію очень близко подходятъ къ тѣмъ повѣстямъ, которыя составили его первый сборникъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки». Мы увидимъ здѣсь такое же смѣшеніе *романтизма* и *реализма*, увидимъ, что и сюжеты, разрабатываемые Гоголемъ въ этомъ сборникѣ, берутся изъ тѣхъ же областей малороссійской жизни, которыя раньше дали богатый и пестрый матеріалъ для его «Вечеровъ»: въ повѣсти «Вій» Гоголь вращается въ кругу народныхъ суевѣрныхъ сказаній; въ повѣстяхъ «Старосвѣтскіе помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» — въ области мелкой жизни провинціальныхъ «существователей»; въ повѣсти «Тарасъ Бульба» Гоголь изобразилъ героическое прошлое своей родины, — взялъ тему, тоже уже затронутую въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ изъ сборника «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» («Страшная месть», «Ночь накануне Ивана Купала»).

·личіе повѣстей „Миргорода“ отъ „Вечеровъ“.

Такимъ образомъ, отличаются эти повѣсти отъ болѣе раннихъ—не содержаніемъ и характеромъ, а бо̀льшею яркостью красокъ, бо̀льшею тонкостью рисунка и бо̀льшею вдумчивостью, съ которою авторъ отнесся къ изображаемой имъ жизни. Слѣдовательно, эти произведенія указываютъ на бо̀льшую зрѣлость Гоголя, какъ художника и мыслителя, оцѣнивающаго жизнь. Такому быстрому развитію въ немъ «художника» и «судьи жизни», конечно, способствовало сближеніе съ Пушкинымъ и другими выдающимися писателями русскими того времени.

„Вій“.

Повѣсть «Вій» представляетъ собою произведеніе, въ которомъ опять романтизмъ неразрывно смѣшивается съ реализмомъ: жанровыя картины смѣняются фантастическими, образы вымышленные, — какія-то мистическія чудовища, порожденіе испуганнаго воображенія народа и самого автора, — стоятъ рядомъ съ самыми обыкновенными людьми. Картины природы идиллически-мирной перемѣшаны съ пейзажами, полными мистическаго ужаса и тревоги.

Романтическій элементъ въ „Віи“.

а) *Романтическій элементъ* въ повѣсти выразился, прежде всего въ развитіи народнаго вѣрованья въ существованіе какого-то таинственнаго Вія, въ существованіе вѣдьмъ и въ возможность ихъ общенія съ обыковенными людьми. Красавица-панночка, дочь сотника, обладаетъ способностью оборачиваться въ собаку и въ старуху; она пьетъ кровь у людей, особенно у дѣтей; она замучиваетъ тѣхъ парней, которые ей нравятся. О ней много страшныхъ исторій знаютъ дворовые ея отца. Она находится въ общеніи и съ «нечистой силой»—съ темными силами земли, которыя олицетворены въ видѣ чертей-демоновъ, и «Вія» котораго самъ Гоголь называетъ «начальникомъ гномовъ» [1]).

Пристрастіе романтиковъ къ пользованію волшебными мотивами народнаго творчества было присуще, какъ мы видѣли, и Гоголю. Ему достаточно было намека для того, чтобы его собственное воображеніе легко и свободно начинало творить въ этой области. Гоголь тяготѣлъ къ этому міру фантазіи и потусторонней жизни, вѣроятно, потому, что, нервный и впечатлительный съ дѣтства, онъ самъ не чуждъ былъ мистицизма [2]).

---

[1]) Въ подстрочномъ примѣчаніи къ повѣсти Гоголь говоритъ слѣдующее: «Вій—есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и разсказываю почти въ той же простотѣ, какъ слышалъ».

[2]) Объ этомъ свидѣтельствуетъ, хотя бы, его собственное признаніе что страшныя сказки въ дѣтствѣ его очень занимали и волновали. Въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» Гоголь въ одномъ мѣстѣ вспоминаетъ какъ часто въ дѣтствѣ онъ слышалъ таинственный голосъ, его звавшій по имени. «Признаюсь, говоритъ онъ, мнѣ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, въ дѣтствѣ я часто его слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произноситъ мое имя. Я, обыкно-

Вотъ почему все то ужасное, что творилось по ночамъ въ церкви, около гроба вѣдьмы, описано имъ въ такихъ яркихъ, живыхъ краскахъ, что производитъ впечатлѣніе кошмара, горячечной галлюцинаціи. Въ русской литературѣ не было картины ужаснѣе этой, въ которой, необузданная до болѣзненности, фантазія писателя *романтика* такъ изумительно сочеталась съ описательной силой художника-*реалиста*.

До какой болѣзненной проникновенности въ «фантастическое» доходитъ Гоголь въ этой повѣсти, лучше всего видно, хотя бы, изъ описанія той волшебной ночи, которую пережилъ Хома Брутъ, бѣгущій съ вѣдьмой на плечахъ [1]).

Даже изъ краткаго описанія той «ночи чудесъ», — мистической ночи, когда совершается странное, когда все спитъ «съ открытыми глазами» и молча раскрываетъ великія тайны,— видно, что все это пережито Гоголемъ, перечувствовано имъ самимъ ясно до ужаса [2]).

Невозможно реальнѣе представить «волшебное». Это опять галлюцинація,—разсказъ о своемъ, когда то видѣнномъ, снѣ.

Какими блѣдными, «нестрашными», мертвецами кажутся тѣ, которые такъ часто встрѣчаются въ сочиненіяхъ Жуковскаго, если сравнить ихъ съ реалистическимъ описаніемъ мертваго лица красавицы-вѣдьмы, съ ея мертвыми, невидящими очами!

b) *Реалистическій элементъ* повѣсти выразился въ описаніи быта старой дореформенной кіевской бурсы, въ обрисовкѣ типичныхъ бурсаковъ и дворовыхъ пана-сотника. b) Реалистическій элементъ въ повѣсти.

Бурса была своеобразной школой, въ которой только «избранные»,— люди съ выдающимися способностями и научными интересами, пріобрѣтали образованіе, — большинство же ничему не научивалось, но зато выносило оттуда характеры, вполнѣ подходящіе къ потребностямъ того жестокаго, суроваго времени. Учениковъ тамъ жестоко сѣкли, держали впроголодь,

---

венно, тогда бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ саду»...

[1]) „Лѣса, луга, небо, долины—все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину; такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ...“.

[2]) „...Онъ чувствовалъ какое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины, моря; по крайней мѣрѣ, онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ ней вмѣстѣ съ сидѣвшею на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплывала русалка... Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ что? вѣтеръ, или музыка? звенитъ, звенитъ и вьется, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелью.

«Что это?» думалъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть... Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то томительно-страшное наслажденіе...“

и ученики, въ свою очередь, занимались больше всего избіеніемъ другъ друга, да заботой о собственномъ пропитаніи. Развлеченія были грубы и суровы. Немудрено, что, послѣ такого воспитанія, многіе шли прямо въ Запорожскую Сѣчь, искать тамъ «лыцарской чести» и вольной жизни внѣ всякихъ законовъ.

Хома Брутъ. Національныя малороссійскія черты въ немъ.

Героемъ повѣсти «Вій» Гоголь выставилъ «философа» [1]) Хому Брута. Этотъ юноша представляетъ собою образъ, въ которомъ собрано много типичныхъ чисто малороссійскихъ народныхъ чертъ. Онъ былъ до избытка надѣленъ душевнымъ равнодушіемъ, окрашеннымъ порою юморомъ, порою—просто флегмой и лѣнью. «Чему быть, тому не миновать»—обычная его поговорка; съ нею онъ готовъ идти безъ борьбы навстрѣчу самому чорту. Такой фатализмъ очень скоро приводитъ его въ душевное равновѣсіе, изъ котораго вывести его трудно. Послѣ своего приключенія съ вѣдьмой, Хома плотно закусилъ въ корчмѣ и сразу успокоился, «глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно, довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи». Въ церкви онъ, глядя на страшную вѣдьму, самъ успокаиваетъ себя магическимъ: «ничего!»; когда жуть прокрадывается ему въ сердце—онъ прогоняетъ ее такимъ же магическимъ напоминаніемъ себѣ, что онъ—«казакъ», что ему стыдно «бояться» чего бы то ни было. Послѣ первой страшной ночи въ церкви онъ, послѣ сытнаго ужина, сразу начинаетъ чувствовать себя спокойнымъ и довольнымъ. «Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ, если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ сторону. Посѣдѣвъ отъ ужасовъ второй ночи, Хома, на разспросы о томъ, что происходитъ ночью въ церкви, хладнокровно отвѣчаетъ: «много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такіе случаются... Ну...» и больше ничего не сказалъ. Готовясь къ третьей, послѣдней ночи, онъ старается взять отъ жизни послѣднюю радость и пускается въ такой плясъ, что всѣ на него смотрятъ съ изумленіемъ.

Литературная исторія этого типа.

Характерный образъ Хомы, казака-философа, фаталиста и флегматика, не разъ рисовался Гоголемъ и до этой повѣсти, и послѣ нея. Старики-разсказчики, въ уста которыхъ вкладываетъ Гоголь свои «страховинны казочки», почти всѣ отличаются у него этимъ же хладнокровіемъ. «Экая невидальщина! Кто на своемъ вѣку не знался съ нечистымъ!», спокойно разсуждаетъ одинъ. Друзья погибшаго Хомы Брута — такіе же «философы». «Такъ ему Богъ далъ!» спокойно заявлетъ фаталистъ Халява: «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!» другой пріятель, Тиберій, спокойно заявляетъ: «Я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; а если бы не побоялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то ничего и не будетъ! Я знаю уже все это. Вѣдь у насъ въ Кіевѣ всѣ бабы, которыя сидятъ на базарѣ, всѣ вѣдьмы». Не желаніемъ сострить, хвастнуть, прилгнуть, проникнуты эти слова, — непоколебимой вѣрой

---

[1]) „Философомъ" онъ названъ потому, что былъ въ предпослѣднемъ классѣ академіи. Въ послѣднемъ классѣ преподавалось только „богословіе"— и ученики носили названіе „богослововъ"; въ предпослѣднемъ классѣ преподавалась «философія"—и ученики назывались „философами".

въ истину своихъ словъ и невозмутимымъ спокойствіемъ... Это—черта удивительная, проникающая многія повѣсти Гоголя,—черта, быть можетъ, національная, малороссійская. Реалистъ, по міросозерцанію, малороссъ все волшебное, фантастическое въ своихъ сказкахъ и преданіяхъ умѣетъ представить реально. И только, при этомъ условіи, волшебное, даже ужасное, можетъ быть представлено юмористически [1]).

Къ «реалистическому» элементу повѣсти надо отнести еще бѣглыя, но мастерски-сдѣланныя характеристики пріятелей Хомы Брута и дворовыхъ сотника. Особенно удалось Гоголю изображеніе пьяной бесѣды подгулявшихъ сторожей Хомы,—изъ отдѣльныхъ отрывистыхъ фразъ, которыми они обмѣниваются, ясно и опредѣленно вырисовывается физіономія каждаго. Другіе герои повѣсти.

Въ «психологическомъ» отношеніи эта повѣсть тоже представляетъ большой интересъ: Гоголю удалось изобразить постепенное наростаніе страха въ безстрашномъ, спокойномъ сердцѣ бурсака-богатыря. „Психологія" въ повѣсти.

Въ повѣстяхъ: „Старосвѣтскіе помѣщики" и „Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ" Гоголь воспроизвелъ, на основаніи личныхъ воспоминаній и наблюденій, нѣсколько сценъ изъ жизни тѣхъ „существователей", которые окружали его съ дѣтства, которыхъ онъ оцѣнилъ и понялъ уже въ ранней юности, будучи еще ученикомъ Нѣжинскаго лицея.

Въ повѣсти: „Старосвѣтскіе помѣщики" Гоголь отмѣтилъ, что̀ въ этой жизни казалось ему *симпатичнымъ*. Зная Гоголя, его консервативныя наклонности, мы безъ труда поймемъ, что онъ всегда готовъ былъ „идеализировать" старину; это онъ и сдѣлалъ въ своей повѣсти, выведя героями людей „старосвѣтскихъ", т. е. представителей прошлаго, отживающаго поколѣнія. „Старосвѣтскіе помѣщики".

Съ добродушнымъ юморомъ и теплой любовью рисуетъ онъ патріархальную жизнь двухъ любящихъ, нѣжныхъ стариковъ, которые доканчиваютъ свое безобидное, безвредное, но, увы, и безполезное для человѣчества и родины существованіе на маленькомъ кусочкѣ земли, — кусочкѣ, отдѣленномъ отъ всего міра «частоколомъ». Старички за этимъ частоколомъ остаются чужды всякой «борьбы за существованіе», не знаютъ высокихъ чувствъ общественности и патріотизма, они словно не знаютъ даже о томъ, что гдѣ-то льются человѣческія слезы,—но они не знаютъ и тѣхъ дурныхъ чувствъ, которыя рождаются отъ столкновенія человѣка съ человѣкомъ—ненависти, зависти, честолюбія... Чѣмъ меньше желаній, тѣмъ меньше разочарованій,—тѣмъ больше душевной тишины, больше *счастья*. Вотъ Жизнь героевъ повѣсти. Безсодержательность этой жизни.

[1]) Какъ образчикъ такого страннаго смѣшенія *ужаснаго* съ *смѣшнымъ* можно привести разсказъ одного изъ дворовыхъ сотника о судьбѣ Микитки, влюбившагося въ вѣдьму-панночку: „воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то, вмѣсто его, лежала только куча золы да пустое ведро,—сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ самъ собою".

почему древніе философы учили, что счастливъ тотъ, кто умѣетъ ограничить свои желанія. Но это счастье будетъ эгоистическимъ,—человѣку, живущему въ государствѣ, въ обществѣ, нельзя замыкаться только въ кругу своей личной жизни! Гоголь не отмѣтилъ «незаконности» такого эгоистическаго счастья; но, нарисовавъ такихъ «счастливцевъ», подчеркнувъ, что жизнь ихъ не запятнана зломъ,—онъ со своей *личной* точки зрѣнія, осудилъ ея безсодержательность. Только *отдыхать* могъ Гоголь въ обществѣ добродушныхъ старичковъ, но *жить* здѣсь онъ не могъ,—ему не хватало здѣсь воздуха... Ихъ жизнь однообразна и пуста,—всѣ интересы ихъ сводились къ ѣдѣ и спанью, къ заботамъ о кухнѣ, кладовой,—ихъ меньше занимали поля съ хлѣбомъ и лѣса съ дубами, чѣмъ огородъ, садъ и птичій дворъ: это все было ближе къ нимъ, все это было нужнѣе имъ,—людямъ съ маленькими потребностями (и къ тому же чуждымъ корыстолюбія), чѣмъ крупное хозяйство, которое требуетъ извѣстной ширины экономическаго пониманія.

„Незаконность этой жизни„.

Старички отличались и положительными качествами—они были очень просты, просты «до святости», невзыскательны, добродушны и общительны,—жили для гостей—по словамъ Гоголя. Они были чисты, какъ дѣти, наивны и довѣрчивы. Эта «чистота» ихъ старческихъ сердецъ—удивительно подкупающая черта. «Любопытство» старичковъ не было живой любознательностью, ихъ гостепріимство и любезность не были проявленіемъ любви къ людямъ. Въ общепринятомъ смыслѣ, любовь къ людямъ тѣсно связывается съ «служеніемъ человѣчеству»; эта любовь всегда стремится проявиться въ *дѣлѣ*,—она есть чувство *активное*, по существу. Этой «активности» нѣтъ у «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», и Гоголь не указалъ намъ ни одного добраго дѣла, которое сдѣлали бы эти «добрые», ласковые, гостепріимные, любезные старички. Въ ихъ душѣ нѣтъ мѣста злу, но нѣтъ мѣста и добру. Ихъ казнить не за что но и идеализировать тоже не стоитъ. И мы не стали бы обвинять Гоголя въ такой неумѣстной идеализаціи, если бы онъ, рядомъ съ ними, не выставилъ карикатурныхъ реформаторовъ-помѣщиковъ, которые наслѣдовали имѣніе старичковъ и разорили его. Вслѣдствіе такого сопоставленія, выгоднаго для «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», есть полныя основанія говорить о попыткѣ нашего писателя идеализировать своихъ героевъ-стариковъ.

Простота и чистота ихъ жизни.

Отсутствіе любви къ людямъ.

Въ ихъ лицѣ Гоголь превозноситъ доброе старое время, уже отошедшее въ прошлое, и казнитъ людей новыхъ,—хищниковъ и эксплуататоровъ, часто безтолковыхъ, не дорожившихъ стариной [1]).

Между тѣмъ, Гоголь отмѣтилъ еще черту ихъ жизни,—черту, которая, въ сущности, тоже должна была помѣшать такой идеализаціи. Люди непросвѣщенные и не желающіе себя просвѣщать, старички были окружены мракомъ невѣжества,—они стояли на той же ступени развитія, на которой стояли ихъ крѣпостные, съ ихъ мистицизмомъ язычества. Темный міръ суевѣрій, примѣтъ окружалъ со всѣхъ сторонъ обоихъ старичковъ,—онъ владѣлъ ихъ жизнью и смертью, и бороться съ нимъ они не могли. Стоило

„Темнота“ этой жизни.

---

[1]) Въ одномъ мѣстѣ повѣсти Гоголь прямо осуждаетъ этихъ „новыхъ людей“ съ чисто дворянской сословной точки зрѣнія.

Пульхеріи Ивановнѣ убѣдиться, что ея кошечка къ ней не вернется, она пришла къ нелѣпой мысли, что, въ видѣ кошки, приходила за ней смерть,— и что она должна скоро умереть. Аѳанасій Ивановичъ услышалъ голосъ, его зовущій. Онъ рѣшилъ, что это зоветъ его Пульхерія Ивановна и что онъ тоже умретъ. И, дѣйствительно, оба они умерли,—умерли отъ самовнушенія, отъ непоколебимой вѣры въ то, что какія-то темныя силы властвуютъ надъ безсильнымъ человѣкомъ и что бороться не стоитъ. Да и не могли они бороться,— они не знали, *во имя чего* должны они бороться за жизнь; у нихъ не было сильныхъ интересовъ въ жизни, они не знали ея *смысла*,— они жили и умерли, какъ деревья, какъ растенія... Жили они безъ душевныхъ потрясеній. Умерли безъ ропота, спокойно и безболѣзненно, ничего собою въ жизнь не внеся, ничего не унеся въ могилу...

„Личныя" причины симпатіи Гоголя къ героямъ повѣсти.

Быть можетъ, вся симпатія Гоголя къ этимъ старичкамъ проистекала изъ чисто-эгоистическаго чувства. Онъ, съ его вѣчной тревогой душевной, съ его боязнью остаться въ мірѣ только «существователемъ», слишкомъ метался въ этой жизни, ища себѣ жизненныхъ путей. Мы знаемъ, что онъ утомлялся и разочаровывался, что его тянуло въ милую Украину «отдохнуть», «сойти *на минуту* въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни»... И вотъ, съ точки зрѣнія такого «утомленнаго страдальца», этотъ «полусонъ», «минута» отдохновенія въ обществѣ старичковъ могла показаться ему «раемъ», который полонъ «неизъяснимой прелести». И онъ представилъ эту жизнь «раемъ», хотя добросовѣстность его не позволила ему закрыть глаза на крупные недостатки этой жизни. Но Гоголь не замѣтилъ, что главный недостатокъ его героевъ—отсутстіе «общественнаго самосознанія»,—отмѣтилъ другіе, какъ-то: душевную скудость старичковъ, ихъ непроглядное невѣжество, онъ даже подъ конецъ повѣсти усумнился въ глубинѣ ихъ взаимной любви. «Долгой, медленной, почти безчувственной *привычкой*» называетъ онъ любовь Аѳанасія Ивановича; на «привычку» смахиваютъ и чувства Пульхеріи Ивановны, которая, умирая, заботилась о томъ, чтобы Аѳанасію Ивановичу готовилось то, что онъ любитъ, чтобы бѣлье, ему подаваемое, всегда было чисто и пр.

Осужденіе этой жизни Гоголемъ.

Отношеніе Гоголя къ „крѣпостному праву" въ повѣсти.

Изображая «патріархальную помѣщичью жизнь», сытую и безоблачную, Гоголь не коснулся жизни крестьянъ; отрицательныя стороны «крѣпостного права», которое дало возможность героямъ повѣсти, безъ труда, безъ «борьбы за существованіе», «безъ зла», провести всю долгую жизнь, совершенно обойдены Гоголемъ. Онъ даже постарался доказать, что, подъ патріархальнымъ управленіемъ «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», и крестьяне блаженствовали,—были сыты; «дѣвки» объѣдались фруктами и вареньями; приказчикъ богатѣлъ, но отъ этого не бѣднѣли и помѣщики... Стоило появиться въ деревню помѣщикамъ-реформаторамъ, какъ блаженство деревни кончилось: все очень скоро оказалось разореннымъ. Позднѣе такую же патріархальную помѣщичью идиллію, но съ полнымъ сознаніемъ причинъ, основаній и послѣдствій ея безнравственности, изобразилъ Гончаровъ въ разсказѣ о жизни обывателей Обломовки и ея питомца Ильи Обломова.

Идейные недостатки повѣсти.

Такимъ образомъ, это произведеніе Гоголя, при всей художественности его картинъ, страдаетъ нѣкоторыми недостатками. Причина ихъ коренится въ самомъ авторѣ: онъ не достаточно сознательно отнесся къ изображаемой жизни; его отношеніе къ героямъ повѣсти страдаетъ неопредѣ-

ленностью: начавъ съ идеализаціи, онъ переходитъ постепенно къ осужденію этой жизни. Разсказъ радостный, безоблачный, оканчивается печально: словно, авторъ, подъ конецъ повѣствованія, увидѣлъ самъ всю пошлость, всю мелочность своихъ героевъ. Сквозь «смѣхъ» пробились «слезы»...

Всесторонность въ изображеніи жизни героевъ.

Своихъ безобидныхъ героевъ Гоголь сумѣлъ обрисовать всесторонне: онъ далъ намъ ясное представленіе о томъ, какой видъ извнѣ имѣлъ ихъ домикъ, каковы были комнаты этого домика. Онъ обрисовалъ намъ Аѳанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну въ обществѣ ихъ самихъ, въ обществѣ знакомыхъ, въ отношеніяхъ къ крестьянамъ и приказчику. Онъ далъ намъ понятіе о томъ, какъ безалаберно вели они свое хозяйство, какъ ихъ обкрадывали и обманывали. Ни одна характерная деталь ихъ быта не ускользнула отъ внимательнаго глаза Гоголя. И вся совокупность этой удивительно-пестрой смѣси разныхъ смѣшныхъ, трогательныхъ и печальныхъ подробностей даетъ намъ два ясныхъ старческихъ облика.

Литературная исторія повѣсти.

Эта повѣсть Гоголя можетъ быть связана и съ литературой XVIII вѣка; среди произведеній этой поры была очень распространена „идиллія“ — жанръ, въ которомъ изображались всегда идеальные герои, связанные чувствами идеальной любви или дружбы. Гоголь воспользовался избитой канвой, внесъ реализмъ, „прикрѣпилъ къ землѣ“ сюжетъ, который, обыкновенно, разрабатывался внѣ земныхъ отношеній. „Писатели очень любили такія благодарныя темы, какъ исторія двухъ любящихъ сердецъ, занятыхъ исключительно своимъ чувствомъ,— „Старосвѣтскіе помѣщики“ были удачной попыткой замѣнить въ этой темѣ романтическіе элементы—реальными и бытовыми. Вмѣсто прежнихъ пустынныхъ мѣстъ—малороссійская деревня, вмѣсто разочарованныхъ героевъ и томныхъ, или страстныхъ героинь—старикъ и старуха“ (Н. А. Котляревскій). Самъ Гоголь намекаетъ намъ на возможность такого сближенія его произведенія съ старыми „идилліями“, называя въ одномъ мѣстѣ повѣсти своихъ старичковъ именами двухъ идеальныхъ героевъ старой идилліи—„Филемономъ и Бавкидою“.

Происхожденіе повѣсти.

Исторія происхожденія повѣсти вполнѣ выясняется изъ указаній автора, что она основана на воспоминаніяхъ его дѣтства. Когда, въ шумѣ и суетѣ городской жизни, Гоголь вспоминалъ эти два образа,—ему „мерещилось былое“. „Вереница воспоминаній“ возникала въ его душѣ, когда онъ вспоминалъ „поющія двери“ ихъ деревенскаго домика. Когда лѣтомъ 1832 г., послѣ столичной сутолоки, неудачъ житейскихъ, Гоголь съѣздилъ на родину, онъ, очутившись въ обществѣ различныхъ старичковъ-помѣщиковъ, очевидно, чувствовалъ себя такъ, какъ объ этомъ говоритъ въ началѣ своей повѣсти. Но отъ этой жизни онъ былъ оторванъ уже своей жизнью въ Петербургѣ, дружбой съ Пушки-

нимъ,—онъ не могъ уже жить этой жизнью, и осудилъ ее такъ, какъ не могъ бы осудить, если бы не узналъ культурной атмосферы столицы. Кипучая жизнь Петербурга умудрила Гоголя, и, благодаря ей, онъ сумѣлъ лучше оцѣнить недостатки провинціальнаго быта.

„Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ".

Замѣтнѣе, несомнѣннѣе осужденіе этой жизни «существователей» сказалось въ другой повѣсти сборника — «Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Въ этомъ произведеніи жизнь захолустной провинціи совершенно лишена того смягчающаго освѣщенія, которое въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» явились результатомъ личныхъ симпатій и воспоминаній Гоголя.

Жизнь уѣзднаго города временъ Гоголя.

Здѣсь онъ рисуетъ не «дворянское гнѣздо», а во всей наготѣ представляетъ безотрадную жизнь провинціальныхъ «существователей» уѣзднаго города. Они не знаютъ никакихъ высшихъ интересовъ; живутъ растительной и животной жизнью,—словно особая порода людей, которая пресмыкается въ предѣлахъ «частокола», отграничивающаго ихъ отъ міра болѣе содержательнаго, болѣе идейнаго. Но здѣсь нѣтъ и слѣда той подкупающей простоты и сердечности, которой озарена жизнь старосвѣтскихъ помѣщиковъ,—въ этомъ произведеніи изображено существованіе изломанное, скованное приличіями, порабощенное сплетнѣ и злобѣ... Это—тихое болото, котораго не стоитъ ворошить,—иначе со дна подымется грязь! Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» выведена пара существователей, у которыхъ одна душа, одно сердце, однѣ привычки,—здѣсь передъ нами толпа существователей, съ самыми различными сердцами и привычками... Имъ нужно обезопасить себя другъ отъ друга, и потому здѣсь развиты какія то своебразныя «приличія», курьезныя понятія о чести и достоинствѣ человѣка. Имъ не прожить такъ мирно, какъ прожили герои первой повѣсти, хотя жизнь, которую ведутъ въ этомъ уѣздномъ городкѣ, по существу, мало чѣмъ отличается отъ быта Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны.

Эта жизнь такая же мелочная и праздная. Всѣ интересы ея обывателей сводятся къ ѣдѣ, спанью, къ праздной болтовнѣ. Понятно, что при такихъ условіяхъ всякая мелочь представляетъ огромное значеніе - отсюда любовь къ сплетнямъ, мелкимъ кляузамъ, отсюда развитіе у обывателей города такихъ мелкихъ чувствъ, какъ зависть, подозрительность, обидчивость... Въ подобной сферѣ нѣтъ мѣста глубокимъ и прочнымъ чувствамъ,—пустяка бываетъ достаточно для того, чтобы дружба обратилась во вражду.

Безсодержательность этой жизни.

Человѣку, даже обжившемуся въ этомъ мірѣ, всетаки порою дѣлается скучно, и тогда онъ цѣпляется за всякую сплетню, за всякое вырвавшееся слово, за всякій намекъ, чтобы раздуть въ себѣ «новыя» чувства, ими заполнить свою праздную жизнь. Такова психологическая идея этой смѣшной и печальной повѣсти Гоголя. Съ этой точки зрѣнія осудилъ онъ и бытъ «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», и въ ихъ праздной, мелочной жизни «ничтожныхъ событій» оказалось достаточно для

того, чтобы ими вызваны были «великія событія» — смерть обоихъ героевъ [1]). Въ повѣсти — о ссорѣ двухъ друзей оказалось достаточнымъ одного слова «гусакъ», чтобы два друга, «честь и украшеніе Миргорода», поссорились на всю жизнь и обрѣли каждый цѣль и смыслъ жизни—въ судебной тяжбѣ, упорной, разорительной и непримиримой...

Разсказчикъ. Разсказъ въ повѣсти ведется отъ лица какого-то обывателя города Миргорода; изъ его повѣствованія вырисовывается его личность: онъ—глуповатый, наивный, словоохотливый человѣкъ, весь живущій жизнью Миргорода, и съ обывательской точки зрѣнія смотрящій на все, здѣсь происходящее.

Характеристика героевъ, описаніе ихъ жизни, описаніе другихъ жителей города Миргорода, ихъ занятій, развлеченій, представляетъ собою нѣчто замѣчательное именно потому, что въ ней обрисовываются не только Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ,—но и самъ разсказчикъ. Эта характеристика обличаетъ въ немъ человѣка, живущаго сплетнями миргородской жизни, не умѣющаго отличить мелкое отъ крупнаго,—существенное отъ незначительнаго. Въ результатѣ, сравненіе двухъ характеровъ, въ его устахъ представляетъ собою нагроможденіе безъ системы и плана всевозможныхъ душевныхъ и тѣлесныхъ качествъ обоихъ героевъ; черты душевныя смѣшиваются съ физическими примѣтами, привычками, даже съ особенностями костюма [2]). Всѣ эти подробности, порознь взятыя, любопытны и уясняютъ не только двухъ героевъ, ихъ жизнь, привычки, убогое содержаніе ихъ души, но также и прочихъ миргородскихъ обывателей, которые отъ скуки, отъ праздности изучили другъ друга до малѣйшихъ подробностей. Они знаютъ, что скажетъ каждый изъ ихъ знакомыхъ, подавая другъ другу табакерку, знаютъ, что принято говорить еврею, продающему элексиръ противъ блохъ... Это жизнь, одуряющая своимъ однообразіемъ, своею скудостью. Въ этой средѣ рождаются невозможные слухи (напримѣръ, будто Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ), которые до того популярны, что ихъ приходится серьезно оспаривать. Это среда совершенно безпомощна въ оцѣнкѣ нравственныхъ качествъ человѣка,—она можетъ добрымъ и «богомольнымъ» считать человѣка черстваго,—«прекраснымъ» она можетъ считать человѣка зажиточнаго; эта среда вѣритъ еще въ авторитетъ комиссара и время считаетъ такими историческими событіями, какъ поѣздка какой-то Агаѳіи Ѳедосѣевны въ Кіевъ. По словамъ разсказчика, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ—«честь и украшеніе Миргорода»—отсюда мы можемъ заключить о желаніи автора въ лицѣ этихъ двухъ типичныхъ «существователей» изобразить «лучшихъ» людей

---

[1]) Гоголь ошибается, говоря слѣдующее: „По странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями“: 1) Гоголь путаетъ причины съ „поводами“, а 2) ничтожныя *причины* только въ жизни пустой и мелкой производятъ „*великія*“ (!) событія,—въ жизни большого размѣра ничтожныя причины остаются незамѣченными.

[2]) Напр.: „Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ“. Къ хорошимъ качествамъ души онъ относитъ такія обстоятельства, что у одного изъ нихъ удивительныя яблони, что онъ любитъ дыни, что его уважаетъ комиссаръ.

Миргорода; въ нихъ, какъ въ фокусѣ, собрано все характерное, все своеобразное, къ чему присмотрѣлся мѣстный обыватель, съ чѣмъ онъ сроднился, но что̀ поражаетъ свѣжаго человѣка...

Наивность разсказа выдержана Гоголемъ мастерски: она позволяетъ автору скрыть осужденіе этой жизни, позволяетъ ему удержаться отъ карикатурности, отъ того субъективизма, который только въ концѣ повѣсти прорывается въ восклицаніи автора: «скучно на этомъ свѣтѣ, господа!»

Иванъ Ивановичъ; его характеристика: а) какимъ онъ казался жителямъ города. „Прекрасный человѣкъ“.

На Ивана Ивановича Гоголь обратилъ особое вниманіе. Онъ ему отводитъ большую самостоятельную характеристику и говоритъ о немъ немало, сравнивая его съ Иваномъ Никифоровичемъ. Прежде всего, онъ, по мнѣнію жителей Миргорода, «прекрасный человѣкъ». Но разсказчикъ напрасно напрягаетъ всѣ свои усилія, чтобы доказать эту мысль: онъ говоритъ и о томъ, что у Ивана Ивановича удивительная бекеша, и что домъ его и садъ очень хороши, и что дыни-то онъ любитъ и самое удовольствіе ихъ кушать умѣетъ обставить церемоніаломъ: записываетъ день и число, когда съѣдена дыня. Повидимому, это безполезное занятіе, показывающее только, что у Ивана Ивановича слишкомъ много празднаго времени,—въ глазахъ разсказчика, обозначало большую наклонность героя къ порядку и хозяйственности. Затѣмъ прекрасныя качества души героя разсказчикъ старается доказать его богомольностью и добротой.

„Богомольность“ и „доброта“.

Но изъ дальнѣйшаго выясняется, что «богомольность» сводилась къ тому, что онъ по праздникамъ подтягивалъ басомъ хору пѣвчихъ, а «доброта» выражалась въ томъ, что онъ разспрашивалъ нищихъ на паперти объ ихъ несчастіяхъ, хотя никогда не давалъ никому ни гроша. Изъ дальнѣйшаго повѣствованія мы узнаемъ, чѣмъ очаровалъ жителей Миргорода

Человѣкъ „приличій“ „душа“ общества.

Иванъ Ивановичъ,—онъ былъ «душой» мѣстнаго общества: умѣлъ витіевато говорить, любилъ щегольнуть и зналъ, какъ держать себя; онъ соблюдалъ свое достоинство, какъ никто въ городѣ; онъ умѣлъ со всѣми уживаться и всѣмъ говорить пріятное... Правда, «приличія»—вещь относительная,—въ разныхъ слояхъ общества подъ «приличіями» понимается различное, и Гоголь далъ нѣсколько образчиковъ смѣшного и уродливаго толкованія этого понятія въ Миргородѣ: вѐрхомъ приличія здѣсь считалось, напримѣръ, отказываться до трехъ разъ отъ предложеннаго чая, и Иванъ Ивановичъ съ такимъ достоинствомъ умѣлъ ломаться передъ поставленной чашкой, что у наивнаго разсказчика вырывается восторженное восклицаніе: «Господи Боже! Какая бездна тонкости бываетъ у человѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!.. Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!».

Отношеніе Ивана Ивановича къ себѣ

Это умѣніе «поддерживать свое достоинство» основывалось у Ивана Ивановича на томъ уваженіи, которое онъ имѣлъ къ себѣ,—къ своему маленькому чину и званію. Къ тому же онъ совершенно серьезно считалъ себя «прекраснымъ человѣкомъ», угоднымъ Богу и заслуживающимъ уваженія со стороны людей. Это «фарисейство» Ивана Ивановича—характерная его черта. Онъ не былъ сознательнымъ «тартюфомъ»—онъ жилъ *наивнымъ лицемѣромъ* и умеръ довольный собой, съ полной вѣрой въ себя, не омраченный сомнѣніями, не обезпокоенный внутренней борьбой, которая рождается въ душѣ человѣка, сознательно смотрящаго въ жизнь.

ѣ) „Дѣйствительный Иванъ Ивановичъ.

И, между тѣмъ, этотъ «богомольный» и «добрый» человѣкъ полжизни отдалъ на тяжбу съ другомъ-сосѣдомъ изъ-за слова «гусакъ»; онъ прибѣгалъ и къ лжи, и къ клеветѣ, и къ подкупамъ,—онъ обнаружилъ въ своей «праведной» душѣ бездна дурного. Итакъ, *хорошихъ* качествъ души Ивана Ивановича онъ не доказалъ: передъ нами человѣкъ ничтожный и потому мелочно-самолюбивый, праздный, любопытный, скупой, черствый и пустой, съ большимъ самомнѣніемъ. И читатель разстается съ нимъ, окончательно разувѣрившись въ томъ, что это—«прекрасный человѣкъ».

Иванъ Никифоровичъ а) какимъ онъ казался жителямъ Миргорода. „Хорошій человѣкъ".

Меньше мѣста отводитъ разсказчикъ Ивану Никифоровичу. Этотъ «обыватель» не отличался свѣтскими достоинствами Ивана Ивановича, но, съ точки зрѣнія согражданъ, онъ былъ тоже «хорошій» человѣкъ, хотя бы потому, что грузный и неподвижный, въ полусонномъ состояніи пролежалъ у себя бо́льшую часть своей жизни, ничѣмъ не интересуясь, никого не трогая. Въ маленькомъ городкѣ и это уже большое достоинство, когда человѣкъ не дѣлаетъ зла другимъ людямъ; вѣдь здѣсь, въ этой мелочной сферѣ, изъ пустяка могутъ разыграться «великія событія»! Но дальнѣйшее повѣствованіе о жизни Ивана Никифоровича объ его столкновеніяхъ съ бывшимъ другомъ обличаютъ и въ его душѣ массу мелкихъ,

ѣ) „Дѣйствительный" Иванъ Никифоровичъ.

злыхъ качествъ. Это существо, почти полу-животное, оказывается и скупымъ, и упрямымъ, и великимъ сутяжникомъ. Приливъ злости даже даетъ ему силы и энергію на веденіе судебнаго дѣла. И мы убѣждаемся, что не любовь связывала друзей, а «привычка»,—только благодаря случайности ихъ «дружба» была такъ продолжительна и благодаря случайности (пріѣздъ къ Ивану Никифоровичу Агафіи Ѳедосѣевны, которая окончательно разссорила друзей) вражда сдѣлалось упорной... Немудрено, что Гоголь, освѣженный интересами высшей культурной жизни, не могъ глядѣть на своихъ героевъ глазами «разсказчика», глазами Миргорода,—ему грустно дѣлалось за тѣ милліоны человѣчества, которые вездѣ, не только у насъ въ Россіи, ведутъ жизнь Миргорода, и у него вырвалось горькое восклицаніе: «скучно на этомъ свѣтѣ, господа!»

Судья.

Кромѣ двухъ друзей Гоголь вывелъ въ повѣсти еще нѣсколько типичныхъ образцовъ. Судья, который, во время судебнаго разбирательства, разговариваетъ о дроздахъ и, не слушая дѣла, его подписываетъ и беретъ взятки обѣими руками; городничій, выслужившійся изъ солдатъ, добродушный грабитель, который каждый день спрашиваетъ квартальныхъ, не нашлась ли пуговица отъ его мундира, потерянная имъ уже два года; чиновники и обыватели города, отъ самыхъ сановитыхъ до мелкихъ—все это обрисовано мастерски. Всѣ эти образы, сцены изъ жизни города (повѣтовый судъ, ассамблея въ домѣ городничаго)—фонъ безотрадной пошлости и мелочности, на которомъ такъ ярко выдѣляются два друга—«честь и украшеніе Миргорода». Если въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» подкупала читателя голубиная чистота героевъ, отсутствіе у нихъ претензій, то въ этой повѣсти пошлость жизни не прикрывается ничѣмъ. Простота безсознательности смѣнилась здѣсь смѣшнымъ искаженіемъ прежней патріархальной жизни новыми понятіями о чести, о достоинствѣ дворянина и чиновника—понятіями смутными, неосновательными, уродливыми, которыя еще яснѣе, еще очевиднѣе и безотраднѣе представляютъ бездну пошлости, сказывающейся за этими претензіями.

Городничій.

Жизнь города.

Сравненіе этой повѣсти съ „Старосвѣтскими помѣщиками“.

Такимъ образомъ, если мы сравнимъ эту повѣсть съ повѣстью «Старосвѣтскіе помѣщики», мы убѣдимся, что ни тѣни сочувствія къ этой жизни незамѣтно въ отношеніяхъ къ ней автора. Здѣсь Гоголь послѣдовательно и сознательно осудилъ «пошлость пошлаго человѣка». Здѣсь впервые опредѣленно сказалась его способность «вызывать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,— всю страшную потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ». Такимъ образомъ, въ этой повѣсти мы должны отмѣтить наличность характерной особенности гоголевскаго смѣха,—«смѣхъ сквозь слезы». Здѣсь нѣтъ той поэтической идеализаціи жизни, которую мы встрѣчаемъ въ «Вечерахъ на хуторѣ»,—не съ праздничной, а съ будничной, пошлой стороны рисуетъ Гоголь въ этихъ очеркахъ свою Украйну. Это уже не тотъ беззаботный юморъ, которымъ освѣщены многія повѣсти «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», — это горькій смѣхъ человѣка, тоскующаго о духовной скудости человѣка. Для Гоголя, какъ человѣка, сочиненіе такой повѣсти очень характерно: если юношей онъ рвался изъ этой сферы пошлыхъ обывателей въ какой-то другой лучшій міръ «истинныхъ людей», то теперь, озаренный идеалами этихъ лучшихъ людей, Гоголь спустился въ міръ «существователей», чтобы разобраться въ ихъ душахъ, посмотрѣть на нихъ «не равнодушными очами», а взоромъ человѣка, настроеннаго гуманно. Вотъ почему въ обрисовкѣ героевъ Миргорода нѣтъ сатиры, нѣтъ обличенія, нѣтъ суда,—есть только сожалѣніе къ нимъ, жалость къ человѣчеству вообще...

Гуманность Гоголя въ этой повѣсти.

Литературная исторія повѣсти.

Литературная исторія этой повѣсти вполнѣ ясна. Живыя впечатлѣнія захолустной малороссійской жизни, собранныя Гоголемъ въ 1832 г., когда онъ побывалъ на родинѣ, дали ему краски для обрисовки тѣхъ образовъ, ничтожность которыхъ онъ чувствовалъ еще юношей. Уже до него Нарѣжный въ повѣсти „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“ изобразилъ сутяжничество, которое свойственно человѣку, живущему мелочными интересами. То обстоятельство, что и у Гоголя выведены въ лицѣ героевъ два Ивана и изображено то же явленіе, очевидно, характерное въ мароссійскомъ захолустьѣ—страсть къ тяжбамъ—позволяетъ утверждать, что повѣсть Гоголя, въ литературномъ отношеніи, зависѣла отъ произведенія Нарѣжнаго. Но стоитъ сравнить оба произведенія, чтобы убѣдиться, что для Гоголя повѣсть Нарѣжнаго была только *темой*,—канвой, по которой онъ расшилъ самостоятельные рисунки,—намекъ у него обратился въ художественное произведеніе [1]).

„Два Ивана“ — повѣсть Нарѣжнаго.

---

[1]) „Заимствованіе“ Гоголемъ у Нарѣжнаго особенно сказалось въ слѣдующемъ эпизодѣ: у Нарѣжнаго одинъ изъ Ивановъ поджигаетъ мельницу врага,—у Гоголя Иванъ Ивановичъ подпиливаетъ гусиный хлѣвъ Ивана Никифоровича. Психологія обоихъ героевъ, ночью выполняющихъ свои „адскіе замыслы“, приблизительно сходно развита

„Тарасъ Бульба“. Отношеніе Гоголя къ этому сюжету.

Человѣкъ, съ опредѣленными стремленіями идеализировать старину,—Гоголь, вѣроятно, съ особой любовью писалъ повѣсть „Тарасъ Бульба“. Современная жизнь Украйны казалась ему сѣрой и скучной [1]),—здѣсь не было мѣста для размаха его воображенія, не было людей „интересныхъ“ въ романтическомъ вкусѣ; не видалъ здѣсь Гоголь, повидимому, никого кромѣ „существователей“, прозябающихъ безсознательной жизнью. Этотъ недостатокъ (неимѣніе цѣлей въ жизни, непониманіе ея смысла) всегда особенно возмущалъ Гоголя. Вотъ почему его больше настоящаго интересовало *прошлое* Малороссіи — то время, когда она жила бурной исторической жизнью, когда полна „смысломъ“ была жизнь всякаго казака, когда не было ненавистныхъ ему пошляковъ, а были „борцы“ за родину, за вѣру. Оттого, сочиняя своего „Тараса Бульбу“, Гоголь, вѣроятно, отдыхалъ душой,—сѣрая дѣйствительность окружающей жизни не тормозила его воображенія,—и свободно создавало оно героическіе образы и картины, возвышающія душу. Благодаря этому, Гоголю удалось въ своей повѣсти создать „эпопею казачества“. Въ самомъ дѣлѣ, размахъ его творчества въ этой повѣсти чисто-эпическій,—цѣлую эпоху народной жизни сумѣлъ онъ воплотить въ грандіозномъ обликѣ Тараса; въ лицѣ своего героя ему удалось уловить яркія національныя черты своего народа. Въ нѣкоторыхъ частностяхъ этой повѣсти (описаніяхъ, сравненіяхъ) Гоголь подымается до пріемовъ эпическаго творчества [2]).

Гоголь, какъ историкъ

Оцѣнивая съ этой точки зрѣнія произведеніе Гоголя, Н. А. Котляревскій называетъ автора «не историкомъ, а слагателемъ новой былины, у которой онъ иногда даже заимствуетъ обороты».

Но это замѣчаніе едва ли вполнѣ вѣрно: будучи поэтомъ-художникомъ, который былъ воодушевленъ народными преданіями и пѣснями и оттуда вынесъ свое проникновеніе въ духъ народа, въ его силы и героевъ,

---

у обоихъ писателей (см. о Нарѣжномъ во II ч. моей „Исторіи“). Кромѣ того, позаимствовался Гоголь кой-чѣмъ, вѣроятно, у другихъ писателей XVIII и XIX в.,—такъ образъ прихлебателя, котораго щелкаютъ ради потѣхи въ носъ, напоминаетъ собою и героя стараго романа „Злосчастный Никаноръ“, и одного вводнаго героя въ романѣ А. Измайлова „Евгеній“.

1) Сравни заключительныя слова „повѣсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“.

2) Напр., въ описаніи боя казаковъ съ поляками встрѣчаемъ мы „эпическое повтореніе“: три раза повторяетъ Тарасъ свое обращеніе къ казакамъ: „что, паны? есть еще порохъ въ пороховницахъ? не ослабѣла ли казацкая сила? еще не гнутся казаки?“ Пространное сравненіе Андрія съ „молодымъ, борзымъ псомъ“ отзывается Гомеромъ. Сравненіе его же съ „хлѣбнымъ колосомъ“, съ „молодымъ барашкомъ“, сравненіе битвы съ „шумнымъ пиромъ“ и многія другія частности, характерные признаки „поэмы“, позволяютъ видѣть въ повѣсти Гоголя произведеніе, въ которомъ эпическій элементъ очень силенъ.

Гоголь, конечно, въ то же время, былъ и историкомъ. Интересъ къ исторіи Малороссіи былъ у него чѣмъ-то органическимъ: среди юношескихъ его опытовъ встрѣчаемъ мы уже начало повѣсти изъ жизни казаковъ; эти казаки постоянно фигурируютъ въ его «Вечерахъ», то подымаясь до героическаго образа пана Данилы (въ повѣсти «Страшная месть»), то опускаясь до комическихъ очертаній Чуба и др. Какъ настоящій историкъ, всматривался Гоголь и въ причины, создавшія казачество, и старался оцѣнить тѣ слѣдствія, которыя неизбѣжно вытекали изъ этого сложнаго явленія. Мы знаемъ, что Гоголь собирался написать даже обширную исторію Малороссіи; въ своихъ «Арабескахъ» характеризуя «малороссійскія пѣсни», онъ много говоритъ о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя создали богатырскій размахъ русской души, выразившійся въ образованіи Запорожской Сѣчи. Да и въ повѣсти «Тарасъ Бульба» неразъ Гоголь отклоняется въ сторону исторіи,—многіе факты изъ жизни своихъ героевъ объясняетъ условіями тогдашней жизни. Какъ историкъ, Гоголь добросовѣстно изучалъ прошлое Украйны и по ученымъ трудамъ, и по источникамъ, и по народнымъ произведеніямъ, и по запискамъ современниковъ. Если, тѣмъ не менѣе, онъ многое невѣрно понялъ въ прошломъ Малороссіи, то это еще небольшая вина, — при тогдашнемъ состояніи науки даже исторія великой Руси не была еще истолкована сколько-нибудь удовлетворительно.

Историческія ошибки Гоголя въ этой повѣсти.

Главная ошибка Гоголя, какъ историка, заключалась въ томъ, что онъ внесъ романтическую окраску въ историческую жизнь Украйны: такихъ «полковниковъ», какъ Бульба, онъ представилъ какими-то феодальными рыцарями, которые имѣютъ свои «полки», сами рѣшаютъ вопросы войны и мира. Въ то время полковники были «выборные» и надъ своимъ полкомъ не имѣли той власти, которую впослѣдствіи помѣщики пріобрѣли надъ своими крѣпостными. Такимъ образомъ, отношеніе господъ къ крѣпостнымъ Гоголь перенесъ въ XV в., произвольно придавъ этимъ отношеніямъ феодальный характеръ, что было ошибкой. Очевидно, что романтическая литература, съ ея замками, феодалами и самовластными средневѣковыми баронами, оказала, въ этомъ отношеніи, чрезмѣрное вліяніе на Гоголя и исказила историческую вѣрность его повѣсти. Такая же тенденція придать казачеству характеръ рыцарскаго ордена замѣчается и въ изображеніи жизни Запорожской Сѣчи.

Романтизмъ помѣшалъ Гоголю и вѣрно представить психологію нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Если безукоризненно нарисованъ Тарасъ и его сынъ Остапъ, то совершенно фальшиво представленъ Андрій. Казакъ грубаго XV вѣка представленъ какимъ-то «романтическимъ любовникомъ», съ самыми тонкими настроеніями изящной, чувствительной души. Но историческая цѣнность повѣсти, несмотря на присутствіе историческихъ промаховъ, всетаки велика. Въ образѣ Тараса Гоголю удалось изобразить дѣйствительно-національный типъ.

Малороссійское казачество; историческій смыслъ казачества.

Историческій смыслъ малороссійскаго казачества заключался въ борьбѣ за народность и вѣру. Эта борьба съ турками, татарами и поляками закалила народный характеръ, придала людямъ Украйны черты желѣзной энергіи, которая часто то задерживалась и скрывалась подъ личиной хитрости и простодушнаго лукавства, даже флегматичности и лѣни,—то вдругъ вы-

Разносторонность жизни. рывалась на свободу и принимала широкія размѣры стихійной силы, не знавшей удержу и предѣловъ. Жизнь была сложна—приходилось бороться и хитростью, и силой, приходилось быть и дипломатомъ, и солдатомъ... Нужды времени требовали и многихъ другихъ практическихъ знаній: каждый казакъ долженъ былъ быть и землепашцемъ, и охотникомъ, и скотоводомъ, и садовникомъ, и врачомъ, и ремесленникомъ. Это развивало разносто-

Свобода жизни ронность, находчивость, предпріимчивость, но не привязывало человѣка къ какому-нибудь одному опредѣленному дѣлу. Постоянная готовность идти на встрѣчу опасности, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ пріучали равнодушно смотрѣть въ глаза смерти, не дорожить своей головой, но не стѣсняться и чужой судьбой...

Отношеніе къ семьѣ. Безпутно и безалаберно шла здѣсь жизнь: семья и домашній очагъ были казаку ненужны; эти привязанности замѣнялись у нихъ духомъ «товарищества», связавшимъ ихъ въ вольную дружину удальцовъ-«лыцарей», собиравшихся въ Запорожской Сѣчи. Суровая жизнь, полная опасности, развивала въ ихъ сердцахъ духъ удальства и, въ то же время, умѣніе на всѣ опасности глядѣть съ равнодушнымъ спокойствіемъ, даже

Идеалы. съ юморомъ. Для нихъ «святымъ» въ жизни было немногое, — христіанская вѣра, родина да чувство товарищества. Эти немногіе и простые идеалы однако наполняли ихъ жизнь смысломъ, очищали, облагораживали ихъ существованіе, дѣлали ихъ «лыцарями», какъ они сами себя называли, оправдывали, въ ихъ собственныхъ глазахъ, и разбойничьи набѣги на берега Чернаго моря, и жестокія расправы съ евреями и католиками.

Патріотизмъ. Патріотизму они служили беззавѣтно,—онъ былъ главнымъ идеаломъ ихъ жизни—идеаломъ суровымъ и жестокимъ, затемнявшимъ всѣ другія привязанности и стремленія (къ семьѣ, къ женщинѣ, къ мирнымъ заня-

Національныя черты казаковъ въ герояхъ другихъ повѣстей Гоголя. тіямъ). Многія изъ этихъ чертъ сохранились въ душѣ малороссовъ и до временъ Гоголя, и въ своихъ «Вечерахъ», въ «Віѣ» онъ собралъ всѣ эти измельчавшіе остатки прежнихъ чувствъ, скованныхъ блестящимъ прошлымъ, но уже не находящихъ себѣ объясненія въ настоящемъ... Въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь объяснилъ, откуда взялось у малороссовъ это лѣнивое равнодушіе, эта флегматичность, этотъ юморъ и упрямство,—всѣ тѣ національныя черты, которыя собраны и воплощены имъ въ дѣйствующихъ лицахъ его героической повѣсти: чтò въ современной жизни казалось смѣшнымъ, даже карикатурнымъ, то, въ историческомъ освѣщеніи героической повѣсти, пріобрѣло серьезный и глубокій интересъ. Вотъ почему и сама повѣсть, и главный герой ея имѣютъ большое историческое значеніе.

Характеристика Тараса. Тарасъ Бульба является носителемъ всѣхъ типичныхъ сторонъ казачества. Человѣкъ, полный энергіи, не выносящій мирной, домашней жизни, до сѣдыхъ волосъ увлекающійся бурной жизнью, полной опасностей и тревогъ, онъ рисуется во весь ростъ, какъ семьянинъ, какъ военачальникъ, какъ человѣкъ вообще.

Бульба—семьянинъ. а) Отношеніе къ женѣ. Это—суровый мужъ и суровый отецъ. Съ презрѣніемъ относится онъ къ женѣ, которая, по его словамъ, только «баба», т. е. существо, безконечно ничтожное. Она, въ его глазахъ, не пользуется никакимъ авторитетомъ, и сыновей своихъ онъ пріучаетъ не подчиняться ея вліянію. Мягкость

женской души, въ его глазахъ, большая опасность для удалого казака; если онъ поддастся чарамъ любви женщины,—все равно даже материнской,—онъ можетъ «обабиться», сдѣлаться «мазунчикомъ» и погибнетъ для великаго дѣла служенія родинѣ. Какъ отецъ, Бульба представляется такимъ же суровымъ,—онъ не допускаетъ въ отношеніяхъ съ сыновьями ласки и мягкости и предпочитаетъ стать съ ними сразу въ отношенія старшаго товарища. Вотъ почему онъ, при первой же встрѣчѣ съ вернувшимися домой сыновьями, вступаетъ въ кулачную драку съ старшимъ, чтобы узнать его темпераментъ и силу, т. е. опредѣлить цѣнность въ немъ будущаго боевого товарища. Когда приходится ему рѣшать, что для него выше—любовь и жалость отца къ сыну, или любовь гражданина къ родинѣ, онъ безъ колебаній и сомнѣній, съ рѣшительностью истаго римлянина ставитъ послѣднее чувство выше перваго и убиваетъ своею рукою Андрія, измѣнившаго родинѣ. b) Отношеніе къ дѣтамъ.

Какъ военачальникъ, Бульба энергиченъ, неутомимъ, предпріимчивъ; онъ не знаетъ страха, усталости... Своихъ удальцовъ-«лыцарей» онъ знаетъ прекрасно, умѣетъ вліять на нихъ и словомъ, и дѣломъ: когда надо—онъ пошутитъ, когда—зажжетъ ихъ сердца воодушевленной патріотическою рѣчью, а иногда ихъ удаль умѣетъ воспламенить и лишней бочкой «горілки». Онъ хитеръ и прозорливъ,—въ Запорожской Сѣчи онъ ведетъ себя, какъ истый дипломатъ: ловко управляя психикой казаковъ, онъ легко добивается назначенія новаго кошевого. Во время примиренія казаковъ съ поляками, Бульба оказывается дальновиднѣе всѣхъ. Къ своимъ ратнымъ товарищамъ относится онъ по-братски, со всею нѣжностью на какую онъ только способенъ. Въ немъ глубоко развитъ духъ товарищества: умирая мучительною смертью, онъ думаетъ не о себѣ, а о своихъ ратныхъ товарищахъ и находитъ въ себѣ довольно силъ, чтобы казакамъ, уносящимъ свои головы, указать пути спасенія. Бульба, какъ военачальникъ, дипломатъ, товарищъ.

Какъ человѣкъ, Бульба является воплощеніемъ тѣхъ національныхъ чертъ, которыя намѣчены Гоголемъ въ различныхъ герояхъ его повѣстей. Только въ образѣ Бульбы эти черты представлены въ крупномъ видѣ. Упрямство казака Чуба—упрямство глупое и смѣшное, потому что направлено на вздоръ,—у Тараса вырастаетъ въ упорство титана, воодушевленнаго патріотизмомъ. Равнодушіе и лѣнивая флегматичность комическихъ хохловъ различныхъ повѣстей Гоголя—вырастаетъ въ лицѣ Тараса въ героическое спокойствіе передъ лицомъ дѣйствительной смерти... Юморъ его суровъ и не смѣшонъ,—онъ отзывается смертью. Самъ Тарасъ—изъ стали отлитая фигура, въ то же время страстная, мятежная. Но, жестокій и суровый въ дѣлѣ расправы и мести, Тарасъ великодушенъ, когда надо отплатить за содѣянное добро: онъ щадитъ Янкеля за ту помощь, которую онъ оказалъ когда-то его брату. Гордый и непреклонный, онъ умѣетъ на время смириться, забыть о своемъ «лыцарскомъ достоинствѣ» и, подъ покровительствомъ Янкеля, подъ кирпичами ѣхать въ Варшаву, чтобы повидать своего богатыря-сына, приговореннаго къ смерти... Онъ ѣхалъ къ нему не какъ отецъ, а какъ его ближайшій другъ и ратный товарищъ, чтобы поддержать силы его мужественнаго сердца. Но честь казачества была дороже для него этой «товарищеской любви» къ Остапу, и не вы- Бульба, какъ человѣкъ.

держалъ онъ брани по адресу казаковъ,—выругался самъ, не побоявшись поставить на карту свою голову и свиданіе съ сыномъ. Въ моментъ казни Остапа, когда мужество стало покидать юношу и онъ воскликнулъ: «Батько! гдѣ ты? слышишь ли ты все это?»—онъ воодушевилъ его своимъ желѣзнымъ крикомъ: «Слышу!»—и мужество сына-героя было спасено!..

Остапъ. Подъ стать Тарасу его старшій сынъ Остапъ: еще сидя на школьной скамьѣ въ кіевской бурсѣ, онъ закалилъ свой характеръ—наслѣдіе, полученное отъ отца. Изъ этой суровой школы вынесъ онъ презрѣніе къ физической боли и духъ товарищества, нелюбовь къ наукѣ и страсть къ вольной жизни. Онъ здѣсь выросъ свободный, вполнѣ готовый къ жизни и явился въ родной домъ безъ всякихъ нѣжныхъ чувствъ къ отцу, *какъ къ отцу*,—онъ уважалъ въ немъ *казака*, доблестнаго «лыцаря», и охотно пошелъ къ нему «въ науку». Запорожская Сѣчь, съ ея правами и законами, а затѣмъ бурная бранная жизнь въ короткое время сдѣлали изъ него истаго запорожца, который и драться умѣлъ безъ страха, и умереть безъ стона. Какъ Тарасъ, онъ съ презрѣніемъ относился къ женщинѣ,—онъ не нужна была его юному, но уже суровому сердцу. И Тарасъ, и Остапъ—герои малороссійскихъ «думъ», пѣсенъ о доблестныхъ защитникахъ родины и вѣры.

Андрій. Не таковъ былъ его братъ Андрій. Это—казакъ-романтикъ, подобный герою любовныхъ малороссійскихъ пѣсенъ, который умѣетъ приласкать женское сердце, найдетъ много ласковыхъ именъ для милой дѣвушки... Это—Левко изъ «Майской ночи», паробокъ изъ «Сорочинской ярмарки». Это—нѣжная натура, откликающаяся на призывъ матери, на любовь женщины... Но это натура страстная и сильная, которая можетъ рѣшиться на многое...

Еще на школьной скамьѣ Андрій отличался большимъ воображеніемъ и мечтательностью. Къ предпріятіямъ товарищей онъ относился, какъ поэтъ,—не достиженіе цѣли ему было дорого, а тѣ настроенія, которыя волновали его. Когда онъ дрался съ поляками,—ему дороги были не цѣли этой борьбы, а самая битва,—«поэзія битвы», ея настроенія... Вотъ почему идеалы казачества не могли глубоко овладѣть его пылкой, поэтической душой; вотъ почему, побѣжденный новыми «настроеніями», онъ легко перешелъ на сторону поляковъ...

Образъ Андрія—слишкомъ тонокъ и сложенъ для той суровой казачьей среды, изъ которой вывелъ его Гоголь. Вотъ почему можно съ полнымъ правомъ сомнѣваться, правдивъ ли этотъ образъ въ историческомъ отношеніи.

Соединеніе въ повѣсти романтизма и реализма. а) романтизмъ. Повѣсть Гоголя представляетъ собой соединеніе *романтическаго и реалистическаго* элементовъ: а) *Романтическій элементъ* въ повѣсти сказался въ нѣкоторой произвольной подкраскѣ малороссійской исторической жизни. Идеализація старины (особенно среднихъ вѣковъ) была излюбленнымъ пріемомъ романтиковъ-историковъ. Такой писатель, какъ Вальтеръ-Скоттъ, далъ, въ этомъ отношеніи, самые характерные образцы. Гоголь пошелъ по его слѣдамъ. Вотъ почему, несмотря на всѣ достоинства историческія, повѣсть «Тарасъ Бульба» остается, все-таки, по существу своему, однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ нашей романтики.

Это повѣсть о *герояхъ* и ихъ подвигахъ; и сами герои, и ихъ дѣянія переходятъ нерѣдко за черту возможнаго и правдоподобнаго. Грандіозность размѣровъ въ очертаніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ, равно и въ описаніи событій, бросается въ глаза всякому при первомъ же взглядѣ. «Читатель не получаетъ отъ разсказа впечатлѣнія эпически-спокойнаго и ровнаго. Онъ все время тревожно настроенъ: такъ подымаетъ его настроеніе самъ авторъ полетомъ собственнаго лиризма, или торжественнаго паѳоса» [1]) (Котляревскій). Эта грандіозность образовъ и патетичность описаній — характерные признаки романтизма. Читая многія страницы повѣсти, «чувствуешь себя, говоритъ Н. А. Котляревскій, невольнымъ участникомъ дѣяній какого-то сказочнаго міра,—міра преданій, или миѳа». Романтическій элементъ отмѣтили мы и въ обрисовкѣ Андрія, и въ исторіи его любви къ прелестной полячкѣ.

b) *Реалистическій элементъ* въ повѣсти всецѣло отнесенъ на бытовую ея сторону. Описаніе домашней обстановки и жизни казака, военная и мирная жизнь Сѣчи, голодный городъ, лагерная жизнь, типы казаковъ и евреевъ, описаніе Варшавы, особенно еврейскаго квартала, — все это перлы художественнаго реализма. b) Реализмъ въ повѣсти.

Литературная исторія повѣсти очень сложна и до сихъ поръ еще не выяснена съ достаточной полнотой. Прежде всего, интересъ къ прошлому Малороссіи, и особенно къ казачеству, какъ самому яркому явленію ея исторіи, былъ силенъ у Гоголя съ юности. Онъ мечталъ то объ исторической трагедіи изъ жизни старой Украины, то объ исторіи Малороссіи, „въ шести малыхъ, или въ четырехъ большихъ томахъ“. Для этой исторіи онъ даже собиралъ матеріалы, по его словамъ,—„около пяти лѣтъ“. Матеріалы эти очень разнообразны—лѣтописи малороссійскія, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ, дѣловыя бумаги, „Исторія Малой Россіи“ Бантыша-Каменскаго была тоже пособіемъ, ему хорошо извѣстнымъ. Но изъ всѣхъ этихъ „пособій“ и „матеріаловъ“ Гоголь вскорѣ особое вниманіе остановилъ на „народныхъ пѣсняхъ“. „Моя радость, жизнь моя, пѣсни! — писалъ онъ собирателю ихъ Максимовичу— Какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, передъ этими звонкими, живыми лѣтописями! Я не могу жить безъ пѣсенъ... Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни,—онѣ всѣ даютъ по новой чертѣ въ мою исторію!“ — „Каждый звукъ пѣсни мнѣ говоритъ живѣе

Литературная исторія повѣсти.

Интересъ Гоголя къ исторіи Малороссіи.

Интересъ Гоголя къ народнымъ пѣснямъ.

[1]) Ср., напр., описаніе того момента, когда Бульба спѣшилъ на выручку Остапа: „Какъ молнія, ворочались во всѣ стороны его запорожцы. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосѣ. Свирѣпо наносилъ онъ свои крѣпкіе удары, воспламеняясь болѣе и болѣе отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, переносили звонкія поля. Наконецъ сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ“.

о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткія лѣтописи»,—писалъ онъ Срезневскому. «Пѣсни—это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа, — писалъ онъ въ «Арабескахъ» о малороссійскихъ пѣсняхъ. «Въ этомъ отношеніи пѣсни, для Малороссіи—все: и поэзія, и исторія и отцовская могила». Гоголь говоритъ далѣе, что чуткій историкъ по пѣснямъ можетъ узнать «бытъ, стихію характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій народа, духъ минувшаго вѣка, общій характеръ всего цѣлаго, такъ что исторія разоблачится передъ нимъ въ ясномъ величіи». «Всѣ эти указанія, идущія отъ самого автора, затѣмъ рядъ изслѣдованій, сдѣланныхъ учеными критиками, доказываютъ, что пѣсни оказали большое вліяніе на повѣсть (особенно въ первой ея редакціи); онѣ отразились на *стилѣ* повѣсти,—особенно на *лирическихъ* ея *мѣстахъ*: описаніяхъ битвъ, характеристикѣ Тараса и Остапа, въ любовной исторіи Андрія. Мѣстами самый языкъ повѣсти принимаетъ складъ народной пѣсни,—переходитъ въ ея размѣръ. Пониманіе казачества, его идеалы—все это навѣяно пѣснями.

Отраженіе пѣсенъ на повѣсти Гоголя.

Вліяніе исторіи на повѣсть.

Изъ историческихъ сочиненій Гоголь позаимствовался нѣкоторыми фактами: жизнь Сѣчи, ея обычаи и нравы, различныя детали вѣковой борьбы казачества съ Польшей,—все это взято изъ историческихъ сочиненій.

„Славянофильство“ въ повѣсти.

Выразилъ Гоголь въ повѣсти и свои завѣтныя стремленія и идеалы: въ уста Тараса Бульбы вложилъ онъ горячую рѣчь, прославляющую Русь и русскаго человѣка. Вліяніе друзей-славянофиловъ сказалось ясно въ этомъ апоѳеозѣ русской души: «нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — любить не то, чтобы умомъ, или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ—а!.. нѣтъ!—такъ любить никто не можетъ!»...

Вальтеръ-Скоттъ и европейскій историческій романъ.

Гоголь имѣлъ себѣ предшественниковъ и въ иностранной, и въ русской литературѣ. Отцомъ историческаго романа считается Вальтеръ-Скоттъ: онъ первый сумѣлъ сочетать знаніе исторіи съ занимательностью поэтическаго разсказа; онъ первый научилъ въ историческомъ романѣ правдоподобіе разсказа строить на вѣрной передачѣ couleur locale (couleur historique и couleur éthnografique). Цѣлая плеяда историковъ-романистовъ пошла по его стопамъ: Викторъ Гюго, Виньи, у насъ Пушкинъ, были наиболѣе видными представителями этого жанра. Гоголь примкнулъ къ этому почетному списку.

Менѣе замѣтнымъ романистомъ былъ у насъ Нарѣжный, который написалъ немало историческихъ повѣстей, сентиментальныхъ и патріотическихъ. Выше его стоитъ популярный у насъ Марлинскій; его разсказы изъ русской исторіи отличаются внѣшней исторической правдой, — онъ старательно изображалъ историческую вѣрность обстановки,—декораціи, но не вникалъ въ духъ прошлаго. Оттого его герои древней Руси говорятъ и мыслятъ, какъ люди XIX столѣтія. Романъ Загоскина „Юрій Милославскій“ въ свое время, былъ крупнымъ литературнымъ событіемъ, но впослѣдствіи критика развѣнчала это произведеніе; фальшивый патріотизмъ, приведшій къ крайней идеализаціи всего русскаго и къ карикатурному высмѣиванью польскаго—главная черта этого романа. Историческій элементъ въ повѣсти слабо выдержанъ и носитъ лубочный характеръ. Популярны были и романы Лажечникова, но и въ нихъ было немало обычныхъ романтическихъ ужасовъ, восторговъ сентиментальности въ любовныхъ приключеніяхъ и фальшиваго патріотизма.

Предшественники Гоголя въ созданіи русскаго историческаго романа: Нарѣжный. Марлинскій. Загоскинъ. Лажечниковъ.

Всѣ эти произведенія Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова и др. принадлежали къ группѣ романтическихъ историческихъ романовъ; „Тарасъ Бульба“ примкнулъ къ нимъ. Такимъ образомъ, „новыхъ путей“ въ созданіи историческаго романа Гоголь не указалъ, но старое довелъ до совершенства. Въ „Тарасѣ Бульбѣ“ онъ избѣжалъ всѣхъ антихудожественныхъ условностей, не понижая общаго романтическаго тона всей повѣсти: „сентиментальную любовную интригу онъ не довелъ до приторности, героизмъ въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ не повысилъ до фантастическаго“ (Котляревскій). Его патріотизмъ не былъ тенденціознымъ, и морали въ своей повѣсти онъ не навязывалъ никакой. Кромѣ того, въ деталяхъ своего разсказа онъ сумѣлъ остаться строгимъ реалистомъ. Вотъ почему, въ художественномъ отношеніи, его романъ неизмѣримо выше романовъ его предшественниковъ, но онъ ниже „Капитанской дочки“ Пушкина—произведенія, въ которомъ великому поэту удалось найти новый жанръ — чисто-„*реалистическій* историческій романъ“.

Отношеніе „Тараса Бульбы“ къ предшествующимъ произведеніямъ этого рода.

Въ одно приблизительно время съ «Миргородомъ» выпустилъ Гоголь въ свѣтъ свой другой сборникъ: «Арабески». Сюда вошли его статьи историческаго, эстетическаго, критическаго, философскаго, педагогическаго и беллетристическаго содержанія. Гоголь всегда нѣсколько преувеличивалъ въ себѣ «мыслителя» засчетъ «художника». Это сказалось и на отношеніи Гоголя къ тѣмъ статьямъ, которыя онъ помѣстилъ въ этотъ сборникъ. Судя по его предисловію, онъ самъ признавалъ, что не все, сюда

Арабески.

вошедшее, заслуживаетъ печати, но въ то же время, не безъ доли самомнѣнія, онъ заявлялъ, что всетаки считаетъ нужнымъ выпустить въ свѣтъ все безъ изъятія, полагая, что русской публикѣ полезно будетъ узнать нѣкоторыя его мысли: «если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще не сказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя,—и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго». Если мы, дѣйствительно, съ полнымъ правомъ признаемъ, что въ статьяхъ Гоголя найдется немало справедливыхъ и вѣрныхъ мыслей, то всетаки такое нескромное заявленіе автора, что онъ высказываетъ «истины», очень характерно для Гоголя. Эта нескромность подмѣчена была современной критикой и только обострила ея отношеніе къ «Арабескамъ».

Статьи „Арабесокъ" эстетическаго содержанія.

Статьи Гоголя *эстетическаго* содержанія («Скульптура, живопись и музыка», «Объ архитектурѣ нынѣшняго времени», «Послѣдній день Помпеи») представляютъ собою (особенно первая) скорѣе стихотворенія въ прозѣ, чѣмъ разсужденія. Стиль этихъ статей отличается паѳосомъ: Гоголь расточаетъ метафоры, сравненія, восклицательные знаки,—и, въ результатѣ, въ его этюдахъ больше поэзіи,—чувства, настроенія, чѣмъ мысли. Въ первой своей статьѣ Гоголь, слѣдуя за нѣмецкими романтиками, поетъ гимнъ музыкѣ, высшему изъ всѣхъ искусствъ, сильнѣе другихъ дѣйствующему на наши души. Онъ полагаетъ, что одна музыка можетъ прогнать эгоизмъ, овладѣвающій міромъ людей, что она нашъ «юный и дряхлый вѣкъ» вернетъ къ Богу. «Она вся—порывъ, писалъ онъ о музыкѣ, она вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ; она обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ—онъ самъ превращается въ страданіе, душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно...» Въ статьѣ «объ архитектурѣ» онъ указываетъ на современное паденіе этого искусства и процвѣтаніе его въ прошломъ. Изъ всѣхъ архитектурныхъ стилей съ восхищеніемъ останавливаетъ онъ свое вниманіе на стилѣ готическомъ, средневѣковомъ.

«Нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая»—писалъ онъ. «Но они прошли—тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра, устремляла всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался... Зданіе его летѣло къ небу, узкія окна, столпы, своды, тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла...»

Въ статьѣ «Послѣдній день Помпеи» онъ превозноситъ извѣстную картину Брюлова, указывая его умѣніе пользоваться «эффектами» [1],—умѣніе сочетать реальное съ идеальнымъ.

---

[1]) Н. А. Котляревскій совершенно справедливо отмѣчаетъ, что пріемъ пользоваться „эффектами" присущъ въ значительной степени самому Гоголю, — поэтому онъ и обратилъ вниманіе на эту сторону творчества Брюллова.

Историческія статьи Гоголя («О среднихъ вѣкахъ», «Жизнь», «Взглядъ на составленіе Малороссіи», «О малороссійскихъ пѣсняхъ», «Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ», «О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка») явились, какъ результатъ его романтическихъ увлеченій средними вѣками [1]), занятій исторіею Малороссіи и университетскими лекціями. Не какъ ученый подошелъ Гоголь къ исторіи, а какъ поэтъ, художникъ, богато надѣленный лиризмомъ и яркой фантазіей, и патетическимъ цвѣтистымъ стилемъ... Онъ рисуетъ картины, набрасываетъ живые портреты,—онъ творитъ, но только тогда, когда сюжетъ возбуждаетъ его вдохновеніе. Съ истиннымъ увлеченіемъ поетъ онъ гимнъ среднимъ вѣкамъ, бросаетъ нѣсколько пламенныхъ строкъ «крестовымъ походамъ», «средневѣковой женщинѣ», «страшнымъ тайнымъ судамъ», старому дому, въ которомъ живетъ алхимикъ, и пр.,—все это сюжеты «интересные», на которыхъ столько разъ останавливалось и останавливается вниманіе поэта и живописца... Кромѣ такого эстетизма «романтическаго пошиба» внесъ Гоголь въ свое пониманіе исторіи религіозное и консервативное міровоззрѣніе. Онъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, что «не люди совершенно устанавливаютъ правленіе, что его нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли [2]), отъ котораго зависитъ народный характеръ, что поэтому-то формы правленія и священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ». Онъ и съ профессорской каѳедры, и въ своихъ статьяхъ училъ, что всеобщая исторія есть осуществленіе плановъ Провидѣнія. Мудростью Промысла объяснялъ онъ переселеніе народовъ, освѣжившихъ старыя, увядающія цивилизаціи; Божественное Провидѣніе, по его словамъ, усилило власть римскаго первосвященника, и это усиленіе сплотило Европу, просвѣтило варваровъ.

Статьи „Арабесокъ“ историческаго содержанія.

Такимъ образомъ, въ свои статьи Гоголь много вносилъ субъективизма—своихъ увлеченій, своихъ взглядовъ... Въ статьѣ о калифѣ Ал-Мамунѣ онъ высказалъ интересный взглядъ на государственное значеніе «великаго поэта». «Они—великіе жрецы,—говоритъ Гоголь. Мудрые властители чествуютъ такихъ поэтовъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоцѣнную жизнь и опасаются подавить ее многостороннею дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца». Изъ этихъ словъ видно, что Гоголь «поэту» придавалъ неизмѣримо больше значенія, чѣмъ Пушкинъ, который видѣлъ въ поэтѣ «личность», но никогда не смотрѣлъ на него, какъ на «государственнаго дѣятеля», совѣтника царей... Какія причудливыя картины рисовала Гоголю его блестящая фантазія, вдохновленная историческими видѣніями, лучше всего, видно изъ его «стихотворенія

Взглядъ Гоголя на значеніе поэта.

---

[1]) Эпоха, излюбленная романтиками. Недаромъ ученики Нѣжинскаго лицея временъ Гоголя интересовались, главнымъ образомъ, этой эпохой и даже вадумали сочинить книгу, посвященную этой эпохѣ.

[2]) Оттого онъ такое значеніе придавалъ изученію „географіи“. Климатъ, почва,—конечно, большое значеніе имѣютъ на исторію народа въ *первоначальный періодъ* его жизни, когда онъ находится подъ властію природы, но всетаки не такое рѣшающее, какъ думали въ началѣ XIX в. нѣкоторые историки (напр. Кузенъ), которые брались по географіи извѣстной земли говорить объ ея исторіи. Исторія культуры доказываетъ, что, съ теченіемъ времени, географическія вліянія все слабѣютъ: человѣкъ побѣждаетъ природу,

въ прозѣ»: «Жизнь». Въ нѣсколькихъ строкахъ ясно виденъ поэтъ-историкъ, сумѣвшій уловить характерныя черты міровоззрѣній древняго Египта, веселой Греціи, желѣзнаго Рима,—сумѣвшій сопоставить древнія цивилизаціи міра лицомъ къ лицу съ христіанствомъ. Отъ этого вдохновеннаго и красиваго произведенія, быть можетъ, ведутъ свое начало «Стихотворенія въ прозѣ» Тургенева.

Гоголь о малороссійскихъ пѣсняхъ.

Въ статьѣ «о пѣсняхъ малороссійскихъ» онъ отмѣтилъ огромную историческую цѣнность этихъ народныхъ произведеній, въ которыхъ сохранились живыя лица борцовъ за родину, сохранились тѣ чувства, которыми жили эти борцы; и, въ то же время въ этихъ пѣсняхъ вырисовывается ясно поэтическій образъ малороссійской женщины,—образъ, полный любви, ласки и красоты, осужденный суровой исторіей на разлуку, сиротство, вдовство... Гоголь отмѣчаетъ живой драматизмъ, какъ характерную черту этихъ пѣсенъ.

Гоголь объ исторіи Малороссіи.

Въ статьѣ «Взглядъ на составленіе Малороссіи» Гоголь даетъ сжатую исторію своей родины и особенно подробно останавливается на исторіи и характеристикѣ казачества. Идеи, имъ здѣсь выраженныя сжато, нашли блестящее, художественное воплощеніе въ «Тарасѣ Бульбѣ». Въ этой статьѣ любопытенъ взглядъ Гоголя на древнерусскую исторію,—оказывается, послѣкіевскій періодъ совсѣмъ не затронулъ его поэтической воспріимчивости. Гоголь находитъ XIII вѣкъ «ужасно ничтожнымъ» временемъ, и въ то же время жестокимъ: «народъ пріобрѣлъ хладнокровное звѣрство, говоритъ онъ, потому что онъ рѣзалъ, самъ не зная, за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство—ни фанатизмъ, ни суевѣріе, ни даже предразсудокъ».

Гоголь о Пушкинѣ.

Изъ критическихъ статей очень цѣнно разсужденіе Гоголя о Пушкинѣ. «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ». Въ этой статьѣ онъ впервые ясно и опредѣленно объясняетъ то понятіе «народность», которое русской критикой, въ примѣненіи къ Пушкину, толковалось вкривь и вкось: одни критики смѣшивали это понятіе съ «простонародностью», другіе съ «націонализмомъ». «Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа,—писалъ Гоголь въ этой статьѣ. Это—русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Самая жизнь его совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. Онъ остался русскимъ всюду, куда его забрасывала судьба: и на Кавказѣ, и въ Крыму, т. е. тамъ, гдѣ имъ написаны тѣ изъ его произведеній, въ которыхъ хотятъ видѣть всего больше подражательнаго. Онъ, при самомъ началѣ своемъ, уже былъ націоналенъ, потому что *истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ,* когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами...» Въ этой же статьѣ Гоголь превознесъ Пушкина за его художественный «реализмъ», и опредѣлилъ сущность этого направленія, осудивъ романтизмъ за наклон-

Гоголь о реализмѣ.

ность изображать только эффектное. Обвиненіе любопытное въ устахъ Гоголя, который въ эту пору еще самъ не отдѣлался отъ указанной имъ романической слабости. Онъ защищаетъ Пушкина отъ нападенія критики, которая привыкла восхищаться его романтическими поэмами изъ кавказской и крымской жизни—и не поняла той «поэзіи дѣйствительности», съ которою великій поэтъ выступилъ въ «Онѣгинѣ», «Годуновѣ»... «Масса народа,—писалъ по этому поводу Гоголь,—похожа на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя совершенно похожій портретъ; но горе ему, если онъ не сумѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ, въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный, какъ воля, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя, и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаясь въ ущельѣ, или выжегъ цѣлую деревню, однако же онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья, въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. Но и тотъ, и другой, они оба—явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе».

Изъ этихъ знаменательныхъ словъ видно, что пока Гоголь, защищая Пушкина-реалиста, признавалъ равноправіе за обоими художественными направленіями,—недалеко было уже то время, когда онъ, вслѣдъ за Пушкинымъ, цѣликомъ перейдетъ на сторону реализма.

Беллетристическія статьи въ „Арабескахъ".

Къ «беллетристическимъ» статьямъ, вошедшимъ въ составъ «Арабесокъ», принадлежатъ три: «Портретъ» (въ первой редакціи), «Невскій проспектъ», и «Записки сумасшедшаго». Изъ перечисленныхъ первыя двѣ повѣсти тенденціозны; онѣ представляютъ собою изложеніе взглядовъ Гоголя на жизнь и психическій міръ художника [1]).

Исходя изъ своего возвышеннаго взгляда на значеніе поэта-художника [2]), полагая, что «всякій геній—благословеніе Божіе человѣчеству», онъ естественно интересовался тѣмъ, каковы обязанности «генія», какія радости и печали встрѣтитъ онъ въ обществѣ простыхъ людей. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ этотъ вопросъ о призваніи поэта, о борьбѣ поэта съ прозой жизни былъ жгучимъ и интересовалъ не одного Гоголя. Художникъ, музыкантъ, поэтъ—непонятые людьми, были любимыми героями многихъ повѣстей и романовъ того времени, не только русскихъ, но и иностранныхъ (Гофманъ). Обыкновенно, этотъ «геній» былъ несчастливъ; его оскорбляла «чернь», онъ тщетно боролся съ житейской пошлостью, и жизнь его кончалась почти всегда трагически [3]).

---

[1]) Гоголь по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ сблизился съ нѣкоторыми художниками; впослѣдствіи въ Римѣ онъ постоянно вращался въ кругу художниковъ; онъ любилъ музыку, изучалъ исторію искусствъ, много работалъ надъ развитіемъ своего эстетическаго вкуса. Изъ этихъ интересовъ его къ искусствамъ и развились его теоретическіе взгляды на искусство.

[2]) Взглядъ, быть можетъ, развившійся у Гоголя подъ вліяніемъ философіи Шеллинга, хотя не сохранилось никакихъ доказательствъ знакомства Гоголя непосредственно съ ученіемъ этого философа.

[3]) Изъ современныхъ Гоголю писателей, охотно развивалъ подобныя темы В. Ѳ. Одоевскій; онъ любилъ взывать къ «чувству возвышеннаго» и обличалъ пошлость жизни. Въ повѣстяхъ «Послѣдній квартетъ Бетховена»,

„Портретъ".

Изъ повѣстей Гоголя особенно интересна «Портретъ»; надъ нею онъ много трудился и ее неразъ передѣлывалъ. Въ повѣсти разработаны двѣ темы—1) о гибели художника Черткова и 2) о страшномъ ростовщикѣ.

„Чистое искусство".

Главная мысль повѣсти заключается въ томъ, что нельзя служить одновременно корысти и чистому искусству, практическимъ выгодамъ и идеалу. Злой геній убѣдилъ талантливаго художника, что «все дѣлается на свѣтѣ для пользы», что глупо голодать, уйдя отъ людей въ міръ чистыхъ грезъ. И художникъ послушался этого голоса,—прельстился благами міра, сталъ смотрѣть на искусство, какъ средство наживы, сдѣлался ремесленникомъ, разбогатѣлъ, потому что научился подлаживаться подъ вкусы «черни». Когда ему однажды удалось увидѣть произведеніе, написанное художникомъ-идеалистомъ, онъ понялъ, какому великому божеству измѣнилъ, но вернуться къ нему уже не могъ.

Взглядъ Гоголя на сущность и предѣлы художественнаго реализма.

Кромѣ этого возвышеннаго взгляда па искусство, которое должно быть чисто и свято, Гоголь высказалъ въ этой повѣсти еще интересную мысль о томъ, что «реализмъ», какъ художественный пріемъ, долженъ знать границы, что не все въ окружающей насъ дѣйствительности можетъ быть предметомъ художественнаго изображенія. Отвратительное лицо ростовщика, особенно его страшные глаза, были такъ реально написаны на портретѣ, что ужасъ овладѣвалъ всѣми, кто только его видѣлъ. Гоголь спрашиваетъ: «Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства и, черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка,—онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность,—та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ,—та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка?»

Эти мысли художника Черткова были, на самомъ дѣлѣ, мыслями самого Гоголя въ этотъ періодъ его творчества, когда онъ отъ романтизма переходилъ къ реализму и старался самъ для себя опредѣлить сущность этого художественнаго направленія.

Религіозное значеніе искусства.

Наконецъ, въ этой же повѣсти встрѣчаемъ мы идею о религіозномъ значеніи искусства. Художникъ, написавшій ростовщика, изобразилъ, самъ того не подозрѣвая, дьявола. Когда онъ это узналъ, онъ ушелъ въ монастырь, чтобы постомъ и молитвой искупить свой грѣхъ, грѣхъ артиста, изображавшаго воплощеніе зла—сатану. Съ тѣхъ поръ свое искусство онъ посвятилъ иконописанію, но долго не могъ отдѣлаться отъ вліянія сатаны. Наконецъ, онъ былъ прощенъ.

«Импровизаторъ», «Себастіанъ Бахъ», онъ говоритъ о тайнѣ творчества. Пушкинъ въ «Египетскихъ ночахъ» вывелъ геніальнаго поэта въ лицѣ импровизатора. Кукольникъ въ «Торквато Тассо» развивалъ мысль о розни между геніемъ и средой. Тимофѣевъ въ драматической фантазіи «Поэтъ», Полевой въ повѣсти «Живописецъ» и романѣ «Аббадонна», Павловъ въ повѣсти «Именины» и многіе другіе современные писатели въ беллетристической формѣ съ особымъ рвеніемъ разрабатывали въ это время подобныя темы.

Такимъ образомъ, въ этой повѣсти Гоголь осудилъ то искусство, которое слишкомъ близко подходитъ къ жизни, не разбирается въ явленіяхъ дѣйствительности [1]). Конечную цѣль искусства усмотрѣлъ онъ въ религіозно-нравственной миссіи.

Литературная исторія повѣсти.

Повѣсть эта, какъ было уже сказано, явилась, какъ отвѣтъ на вопросы и сомнѣнія, волновавшіе самого Гоголя; кромѣ того, она опиралась на цѣлый рядъ перечисленныхъ уже выше русскихъ произведеній, трактовавшихъ подобныя же темы, которыя были популярны также и въ нѣмецкой романтической литературѣ (ср. Гофмана «Элексиръ дьявола»). Фантастическій элементъ повѣсти — исторія ростовщика-дьявола—тоже обыченъ въ нѣмецкой романтической литературѣ; сравнительно съ неудержимой фантастикой Гофмана, Гоголь еще является писателемъ очень умѣреннымъ: чутье художника-реалиста помогло ему удержаться въ границахъ.

„Невскій проспектъ".

Трагическая участь непримиреннаго съ жизнью идеалиста художника представлена въ повѣсти «Невскій проспектъ». Пискаревъ, юный художникъ, съ пылкой прекрасной душой, погибаетъ потому, что не могъ примириться съ тѣмъ, что его вѣра въ неразрывную связь прекраснаго съ добрымъ и истиннымъ оказывается поруганной и осмѣянной. Такимъ образомъ, основой повѣсти является мысль о разладѣ мечты и дѣйствительности [2]), мысль о борьбѣ художника съ прозой жизни.

Повѣсть «Невскій проспектъ» представляетъ собой собраніе яркихъ реалистическихъ картинокъ. Гоголь описываетъ главную улицу столицы въ различные часы дня, описываетъ бытъ ремесленниковъ, офицеровъ, чиновниковъ, художниковъ...

„Записки сумасшедшаго".

Въ повѣсти «Записки сумасшедшаго» представленъ разладъ мечты и дѣйствительности, доводящій до безумія несчастнаго титулярнаго совѣтника Поприщина...

«У Гоголя нѣтъ болѣе трагичной повѣсти — говоритъ Н. А. Котляревскій,—чѣмъ эти «Записки», читая которыя нельзя, однако, удержаться отъ смѣха. Самая грустная и романическая мысль развита въ нихъ съ такимъ юморомъ и такъ реально, съ такимъ безпощаднымъ глумленіемъ надъ человѣческимъ разсудкомъ, что, за этимъ сарказмомъ, на первыхъ порахъ можно просмотрѣть трагическій паѳосъ разсказа».

Поприщинъ.

Титулярному совѣтнику Поприщину, очевидно, хотѣлось, не имѣя на то дѣйствительныхъ основаній, играть видную роль въ современномъ ему обществѣ. Это былъ самолюбивый, даже честолюбивый муравей, котораго тяготила и мучила его ничтожность. И чѣмъ острѣе дѣлались его мученія, тѣмъ свободнѣе отъ власти разума становилась его мечта. Этотъ процессъ постепенной побѣды надъ разумомъ фантазіи, переродившей мечту въ галлюцинацію,—исторія постепеннаго помраченія разсудка—изображенъ Гоголемъ съ поразительной психологической вѣрностью.

---

[1]) Гоголь словно предчувствовалъ возникновеніе въ литературѣ «натуралистической школы», главными представителями которой являются Зола, Мопассанъ.

[2]) «О! Какъ отвратительна дѣйствительность! что она противъ мечты!» — восклицаетъ Гоголь, «Боже! что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!»—Восклицаніемъ: «какъ странно играетъ нами судьба наша!»—оканчивается эта повѣсть.

Проблески общественной сатиры въ „Запискахъ".

Въ «Запискахъ сумасшедшаго» встрѣчаются проблески общественной сатиры, чего раньше мы не встрѣчали въ гоголевскихъ произведеніяхъ: разсужденія чиновника о начальствѣ, мысли о томъ, какое мѣсто въ свѣтѣ принадлежитъ генераламъ и камеръ-юнкерамъ,—все это для того времени мысли смѣлыя,—недаромъ тогдашняя цензура всѣ эти мѣста вычеркнула изъ «Записокъ».

Глубоко трогательнымъ воззваніемъ къ матери кончается этотъ смѣшной и патетическій разсказъ.

Сопоставленіе Поприщина съ Евгеніемъ („Мѣдный всадникъ").

Произведеніе это можно сблизить съ «Мѣднымъ всадникомъ» Пушкина. Въ обоихъ произведеніяхъ выведены «маленькіе люди» съ большими претензіями, надъ которыми зло смѣется судьба; обоихъ героевъ высокое о себѣ мнѣніе и неудовлетворительность жизнью доводитъ до безумія. У Пушкина эта идея развита сплошь въ трагическомъ освѣщеніи,—у Гоголя—въ комическомъ.

Отношеніе критики къ „Миргороду" и „Арабескамъ". Булгаринъ.

И «Арабески» и «Миргородъ» появились въ печати приблизительно въ одно время. Тонъ гоголевскаго предисловія задѣлъ нѣкоторыхъ критиковъ, и они (Сенковскій, Булгаринъ) высмѣяли философскіе и историческіе взгляды Гоголя, о беллетристическихъ повѣстяхъ отозвались вскользь, хотя и одобрительно. «Повѣсть о ссорѣ Ивана Ивановича» не понравилась обоимъ критикамъ. «Какая цѣль этихъ сценъ?—спрашиваетъ Булгаринъ—сценъ, не возбуждающихъ въ душѣ читателя ничего, кромѣ жалости и отвращенія? Въ нихъ нѣтъ ни забавнаго, ни трогательнаго, ни смѣшного. Зачѣмъ же показывать намъ эти рубища, эти грязныя лохмотья, какъ бы ни были они искусно представлены? Зачѣмъ рисовать непріятную картину задняго двора жизни и человѣчества, безъ всякой видимой цѣли?»—Изъ этихъ вопросовъ лучше всего видно, какъ мало въ то время понимали художественный реализмъ даже видные тогда литераторы, и какъ безпомощны были они въ критической оцѣнкѣ литературныхъ произведеній. Впрочемъ,—«Тарасъ Бульба» у обоихъ строгихъ критиковъ вызвалъ одобреніе.

Шевыревъ.

Съ большимъ сочувствіемъ о новыхъ произведеніяхъ Гоголя отозвался Шевыревъ; онъ поставилъ его среди первыхъ юмористовъ міра, назвавъ представителемъ славянскаго простодушнаго юмора. Многіе критики похвалили Гоголя и за его реализмъ. Самой значительной и содержательной была

Бѣлинскій.

критика Бѣлинскаго. Правда, онъ отрицательно отнесся къ «ученымъ» статьямъ Гоголя, но за то съ восторгомъ отозвался о немъ, какъ художникѣ, который безсознательно «изъ ничего» создаетъ «великое». Бѣлинскій превознесъ его за простоту вымысла, за реализмъ его письма, за умѣнье найти поэзію дѣйствительной жизни. «Каждая его повѣсть—смѣшная комедія, говорилъ онъ,—комедія, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнію. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!» Бѣлинскій отмѣтилъ «народность» гоголевскихъ повѣстей, отсутствіе въ нихъ сентенціи и нравоученій. Гоголя онъ называетъ талантомъ «необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ»... Онъ признаетъ его «главою русской литературы, занявшимъ мѣсто, оставленное Пушкинымъ, начинателемъ новой эпохи въ исторіи русской литературы». «Если бы насъ спросили, писалъ онъ, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы, мы отвѣчали бы: въ томъ

именно, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ называемой «толпѣ»,—исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило сдѣлать литературу выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ. Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго долженствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора».

Значеніе критики Бѣлинскаго для Гоголя.

Изъ всѣхъ критическихъ отзывовъ того времени, несомнѣнно, отзывы Бѣлинскаго обращали на себя больше всего вниманіе Гоголя. Къ тому же Бѣлинскій указывалъ Гоголю ту же дорогу, на которую его толкалъ великій Пушкинъ. Вотъ почему мнѣніе Бѣлинскаго о повѣстяхъ «Миргорода» въ исторіи развитія гоголевскаго художественнаго творчества сыграло большую роль. Оба величайшія произведенія Гоголя—«Ревизоръ» и «Мертвыя души»—вдохновленныя Пушкинымъ, совершенно отвѣчали тѣмъ требованіямъ, которыя предъявилъ Гоголю и Бѣлинскій, называя его «главой» новаго періода въ исторіи русской литературы.

b) Второй періодъ дѣятельности Гоголя. Интересъ Гоголя къ театральному дѣлу.

b) *Второй періодъ дѣятельности Гоголя.* Гоголь съ дѣтства интересовался театромъ; еще ребенкомъ онъ полюбилъ сцену, посѣщая представленія въ домѣ Трощинскаго; въ лицеѣ онъ сорганизовалъ изъ товарищей труппу, и самъ съ большимъ увлеченіемъ и успѣхомъ принималъ участіе въ представленіяхъ, причемъ особенно удачно игралъ роли старухъ (лучшей у него была роль Простаковой). По пріѣздѣ въ Петербургъ онъ даже пытался, было, поступить на сцену, но его декламація, простая и естественная, была въ то время до такой степени необычна, что театральные судьи, привыкшіе къ высокопарному, ходульному чтенію, на испытаніи забраковали его. Объ удивительной манерѣ Гоголя читать просто и живо сохранилось немало самыхъ лестныхъ отзывовъ его друзей и знакомыхъ. Кромѣ того, онъ обладалъ талантомъ имитированья: могъ представить чужую манеру держать себя и говорить. Вотъ почему такимъ успѣхомъ онъ пользовался, когда читалъ (вѣрнѣе: „представлялъ въ лицахъ") въ кругу друзей свои комедіи и повѣсти [1]). Всѣ эти „сценическія наклонности" и драматическія способности объясняютъ, до нѣкоторой степени, то обстоятельство, что Гоголь много и серьезно поработалъ для русской сцены въ качествѣ писателя. Его талантъ художника-реалиста, его любовь и знаніе „сцены" сдѣлали то, что въ исторіи

---

[1]) „Гоголь, разсказываетъ С. Т. Аксаковъ, до того мастерски читалъ или, лучше сказать, игралъ свою пьесу („Женитьба"), что многіе, понимающіе это дѣло, люди до сихъ поръ говорятъ, что на сценѣ, несмотря на хорошую игру актеровъ, эта комедія не такъ смѣшна, какъ въ чтеніи самого автора. Слушатели до того смѣялись, что нѣкоторымъ сдѣлалось почти дурно".

Значеніе Гоголя въ исторіи русскаго театра. русской драмы онъ занялъ почетное мѣсто „отца“ новой реалистической бытовой комедіи. Въ его пьесахъ впервые правда жизни сочеталась съ художественной правдой въ искусствѣ. Послѣ него сцена стала отраженіемъ жизни: общіе типы, типы заимствованные, условности въ интригахъ, моральная тенденція — всѣ эти особенности старой комедіи послѣ Гоголя исчезли. У своихъ предшественниковъ онъ немногому могъ научиться и на его долю выпало созданіе настоящей русской комедіи, т. е. такой, которая удовлетворяла одновременно двумъ требованіямъ, — и художественнымъ, какъ извѣстное литературное произведеніе, и требованіямъ идейнымъ, какъ вѣрное изображеніе переживаемой дѣйствительности. Такая гармонія формы и содержанія была достигнута у насъ только Гоголемъ и притомъ самостоятельно и сразу. Были, конечно, недостатки и въ его комедіяхъ, но, тѣмъ не менѣе, съ момента ихъ созданія должны мы начинать исторію нашего самобытнаго „національнаго“ театра. Если это значеніе получилъ Гоголь, благодаря своей безсмертной комедіи „Ревизоръ“, то для историка литературы любопытны и первые опыты его въ области драматургіи. Къ такимъ ближайшимъ предшественникамъ „Ревизора“ относятся комедіи: „Игроки“, „Женитьба“ и разрозненныя сцены комедіи: „Владиміръ 3-ьей степени“.

„Игроки“. «Въ комедіи «Игроки» представлены шуллера, картежные игроки, которые, сами того не подозрѣвая, вступаютъ въ состязаніе. Типъ «шуллера» въ русской до-гоголевской комедіи и сатирѣ встрѣчался довольно часто. Обыкновенно, этотъ преступный герой обыгрывалъ какого-нибудь «добродѣтельнаго», но, въ концѣ концовъ, добродѣтель обязательно торжествовала, и порокъ оказывался наказаннымъ. Такимъ образомъ, шуллеръ въ старой комедіи и сатирѣ оказывался безжизненнымъ «общимъ мѣстомъ»,—служилъ автору лишь темой для морализаціи. Гоголь избѣгъ всякой морали и сумѣлъ жизненно, въ нѣсколькихъ различныхъ лицахъ, представить разновидности этого типа. Угнетенной добродѣтели въ комедіи тоже нѣтъ, — пострадалъ изъ мошенниковъ тотъ, который сплоховалъ. Такимъ образомъ, «въ «Игрокахъ» описано не состязаніе хитрости и слабодушной простоты, порока и добродѣтели, а состязаніе семи жуликовъ-артистовъ, состязаніе, которое кончается самоуничтоженіемъ одного изъ самыхъ опасныхъ, по мнѣнію Гоголя, пороковъ,—именно—плутовства». (Котляревскій).

„Женитьба“. Вторая, по времени, комедія «Женитьба» представляетъ больше интереса,—она глубже и шире захватываетъ русскую жизнь. Вотъ почему, по справедливости, этой комедіи можетъ быть присвоено почетное названіе—«первой бытовой русской комедіи»: въ ней каждое дѣйствующее лицо является представителемъ извѣстнаго сословія,—здѣсь выведены и купцы, и чиновники, и военные. Всѣ они очерчены ярко, характерно,

ничего общаго не имѣютъ съ безжизненными образами старой комедіи. Яичница, Анучкинъ, Жевакинъ, Агафья Тихоновна, Устинья Наумовна,— все это, быть можетъ, нѣсколько карикатурные, слишкомъ яркіе образы, но, тѣмъ не менѣе, образы живые, облеченные въ плоть и кровь. «И всѣми этими людьми вертитъ и крутитъ Кочкаревъ—натура, безспорно, энергическая, но съ однимъ, очень часто встрѣчающимся, недостаткомъ,— съ отсутствіемъ мысли о томъ, «что изъ всего этого выйдетъ». Ему лишь бы дѣйствовать и суетиться, а какъ на другихъ его суета отзовется,— до этого ему дѣла мало: онъ доволенъ, что вмѣшался, что самъ на виду, и въ этой суетѣ, безъ расчета и плана, все его самоудовлетвореніе. И, рядомъ съ нимъ, его—застѣнчивый спутникъ Подколесинъ,—этотъ родной братъ Обломова, безъ стремленій, безъ желаній,—съ одной лишь мыслью, чтобы скорѣе прошелъ день, который безконечно тянется. Этого человѣка ничѣмъ не пробудишь къ дѣйствію: онъ, со своей флегмой и пассивностью, устоитъ противъ всякихъ доводовъ разума, или обольщеній мечты; жизнь для него—дремота въ сумерки, и никто, и ничто его отъ этого полусна не пробудитъ. Вскипѣть и заторопиться на мгновеніе онъ можетъ, но лишь затѣмъ, чтобы сейчасъ же впасть въ отчаянье страха передъ поступкомъ» (Котляревскій). Комедія смѣшная, но безотрадная,—передъ нами выведена цѣлая галлерея лицъ «сѣрыхъ, томительно скучныхъ и глупыхъ»; жизнь ихъ безсодержательна, безсмыслена, а они этого не замѣчаютъ, не сознаютъ своего духовнаго убожества. Въ лицѣ Агафьи Тихоновны Гоголь высмѣялъ современное ему купечество, измѣняющее добрымъ старымъ традиціямъ жизни, безсмысленное тяготѣніе къ «новшествамъ». Въ лицѣ Арины Пантелѣевны, а особенно купца Старикова, Гоголь вывелъ положительные типы; его націоналистическія наклонности и стремленіе идеализировать патріархальныя «добрыя времена» сказались въ созданія этихъ двухъ типовъ.

Кочкаревъ.

Подколесинъ.

Агафья Тихоновна. Положительныя лица комедіи.

Современники невѣрно поняли эту комедію, назвавъ ее веселымъ «фарсомъ» [1]). Они обратили все вниманіе на интригу комедіи, дѣйствительно, довольно запутанную и искусственную—и просмотрѣли то обстоятельство, что комизмъ комедіи основывался не только на «положеніяхъ» героевъ, но и на ихъ «характерахъ». «Присматриваясь къ любому типу, тамъ выведенному, мы видимъ, что онъ самъ по себѣ законченъ и комиченъ. Его можно взять изъ той обстановки, въ которой онъ показанъ, взять его порознь, внѣ его столкновенія съ другими типами,—и онъ возбудитъ ту же улыбку, тотъ же смѣхъ, какъ рѣдкій оригиналъ и типичный продуктъ нашей жизни. Этотъ гоголевскій типъ возвышается и до «типа общечеловѣческаго», которымъ мы такъ удивляемся въ комедіяхъ Мольера. Хотя бы тѣ же Подколесинъ и Кочкаревъ. Ихъ можно встрѣтить въ любомъ мѣстѣ, и въ любое время: здѣсь они передъ нами въ роли мелкихъ обывателей Петербурга, а сколько такихъ лицъ,—лицъ, прыгающихъ въ окно въ рѣшительную минуту, и лицъ, вносящихъ въ жизнь сумбуръ и суматоху, сколько ихъ дѣйствовало и дѣйствуетъ на широкой аренѣ, общественной и политической?»

Отношеніе критики.

Н. А. Котляревскій объ „общечеловѣчности“ типовъ этой комедіи.

---

1) „Фарсомъ“ называется комедія, построенная исключительно на смѣшныхъ „положеніяхъ“, на неожиданностяхъ, на курьезныхъ qui pro quo.

Отношеніе Гоголя къ комедіи.

Самъ Гоголь придавалъ комедіи большое значеніе: онъ ее передѣлывалъ нѣсколько разъ съ 1837 года до 1842 года, кореннымъ образомъ мѣнялъ содержаніе и дѣйствующихъ лицъ. Въ началѣ эта комедія напоминала собою сюжетъ «Сорочинской Ярмарки» и «Ночи передъ Рождествомъ». Дѣйствіе комедіи происходило въ Малороссіи, и пьеса называлась «Женихи».

Значеніе этой комедіи.

Значеніе комедіи въ исторіи русской литературы громадно: начать съ того, что многіе типы комедій Островскаго изъ купеческаго быта (купеческая дѣвица, жаждущая жениховъ некупеческаго званія, типъ свахи, идеальный купецъ Стариковъ, старая тетка) развиваютъ и дополняютъ то, что геніально намѣчено Гоголемъ въ его первой «бытовой» комедіи. Затѣмъ замѣтное вліяніе оказала комедія и на романъ Гончарова «Обломовъ» (сцена разговора Подколесина съ Степаномъ, типъ Подколесина, Кочкаревъ).

Попытка создать обличительную комедію съ общественнымъ содержаніемъ.

Поощряемый друзьями-писателями, толкавшими его на путь «обличителя» русской дѣйствительности, Гоголь — чуть-было — не выступилъ съ комедіей, въ которой, по его словамъ, «правдиво и зло» осмѣивалась высшее русское чиновничество того времени. Обличеніе чиновничества въ русской сатирѣ до Гоголя было предметомъ многихъ смѣлыхъ сатиръ. Очевидно, эти отрицательныя стороны бюрократическаго строя слишкомъ били въ глаза всѣмъ, если даже Гоголь, консерваторъ въ душѣ, всегда охотно и искренне восхваляющій строй русской государственной жизни, считалъ необходимымъ обличать «чиновничество». «Онъ не допускалъ даже мысли о томъ, что сама правительственная система могла быть виновата въ томъ бюрократическомъ злѣ, которое онъ такъ вѣрно подмѣтилъ и оцѣнилъ; въ его глазахъ, вся вина падала не на укладъ правительственной жизни, ставящій чиновника въ такое положеніе, при которомъ превышеніе власти и злоупотребленіе ею сами собой напрашивались, а на самого чиновника, какъ на отдѣльную нравственную единицу, какъ на личность, съ извѣстнымъ нравственнымъ содержаніемъ. Такимъ образомъ, вопросъ съ почвы общественной переводился Гоголемъ прямо на почву нравственную, а позднѣе на религіозную. Все зло проистекало, по мнѣнію автора, изъ природы самого человѣка, а не изъ тѣхъ условій, въ какія онъ былъ поставленъ. Чтобы излечить его, не было нужды мѣнять обстановки, въ которой онъ выросталъ и которая пріучала его къ гордынѣ, своеволію, самопоклоненію, хитростямъ, обманамъ, лѣни и отсутствію понятія о гражданскомъ долгѣ—лечить его нужно было или нравственнымъ воздѣйствіемъ на его душу, или силою кары—силою падающаго на него несчастія» (Котляревскій). Съ такой точки зрѣнія, смотрѣлъ онъ всегда на чиновничество своего времени: въ эпоху централизаціи оно играло особенно большую роль,—недаромъ Гоголь-юноша мечталъ о чиновничьей карьерѣ, въ которой онъ видѣлъ истинное служеніе родинѣ. Недаромъ, возмужавъ и присмотрѣвшись къ русской дѣйствительности, Гоголь съ особою страстностью напалъ на бюрократію, или вѣрнѣе на тѣхъ недостойныхъ ея представителей, которые не понимали всей высоты и отвѣтственности своего положенія. Чиновный міръ отъ губернатора до квартальнаго—любимая мишень его сатиры. Въ комедіи «Владиміръ 3-ьей степени» Гоголь хотѣлъ вывести на сцену представителей высшей бюрократіи; но потомъ онъ самъ счелъ это дерзостью,

„Владиміръ 3-ьей степени“.

и отказался отъ мысли написать комедію, которую тогдашняя цензура все равно не пропустила бы.

Въ 1842 году онъ писалъ Погодину, что принялся, было, за ея сочиненіе; въ ней было много «злости, смѣха, и соли». «Но вдругъ остановился, писалъ онъ, увидѣвъ, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она, какъ душа безъ тѣла». Отъ этой начатой комедіи остались только сцены: «Тяжба», «Утро дѣлового человѣка», «Лакейская» и «Отрывокъ». Обличеніе «бюрократіи», но мелкой, захолустной, Гоголь сдѣлалъ въ позднѣйшей своей комедіи «Ревизоръ».

Значеніе первыхъ драматическихъ опытовъ Гоголя.

Всѣ перечисленные драматическіе «опыты» настолько серьезны, такъ много объясняютъ въ содержаніи и характерныхъ особенностяхъ «Ревизора», что на нихъ стоило остановиться. Уже въ нихъ вполнѣ опредѣленно выразилось отношеніе Гоголя къ русской жизни, пониманіе имъ «комедіи», и опредѣлилось то новое, что вносилъ онъ въ исторію русской драмы. «Ревизоръ» былъ лишь полнымъ и самымъ совершеннымъ выраженіемъ идей и понятій Гоголя.

Общественное значеніе комедіи Гоголя.

«Итакъ, въ своихъ комедіяхъ Гоголь выступилъ съ обличеніемъ русской жизни,—онъ обличалъ даже чиновничество только съ *этической* точки зрѣнія, что, прежде всего, должно было быть осуждено съ *общественной*, гражданской—такой судъ, вмѣсто автора, *на основаніи его комедій*, произнесло русское общество надъ жизнью своего времени. Мало того, Гоголь научилъ и другихъ писателей ярко и живо рисовать безотрадныя стороны русской жизни. Вотъ почему, *«вопреки самому Гоголю*, его придется признать однимъ изъ отцовъ русскаго либерализма, или, вѣрнѣе, русской прогрессивной общественной мысли, которая, покинувъ общенравственныя точки зрѣнія, переходила къ критикѣ существующаго общественнаго и государственнаго порядка» (Котляревскій).

Гоголь о русской народной комедіи.

О «комедіи» и вообще о сущности и значеніи «смѣха» Гоголь думалъ много и серьезно. Наканунѣ перваго представленія «Ревизора» въ 1836 году онъ напечаталъ замѣчательную статью, въ которой выяснилъ свои взгляды на «смѣшное». Онъ жаловался, что балетъ и опера завладѣли русской сценой, что отсутствуетъ на русской сценѣ «высокая комедія»—«вѣрный сколокъ съ общества,—комедія, производящая смѣхъ глубокостью своей ироніи,—не тотъ смѣхъ, который производитъ на насъ легкія впечатлѣнія, который рождается бѣглой остротой, мгновеннымъ каламбуромъ, не тотъ пошлый смѣхъ, который движетъ грубою толпою общества, для произведенія котораго нужны конвульсіи, гримасы природы, но тотъ электрическій, живительный смѣхъ, который исторгается невольно и свободно, который разноситъ по всѣмъ нервамъ освѣжающее наслажденіе, рождается изъ высокаго наслажденія души и производится высокимъ и тонкимъ умомъ». Онъ указывалъ на то, что русскіе писатели гоняются только за интересной искусственной фабулой, не замѣчая того, что въ самой жизни много интереснаго, достойнаго комедіи. Онъ нападалъ на отсутствіе національнаго элемента на нашей сценѣ: это происходило потому, что большинство пьесъ были переводными, или передѣланными съ иностраннаго «Кого играютъ наши актеры?»—спрашиваетъ онъ. «Какихъ-то нехристей,

людей—не французовъ и не нѣмцевъ, но Богъ знаетъ кого, какихъ-то взбалмошныхъ людей—иначе трудно назвать героевъ мелодрамы, не имѣющихъ рѣшительно никакой страсти, а, тѣмъ болѣе, видной физіономіи! Не странно-ли? Тогда какъ мы больше всего говоримъ теперь объ естественности, намъ, какъ нарочно, подносятъ подъ носъ верхъ уродливости! Русскаго мы просимъ! *Своего* давайте намъ! Что намъ французы и весь заморскій людъ? Развѣ мало у насъ своего народа? русскихъ характеровъ! своихъ характеровъ! Давайте насъ самихъ! [1]) Давайте намъ нашихъ плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы». Въ этой же статьѣ говоритъ Гоголь и о великой нравственной силѣ «смѣха». «О, смѣхъ—великое дѣло! Ничего болѣе не боится человѣкъ такъ, какъ смѣха. Онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія у виновнаго, но онъ ему силы связываетъ, и, боясь смѣха, человѣкъ удержится отъ того, отъ чего бы не удержала его никакая сила. Благосклонно склонится око монарха къ тому писателю, который, движимый чистымъ желаніемъ добра, предприметъ уличить низкій порокъ, недостойныя слабости и привычки въ слояхъ нашего общества и этимъ подастъ отъ себя помощь и крылья его правдивому закону. Театръ—великая школа,—глубоко его назначеніе: онъ цѣлой толпѣ, цѣлой тысячѣ народа, за однимъ разомъ читаетъ живой, полезный урокъ и, при блескѣ торжественнаго освѣщенія, при громѣ музыки, показываетъ смѣшное привычекъ и пороковъ, или высокотрогательное достоинствъ и возвышенныхъ чувствъ человѣка». Съ такимъ высокимъ пониманіемъ того значенія, которое должна имѣть его комедія для современниковъ и для исторіи русскаго театра, выступилъ Гоголь передъ русской публикой съ «Ревизоромъ».

Гоголь о смѣхѣ.

Основная идея комедіи „Ревизоръ", какъ ее понималъ Гоголь.

Основная идея комедіи „Ревизоръ" — чисто этическая: авторъ хотѣлъ показать зрителямъ своей пьесы и ея читателямъ всю низость порочнаго человѣка, не исполняющаго того дѣла, къ которому онъ призванъ своимъ оффиціальнымъ положеніемъ. Говоря языкомъ Гегеля, нашъ писатель доказывалъ, что „недѣйствительное (т. е. отклоненіе отъ правильнаго исполненія своей жизненной задачи, въ данномъ случаѣ — службы) — неразумно [2]). Своихъ героевъ Гоголь судилъ съ точки зрѣнія своего высокаго пониманія значенія государственной службы, и судъ оказался строгимъ. Но было уже указано, что онъ интересовался только

---

[1]) Что такія слова—не пустыя „общія мѣста", видно, хотя бы, изъ того, что С. Т. Аксаковъ, до появленія въ свѣтъ комедіи Гоголя какъ-то сказалъ ему, что въ русской жизни нѣтъ ничего интереснаго для комедіи,—все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, „даже глупости смѣшной не встрѣтишь, — свѣтъ пустой". Если такъ смотрѣли на русскую жизнь многіе даже интеллигентные люди,—тѣмъ громаднѣе заслуга Гоголя, открывшаго „смѣшное въ русской жизни". Понятно почему Гоголь страстно сталъ оспаривать С. Т. Аксакова. Онъ сказалъ, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что, если художникъ перенесетъ его на сцену, „то мы уже сами надъ собой будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его".

[2]) См. выше, главу о философіи Гегеля.

человѣкомъ, сословіемъ, группой людей и никогда не становился на общественную точку зрѣнія, которая подсказала бы ему болѣе широкое и глубокое пониманіе причинъ и слѣдствій того зла, которое внесли въ жизнь его герои. Онъ не судилъ въ нихъ *гражданъ*, т. е. людей, связанныхъ извѣстными отношеніями съ другими людьми того же государства, — онъ оторвалъ своихъ героевъ отъ общества людей и судилъ ихъ только за то, что они угасили въ своей душѣ «искру божію»—утратили сознаніе своего достоинства, пониманіе смысла и цѣли жизни. Общественная точка зрѣнія объяснила бы ему, что въ тогдашней средѣ русскаго захолустья неоткуда было и взять этого свѣта.

Аллегорическое значеніе комедіи.

Въ «Развязкѣ Ревизора» Гоголь пытался придать своей комедіи еще аллегорическій смыслъ. Городъ, гдѣ ждутъ ревизора— это наша грѣшная душа, которая боится голоса совѣсти. Ревизоръ— это сама совѣсть, «которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всѣ глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что по Именному Высшему Повелѣнію онъ посланъ»,—говоритъ Гоголь. «Въ нашемъ душевномъ городѣ, продолжаетъ Гоголь, безчинствуютъ страсти, какъ безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей» Хлестаковъ— это не настоящій ревизоръ, — это продажная «свѣтская совѣсть, которую легко подкупаютъ наши же страсти». Такъ искусственно-тонко толковалъ свое произведеніе Гоголь въ то время, когда всѣ просмотрѣли его моральныя тенденціи и опредѣляли его комедію, какъ злую сатиру на безотрадную русскую дѣйствительность. Никто не понялъ его наивнаго желанія своей комедіей содѣйствовать очищенію «чиновничьей совѣсти»,—всѣ увидѣли въ пьесѣ желаніе автора высмѣять слабыя стороны русской правительственной системы. Вотъ почему тѣ, кому были дороги реформы, обновленіе русской жизни радостно встрѣтили «благородное» произведеніе Гоголя,— кому выгоденъ былъ старый режимъ, тѣ негодовали... Гоголь-консерваторъ оказался въ рядахъ тѣхъ, кому онъ не сочувствовалъ.

Затруднительное положеніе критики при опредѣленіи идеи комедіи.

Эта странная случайность ставитъ критика въ затруднительное положеніе, — какова же идея пьесы: та ли, которую навязывалъ ей Гоголь, или та, которую усмотрѣли въ пьесѣ его современники? Исторія литературы даетъ не разъ указанія на то, что даже великіе писатели не всегда вѣрно понимали свои творенія. Геній творитъ часто безсознательно, но его твореніе оказывается настолько содержательнымъ, что люди иногда нѣсколько вѣковъ думаютъ надъ его творчествомъ, каждая эпоха открываетъ въ его произведеніяхъ

такія идеи, которыхъ не подозрѣвалъ, быть можетъ, самъ ихъ творецъ. Сервантесъ, творя «Донъ-Кихота», хотѣлъ только высмѣять страсть своихъ современниковъ читать старые рыцарскіе романы, —и онъ нарисовалъ своего смѣшного Донъ-Кихота, котораго позднѣйшая критика превознесла, какъ одного изъ самыхъ чистыхъ идеальныхъ героевъ, созданныхъ человѣчествомъ. Вотъ почему, мнѣніе автора о своемъ произведеніи очень цѣнно,—главнымъ образомъ, для пониманія авторской души, нѣкоторыхъ особенностей произведенія, — но оно необязательно для критика и историка литературы. Оставивъ толкованія Гоголя, мы должны будемъ признать, что, служа одной идеѣ, онъ безсознательно послужилъ другой. Тогда мы признаемъ за комедіей великое общественное значеніе: она изобличаетъ недостатки тогдашней чиновничьей Россіи, она нападаетъ на весь тогдашній бюрократическій строй, раскрывая всѣ его послѣдствія.

„Темное царство“ въ комедіи.

Захолустный городокъ, въ которомъ развертывается дѣйствіе комедіи, представляетъ собой, въ полномъ смыслѣ слова, „темное царство“. Только „смѣхъ“ Гоголя яркимъ лучомъ прорѣзаетъ тотъ мракъ, въ которомъ пресмыкаются герои комедіи. Все это люди мелкіе, пошлые, ничтожные; ни у одного даже не теплится въ душѣ „искра божія“,—всѣ они живутъ безсознательной, животною жизнью. Гоголь обрисовалъ ихъ и какъ государственныхъ дѣятелей, и какъ людей частныхъ,—въ ихъ семейномъ быту, въ кругу друзей и знакомыхъ. Это не крупные преступники, не злодѣи, а мелкіе плуты, трусливые хищники, которые живутъ вѣчной тревогой, что придетъ день расплаты...

Герои комедіи.

Городничій.

Чиновникъ-хищникъ.

Въ лицѣ городничаго Гоголь вывелъ чиновника, живущаго лихоимствомъ и казнокрадствомъ. Изъ всѣхъ своихъ товарищей-чиновниковъ, тоже живущихъ взятками и вымогательствомъ, онъ—хищникъ самый безпощадный. «Такого городничаго, жалуются купцы Хлестакову, никогда еще, государь, не было». Требуя подарковъ для себя и семьи, онъ даже именины свои справляетъ въ годъ дважды. Но онъ не только пользуется обывателями, злоупотребляя традиціонными «порядками» жизни [1],—онъ обираетъ и казну, входя въ мошенническія сдѣлки съ подрядчиками, присваивая себѣ деньги, ассигнованныя на постройку церкви. Смягчающимъ его вину обстоятельствомъ является то, что онъ очень смутно понимаетъ безобразіе своего лихоимства и казнокрадства: онъ оправдываетъ себя— 1) наивнымъ восклицаніемъ: «если что̀ я и взялъ, то уже безъ всякой злобы», 2) очень употребительнымъ аргументомъ: «всѣ такъ дѣлаютъ».

---

[1] Купцы, жалуясь Хлестакову, говорятъ, что не прочь дѣлать подношенія городничему: „мы ужъ всегда порядокъ исполняемъ“, говорятъ они.

«Нѣтъ человѣка, говоритъ онъ, который бы за собой не имѣлъ грѣховъ. Это ужъ такъ самимъ Богомъ устроено,—и волтерьянцы напрасно противъ этого говорятъ!»

По отношенію къ обывателямъ онъ проявляетъ безпредѣльное самовластіе и произволъ: отдаетъ въ солдаты не того, кого слѣдуетъ, подвергаетъ сѣченію невинныхъ людей. Его самовластіе.

Городничій отличается большой практической сметкой—и это его гордость: онъ самъ говоритъ, что ни одинъ мошенникъ его провести не могъ, что онъ ихъ всѣхъ «поддѣвалъ на уду». Яснѣе всѣхъ другихъ чиновниковъ понимаетъ городничій положеніе вещей, и когда тѣ, объясняя причины присылки къ нимъ ревизора, заносятся, Богъ знаетъ куда, онъ, какъ человѣкъ практическій, говоритъ не о *причинахъ*, а о грядущихъ *послѣдствіяхъ*. Онъ лучше всѣхъ другихъ чиновниковъ города умѣетъ обдѣлывать свои дѣлишки, потому что прекрасно понимаетъ душу человѣческую, потому что находчивъ, умѣетъ играть на человѣческихъ слабостяхъ,—вотъ почему онъ долго и безнаказанно лавируетъ среди различныхъ добродѣтельныхъ губернаторовъ и ревизоровъ. Его практическая сметка.

Его необразованность сказывается не только въ отсутствіи лоска въ манерахъ, но выражается еще очевиднѣе въ его суевѣріи, — онъ очень наивно, по-язычески, понимаетъ свои отношенія къ Богу, считая себя настоящимъ христіаниномъ и человѣкомъ образцовой набожности («я въ вѣрѣ твердъ» — говоритъ онъ), подъ религіей понимая только обрядность, выражающуюся въ посѣщеніи церкви по праздникамъ, въ соблюденіи постовъ. Онъ стоитъ еще на той «двоевѣрной» точкѣ зрѣнія, которая допускаетъ возможность «подкупать» своего Бога жертвоприношеніями въ родѣ пудовой свѣчи [1]). Его двоевѣріе.

Свѣтлой чертой городничаго надо признать его добродушіе. Считая себя, благодаря сватовству Хлестакова, безконечно выше всѣхъ въ городѣ, онъ не заносится такъ, какъ его пустая супруга,—остается тѣмъ же простымъ человѣкомъ,—грубовато-радушнымъ и просто-гостепріимнымъ. Добродушіе.

Жена его, глупая и ничтожная женщина, до старости сохранившая манеры молодой кокетки-щеголихи, поражаетъ безконечной пустотой своей души. Она помѣшана на «свѣтской жизни», на нарядахъ, — она воображаетъ, что еще можетъ нравиться мужчинамъ, и соперничаетъ со своей дочерью въ дѣлѣ пріобрѣтенія поклонниковъ и ухаживателей. Живетъ она сплетнями и интригами уѣзднаго города. Женщина легкомысленная, она легко всему вѣритъ. Когда она рѣшила, что переѣдетъ въ Петербургъ и будетъ тамъ играть роль свѣтской львицы, она не скрываетъ своего презрѣнія ко всѣмъ своимъ недавнимъ друзьямъ и знакомымъ. Эта черта, свидѣтельствующая объ ея душевной ничтожности, ставитъ ее еще ниже ея супруга. Жена городничаго.

Дочь городничаго идетъ по стопамъ матери, — она тоже любитъ наряжаться, тоже любитъ кокетничать, но она еще не испорчена такъ, какъ мать, ложью и пустотой этой провинціальной жизни и не научилась еще такъ ломаться, какъ мать. Дочь.

---

[1]) „Поставлю такую свѣчу, какой еще никто не ставилъ: на каждаго бестію-купца наложу доставить по три пуда воску“,—говоритъ онъ.

Хлестаковъ. Болѣе сложнымъ является образъ Хлестакова. Это — пустой бездѣльникъ, ничтожный маленькій чиновникъ, весь смыслъ жизни котораго заключается въ томъ, чтобы «пустить кому-нибудь пыль въ глаза»—своими манерами, сигарами, моднымъ костюмомъ, отдѣльными словечками... Онъ хвастаетъ постоянно передъ всѣми и даже передъ самимъ собой. Его безполезная, безсмысленная жизнь жалка, но онъ этого не замѣчаетъ,— всегда доволенъ собой, всегда счастливъ. Особенно ему помогаетъ забывать неудачи его фантазія, которая, легко уноситъ его изъ предѣловъ дѣйствительности. Въ немъ нѣтъ горечи угнетеннаго самолюбія, какъ у Поприщина,— у него есть тщеславіе, и онъ лжетъ съ увлеченіемъ, потому что это лганье помогаетъ ему забыть свою ничтожность. Больное самолюбіе свело Поприщина съ ума, а тщеславіе пустого, легкомысленнаго человѣка до этого не доведетъ. Онъ не вообразитъ себя «испанскимъ королемъ» и потому въ сумасшедшій домъ не попадетъ, — въ лучшемъ случаѣ его поколотятъ за вранье, или посадятъ въ долговое отдѣленіе за долги. Въ Хлестаковѣ Гоголь вывелъ безполезнаго, ненужнаго человѣка, который даже своими мыслями и языкомъ управлять не можетъ: покорный рабъ своей фантазіи, богато надѣленный «необыкновенною легкостью въ мысляхъ», онъ живетъ день за днемъ, не отдавая себѣ отчета, что и зачѣмъ онъ дѣлаетъ. Вотъ почему онъ можетъ одинаково легко сдѣлать зло и добро, и сознательнымъ плутомъ никогда не будетъ: онъ не выдумываетъ никакихъ плановъ, а говоритъ и дѣлаетъ то, что подскажетъ ему его увлекающаяся фантазія. Оттого онъ можетъ сразу сдѣлать предложеніе и женѣ городничаго, и дочери, съ полной готовностью на обѣихъ жениться, — можетъ забрать въ долгъ деньги у чиновниковъ, убѣжденный, что имъ отдастъ, можетъ разолгаться до того глупо, что тутъ же и проговаривается, и заговаривается до чепухи.

Хвастовство.

Фантазія.

Тщеславіе и самодовольство.

Безполезность.

Легкомысліе.

Психологическая ошибка чиновниковъ города.

Напуганное воображеніе трусящихъ чиновниковъ, ожидавшихъ ревизора, создало изъ этой «сосульки» ожидаемаго ревизора. Психологически эта ошибка вполнѣ понятна—она выражается пословицами: «пуганая ворона и куста боится», «у страха глаза велики». Этотъ «испугъ» и «тревога совѣсти» увлекли даже ловкаго и неглупаго плута-городничаго въ роковую для него ошибку.

Судья.

Другіе чиновники города представляютъ собою мелкія разновидности типа городничаго. Судья—человѣкъ тоже нечистый на руку, сознающій это, но оправдывающій свои поступки [1], — дѣла не дѣлаетъ, очень недалекъ и, въ то же время, полонъ самомнѣнія только потому, что обладаетъ смѣлостью говорить о вопросахъ религіозныхъ съ такою свободой, что у вѣрующихъ «волосы дыбомъ встаютъ». Но въ вопросахъ практическихъ онъ поражаетъ своею наивностью. Въ лицѣ Земляники Гоголь вывелъ не только казнокрада, но и мелкаго интригана, который хочетъ товарищамъ по бѣдѣ подставить ножку.

Попечитель богоугодныхъ заведеній.

Добчинскій и Бобчинскій.

Добчинскій и Бобчинскій — олицетвореніе самой безпросвѣтной пошлости. Они дѣломъ никакимъ рѣшительно не занимаются, никакими вопро-

[1]) Онъ оправдываетъ себя очень распространеннымъ аргументомъ, указывающимъ на количественную сторону зла, „грѣхи грѣхамъ рознь!"—говоритъ онъ. Брать взятки борзыми щенками — это пустякъ, по его мнѣнію; брать же крупныя взятки—это преступленіе—думаетъ онъ.

сами религіозными, философскими, политическими даже въ той мѣрѣ, которая доступна другимъ дѣйствующимъ лицамъ комедіи, не интересуются,— они собираютъ и разносятъ только маленькія мѣстныя сплетни, ими питаютъ свое убогое любопытство, ими наполняютъ свою праздную, никому ненужную жизнь...

Въ лицѣ Осипа Гоголь вывелъ типъ стараго крѣпостного слуги, испорченнаго бездѣльемъ лакейской жизни. Онъ вкусилъ плодовъ цивилизаціи петербургской жизни,—научился ѣздить на извозчикахъ безплатно, благодаря сквознымъ воротамъ; онъ цѣнитъ «галантерейное обращеніе» столичныхъ мелочныхъ лавокъ и Апраксина двора. Своего легкомысленнаго и пустого барина онъ презираетъ отъ всей души, потому что чувствуетъ себя неизмѣримо умнѣе его. Къ сожалѣнію, умъ его направленъ исключительно на плутни. Если его баринъ мошенничаетъ по наивности, то онъ вполнѣ сознательно. Осипъ.

Русская комедія до пьесъ Гоголя была псевдоклассической *по формѣ* и обличительной *по идеѣ*. Выше [1]) были уже выяснены всѣ формальныя особенности этой комедіи (соблюденіе трехъ „единствъ", особое стремленіе къ запутанности интриги пьесы, симметрическое дѣленіе дѣйствующихъ лицъ на типы „положительные" и „отрицательные", любовная интрига, дидактизмъ). Мы видѣли уже, что даже лучшія пьесы XVIII в. и начала XIX (даже Фонвизина и Грибоѣдова), въ формальномъ отношеніи, точно придерживались псевдоклассическихъ традицій. Только выдающійся талантъ обоихъ названныхъ писателей оживилъ сухое схематическое построеніе пьесъ живымъ изображеніемъ дѣйствительности. Гораздо хуже дѣло обстояло съ писателями, менѣе талантливыми, — дѣйствующія лица ихъ пьесъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, безжизненны, шаблонны, являются односторонними носителями какихъ-нибудь опредѣленныхъ пороковъ (скупость, хитрость, лицемѣріе и пр.). Вотъ почему „обличеніе" въ этихъ пьесахъ не шло дальше критики „общечеловѣческихъ" пороковъ. Правда, въ комедіяхъ „бытовыхъ" обличались недостатки русской дѣйствительности (щеголи и щеголихи, французоманія, невѣжество, дворянская спесь, педантство мнимыхъ ученыхъ и пр.), но герои, представители этихъ русскихъ пороковъ, были все такъ же безжизненны, потому что авторы, слѣдуя рецепту псевдоклассицизма [2]), рисовали ихъ характеръ только съ одной стороны— со стороны обличаемаго порока. И въ идейномъ отношеніи комедіи Фонвизина и Грибоѣдова представляютъ счастливое исключеніе Русская комедія до Гоголя.

---

[1]) См. во II-ой части моей „Исторіи русской словесности" главу о псевдоклассической комедіи.

[2]) См. I-ую часть II-го вып. моей „Исторіи русской словесности", стр. 192.

въ ряду произведеній XVIII—XIX в. Въ нихъ зло русской жизни (крѣпостное право, злоупотребленія чиновничества) захватывалось глубоко, казнилось сознательно и безпощадно.

Комедіи Гоголя въ *формальномъ* отношеніи.

Если сравнить комедіи Гоголя съ лучшими образцами русской комической драматургіи XVIII и XIX в., то мы увидимъ, что, въ формальномъ отношеніи, онѣ далеко оставляютъ за собой даже пьесы Фонвизина и Грибоѣдова. И «Женитьба», и «Ревизоръ» — первыя русскія реалистическія комедіи, почти свободныя отъ узъ псевдоклассическихъ правилъ [1]). Подобно тому, какъ Пушкинъ далъ въ «Борисѣ Годуновѣ» первый образецъ драмы въ «шекспировскомъ» вкусѣ, — Гоголь то же самое сдѣлалъ въ области русской комедіи. Онъ первый у насъ далъ въ обѣихъ своихъ комедіяхъ — пьесы безъ положительныхъ героевъ. Этимъ нарушалась та шаблонная симметрія, которая соблюдается даже Фонвизинымъ и Грибоѣдовымъ; онъ обошелся безъ любовной интриги, которая въ пьесахъ его предшественниковъ обыкновенно связывала идеальнаго героя съ героиней. Онъ первый у насъ ввелъ *массу* въ дѣйствіе комедіи. Въ пьесахъ псевдоклассическихъ все вниманіе устремлялось, главнымъ образомъ, на *одного* героя и героиню, — остальныя немногочисленныя дѣйствующія лица оставались въ тѣни, — они нужны были только для того, чтобы подавать реплики главнымъ героямъ. У Гоголя всѣ дѣйствующія лица, существеннымъ образомъ, вовлечены въ дѣйствіе пьесы.

Отсутствіе положительныхъ героевъ. Отсутствіе любовной интриги.

Введеніе массы въ дѣйствіе.

По этому поводу Гоголь говоритъ въ «Театральномъ разъѣздѣ» слѣдующее: «Комедія должна вязаться сама собой, всей своею массою, въ одинъ большой, общій узелъ. Завязка должна обнимать всѣ лица, а не одно или два, коснуться того, что волнуетъ, болѣе или менѣе, всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Тутъ—всякій герой; теченіе и ходъ пьесы производятъ потрясеніе всей машины».

И, дѣйствительно, въ обѣихъ пьесахъ Гоголю удалось такъ завязать интригу, что въ развертываньи ея должны были принять участіе *многія* дѣйствующія лица. Наконецъ, подобно Шекспиру и Пушкину, Гоголь въ своихъ бытовыхъ пьесахъ нарисовалъ живыхъ людей, со всѣми своеобразностями ихъ сложныхъ характеровъ. Псевдоклассики въ своихъ комедіяхъ, слѣдуя

Комедія „характеровъ“.

---

[1]) Въ обѣихъ пьесахъ соблюдено только единство времени: дѣйствіе пьесъ совершается въ одинъ день.

примѣру древнихъ комиковъ, выдвигали готовые «типы», дѣлая ихъ носителями опредѣленныхъ страстей [1]).

Комедія Гоголя въ *идейномъ* отношеніи.

Но если, въ «формальномъ» отношеніи, обѣ комедіи Гоголя были «новымъ» и очень смѣлымъ словомъ, то, въ «идейномъ» отношеніи, даже «Ревизоръ» стоитъ гораздо ниже многихъ предшествующихъ русскихъ пьесъ. Не только въ комедіяхъ Фонвизина, Грибоѣдова, но даже въ произведеніяхъ менѣе выдающихся,—напр. въ «Ябедѣ» Капниста, встрѣтимъ мы больше сознательнаго отношенія къ русской жизни, больше смѣлости въ ея обличеніи, глубины и ширины въ ея пониманіи.

Сравненіе комедій Гоголя съ современными ей пьесами.

Лучше всего выясняются размѣры реформы, произведенной Гоголемъ въ области русской драматургіи изъ сравненія съ современными ему пьесами Хмельницкаго, кн. Шаховскаго, Загоскина и, особенно, Квитки-Основьяненко. Произведенія ихъ—пустые фарсы, карикатурные анекдоты изъ какой-то интернаціональной жизни съ шаблонными героями. Если въ этихъ комедіяхъ авторы брались за изображеніе русской жизни, они скользили, обыкновенно, по поверхности этой жизни, не заглядывая въ глубь ея.

„Пріѣзжій изъ столицы", комедія Основьяненко, и значеніе этой пьесы для „Ревизора".

Изъ названныхъ драматурговъ особенное значеніе для исторіи «Ревизора» имѣетъ Квитка-Основьяненко съ его пьесой «Пріѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ». Эта пьеса, по содержанію своему очень близка къ «Ревизору» и, несомнѣнно, оказало вліяніе на обработку его сюжета.

Самъ Гоголь говорилъ, что сюжетъ «Ревизора» уступленъ ему Пушкинымъ, который передалъ ему разсказъ о дѣйствительномъ случаѣ, имѣвшемъ мѣсто въ одномъ изъ русскихъ городовъ [2]). Но содержаніе комедіи Квитки доказываетъ, что если у Пушкина Гоголь и позаимствовался «идеей», то многія детали онъ взялъ у Квитки, по своему разработавъ заимствованное. Содержаніе названной пьесы Квитки состоитъ въ слѣдующемъ.

Содержаніе.

Городничій уѣзднаго города Трусилкинъ получаетъ извѣстіе, что черезъ городъ поѣдетъ одна важная особа. Всѣ въ городѣ и семья городничаго, и знакомые, и чиновники, встревожены этимъ извѣстіемъ, такъ какъ предполагаютъ въ ожидаемой «особѣ»—ревизора. Дамы городскія, со своей женской точки зрѣнія, интересуются будущимъ «гостемъ изъ столицы». Особенно взволнована сестра городничаго, старая дѣва сорока лѣтъ, и жена одного чиновника, разбитная и глупая дама, мать дочери-вертушки, Ейжени (по русски «Евгаша»), получившей воспитаніе въ трехъ французскихъ пансіонахъ.

---

[1]) Напр. въ древней комедіи: «Хвастливый воинъ», «Паразитъ», «Матрона» и пр., въ псевдоклассической «Петиметръ», «Субретка», «Лицемѣръ», «Хвастунъ». Самое названіе ролей, до сихъ поръ удержавшееся въ театрѣ («первый любовникъ», «комическая старуха», «резонеръ», «ingénue», «благородный отецъ» и пр.)—наслѣдіе псевдоклассической эпохи.

[2]) Въ г. Устюжну пріѣхалъ какой-то авантюристъ, выдалъ себя за ревизора и обобралъ чиновниковъ.

Чиновники опасаются воображаемаго ревизора и, каждый по своему, толкують объ его прiѣздѣ. Изъ чиновниковъ въ пьесѣ большую роль играютъ Спалкинъ, уѣздный судья, Печаталкинъ, почтовый экспедиторъ, и Ученосвѣтовъ, смотритель училищъ. Въ ожиданiи «ревизора», перетрусившiй городничiй принимаетъ рядъ экстренныхъ мѣръ: приказываетъ снять заборы на нижней улицѣ, положить доски тамъ, гдѣ проѣдетъ «особа», сажей подмазать на улицѣ фонари, и, наконецъ, чтобы не произошло пожара во время пребыванiя «ревизора», запечатать печи въ домахъ у бѣдныхъ. и пр. Приставъ предлагаетъ набрать кое-кого и посадить въ острогъ, такъ какъ тамъ арестантовъ очень мало. Прiѣзжаетъ незначительный чиновникъ Пустолобовъ, который сознательно плутуетъ, выдавая себя за «особу»,—на самомъ дѣлѣ, ему хочется жениться на богатой невѣстѣ, и онъ, пользуясь растерянностью городничаго и чиновниковъ, совершаетъ рядъ очень хитро и искусно-сочиненныхъ мошенничествъ, по ошибкѣ вѣнчается на старой дѣвѣ, сестрѣ городничаго, но дальше заставы не уѣзжаетъ. Его обманъ раскрывается. Его задерживаютъ, отнимаютъ деньги. Комизмъ пьесы очень неглубокъ, и психологiя дѣйствующихъ лицъ авторомъ слабо разработана. Кромѣ того, есть тутъ и неизбѣжный «идеальный любовникъ»,—маiоръ Миловъ, и «добродѣтельная дѣвица», его любящая—племянница городничаго. Сличенiе этой пьесы съ «Ревизоромъ» доказываетъ, что Гоголь взялъ отсюда нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ, взялъ нѣсколько сценъ,—но все это разработалъ совершенно самостоятельно.

Отношенiе русской критики къ „Ревизору“. Булгаринъ

Критика отнеслась къ «Ревизору» очень разнообразно: противъ комедiи высказаны были обвиненiя,—ей пропѣты были и дифирамбы. Булгаринъ осудилъ пьесу, назвавъ ее не комедiей, а «фарсомъ», давъ автору совѣтъ «поучиться драматическому искусству», такъ какъ онъ не имѣетъ достаточныхъ для драматурга знанiй. Критикъ находилъ въ пьесѣ «много цинизма и грязныхъ двусмысленностей»; онъ, увѣрялъ, что «Ревизоръ»—клевета на русскую жизнь: «Ревизоръ» производитъ непрiятное впечатлѣнiе, говорилъ онъ,—не слышишь ни одного умнаго слова, не видишь ни одной благородной черты сердца человѣческаго. Еслибъ зло перемѣшано было съ добромъ, то, послѣ справедливаго негодованiя, сердце зрителя могло бы, по крайней мѣрѣ, освѣжиться, а въ Ревизорѣ нѣтъ пищи ни

Сенковскiй.

уму, ни сердцу, нѣтъ ни мыслей, ни ощущенiй!» Сенковскiй тоже назвалъ комедiю Гоголя «непристойнымъ фарсомъ», въ которомъ нѣтъ идеи, нѣтъ нравовъ общества. Онъ говорилъ, что злоупотребленiя бываютъ въ цѣломъ мiрѣ и изъ злоупотребленiй нельзя писать комедiй, потому что это не нравы народа, не характеристика общества, но преступленiя отдѣльныхъ лицъ. Упрекалъ Сенковскiй Гоголя и за отсутствiе любовной интриги.

Оба эти отзыва раздались изъ «консервативной» журналистики,—оба критика стояли на старой псевдоклассической точкѣ зрѣнiя.

Кн. Вяземскiй о „Ревизорѣ“.

Многiе критики выступили въ защиту «Ревизора». Кн. Вяземскiй въ очень умной статьѣ превознесъ комедiю Гоголя, поставилъ ее наряду съ «Недорослемъ» и «Горемъ отъ ума». Онъ критикуетъ старое псевдоклассическое дѣленiе явленiй жизни на «низкiя», изображенiе которыхъ въ искусствѣ недопустимо—и «возвышенныя». «Для художника, говорилъ Вяземскiй, нѣтъ въ природѣ низкого а есть только истинное». Гоголя онъ превознесъ,

какъ художника-реалиста. Защищаетъ онъ пьесу Гоголя и противъ тѣхъ критиковъ, которые нападали на нее за отсутствіе морали, отсутствіе положительныхъ типовъ. «Литература не для малолѣтнихъ», говорилъ онъ, и авторъ былъ правъ, что нарисовалъ лица въ томъ видѣ, съ тѣми оттѣнками свѣта и безобразіями, какими они представлялись его взору. Пусть безнравственны лица—нравственно само впечатлѣніе, произведенное комедіей—и въ этомъ ея общественный смыслъ. Но надо быть справедливымъ и не преувеличивать самой безнравственности героевъ комедіи. Зачѣмъ клепать на нихъ,—они болѣе смѣшны, нежели гнусны: въ нихъ болѣе невѣжества, необразованности, нежели порочности... Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного умнаго человѣка; неправда. Уменъ авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица,—неправда—честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшки». Съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ комедіи журналъ Надеждина. Гоголя здѣсь похвалили за «умѣніе схватывать черты характеровъ»; его превознесли за то, что пьеса его отличается «народностью»: «театръ нашъ скоро воскреснетъ», говорилъ критикъ,—«скажемъ больше, что мы скоро будемъ имѣть нашъ національный театръ, который будетъ насъ угощать не насильственными кривляньями на чужой манеръ, не заемнымъ остроуміемъ, не уродливыми передѣлками, а художественнымъ представленіемъ нашей общественной жизни». Критикъ указывалъ, что успѣхъ пьесы объясняется не только тѣмъ, что она «смѣшна»,—«талантъ автора и современность произведенія»—вотъ, по его словамъ, главныя причины успѣха. «Да, она смѣшна, продолжаетъ авторъ, такъ сказать,—снаружи; но внутри—это горе-гореванье, лыкомъ подпоясано, мочалами испутано». Надеждинъ

Въ 1840-омъ году отозвался о «Ревизорѣ» и Бѣлинскій. Онъ оцѣнилъ пьесу съ эстетической точки зрѣнія, признавъ, что строеніе, композиція пьесы образцовыя, что «Ревизоръ»—единственная русская комедія, которая вполнѣ удовлетворяетъ требованьямъ художественности. Критикъ ставилъ Гоголя выше Мольера, «для котораго поэзія никогда не была сама по себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ». «Комедія, говорилъ Бѣлинскій, должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т. е. должна имѣть единство дѣйствія выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи». Бѣлинскій о «Ревизорѣ».

Всѣ эти мнѣнія русскихъ критиковъ, очевидно, не удовлетворяли Гоголя: онъ видѣлъ, что и хвалятъ его, и бранятъ многіе потому, что не понимаютъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ стремился онъ самъ, создавая свое произведеніе. Желая выяснить истинный смыслъ его, Гоголь написалъ нѣсколько разъясненій «Ревизора»: «Развязка Ревизора», «Дополненіе къ «Развязкѣ Ревизора», «Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи». Гоголь о «Ревизорѣ».

Въ первомъ очеркѣ Гоголь постарался выяснить истинный смыслъ комедіи, раскрывъ ту аллегорію, которую она, яко-бы, собою представляетъ. Выше (стр. 131) было пересказано это толкованіе, и отмѣчена была его искусственность, даже фальшь, дѣлающая мнѣніе Гоголя объ его пьесѣ для «Развязка Ревизора».

Театральный разъѣздъ». нас необязательнымъ. Въ «Театральномъ разъѣздѣ» Гоголь отвѣчаетъ своимъ критикамъ, разбирая ихъ обвиненія, отчасти похвалы. Мы видѣли уже, что обвиненія противъ пьесы сводились къ слѣдующему: 1) пьеса не комедія, а фарсъ; 2) построена она не по правиламъ: нѣтъ завязки и развязки, 3) нѣтъ добродѣтельныхъ героевъ; 4) комедія есть насмѣшка надъ Россіей,—она опасна въ политическомъ отношеніи, такъ какъ она подрываетъ «основы» русской жизни. Эти обвиненія высказываются зрителями, которые, спускаясь послѣ окончанія представленія по театральной лѣстницѣ, дѣлятся впечатлѣніями, вынесенными изъ театра. На всѣ обвиненія, тутъ же изъ толпы слышатся и отвѣты, оправдывающіе автора и его произведеніе. Одинъ изъ зрителей говоритъ о правильности построенія пьесы, о великомъ общественномъ значеніи серьезнаго комическаго сочиненія. Другой зритель опровергаетъ мнѣніе, будто комедія опасна въ политическомъ отношеніи, ссылаясь на слова одного мужичка, сказавшаго по поводу комедіи: «небось прытки были воеводы, а всѣ поблѣднѣли—какъ пришла царская расправа». Изъ этого восклицанія онъ выводитъ заключеніе, что «основъ» государственной жизни пьеса не затрагиваетъ,—теряется уваженіе только къ порочнымъ слугамъ государства. Тотъ же зритель говоритъ о великомъ нравственномъ значеніи комедіи, приглашая слушателей внимательнѣе заглянуть въ свои сердца,—поискать тамъ тѣхъ чувствъ и мыслей, которыя высмѣяны авторомъ въ его комедіи. Въ концѣ концовъ, въ уста

Гоголь о «смѣхѣ». «автора» Гоголь вкладываетъ свои мысли о великомъ очищающемъ значеніи «смѣха». Онъ указываетъ, какая громадная духовная сила сокрыта въ смѣхѣ—его боятся всѣ,—даже тѣ, «кто уже ничего не боится на свѣтѣ». Серьезный смѣхъ не пустозвонство. «Онъ углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницающей силы, котораго мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человѣка; ничтожное и презрѣнное, мимо чего человѣкъ проходитъ равнодушно всякій день»—проясняется и дѣлается понятнымъ, благодаря указанію писателя-юмориста. Его задача поэтому и сводится къ тому, чтобы поучать отрицательными образами, подчеркивая и отдавая на смѣхъ безобразіе зла. Осмѣивая зло, онъ тѣмъ самымъ, возвышаетъ идеалъ добра. Вотъ почему юмористъ—не гаеръ, не балаганный шутъ-зубоскалъ, а врачъ, который врачуетъ человѣческіе недуги, скорбя въ то же время надъ падшимъ человѣкомъ. «Въ глубинѣ холоднаго смѣха, говоритъ «авторъ», могутъ отыскаться горячія искры вѣчной, могучей любви, и кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы,—тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ».

Историко-литературное значеніе «Ревизора». Комедія «Ревизоръ» имѣетъ большое значеніе не только художественное и общественное (вопреки желанію автора), но и «историко-литературное». Гоголь, благодаря своимъ комедіямъ, сталъ во главѣ новой школы драматурговъ-реалистовъ, которые навсегда освободились отъ узъ псевдоклассицизма и взялись за правдивое изображеніе русской жизни. Гоголь создалъ „національный“ русскій театръ и, подъ его вліяніемъ, создалась цѣлая школа писателей, среди которыхъ самое видное мѣсто занимаетъ Островскій. Какъ въ „Женитьбѣ“, такъ и въ „Ревизорѣ“ Гоголь далъ нѣсколько

удачныхъ портретовъ изъ русской дѣйствительности,—и въ произведеніяхъ Гончарова, Тургенева, Островскаго, Потѣхина, Сухово-Кобылина и мн. др. мы встрѣтимъ не разъ развитіе, усложненіе тѣхъ русскихъ образовъ, которые впервые найдены и художественно отмѣчены еще Гоголемъ.

Повѣсти послѣдняго періода: „Шинель“. Основная идея повѣсти „Шинель“.

Изъ повѣстей Гоголя послѣдняго періода, написанныхъ въ Италіи, особенно цѣнны двѣ: «Шинель и «Мертвыя Души».

Основная идея повѣсти «Шинель» очень возвышенна. Положительно можно сказать, что это маленькое произведеніе, по глубинѣ идеи, стоитъ выше всего написаннаго Гоголемъ. Въ этой повѣсти онъ не изобличаетъ никого,—онъ выступаетъ съ евангельской проповѣдью любви къ ближнимъ; онъ въ образѣ героя рисуетъ «нищаго духомъ», человѣка «маленькаго», «ничтожнаго», малозамѣтнаго и утверждаетъ, что это существо достойно и человѣческой любви и даже уваженія. Трудно было доказать такую «смѣлую» идею въ то время, когда средняя публика находилась еще подъ вліяніемъ эффектныхъ героевъ Марлинскаго и его подражателей,—и тѣмъ болѣе чести Гоголю, что онъ рѣшился сказать свое слово въ защиту героя «униженнаго и оскорбленнаго», не побоявшись даже поставить его на пьедесталъ.

Характеристика героя повѣсти.

Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ—мелкій чиновникъ, обиженный судьбою и людьми, не надѣленный никакими способностями, кромѣ умѣнія красиво переписывать бумаги, представленъ человѣкомъ, который не только добросовѣстно, но даже съ любовью занимается своимъ дѣломъ. Это дѣло, переписыванье бумагъ, — весь смыслъ и единственная радость его одинокой, полуголодной жизни,—ни о чемъ другомъ онъ не мечтаетъ, ни къ чему не стремится и ни на что другое онъ не способенъ. Когда ему, въ видѣ повышенія, дали самостоятельную работу, онъ оказался не въ состояніи ея исполнить и просилъ оставить его при перепискѣ. Эта скромность сразу подкупаетъ читателя, располагаетъ его въ пользу Башмачкина.

Но Гоголь въ своей повѣсти требуетъ уваженія къ этому человѣку, которому, говоря словами евангельской притчи, былъ данъ «одинъ талантъ», и этотъ «талантъ» не былъ имъ зарытъ въ землю. Башмачкинъ, по мнѣнію Гоголя, стоитъ выше даровитыхъ чиновниковъ, занимающихъ видныя мѣста, но небрежно отправляющихъ свои обязанности.

Но не только уваженія къ Башмачкину, какъ къ скромному и честному работнику, требуетъ Гоголь въ своей повѣсти, — онъ требуетъ любви къ нему, какъ къ «человѣку». Въ этомъ высокая моральная идея произведенія.

Отношеніе Гоголя къ героѣ повѣсти.

Не надѣясь на то, что современные читатели въ состояніи будутъ сами разбираться въ этомъ произведеніи и понять «идею» его, Гоголь самъ раскрываетъ эту идею, изображая состояніе души

одного чуткаго юноши, который понялъ благодаря встрѣчѣ съ Башмачкинымъ, великое чувство христіанской любви къ ближнимъ. Эгоистическая и легкомысленная молодежь, въ чиновничьихъ вицъ-мундирахъ, любила потѣшаться надъ смѣшнымъ и безотвѣтнымъ старикомъ,—онъ покорно все переносилъ, лишь изрѣдка жалкимъ голосомъ повторяя: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ И Гоголь продолжаетъ:

«И что-то странное заключалось въ словахъ и голосѣ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человѣкъ, который, по примѣру другихъ, позволилъ-было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тѣхъ поръ, какъ будто, все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ, съ лысиною на лбу, съ своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «Я—братъ твой!» И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости—и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ!»

Башмачкинъ жилъ незамѣтнымъ и умеръ такимъ же невѣдомымъ, забытымъ... Его жизнь не обильна впечатлѣніями, вотъ почему самыми крупными событіями въ ней было ужаснувшее его сознаніе, что надо купить новую шинель, радостныя мечты объ этой шинели, восторгъ его, когда шинель была у него на плечахъ, и, наконецъ, мученья его, когда эта шинель была у него украдена и когда найти ее оказалось невозможнымъ... Всѣ эти разнообразныя чувства, связанныя съ шинелью, ураганомъ ворвались въ его существованіе и смяли его въ короткое время! Башмачкинъ умеръ отъ такой же ничтожной причины, какъ старосвѣтскіе помѣщики, и произошло это по той же причинѣ: слишкомъ безсодержательна была его жизнь, и оттого до гигантскихъ размѣровъ выростала въ этой пустой жизни всякая случайность. Чтó для другого человѣка, живущаго полной жизнью, было бы непріятнымъ, но побочнымъ обстоятельствомъ, то для Башмачкина сдѣлалось единственнымъ содержаніемъ жизни.

Художественная цѣнность повѣсти.

Въ художественномъ отношеніи, произведеніе это стоитъ очень высоко. Авторъ задалъ себѣ трудную задачу,—окружить сочувствіемъ читателя ничтожный и смѣшной образъ Башмачкина, не впадая въ карикатурность и слащавую сентиментальность. Какъ тонко и трогательно изобразилъ Гоголь маленькую, „муравьиную“ душу своего героя, видно, хотя бы, изъ разсказа о тѣхъ мысляхъ

и чувствахъ, которыя овладѣли имъ, когда онъ примирился, наконецъ, съ мыслью о необходимости купить новую шинель. У него не хватало сорока рублей—

«Акакій Акакіевичъ думалъ-думалъ и рѣшилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенныя издержки, хотя бы, по крайней мѣрѣ, въ продолженіе одного года: изгнать употребленіе чая по вечерамъ и не зажигать по вечерамъ свѣчи, а, если что понадобится дѣлать, идти въ комнату къ хозяйкѣ и работать при ея свѣчкѣ; ходя по улицамъ, ступать, какъ можно легче и осторожнѣе по камнямъ и плитамъ почти на цыпочкахъ, чтобы, такимъ образомъ, не истереть скоровременно подметокъ; какъ можно рѣже отдавать прачкѣ мыть бѣлье, а чтобы не занашивалось, то всякій разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только демикотоновомъ халатѣ,—очень давнемъ и щадимомъ даже самимъ временемъ.

Надобно сказать правду, что сначала ему было нѣсколько трудно привыкать къ такимъ ограниченіямъ, но потомъ какъ-то привыклось и пошло на ладъ,—даже онъ совершенно пріучился голодать по вечерамъ; но зато онъ питался духовно, нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели. Съ этихъ поръ, какъ будто, самое существованіе его сдѣлалось какъ-то полнѣе, какъ будто онъ женился, какъ будто какой-то другой человѣкъ присутствовалъ съ нимъ, — какъ будто, онъ былъ не одинъ, а какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить вмѣстѣ жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, какъ та же шинель, на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ безъ износу... Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, даже тверже характеромъ, какъ человѣкъ, который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль. Съ лица и съ поступковъ его исчезло само собою сомнѣніе, нерѣшительность, словомъ—всѣ колеблющіяся и неопредѣленныя черты... Огонь порой показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали самыя дерзкія и отважныя мысли: «не положить ли, точно, куницу на воротникъ!»

Такъ, ловко балансируя между насмѣшкой и сожалѣніемъ, смѣхомъ и слезами, Гоголь тонко рисуетъ образъ своего героя.

Изъ приведеннаго отрывка мы узнаемъ о томъ, что маленькій ничтожный Акакій Акакіевичъ былъ надѣленъ такой силой воли, которой, быть можетъ, не сыскать у многихъ людей съ характеромъ. Изъ этого же отрывка мы узнаемъ, что существо человѣка, даже стоящаго на самой низкой ступени умственнаго развитія, доступно стремленіямъ къ «идеалу». Этимъ *идеаломъ* въ жизни Башмачкина была хорошая ватная шинель. Мечта о шинели освѣтила его жизнь, показала ему цѣль въ жизни—накопить денегъ для ея покупки. Эта мечта даже облагородила его, поднявъ его въ собственныхъ глазахъ...

Другія дѣйствующія лица въ повѣсти.

Кромѣ Башмачника, Гоголь вывелъ въ этой повѣсти чиновниковъ, находящихся на различныхъ ступеняхъ чиновничьей іерархіи. Легкомысленные молодые чиновники, среди которыхъ есть и богачи, и знатные—это толпа; авторъ подмѣтилъ и осудилъ въ ней тотъ эгоизмъ, ту «свирѣпую грубость», которой, по его словамъ, онъ много видѣлъ въ самой утонченной, образованной свѣткости. Въ «значительномъ лицѣ» повѣсти Гоголь вывелъ чело-

вѣка добродушнаго, но тщеславнаго и пустого; генеральскій чинъ ему вскружилъ голову,—къ своимъ подчиненнымъ и вообще людямъ ниже его стоящимъ по службѣ, онъ считаетъ необходимымъ относиться «строго, распекать ихъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ». И вотъ, человѣкъ добрый въ душѣ, одурманенный тщеславіемъ, онъ совершаетъ поступки, въ которыхъ тоже оказывается много самой «свирѣпой грубости». «Человѣческія», гуманныя отношенія къ людямъ вычеркнуты изъ программы его дѣйствій,—онъ не желаетъ унижать свое званіе внимательнымъ отношеніемъ къ людямъ, низшимъ по своему положенію!

Литературная исторія повѣсти.

Литературная исторія повѣсти выяснена историками литературы. Въ основѣ ея лежитъ дѣйствительный случай, происшедшій съ однимъ маленькимъ чиновникомъ, который долго копилъ деньги, чтобы купить ружье. Добившись, наконецъ, того, чего желалъ, онъ отправился на охоту, нечаянно уронилъ ружье въ рѣку и не могъ его достать. Съ горя онъ чуть не умеръ, и спасли его товарищи, въ складчину купившіе ему новое ружье. Но, кромѣ этого случая, давшаго для повѣсти *сюжетъ*, нельзя не отмѣтить и то обстоятельство, что повѣсть Гоголя органически связана съ русскимъ романомъ XVIII и начала XIX в.

Предшественники Гоголя въ изображеніи маленькихъ людей.

Среди произведеній Чулкова мы указали уже выше на повѣсть «Горькая участь», въ которой выведенъ чиновникъ — прообразъ Башмачкина. То же ничтожное мелкое существованіе героя, то же сочувственное, гуманное отношеніе къ нему автора. Сентиментализмъ принесъ съ собой проповѣдь любви къ людямъ «малымъ»,—и, вотъ, Карамзинъ сдѣлалъ, въ своей «Бѣдной Лизѣ», великое открытіе: «и крестьянки чувствовать умѣютъ»; вслѣдъ за его «Флоромъ Силинымъ, добродѣтельнымъ крестьяниномъ», въ нашей литературѣ излюбленными сдѣлались образы разныхъ маленькихъ людей, въ сердцахъ которыхъ авторы раскрывали высокія чувства любви къ людямъ, къ родинѣ, къ своему долгу. Пушкинъ въ Машѣ Мироновой и ея родителяхъ раскрылъ въ сердцахъ простоватыхъ русскихъ людей цѣлый міръ возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, это гуманное, благородное вниманіе къ тѣмъ людямъ, мимо которыхъ равнодушно проходитъ толпа, сдѣлалось традиціей русской литературы, и повѣсть Гоголя поэтому органически связана со всей предшествующей литературой. Гоголь сказалъ «новое слово» въ этой повѣсти только въ томъ отношеніи, что онъ въ «смѣшномъ», «жалкомъ» нашелъ возвышенное и сумѣлъ свою идею воплотить такъ художественно, какъ это не удалось предшественнику въ XVIII в.—Чулкову.

Значеніе повѣсти для послѣдующей русской литературы.

Повѣсть Гоголя имѣетъ большое значеніе и для послѣдующей русской литературы. „Мы всѣ явились изъ-подъ „Шинели“ Гоголя!“ сказалъ Достоевскій—и, дѣйствительно, многія повѣсти его,—повѣсти, самыя гуманныя по настроенію, отзываются вліяніемъ Гоголя. Всѣ первыя произведенія Достоевскаго („Бѣдные люди“, „Униженные и оскорбленные“), — все это развитіе гуманныхъ идей Гоголя, воплощенныхъ въ его „Шинели“. Иностранная критика отмѣчаетъ, что одной изъ самыхъ характерныхъ чертъ

русской литературы надо признать тенденцію проповѣдывать состраданіе къ падшему брату, или вообще къ несчастному, обиженному судьбой и людьми. Дѣйствительно, это наша литературная традиція, и въ исторіи ея укрѣпленія и развитія самое видное мѣсто занимаетъ Гоголь, съ его трогательною повѣстью „Шинель“.

Основная идея „Мертвыхъ Душъ“— а) съ точки зрѣнія Гоголя.

Опредѣлить основную идею поэмы „Мертвыя Души“ не совсѣмъ просто. Объясняется это, прежде всего, тѣмъ, что мы имѣемъ лишь небольшую часть этого произведенія,—лишь *первую* часть, да отдѣльные разрозненные куски *второй*. Такимъ образомъ, судить обо *всемъ* произведеніи мы не имѣемъ возможности. А затѣмъ положеніе критика затрудняется тѣмъ, что въ его распоряженіи есть толкованія, которыя далъ своему произведенію самъ авторъ, и обѣщанія, которыя онъ хотѣлъ выполнить при окончаніи поэмы, но не успѣлъ. По собственному признанію Гоголя, онъ самъ сначала писалъ безъ всякихъ серьезныхъ цѣлей. Пушкинъ далъ ему сюжетъ, благодарный для его таланта; Гоголь увлекся комизмомъ тѣхъ положеній, которыя легко вплетались въ этотъ сюжетъ,—и сталъ писать „карикатуру,“ „не опредѣливши себѣ обстоятельнаго плана, не давши себѣ отчета, что̀ такое долженъ быть самъ герой. Я думалъ просто, говоритъ Гоголь, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго занятъ Чичиковъ, наведетъ меня на разнообразныя лица и характеры“. Это свободное, чисто-художественное творчество и помогло Гоголю создать лучшія страницы первой части—тѣ страницы, которыя вызвали у Пушкина восклицаніе: „Господи! какъ грустна наша Россія“. Восклицаніе это поразило Гоголя—онъ увидалъ, что изъ „шалости“ его пера, изъ его шутливаго, несерьезнаго, произведенія можетъ выйти нѣчто крупное. И вотъ, поощренный Пушкинымъ, онъ задумалъ въ своемъ произведеніи показать „съ одного боку Россію“, т. е. полнѣе, чѣмъ въ „Ревизорѣ“ [1]), изобразить отрицательныя стороны русской жизни.

Чѣмъ болѣе углублялся Гоголь въ свое произведеніе,—тѣмъ слабѣе дѣлалось вліяніе Пушкина; чѣмъ самостоятельнѣе становилось отношеніе Гоголя къ его работѣ,—тѣмъ сложнѣе, искусственнѣе, тенденціознѣе дѣлались его замыслы. Прежде всего, онъ задумалъ расширить предѣлы изображаемаго,—захотѣлъ показать Россію ужъ не „съ одного бока“, а всю цѣликомъ—зло и добро,

1) Тамъ представленъ былъ, по мнѣнію Гоголя, „уголокъ“ Россіи,—здѣсь вся Россія, хотя и „съ одного бока“.

въ ея жизни заключенное; потомъ онъ сталъ думать о «планѣ» для своего уже начатаго произведенія, — онъ задавалъ себѣ тревожные вопросы о «цѣли» и «смыслѣ» своего труда. И тогда поэма, въ его воображеніи, разрослась въ три части. Вѣроятно, позднѣе онъ усмотрѣлъ въ ней тотъ аллегорическій смыслъ, о которомъ было уже сказано выше [1]. Три части «Мертвыхъ Душъ» должны были, въ законченномъ видѣ, соотвѣтствовать тремъ частямъ дантовской «Божественной Комедіи»: первая часть, посвященная изображенію только зла—должна была соотвѣтствовать «Аду»; вторая часть, гдѣ зло не было такъ отвратительно, гдѣ начинается просвѣтъ въ душѣ героя, гдѣ выводятся уже нѣкоторые положительные типы—отвѣчала бы «Чистилищу»,—и, наконецъ, въ заключительной третьей части, Гоголь хотѣлъ представить въ апоѳеозѣ все то добро, которое заключалось въ душѣ «русскаго человѣка», — эта часть должна была соотвѣтствовать «Раю». Такимъ образомъ, явилось то искусственное громоздкое построеніе матеріала, съ которымъ не справился Гоголь.

Но, кромѣ этой надуманности композиціи, еще моральная тенденція помѣшала Гоголю свободно творить. Все выроставшія заботы о своемъ «душевномъ дѣлѣ», объ очищеніи своего сердца, пагубнымъ образомъ отразились на его творчествѣ. И вотъ въ свою поэму онъ сталъ понемногу вводить свои воображаемые и дѣйствительные «пороки» [2]. «Герои мои потому близки душѣ, говоритъ онъ, что они изъ души,—всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души». Онъ самъ сознавался, что, когда въ немъ усиливалось желаніе избавиться отъ разныхъ душевныхъ пороковъ, онъ «сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ «гадостей» — своими собственными. И, по его словамъ, это помогло ему самому сдѣлаться лучше...

Итакъ, самъ Гоголь даетъ намъ три толкованія своей поэмы — 1) начало ея (первая часть) — безхитростное изображеніе своеобразныхъ лицъ и характеровъ, взятыхъ изъ русской жизни. Характерная черта, объединяющая почти всѣхъ героевъ первой части—безотрадная пошлость, полная безсознательность жизни, непониманіе ея цѣлей и смысла: съ «этого боку» представилъ онъ

---

[1]) См. стр. 131.

[2]) Вѣроятно, это сильнѣе всего замѣчалось въ сожженной части «Мертвыхъ Душъ», о которой самъ Гоголь говорилъ, какъ о неудачной вещи.

«русское общество», 2) это произведеніе должно было охватить всю Россію,—все зло и добро, въ ней заключенное. Въ такомъ широкомъ толкованіи русской дѣйствительности видѣлъ Гоголь «службу» передъ родиной — и 3) произведеніе это должно было служить ему лично, въ дѣлѣ его духовнаго самосовершенствованія. На себя онъ смотрѣлъ, какъ на «моралиста», который не только укажетъ согражданамъ на то зло, которое вносятъ въ жизнь отдѣльные порочные дѣятели, но нарисуетъ и тѣ идеалы, которые спасутъ родину.

b) съ точки зрѣнія критики.

Нетрудно понять, что для читателя «Мертвыхъ Душъ» необязательно это толкованіе: онъ имѣетъ передъ глазами только *первую* часть поэмы, въ которой мелькаютъ лишь случайныя обѣщанія на то, что въ будущемъ разсказъ приметъ иной характеръ, — личное «душевное дѣло» писателя читателя не касается. Поэтому приходилось судить произведеніе, оставивъ замыслы автора, не копаясь въ его душѣ. И вотъ, современная послѣдующая критика, вопреки Гоголю, опредѣлила сама идею произведенія. Какъ раньше въ «Ревизорѣ», такъ и въ «Мертвыхъ Душахъ» усмотрѣно было желаніе автора указать на безобразіе русской жизни, которое, съ одной стороны зависѣло отъ крѣпостного права, съ другой стороны,—отъ системы управленія Россіей. Такимъ образомъ, «идея» «Мертвыхъ Душъ» большинствомъ была признана обличительной, авторъ—причисленъ къ сатирикамъ, смѣло бичующимъ зло современной дѣйствительности. Словомъ, произошло то же, что раньше было съ «Ревизоромъ»: 1) желаніе автора было одно, а результаты его творчества привели къ выводамъ, которыхъ онъ совсѣмъ не желалъ, не ожидалъ... 2) какъ относительно «Ревизора», такъ и относительно «Мертвыхъ Душъ» намъ приходится устанавливать идею произведенія, обходясь не только безъ помощи автора, но даже вопреки его желаніямъ: мы должны видѣть въ этомъ произведеніи картину отрицательныхъ сторонъ русской жизни, и въ этой картинѣ, въ ея освѣщеніи, усмотрѣть великій общественный смыслъ произведенія.

Характеристика Чичикова. Исторія его души и идеаловъ.

Центральную фигуру въ «поэмѣ» представляетъ собою Чичиковъ. Гоголь особенно обстоятельно очертилъ этотъ образъ, который долженъ былъ занимать видную роль во всѣхъ трехъ частяхъ «Мертвыхъ душъ». Обрисовывая своихъ героевъ, Гоголь почти всегда даетъ намъ, болѣе или менѣе, обстоятельную *исторію* ихъ душъ [1]). Эта исторія, въ его глазахъ, много объ-

[1]) Исторія Плюшкина, Тентенникова, исторія жизни русскихъ мужиковъ (см. чтеніе Чичиковымъ списка именъ купленныхъ имъ крестьянъ). Въ уста

ясняетъ въ характерѣ героя, ко многому заставляетъ относиться снисходительнѣе [1]). Вотъ почему обстоятельно разсказываетъ Гоголь о дѣтствѣ и воспитаніи своего героя. Безпросвѣтно, безотрадно было это дѣтство: бѣдность, отсутствіе любви и ласки, безнравственность черстваго, нелюбящаго отца, грязь внѣшняя и внутренняя,—вотъ, та обстановка, въ которой онъ выросъ, никѣмъ не любимый, никому не нужный. Но судьба надѣлила его желѣзной энергіей и стремленіемъ устроить свою жизнь *«порядочнѣе»*, чѣмъ отецъ-неудачникъ, нечистоплотный и въ нравственномъ и въ физическомъ смыслѣ. Эта «неудовлетворенность дѣйствительностью» окрылила энергію маленькаго Чичикова. Изъ раннихъ столкновеній съ нищетою и голодомъ, изъ жалобъ отца на безденежье, изъ наставленія его: «копить деньгу», такъ какъ только на одну «деньгу» въ жизни и можно положиться,—вынесъ мальчикъ убѣжденіе, что деньги—основа земного счастья. Оттого благополучіями жизни стало представляться ему то, что можно достать деньгами — сытая, роскошная жизнь, комфортъ... Такіе «идеалы» стали рисоваться ему... И вотъ онъ началъ «изобрѣтать» и «пріобрѣтать»: грошъ за грошемъ копилъ онъ деньги, изворачиваясь всячески въ обществѣ товарищей, обнаруживая настойчивость необыкновенную. Еще въ школѣ сталъ онъ «дѣлать карьеру», поддѣлываясь подъ вкусы учителя. Еще на школьной скамьѣ развилъ онъ въ себѣ способность всматриваться въ человѣческія слабости, умѣло играть на нихъ, медленно, упорно созидая свою муравьиную работу. Умѣніе подладиться подъ человѣка помогло ему на службѣ, но оно же развило въ немъ стремленіе дѣлить людей на «нужныхъ» и «ненужныхъ». Вотъ почему холодно отнесся онъ къ печальной участи своего бывшаго учителя, вотъ почему онъ никакихъ чувствъ благодарности не питалъ къ старому откупщику, который помогъ ему получить мѣсто. Чувство благодарности убыточно,—оно требуетъ «отъ чего-то» отказаться, «чѣмъ-то» поступиться, а это не входило въ расчеты «пріобрѣтателя»-Чичикова. Деньги, какъ главная цѣль жизни,—цѣль низкая, и Чичиковъ пошелъ къ этой цѣли дорогой мошенничествъ и обмановъ, не падая духомъ, борясь съ неудачами... Между тѣмъ, выйдя на широкій просторъ жизни, онъ расширилъ и углубилъ свой идеалъ. Картина сытой, роскошной жизни смѣнилась другой,—онъ сталъ мечтать о спокойной, чистой семейной жизни, въ обществѣ жены и дѣтей. Тепло, уютно было ему, когда онъ отдавался этой мечтѣ. Въ домѣ полное довольство; онъ—примѣрный мужъ,

Дѣтство Чичикова.

Недовольство дѣйствительностью.

„Деньги“ въ жизни.

„Карьера“.

Отношеніе къ людямъ.

Постепенное расширеніе идеаловъ Чичикова.

Муразова онъ вкладываетъ объясненіе, почему интересна исторія человѣка. Строгому генералъ-губернатору Муразовъ говоритъ: «... Если не примешь во вниманіе и прежнюю жизнь человѣка, если не разспросишь обо всемъ хладнокровно, а накричишь съ перваго раза, запугаешь только его,—да и признанія настоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата,—самъ-съ все и выскажетъ... Затруднительны положенья человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человѣкъ... а какъ войдешь,—даже и не онъ...» Такое гуманное отношеніе къ каждому человѣку рекомендуетъ Гоголь въ письмѣ къ «занимающему важное мѣсто» («Выбранныя Мѣста»). Отсутствіе этого гуманнаго вниманія осудилъ онъ въ «Шинели»—въ той сценѣ, когда «значительное лицо» накричало на Башмачкина.

[1]) «Какъ же не защищать человѣка, когда знаю, что онъ половину золъ дѣлаетъ отъ грубости и невѣдѣнія?» («Мерв. Души», слова Муразова).

уважаемый отецъ и почтенный гражданинъ родной земли. Чичикову казалось, что когда сбудутся его мечты, онъ забудетъ все прошлое,—свое грязное, безотрадное и голодное дѣтство и тернистую дорогу, обозначенную мошенничествами и плутовствомъ. Ему казалось, онъ броситъ тогда плутовство, «исправится» и оставитъ «честное имя» своимъ дѣтямъ. И вотъ, раньше, плутуя, онъ оправдывалъ себя мыслью, что «всѣ такъ дѣлаютъ», теперь прибавилось новое оправданіе: «цѣль оправдываетъ средства».

Пути къ этимъ идеаламъ.

Немного выше сдѣлались его идеалы, но пути къ нимъ оставались нечистыми, и Чичиковъ грязнился все больше и больше. И, въ концѣ концовъ, ему самому пришлось сознаться, что «плутоватость» сдѣлалась его привычкой, его второй натурой: «нѣтъ больше отвращенія отъ порока!»—жаловался онъ Муразову—«огрубѣла натура; нѣтъ любви къ добру, нѣтъ такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученія имущества!» Нѣсколько разъ удавалось Чичикову воздвигнуть шаткое зданіе своего благополучія на мошенническихъ продѣлкахъ всякаго рода; нѣсколько разъ былъ онъ близокъ къ осуществленію своихъ идеаловъ,—и всякій разъ все рушилось, приходилось все строить сначала.

Сила воли Чичикова.

Онъ отличается необыкновенной силой воли. «Назначеніе ваше—быть великимъ человѣкомъ»,—говоритъ ему Муразовъ, упрекая его за то, что великая сила его души, его энергія, была всегда направлена къ нечистой цѣли. Объ его энергіи не разъ говоритъ и Гоголь, хотя бы, разсказывая его многотрудную «одиссею», когда сызнова приходилось устраивать свою жизнь. Кромѣ силы воли, Чичиковъ надѣленъ большимъ умомъ, не только практическимъ,—сметкой, изобрѣтательностью, лукавствомъ и изворотливостью, но и тѣмъ созерцательнымъ, «философскимъ» умомъ, который ставитъ его выше всѣхъ другихъ героевъ поэмы. Недаромъ Гоголь въ его голову вкладываетъ глубокія размышленія о судьбѣ русскаго человѣка (чтеніе списка купленныхъ мужиковъ). Кромѣ того, Чичиковъ здраво разсуждаетъ о пошлости жизни прокурора, о томъ воспитаніи, которое въ Россіи даютъ дѣвицамъ. Недаромъ онъ понимаетъ не только слабости, но и достоинства человѣческія, недаромъ, сталкиваясь съ честными людьми (генералъ-губернаторъ, Муразовъ), онъ оказывается способнымъ, именно въ моментъ своего униженія, нравственно подыматься. Не плутомъ изворотливомъ и лукавымъ рисуется онъ въ ихъ обществѣ, а павшимъ человѣкомъ, который понимаетъ глубину и позоръ своего паденія. «За умъ онъ не уважалъ еще ни одного человѣка», говоритъ Гоголь, пока судьба не свела его съ Костанжогло, Муразовымъ и др. Не уважалъ потому, что самъ былъ неизмѣримо умнѣе всѣхъ.

Умъ Чичикова.

Наклонности Чичикова къ поэзіи.

Въ своемъ практическомъ Чичиковѣ Гоголь отмѣтилъ еще одну характерную черту — наклонность къ поэзіи, къ мечтательности. Его минутное увлеченіе барышней, встрѣченной въ пути, чистое увлеченіе губернаторской дочкой, его настроеніе въ домѣ Платоновыхъ, наслажденіе вечеромъ въ имѣніи Пѣтуха, весной — въ деревнѣ Тентетникова, самыя мечты его о тихомъ «благообразномъ» семейномъ счастьѣ полны дѣйствительной поэзіи...

Чичиковъ съ людьми.

Образъ Чичикова сразу пошлѣетъ, когда онъ попадаетъ въ общество пошляковъ. Это происходитъ потому, что онъ всегда подлаживается подъ

тѣхъ людей, съ которыми имѣетъ дѣло: онъ даже говоритъ [1]) и ведетъ себя иначе въ обществѣ Манилова, Собакевича и Коробочки. Съ первымъ онъ сентиментальничаетъ, мечтаетъ, втирается въ его чувствительное сердце: со вторымъ онъ дѣловитъ, и на недовѣріе хозяина отвѣчаетъ такимъ же недовѣріемъ (сцена съ деньгами и распиской); на безобидную, глупую Коробочку онъ кричитъ, сулитъ ей «чорта». Когда Чичиковъ оказывается въ «обществѣ», онъ поддѣлывается подъ «тонъ» этого общества, усваиваетъ тѣ манеры, которыя здѣсь считаются «приличными», — и потому для толпы онъ всегда будетъ «приличнымъ», «благонамѣреннымъ», «пріятнымъ»... Онъ не пойдетъ, какъ Чацкій, противъ цѣлой Москвы, — политика Молчалина ему удобнѣе и легче.

Чичиковъ понимаетъ людей и умѣетъ производить впечатлѣніе выгодное, — даже умнаго Костанжогло онъ очаровываетъ, недовѣрчиваго брата Платонова располагаетъ въ свою пользу. Кромѣ того, онъ остороженъ, — даже въ нетрезвомъ состояніи онъ умѣетъ удержать свой языкъ отъ излишней болтливости: осторожности, очевидно, научила его жизнь. Впрочемъ, иногда и онъ ошибается: такъ ошибся онъ въ Ноздревѣ, ошибся и съ Коробочкой. Но эта ошибка объясняется тѣмъ, что и у Ноздрева, и у Коробочки такіе своеобразные характеры, которыхъ сразу даже Чичиковъ не постигъ.

Отношеніе Чичикова къ себѣ самому.

Чичиковъ очень высокаго мнѣнія о себѣ: онъ уважаетъ себя за свою энергію, за свой умъ, за свое умѣніе жить. Онъ любитъ себя за свои «чистыя мечты», которымъ ревностно служитъ; онъ любитъ себя за свое благообразіе, за свой нарядный костюмъ, за свои благородныя манеры, — словомъ, за то, что выйдя изъ грязной норы, изъ грязнаго общества отца, — онъ сумѣлъ сдѣлаться, по его мнѣнію, «порядочнымъ человѣкомъ».

«Мелочность» Чичикова.

Страсть къ «пріобрѣтенію» наложила на него нѣкоторую печать «мелочности» — онъ собираетъ въ свою шкатулку даже старыя афиши, — черта, достойная Плюшкина. Устройство его шкатулки, съ ящиками и секретными отдѣленіями, напоминаетъ комодъ Коробочки, съ его мѣшечками для гривенниковъ, двугривенныхъ. Въ школѣ Чичиковъ копилъ деньги по методу Коробочки. Мелочность Чичикова выражается и въ его любопытствѣ: онъ всегда выспрашиваетъ половыхъ, слугъ, собираетъ всевозможныя свѣдѣнія «на всякій случай», — такъ, какъ Плюшкинъ собиралъ разные предметы въ своемъ кабинетѣ.

«Сострадательность».

Отмѣчаетъ Гоголь, правда, не безъ ироніи, вскользь, еще одну черту — его «сострадательность», — онъ всегда подавалъ нищимъ гроши. Но

---

[1]) У него и стиль особенный выработанъ для того, чтобы разговаривать съ «толпой». Этотъ стиль отличается кудрявой витіеватостью, заимствованною изъ старыхъ авантюрныхъ романовъ XVIII в.: тамъ, обыкновенно, выводятся добродѣтельные герои, гонимые судьбой. Когда Чичиковъ сравниваетъ себя съ «ладьей», носимой по волнамъ житейскаго моря, говоритъ о томъ, что онъ «гонимъ за правду», пострадалъ отъ людской злобы, — мы невольно представляемъ себѣ этихъ романическихъ героевъ, и это впечатлѣніе, въ глазахъ провинціаловъ, которые еще въ началѣ вѣка (дѣйствіе романа происходитъ въ началѣ XIX вѣка, еще при жизни Наполеона I) дочитывали старые романы, — очевидно, очень пріятное. Людей болѣе образованныхъ, Тентетникова, Платонова, оно только изумило. Впрочемъ, въ разговорѣ съ Муразовымъ Чичиковъ не прибѣгалъ къ помощи этого «поэтическаго» стиля, который такъ расположилъ въ его пользу Манилова и губернскихъ дамъ.

сострадательность эта «грошовая»,—Чичиковъ не способенъ на самопожертвованіе, на отреченіе отъ какихъ-нибудь благъ въ пользу ближняго. У Чичикова вообще нѣтъ любви къ ближнему. Онъ не поднялся выше идеаловъ любви семейной, по существу своему, всетаки эгоистическихъ.

Сложность его натуры.

Если Гоголь, дѣйствительно, хотѣлъ на Чичиковѣ показать возрожденіе порочнаго человѣка къ добру, то надо сознаться, выборъ героя сдѣланъ былъ имъ удачно. Сложная натура Чичикова богата самыми разнообразными качествами. Изумительная энергія его сочеталась съ умомъ, здравымъ смысломъ, лукавствомъ, большою гибкостью и неутомимостью.

Оригинальность ума Чичикова.

Но кромѣ всего этого, Гоголь отмѣтилъ въ немъ «человѣка-изобрѣтателя» способнаго выдумать нѣчто «новое», сказать обществу, погрязшему въ косности, свое новое, хотя и преступное слово. У Чичикова нѣтъ косности,—его умъ свободенъ, и фантазія крылата. Но все это качества, такъ сказать, «нейтральныя», — они могутъ быть равно направлены на зло и добро. Но Гоголь отмѣтилъ въ душѣ своего героя наличность сознательности,—Чичиковъ знаетъ, что совершаетъ зло, но утѣшаетъ себя мыслью, что «дѣланіе зла» въ его жизни—лишь «переходный моментъ». Въ этомъ умѣніи отличить «добро» и «зло»—кроется источникъ возрожденія Чичикова. Оно тѣмъ для него легче, что, въ сущности, жизненные идеалы («чистое семейное счастье») его были если не особенно высоки, то, все же безупречны. Къ тому же въ душѣ его есть мягкіе элементы поэзіи и мечтательности. Вѣроятно, на этихъ положительныхъ качествахъ Чичикова желалъ Гоголь построить его возрожденіе.

Другія дѣйствующія лица въ поэмѣ

Въ первой части своей поэмы Гоголь, кромѣ Чичикова, вывелъ цѣлый рядъ помѣщиковъ и чиновниковъ,—между помѣщиками есть хозяйственные (Собакевичъ, Коробочка) и бездѣльные, разоряющіе свое хозяйство (Маниловъ, Ноздревъ, Плюшкинъ); между чиновниками есть безобидные (губернаторъ, вышивающій по тюлю, почтмейстеръ, прокуроръ и др.), есть плуты и взяточники различныхъ оттѣнковъ, добродушные и злостные,—но нѣтъ «человѣка» въ томъ высокомъ значеніи слова, которое связываетъ Гоголь съ этимъ понятіемъ, когда рисуетъ своихъ уродовъ въ первой части «Мертвыхъ душъ». Здѣсь Гоголь даетъ намъ понять, что съ словомъ «человѣкъ» онъ соединяетъ представленіе о существѣ, полномъ благородныхъ движеній души, надѣленномъ яснымъ сознаніемъ того, что такое жизнь, каковы ея смыслъ и цѣль (размышленія Чичикова по случаю смерти прокурора), каковы обязанности человѣка къ семьѣ, обществу, государству. Ни у кого изъ перечисленныхъ лицъ нѣтъ сознанія «долга» [1]) передъ родиной и людьми, — и, въ этомъ отношеніи, Чичиковъ головой стоитъ выше ихъ всѣхъ. Всѣ они ведутъ безсознательную, пошлую жизнь, день за днемъ; духовные интересы ихъ ничтожны. «Темный уголокъ» Руси, изображенный въ «Ревизорѣ»,—въ «Мертвыхъ Душахъ» разросся въ обширное «темное царство».

Собакевичъ.

Въ лицѣ Собакевича Гоголь вывелъ дворянина—«кулака», захолустнаго медвѣдя, грубаго, плутоватаго (помѣстилъ въ списокъ мужиковъ бабу, поддѣлавъ имя). Духовныхъ интересовъ у него нѣтъ никакихъ, — его

---

[1]) Ср. разсужденія Костанжогло о «долгѣ» помѣщиковъ, рѣчь генералъ-губернатора о долгѣ чиновниковъ, Муразова—о долгѣ человѣка.

«душа» проситъ только ѣды, основательной, богатырской... Къ людямъ онъ относится съ недовѣріемъ (сцена съ расплатой Чичикова и распиской); онъ—большой пессимистъ и ругатель. Къ «просвѣщенію» онъ относится критически, понимая, впрочемъ, подъ «просвѣщеніемъ» только модную изысканность блюдъ во вкусѣ французской кухни. Человѣкъ онъ практическій, хитрый,—сразу понимаетъ, въ чемъ дѣло; ловко устраиваетъ свои дѣла. Но хозяинъ онъ хорошій,—и самъ онъ живетъ въ теплѣ и сытости, и крестьяне у него сыты и здоровы, онъ бережетъ ихъ съ эгоистической точки зрѣнія, какъ необходимый ему рабочій скотъ.

Коробочка. Хорошей, домовитой хозяйкой представляется Коробочка; но это человѣкъ другого масштаба,—все въ ней мелко: и душа, и жизнь ея, и хозяйство... Глупая и темная старуха, суевѣрная, вѣрящая въ чорта, она умѣетъ устроить свое существованіе, потому что, при всей своей глупости она хитра, разсчетлива, осторожна; къ людямъ она тоже относится подозрительно, недовѣрчиво; подобно Собакевичу, она всегда «на сторожѣ», убѣжденная въ душѣ, что человѣкъ человѣку—врагъ (homo homini lupus est). Это черствое, суровое міросозерцаніе она хитро и умѣло прикрываетъ своею слезливостью, жалобами на вдовью безпомощность; она прикидывается бѣдной изъ хитрости, а въ комодѣ ея, вмѣстѣ со всякими старыми юбками, лежатъ и толстѣютъ мѣшечки съ гривенниками и двугривенными. Коробочка такая же скопидомка, какъ Собакевичъ, несмотря на все свое внѣшнее добродушіе, даже гостепріимство (впрочемъ, блинами она угощаетъ Чичикова въ разсчетѣ, что онъ будетъ закупать у нея разные товары). Ко всякимъ «новшествамъ» она, какъ и Собакевичъ, относится съ недовѣріемъ; у обоихъ слишкомъ узокъ даже хозяйственный кругозоръ, у обоихъ полное отсутствіе фантазіи, ширины и свободы замысловъ.

Плюшкинъ. Въ лицѣ Плюшкина вывелъ Гоголь скрягу-психопата; онъ указалъ въ этомъ жалкомъ старикѣ ужасныя слѣдствія страсти «пріобрѣтать» когда само пріобрѣтеніе дѣлается цѣлью, когда теряется смыслъ жизни. Гоголь подробно разсказываетъ намъ, какъ изъ разумнаго практическаго человѣка, полезнаго для государства и семьи, Плюшкинъ обращается въ «наростъ» на человѣчествѣ, въ какую-то отрицательную величину въ въ «прорѣху»... Для этого ему нужно было только утратить смыслъ жизни. Прежде онъ работалъ для семьи. Его идеалъ жизни былъ тотъ же, что и Чичикова,—и онъ былъ счастливъ, когда шумная, радостная семья встрѣчала его, возвращающагося отдохнуть домой. Потомъ жизнь его обманула, — онъ остался одинокимъ, злобнымъ старикомъ, которому всѣ люди казались ворами, лгунами, разбойниками. Нѣкоторая наклонность къ черствости съ годами увеличивалась, жестче дѣлалось сердце, тускнѣлъ прежде ясный хозяйственный глазъ, — и Плюшкинъ потерялъ способность различать крупное отъ мелкаго въ хозяйствѣ, нужное отъ ненужнаго, — все вниманіе, всю свою бдительность устремилъ онъ на домашнее хозяйство, на кладовыя, ледники... Крупнымъ хлѣбнымъ хозяйствомъ пересталъ онъ заниматься, — и хлѣбъ, главное основаніе его богатства, — годами гнилъ въ сараяхъ, а онъ въ это время собиралъ всякую рухлядь въ свой кабинетъ, даже у своихъ же мужиковъ кралъ ведра и другія вещи... Онъ терялъ сотни, тысячи, такъ какъ не хотѣлъ уступить копейки, рубля.

Онъ выжилъ совсѣмъ изъ ума, и душа его, никогда не отличавшаяся величіемъ, совсѣмъ измельчала и опошлѣла. Плюшкинъ сдѣлался рабомъ своей страсти, жалкимъ скрягой, ходящимъ въ лохмотьяхъ, живущимъ впроголодь. Нелюдимый, угрюмый, доживалъ онъ свою ненужную жизнь, вырвавъ изъ сердца даже родительскія чувства къ дѣтямъ.

Плюшкина можно сопоставить со «скупымъ рыцаремъ» Пушкина,— только въ Пушкинскомъ героѣ «скупость» представлена въ трагическомъ освѣщеніи,—у Гоголя въ комическомъ. Пушкинъ показалъ, что сдѣлало золото съ человѣкомъ доблестнымъ, человѣкомъ крупнымъ, — Гоголь показалъ, какъ извратила «копейка» душу обыкновеннаго, «средняго человѣка»... «Плюшкинъ» и «Скупой рыцарь».

Впрочемъ, Гоголь, такъ гуманно относящійся ко всѣмъ людямъ, даже къ падшимъ, не удержался отъ того, чтобы не бросить одного луча свѣта въ деревянное сердце своего героя: когда Плюшкинъ вспомнилъ свое дѣтство, школу, товарищей,—на минуту согрѣлось оно, теплѣе сдѣлался его потухшій взоръ. Такъ , воспоминаніе скупого барона о былой дружбѣ съ умершимъ герцогомъ, о дняхъ боевой славы, тоже согрѣваетъ его охладѣвшее сердце. Остатки свѣта въ душѣ Плюшкина.

Интересный образъ представляетъ собою Маниловъ. Самъ Гоголь призналъ, что рисовать такіе характеры очень трудно. Въ немъ не было ничего яркаго, рѣзкаго, бросающагося въ глаза. Такихъ расплывчатыхъ, неопредѣленныхъ образовъ много въ свѣтѣ, говоритъ Гоголь; на первый взглядъ они похожи другъ на друга, но стоитъ вглядѣться въ нихъ, и только тогда усмотришь «много самыхъ неуловимыхъ особенностей». «Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова»,— продолжаетъ Гоголь. — «Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: «люди такъ себѣ, ни то, ни се,—ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ». Изъ этихъ словъ мы заключаемъ, что главное затрудненіе для Гоголя представляло не столько внѣшнее опредѣленіе характера, сколько внутренняя оцѣнка его: хорошій человѣкъ Маниловъ, или нѣтъ? Неопредѣленность его и объясняется тѣмъ, что онъ ни добра, ни зла не дѣлаетъ, а мысли и чувства его безупречны. Онъ—мечтатель, сентименталистъ; онъ напоминаетъ собою безчисленныхъ героевъ различныхъ сентиментальныхъ, отчасти романтическихъ романовъ и повѣстей: тѣ же мечты о дружбѣ, о любви, та же идеализація жизни и человѣка, тѣ же высокія слова о добродѣтели, и «храмы уединеннаго размышленія», и «сладкая меланхолія», и слезы безпричинныя и сердечные вздохи... Приторнымъ, слащавымъ называетъ Гоголь Манилова; скучно съ нимъ всякому «живому» человѣку. Совершенно такое же впечатлѣніе производитъ на человѣка, избалованнаго художественной литературой XIX вѣка, чтеніе старыхъ сентиментальныхъ повѣстей,—та же приторность, та же слащавость и, наконецъ, скука. Маниловъ; историческое значеніе этого типа.

Но сентиментализмъ у насъ захватилъ нѣсколько поколѣній, и потому Маниловъ—живой человѣкъ, отмѣченный не однимъ Гоголемъ. Гоголь только отмѣтилъ карикатурную сторону этой созерцательной натуры,— онъ указалъ на безплодность жизни сентиментальнаго человѣка, живущаго исключительно въ мірѣ своихъ тонкихъ настроеній. И вотъ, тотъ образъ, который для людей конца XVIII вѣка считался идеальнымъ, изъ подъ пера

Гоголя предсталъ «пошлякомъ», живущимъ безъ пользы для родины и людей, не понимающимъ смысла жизни... Маниловъ—карикатура на «прекраснодушнаго человѣка» (die schöne Seele), это изнанка Ленскаго... Недаромъ самъ Пушкинъ, рисуя поэтическій образъ юноши, боялся, что если бы онъ остался въ живыхъ, подольше пожилъ впечатлѣніями русской дѣйствительности, то подъ старость, отяжелѣвъ отъ сытной, бездѣльной жизни въ деревнѣ, закутанный въ халатъ, онъ легко обратился бы въ «пошляка». И Гоголь нашелъ, во что онъ могъ бы обратиться—въ Манилова.

Цѣли жизни у Манилова нѣтъ,—нѣтъ никакой страсти—оттого нѣтъ въ немъ задора, нѣтъ жизни... Хозяйствомъ онъ не занимался, мягкій и гуманный въ обращеніи съ крестьянами, онъ ихъ подчинилъ полному произволу приказчика-плута, и имъ отъ этого было нелегко.

Чичиковъ легко понялъ Манилова и ловко разыгралъ съ нимъ роль такого же «прекраснодушнаго» мечтателя; онъ засыпалъ Манилова витіеватыми словами, очаровалъ нѣжностью своего сердца, растрогалъ жалкими фразами о своей бѣдственной судьбѣ и, наконецъ, погрузилъ его въ міръ мечты, «паренія», «духовныхъ наслажденій»... «Магнетизмъ души», грезы о вѣчной дружбѣ, мечты о блаженствѣ вдвоемъ философствовать въ тѣни вяза,—вотъ, мысли, чувства и настроенія, которыя сумѣлъ ловко создать Чичиковъ въ Маниловѣ...

Ноздревъ. Полную противоположность Манилову представляетъ Ноздревъ. На сколько Маниловъ—натура въ себя углубленная, живущая въ своемъ собственномъ мірѣ, настолько Ноздревъ—натура общественная, человѣкъ, не имѣющій никакого собственнаго міра. Это—общественный паразитъ, который не можетъ существовать безъ людей. Хозяинъ онъ никуда не годный, семьянинъ—тоже: онъ—картежникъ-шуллеръ, барышникъ, собутыльникъ, словомъ, онъ живетъ только въ «обществѣ»,—чѣмъ больше народу, тѣмъ онъ чувствуетъ себя лучше, тѣмъ откровеннѣе раскрываетъ онъ себя. Это—лгунъ и хвастунъ по профессіи, крайняя степень Хлестакова, который вретъ только тогда, когда разыграется его фантазія. Въ противоположность ему, Ноздревъ вретъ всегда,—и пьяный, и трезвый, когда это ему нужно и когда не надо,—вретъ, не разбирая, вѣрятъ ему, или нѣтъ. Это—человѣкъ «изолгавшійся». Легкость въ мысляхъ у него необыкновенная, такая же, какъ у Хлестакова, — оттого мысль у него скачетъ непослѣдовательно, одна фраза часто логически не связывается съ другой (ср. разсказъ его объ ярмарочныхъ развлеченіяхъ). Жизнерадостный, суетливый, онъ всегда доволенъ жизнью. Самолюбія у него нѣтъ, оскорбленій онъ не боится, и поэтому, взбалмошный и задорный, онъ легко наноситъ оскорбленія другимъ, не разбирая людей, не задумываясь о будущемъ; съ людьми онъ совершенно не считается, ни подъ кого не подлаживается и во всѣхъ видитъ только себя—то есть безшабашнаго гуляку, добродушнаго, беззаботнаго плута, для котораго суета и плутовство не есть средство удовлетворить корыстолюбіе, а просто возможность наполнить чѣмъ-нибудь свою безпокойную жизнь,—средство занять чѣмъ нибудь праздныя силы своей пошлой, но сильной натуры. Эта жажда жизни, дѣятельности, неразумно направленная и создаетъ изъ него безпокойнаго человѣка, «историческаго человѣка».

скандалиста, который готовъ напортить всякому, не по злобѣ, а вслѣдствіе «неугомонной юркости и бойкости характера». Это—натура стихійная,— онъ не воленъ въ своихъ поступкахъ, въ своихъ словахъ. Его моральное безволіе удивительно сочетается у него съ наличностью энергіи (онъ можетъ на недѣлю запереться въ домѣ для подбиранія картъ), съ рѣшительностью и настойчивостью. Въ лицѣ его Гоголь вывелъ сильнаго, но пошлаго человѣка, въ жизни котораго нѣтъ никакой цѣли и смысла: онъ предпріимчивъ, какъ Чичиковъ, но его предпріимчивость безцѣльна, безсмысленна, а потому и все существованіе его—безнадежная глупость. Его Гоголь не выбралъ бы въ герои возрожденія.

c) Третій періодъ; „идея" второй части „Мертвыхъ Душъ".

c) Третій періодъ дѣятельности Гоголя. Гоголь сжегъ вторую часть своихъ „Мертвыхъ Душъ", но сохранившіеся отрывки позволяютъ высказать предположеніе, что идея этой второй части уже была иная; въ *первой части* Гоголь судилъ русское общество съ точки зрѣнія содержательности его жизни и пришелъ къ печальному выводу: русская жизнь оказалась безсмысленной, пошлой,—почти всѣ герои (кромѣ Чичикова) оказались „мертвыми душами",—ни одинъ не подошелъ сколько-нибудь подъ то идеальное пониманіе „человѣка", которое выработалось у него. Въ отрывкахъ *второй части* чувствуется иное отношеніе къ русскому обществу: и герои здѣсь уже не животныя (кромѣ Пѣтуха, которому, собственно, мѣсто въ первой части), и отношеніе къ нимъ автора другое. Глубже, гуманнѣе относится теперь Гоголь къ павшему человѣку: горячей, мучительной любовью къ ближнему проникнуты тѣ страницы, гдѣ говоритъ у него Муразовъ, гдѣ авторъ разсказываетъ о Хлобуевѣ, объ униженіи Чичикова... Это „гуманное" отношеніе къ людямъ—и есть „идея" дошедшихъ отрывковъ второй части. И замѣчательно, что эти разрозненныя главы, по настроенію своему, гораздо ближе къ лучшимъ произведеніямъ Достоевскаго, Тургенева, Гончарова, Островскаго, чѣмъ законченныя и отдѣланныя главы 1-ой части.

Значеніе второй части для исторіи русской литературы.

Гоголь хотѣлъ нарисовать „положительные" русскіе типы, но, очевидно, онъ не сумѣлъ художественно выполнить своего замысла,—онъ лишь *намѣтилъ* его. Писатели-реалисты, его ученики, слѣдуя за нимъ, нарисовали намъ тѣ идеальныя лица изъ русской дѣйствительности, которыя не дались ему [1]). Это реалистическое изображеніе „добра" создало новую эру въ русской литературѣ. Оно неразрывно связалось съ *проповѣдью* гуманности, съ *проповѣдью* любви къ человѣку. Такъ незамѣтно, постепенно, благодаря Гоголю, русская литература, въ сущности, подошла къ

[1]) Его желаніе нарисовать идеальную русскую дѣвушку въ лицѣ Улиньки не удалось,—но, вмѣсто него, эту задачу разрѣшили Тургеневъ, Островскій, Толстой и др.

проповѣди идеаловъ христіанства. Такимъ образомъ, самое значеніе писателя измѣнилось. Раньше писатель былъ мирнымъ «одописцемъ-виршеплетомъ», былъ «гражданиномъ», былъ «сатирикомъ» былъ, какъ Пушкинъ — «человѣкомъ», въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова, изображавшимъ добро и красоту, но никто до Гоголя не былъ «проповѣдникомъ *слова Божія*», проповѣдникомъ *евангельской* любви. А послѣ него почти всѣ лучшіе наши писатели сдѣлались такими «проповѣдниками» (Достоевскій, Л. Толстой и др.). Писательское слово у него и у его учениковъ вернуло себѣ то значеніе, которое имѣло въ древней Руси.

Идеалы общественной жизни во второй части.

Кромѣ того, въ этихъ главахъ второй части яснѣе вырисовываются идеалы общественной жизни, какъ они представлялись теперь Гоголю. Дворянинъ, по его убѣжденію, долженъ «сидѣть на землѣ», быть отцомъ для крестьянъ, вѣрнымъ слугою отечеству. Служба его — въ заботѣ о процвѣтаніи своего имѣнія, въ довольствѣ его самого и крестьянъ, потому что, по мнѣнію Гоголя, процвѣтаніе родины зависѣло отъ процвѣтанія тѣхъ единицъ, изъ которыхъ слагается государство. Такимъ образомъ, не на реформахъ и не на новшествахъ строилъ Гоголь это благополучіе родины, а на возстановленіи и укрѣпленіи патріархальной, но «поисшатавшейся старины» [1]). Обязанность чиновника, купца, всякаго человѣка—выяснить свой «долгъ» передъ людьми и Богомъ и свято его исполнять, не гоняясь за большимъ, не выходя изъ тѣхъ предѣловъ, въ которые каждаго забросила судьба. Обязанности начальствующихъ лицъ — относиться къ людямъ, ниже ихъ стоящимъ, такъ же патріархально-гуманно, какъ помѣщикъ долженъ былъ относиться къ крѣпостнымъ.

Апоѳеозъ «труда».

Въ апоѳеозѣ представилъ Гоголь въ этой части «трудъ», — неустанный трудъ вездѣ, во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Особенно рельефно подчеркнулъ онъ значеніе труда жизнью и рѣчами Костанжогло. «Самъ возьми въ руку заступъ, — говоритъ этотъ герой Гоголя, — жену, дѣтей, дворню заставь; умри на работѣ! Умрешь, по крайней мѣрѣ, исполняя долгъ». Если мы этотъ «гимнъ труду», даже физическому, сопоставимъ съ тѣмъ «тяготѣніемъ къ землѣ», которое такъ явственно чувствуется во многихъ отрывкахъ второй части, мы убѣдимся, что Гоголь—предшественникъ Льва Толстого, тоже призывающаго и къ «землѣ» и «труду».

---

[1]) Ср. попытку Москвы XVI в. улучшить жизнь очищеніемъ ея въ духѣ старины.

Въ своей поэмѣ Гоголь часто съ тревогой и любовью говоритъ о „русскомъ человѣкѣ“, объ его душевныхъ качествахъ [1]), — отмѣчаетъ онъ и недостатки русскаго характера, и достоинства,— во второй части онъ видимо старался эти подмѣченныя, разрозненныя черты воплотить въ живыхъ образахъ,—оттого типы первой части болѣе широки, болѣе общечеловѣчны,—типы второй, хотя и блѣднѣе очерченные, болѣе типы русскіе,—оттого именно имъ суждено было произвести литературное потомство въ послѣдующей русской литературѣ.

«Исканіе» Гоголемъ русскаго человѣка.

Это упорное и сознательное стремленіе выяснить духовный міръ людей своей родины, опредѣлить „народность“ — характерная черта Гоголя.

Тентетниковъ.

Изъ типовъ второй части наибольшею обработкою отличается образъ Тентетникова. Это—человѣкъ съ хорошимъ сердцемъ, недюжиннымъ умомъ, человѣкъ съ честными принципами, съ тонкимъ чувствомъ чести и самолюбіемъ, но человѣкъ «недодѣланный»; у него отъ природы нѣтъ огня въ сердцѣ, а извнѣ этотъ огонь къ нему не былъ привитъ,—такъ какъ рано умеръ его идеальный учитель Александръ Петровичъ. Онъ успѣлъ лишь развить въ душѣ юноши хорошія чувства,— оставалось только воспламенить его... Но этого не произошло, и «невоспламененный» вступилъ юноша въ жизнь. Мечталъ онъ служить родинѣ великую службу на поприщѣ чиновничьемъ, для этого даже поѣхалъ въ Петербургъ, но ничтожность работы легко погасила рвеніе молодого чиновника, мечтавшаго о широкомъ полѣ дѣятельности. Къ тому же онъ не сошелся съ начальствомъ,—безъ сожалѣнія бросилъ службу и уѣхалъ въ деревню, мечтая служить отечеству въ качествѣ дворянина-помѣщика. Но выдержки не хватило и здѣсь. Неумѣло взялся онъ за улучшеніе жизни крестьянъ, и изъ его благихъ начинаній ничего не вышло, и даже школа, имъ заведенная, не имѣла успѣха, а поведеніе крестьянъ сдѣлалось еще хуже.

Онъ легко изнемогъ и тоскующій, упрекающій себя, сдѣлался «байбакомъ», «лежебокою». Правда, онъ мечталъ порой принести пользу отечеству въ качествѣ писателя—и уже началъ обдумывать обширное сочиненіе, которое должно было обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія— съ гражданской, политической, религіозной, философской, — но дальше «обдумыванья» онъ не шелъ, — и медленно, вяло и безцѣльно тянулась его молодая жизнь. Такъ съ даровитостью его натуры, съ яснымъ пониманіемъ смысла жизни соединилось безволіе, отсутствіе выдержки. Чуть

---

[1]) Онъ отмѣтилъ слѣдующія черты русскаго человѣка: беззаботность, способность не задумываться долго надъ затрудненіями, вѣрно угадывать инстинктомъ то, чего не хватаетъ вслѣдствіе незнанія, размашистость натуры и добродушіе, способность ругаться отъ всего сердца, сильно и мѣтко выражаться, несклонность сознаваться въ своихъ грѣхахъ, гостепріимность разгульность и способность съ грустью задуматься надъ жизнью, неприспособленность къ общественной работѣ, наклонность жить заднимъ умомъ, любовь къ широкимъ, захватывающимъ настроеніямъ (быстрая ѣзда), донкихотство русскаго человѣка, способность увлекаться утопіей, потребность въ постоянномъ побужденіи извнѣ.

было не женился онъ на прекрасной дѣвушкѣ, Улинькѣ, дочери генерала Бетрищева, да самолюбіе помѣшало,—помѣшала нетерпимость къ чужимъ слабостямъ: не могъ онъ допустить, чтобы добродушный старикъ-генералъ назвалъ его на «ты». И свадьба его разошлась У него вообще высокое о себѣ мнѣніе,—какъ Онѣгинъ, онъ презираетъ деревенскихъ сосѣдей и потому со всѣми спѣшитъ раззнакомиться.

Платоновъ. Подъ пару ему молодой Платоновъ, богатый, образованный юноша, надѣленный и умомъ, и хорошимъ сердцемъ, но рѣшительно ничего не дѣлающій и потому до болѣзни скучающій. Оба эти героя очень близки къ Онѣгину, — въ нихъ нѣтъ только холодности и жесткости озлобленнаго онѣгинскаго духа,—но ихъ всѣхъ соединяетъ одинаково безотрадное отношеніе къ жизни, смыслъ который для нихъ утраченъ (Тентетниковъ), или никогда не былъ понятенъ (Онѣгинъ, Платоновъ)

Костанжогло. Въ лицѣ Констанжогло изобразилъ Гоголь, собственно, Плюшкина въ пору его процвѣтанія: та же «мудрая скупость», то же знаніе жизни и хозяйства, которому пріѣзжали учиться у Плюшкина его сосѣди. Только идеалы Констанжогло шире. Плюшкинъ работалъ для себя, для семьи,—Констанжогло считаетъ, что работа — есть нравственный долгъ всякаго гражданина,—долгъ передъ родиной, передъ крестьянами. Онъ не корыстолюбивъ,—онъ даже щедръ: готовъ дать взаймы большую сумму денегъ почти незнакомому Чичикову, — онъ не «пріобрѣтатель»: не деньги — цѣль его жизни, а «трудъ» — вотъ, его жизненный идеалъ, а деньги льются къ нему со всѣхъ сторонъ, какъ непрошенная награда за его «идеализмъ». Онъ работаетъ, чтобы показать примѣръ крестьянамъ и сосѣдямъ,—онъ «пріобрѣтаетъ» потому, что, по его мнѣнію, процвѣтаніе родины зависитъ отъ богатства помѣщиковъ. Онъ—нервный, возбужденный человѣкъ, котораго возмущаютъ Хлобуевы, Платоновы, Тентетниковы... Онъ потому легко сближается съ Чичиковымъ что чувствуетъ и въ немъ силу «созидающую», труженика. Костанжогло — фанатикъ идеи, оттого онъ односторененъ: — онъ, напримѣръ, врагъ всякихъ новшествъ, не только тѣхъ глупыхъ, которыя завелъ у себя въ деревнѣ Кошкаревъ, но онъ даже врагъ школы, такъ какъ считаетъ землепашество «святымъ дѣломъ» и грѣхомъ отрывать мужика отъ сохи къ книгѣ. «Дай Богъ, чтобы всѣ были хлѣбопашцами!»—говоритъ онъ.

Муразовъ. Неудачную профессію выбралъ Гоголь для самаго идеальнаго героя второй части—Муразова. Онъ—откупщикъ, т. е. лицо, взявшее у казны въ аренду право торговли водкой. На этомъ занятіи нажилъ онъ большія деньги. И вотъ, въ уста этого «благообразнаго старца», торгующаго водкой, вложилъ Гоголь гуманныя рѣчи о любви къ падшему человѣку, о необходимости кротко относиться къ людямъ; онъ чуть не договаривается до толстовской мысли, что человѣкъ не имѣетъ права судить другого. Этотъ старикъ не извѣрился въ жизнь и человѣка,—оттого его бодрое слово можетъ поднять упавшій духъ Хлобуева,—оттого ему уступаетъ законникъ-генералъ-губернаторъ,—оттого онъ, кажется, долженъ былъ возродить Чичикова.

Пѣтухъ. Пѣтухъ—это обжора, для котораго весь смыслъ жизни, вся радость жизни, вся поэзія-бытія,—въ ѣдѣ. Собакевичъ любитъ поѣсть съ аппетитомъ и основательно, потому что ѣда—физіологическая потребность. Пѣтухъ

ѣсть и ѣсть съ увлеченіемъ, потому что иного смысла въ жизни у него нѣтъ.

Хлобуевъ—добрый, честный человѣкъ, помѣщикъ, разорившійся вслѣдствіе своей безалаберности, ширины своего характера и слабости воли. Человѣкъ религіозный, онъ, однако, находитъ утѣшеніе въ Богѣ и живетъ такимъ чудакомъ, день за днемъ, махнувъ на все рукой, приближаясь быстро къ полному разоренію и нищетѣ. Хлобуевъ.

Въ лицѣ Кошкарева осмѣялъ Гоголь то зло русской жизни, съ которымъ онъ не примирился,—бюрократическій ея строй, наклонность къ централизаціи власти, къ «управленію бумажному, фантастическому управленію провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдѣ не была никогда нога моя, и гдѣ могу надѣлать только кучи несообразностей и глупостей»—говоритъ Гоголь мыслями Тентетникова. Въ дѣятельности Кошкарева, который даже въ управленіе деревней ввелъ сложный бюрократическій режимъ, высмѣялъ Гоголь модный въ его время обычай плодить комиссіи и изводить кипы бумаги на «отношенія», «рапорты» и пр. Кошкаревъ

Было уже указано, что типы, выведенные Гоголемъ (особенно въ первой части), отличаются шириной художественнаго захвата. Въ самомъ дѣлѣ, Чичиковъ—не только типъ русскій,—это типъ, имѣющій общечеловѣческое и вѣчное значеніе [1]). Это образъ дѣльца, предпринимателя-афериста, которыхъ немало у разныхъ народовъ и въ разные вѣка. Въ изображеніи Гоголя этотъ типъ принялъ только чисто-русскую окраску довольно откровеннаго плута, который, въ обществѣ помѣщиковъ-крѣпостниковъ, чиновниковъ-взяточниковъ, дѣйствуетъ не такъ тонко, какъ, быть можетъ, дѣйствовалъ бы въ наши дни русскій, или западно-европейскій «пріобрѣтатель»-аферистъ. Ширина Гоголевскихъ типовъ. Ихъ общечеловѣческое значеніе—Чичиковъ.

Такое же широкое значеніе имѣютъ и нѣкоторые другіе герои поэмы. Мы видѣли уже, что самъ Гоголь разъяснилъ широкое значеніе Хлестакова. То же онъ дѣлаетъ относительно нѣкоторыхъ героевъ «Мертвыхъ Душъ»,— относительно Коробочки онъ говоритъ что Коробочку можно найти въ любомъ аристократическомъ домѣ [2]); по поводу Ноздрева замѣчаетъ, что Ноздревы еще долго не выведутся изъ міра [3]); расширяетъ онъ и образъ Тентетникова, b) Коробочка. c) Ноздревъ; Тентетниковъ.

---

[1]) Гоголь послѣ характеристики Чичикова задаетъ читателю вопросъ: «А кто изъ васъ, полный христіанскаго смиренія, не гласно, а въ тишинѣ, одинъ, въ минуты уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собою, углубитъ во внутрь собственной души сей тяжелый запросъ: «а нѣтъ ли и во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?».

[2]) «Да полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія? Точно ли такъ велика пропасть отдѣляющая ее отъ сестры ея, недосягаемо огражденной стѣнами аристократическаго дома»...

[3]) «Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ»

сказавъ, что онъ принадлежитъ къ семейству тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся; послѣгоголевская русская литература это доказала своими „лишними людьми“.

Такая ширина художественнаго обобщенія сдѣлала то, что почти всѣ герои Гоголя получили нарицательное значеніе, обратились въ клички, сразу опредѣляющія типическія черты человѣка. Стоитъ, напримѣръ, сказать слово „маниловщина“,—и ярко представетъ цѣлая жизнь человѣка.

Психологія губернскаго города.

Кромѣ психологіи отдѣльныхъ лицъ, Гоголь богато разработалъ и „психологію толпы“: губернскій городъ, съ которымъ связано дѣйствіе поэмы, представленъ съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ: представленъ онъ мирнымъ и соннымъ въ началѣ, когда пріѣзжаетъ Чичиковъ, представленъ заинтересованнымъ личностью новоприбывшаго, представленъ влюбленнымъ въ героя, когда онъ прослылъ „мильонщикомъ“ и „херсонскимъ помѣщикомъ“; представленъ этотъ городъ „за дѣломъ“, въ канцеляріи,—представленъ веселящимся во время бала, или за карточнымъ столомъ; далѣе, онъ обрисованъ встревоженнымъ таинственными слухами о „мертвыхъ душахъ“, о генералъ-губернаторѣ,—наконецъ, подавленнымъ и уничтоженнымъ суровой рѣчью генералъ-губернатора. Чиновники, дамы, вообще обыватели, представляютъ эту толпу, которую наблюдаетъ авторъ: онъ разсказываетъ намъ мелькомъ о губернаторѣ, главная радость жизни котораго—вышивать по тюлю, о прокурорѣ, съ подмигивающимъ глазомъ и густыми бровями, о квартальномъ, „съ привлекательнымъ румянцемъ на щекахъ“, о дамахъ,—„просто пріятной“ и „пріятной во всѣхъ отношеніяхъ“, о трактирномъ половомъ, о мужикахъ, размышляющихъ вслухъ о судьбѣ колеса чичиковской брички,—и вся эта пестрая толпа живетъ передъ нами. Въ „обществѣ губернскаго города“ онъ рисуетъ міръ пошлости и сплетни,—міръ, въ которомъ добродушіе какъ-то сливается съ мелочной злобой и недоброжелательствомъ,—міръ безпросвѣтный, „темное царство“, которое освѣщается только громовой рѣчью генералъ-губернатора. Съ этимъ темнымъ царствомъ мы познакомились уже въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, въ „Ревизорѣ“.

Психологія животныхъ.

И въ предыдущихъ своихъ произведеніяхъ Гоголь касался міра животныхъ,—въ „Мертвыхъ Душахъ“ онъ неразъ изъ міра человѣческаго спускается въ міръ животныхъ, заглядываетъ въ ихъ психологію. Кони Чичикова,—почтенный „Гнѣдой“, „Засѣдатель“ и лукавецъ „Чубарый“,—какъ живые стоятъ передъ чи-

тателемъ,—благодаря Гоголю, онъ знаетъ ихъ темпераменты, ихъ привычки и характеры. Животныя и птицы во дворѣ Коробочки, красноногій мартынъ, задумчиво глядящій на другого мартына,—всѣ очерчены, хотя и мелькомъ, но мастерски: человѣческія настроенія, ощущенія, міровоззрѣнія, открываетъ Гоголь въ этомъ низшемъ, окружающемъ человѣка мірѣ. Онъ такъ сближаетъ послѣдній съ людьми, что, напримѣръ, полупьяный кучеръ Селифанъ, бесѣдующій съ конями, поощряющій и наказующій, кажется какою-то „переходною ступенью“ отъ лошадей къ тому, кого они везутъ—къ самому герою поэмы.

„Описанія„ въ «Мертвыхъ душахъ».

Поэма богата самыми разнообразными описаніями: Гоголь даетъ много различныхъ картинъ природы [1]), охотно рисуетъ онъ и картины бытовыя, жанровыя [2]), всегда обстоятельно описываетъ обстановку комнатъ, костюмъ героевъ, ихъ наружность. Детальность его письма, то, что въ XVIII вѣкѣ получило у нѣмцевъ названіе „Kleinmalerei“—достигаетъ у него высокой степени. Стоитъ прочесть начало поэмы,—въѣздъ Чичикова въ городъ, чтобы убѣдиться, до какихъ мелочей доходитъ письмо Гоголя. Но всѣ эти мелочи типичны, характерны, всѣ умѣстны, всѣ прибавляютъ нѣчто цѣнное или къ характеру героевъ, или къ физіономіи города, деревни, дома, человѣка, животнаго, или природы.

«Реализмъ» «Мертвыхъ Душъ».

Въ своемъ произведеніи (особенно въ первой части) Гоголь далъ образцовое реалистическое произведеніе; въ немъ уже нѣтъ прежнихъ романтическихъ замашекъ. Онъ окончательно вступилъ на путь художественнаго реализма,—недаромъ онъ самъ въ своемъ произведеніи выступилъ на защиту этой художественной школы. Онъ отдаетъ должное писателямъ-идеалистамъ, которые изъ жизни берутъ только возвышенное, благородное и прекрасное. Они правы, если таковъ ихъ геній, что жизнь представляется имъ съ прекрасной стороны,—велико ихъ значеніе и велика благодарность, которую слышатъ они отъ современниковъ—

«... не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога,—и, крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій,

---

[1]) Напр. изъ *большихъ* описаній интересны: лѣсъ Пѣтуха, садъ Плюшкина, садъ Платонова, мѣстоположеніе усадьбы Тентетникова, деревни Манилова, Собакевича, Плюшкина, Тентетникова...

[2]) Напр. трактиръ, въ которомъ остановился Чичиковъ, харчевня, гдѣ онъ встрѣтился съ Ноздревымъ, базаръ въ Москвѣ въ Щепномъ ряду, канцелярія, губернскій балъ, игра чиновниковъ въ карты.

ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцати лѣтняя дѣвушка, съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченьемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданія, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отнимѣтъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озирающія солнцы, и передающія движенья незамѣченныхъ насѣкомыхъ; ибо не признаетъ современный судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перль созданія: ибо не признаетъ современный судъ, что высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеньемъ, и что цѣлая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха!»

Отношеніе Гоголя къ реализму.

Изъ этой цитаты видно, какъ труденъ былъ для Гоголя «крестъ»—художника-реалиста, удѣлъ котораго рисовать только пошлость жизни; видно, кромѣ того, до какой степени не пріучена была къ правдивому реализму современная Гоголю публика, если самому писателю приходилось доказывать ей азбучныя истины. Въ другомъ мѣстѣ поэмы онъ говоритъ, что въ русской литературѣ типъ «добродѣтельнаго человѣка» избитъ, заношенъ, что пора взяться за изображеніе «подлеца». Онъ самъ на вопросъ, зачѣмъ изображать бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, зачѣмъ выкапывать людей изъ глуши отдаленныхъ закоулковъ? отвѣчалъ: «что же дѣлать? если уже таковы свойства сочинителя и, заболѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, уже не можетъ изображать онъ ничего другого».

«Лирическія отступленія» въ поэмѣ.

Но Гоголь самъ опровергаетъ свои слова о своемъ «несовершенствѣ», неразъ въ первой части обѣщая [1]) въ будущемъ дать другіе образы, болѣе чистые и высокіе; опровергаетъ онъ себя и обильными лирическими отступленіями, въ которыхъ чувствуется искренній паѳосъ. Это—первыя наши «стихотворенія въ прозѣ». Содержаніе ихъ различно, — въ нихъ отдается онъ мечтательнымъ воспоминаніямъ о своемъ дѣтствѣ (начало VI-ой главы первой части), то обращается къ молодежи съ просьбой дорожить тѣми благодарными чувствами, которыя присущи юности;—не терять ихъ

---

[1]) „И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключемъ грозная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ святой ужасъ и въ блистаніе главы, и почуютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей"... „Но.. можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души,—вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія, и мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга передъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія!"

...„Предстанутъ колоссальные образы, двигнутся рычаги широкой повѣсти, раздастся далече ея горизонтъ, и вся она приметъ величавое лирическое теченіе".

на жизненномъ пути; то съ лирическимъ паѳосомъ говоритъ онъ о счастливой участи писателя-идеалиста (начало VII-ой гл.), то восторженно взываетъ онъ къ Руси, говоритъ объ ея величіи, бѣдности, о непостижимой связи, которая его сердце привязываетъ къ ней (глава XI); — то быстрая русская ѣзда и «птица-тройка» переполняетъ его сердце восторгомъ и гордостью, и вѣрой, и любовью къ родинѣ,—то онъ мечтаетъ о появленіи на Руси могучаго человѣка, который сумѣетъ однимъ словомъ двинуть заснувшую громаду впередъ (ч. II гл. I)...

Этотъ «лиризмъ—характерный спутникъ «юмора»,—того особеннаго смѣха, который соединяется съ мягкостью, чувствительностью души. Это смѣхъ, когда плачетъ сердце,—смѣхъ, который легко смѣняется слезами. Писатель-юмористъ — всегда субъективенъ, и произведенія его всегда лироэпическія. Таковы же и «Мертвыя Души».

„Литературная исторія“ поэмы а) „Юморъ“.

Лучше всего это выясняется изъ литературной исторіи поэмы. Если даже и Пушкинъ далъ Гоголю сюжетъ «Мертвыхъ душъ», то юмористическое освѣщеніе его,—тонъ самаго произведенія, принадлежитъ исключительно Гоголю. И, въ этомъ отношеніи, онъ—ученикъ великаго юмориста XVIII-го вѣка Лаврентія Стерна и писателя XIX в. Жана-Поля Рихтера. Въ «Исторіи Тристрама-Шанди» Стерна встрѣчаемъ мы ту детальность письма, которая такъ характерна для Гоголя, ту яркость въ обрисовкѣ души и внѣшности разныхъ чудаковъ, наконецъ, то же грустно-насмѣшливое отношеніе автора къ жизни. Въ «Сентиментальномъ путешествіи по Европѣ» того же Стерна смѣшное, даже циничное, прихотливо соединяется съ трогательнымъ: высмѣивая человѣческія слабости, онъ въ то же время страстно любитъ человѣка; самое опредѣленіе юмора, какъ «соединеніе видимаго смѣха съ невидимыми слезами», принадлежитъ Стерну. Писатель субъективный, онъ такъ же любитъ лирическія отступленія, въ которыя влагаетъ весь паѳосъ своей чувствительной, издерганной души. Жанъ-Поль-Рихтеръ вышелъ изъ его школы, и то же соединеніе смѣха и слезъ характерны для его творчества.

b) „Форма“.

Но форма поэмы «Мертвыя Души» взята не у нихъ. Само названіе «поэмы», конечно не подходитъ къ гоголевскому произведенію,—онъ назвалъ ее такъ тогда, когда захотѣлъ представить въ своемъ произведеніи всю Русь, — написать нѣчто всеобъемлющее, напоминающее, по композиціи, «Божественную Комедію» Данте. На самомъ дѣлѣ, передъ нами типичный «плутовской романъ»—романъ о приключеніяхъ плута. Такіе романы очень были популярны у насъ въ XVIII вѣкѣ. Самый образцовый представитель этого жанра—романъ Лесажа «Приключенія Жилблаза» [1]). Было у насъ и въ XVIII, и въ XIX вѣкѣ много другихъ переводныхъ и оригинальныхъ произведеній этого жанра, и во времена Гоголя большимъ еще успѣхомъ у русской публики пользовался романъ Булгарина: «Похожденія Ивана Выжигина». Форма такого романа представляетъ большія удобства для писателя-жанриста: герой романа встрѣчается съ цѣлымъ рядомъ разныхъ людей, попадаетъ въ различныя положенія—все это даетъ возможность писателю широко захватить жизнь

---

[1]) Оттуда, вѣроятно, заимствовалъ Гоголь идею повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ.

и всесторонне освѣтить душу героя. Такая форма и для цѣлей Гоголя была самая удобная,—ею онъ и воспользовался.

c) „Реализмъ“ предшественниковъ и современниковъ Гоголя. Въ области реалистическаго творчества Гоголь въ свое время имѣлъ у насъ много предшественниковъ и современниковъ, но никто такъ широко и глубоко не захватывалъ русской жизни, какъ это сдѣлалъ онъ въ своихъ «Мертвыхъ Душахъ»—это первый по времени «реальный романъ, который помогъ читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ историческаго момента» (Котляревскій). Реализмъ Пушкина былъ чище, художественнѣе, такъ какъ былъ свободенъ отъ всякихъ тенденцій, кромѣ того, у Гоголя даже въ «Мертвыхъ Душахъ» замѣтной осталась романтическая замашка къ идеализаціи, къ лиризму, но Пушкинъ въ своихъ повѣстяхъ никогда не вдумывался въ смыслъ русской жизни, или жизни вообще. Если его Маша Миронова и старики Мироновы вышли образами глубокими, многоговорящими, то это не было результатомъ какихъ-нибудь тревожныхъ исканій авторомъ «русской души», сознательнаго желанія оправдать, возвеличить, или учить чему-нибудь русскій народъ,—великія находки Пушкина были случайны, были результатами его непосредственнаго художественнаго чутья.

Пушкинъ.

Марлинскій. Другимъ ближайшимъ предшественникомъ Гоголя былъ Марлинскій, большинство произведеній котораго имѣютъ автобіографическое значеніе; изъ современной жизни онъ выбралъ для изображенія, главнымъ образомъ, военную среду. По его слѣдамъ пошелъ Лермонтовъ въ «Героѣ нашего времени»; шире захватилъ жизнь Герценъ въ своемъ автобіографическомъ очеркѣ: «Записки одного молодого человѣка», но онъ представилъ идейную жизнь русской интеллигенціи того времени. Писатели, представлявшіе русскую жизнь, брали, обыкновенно, отдѣльные уголки этой жизни: жизнь аристократіи обличалъ съ моральной точки зрѣнія Одоевскій, отчасти Марлинскій; безъ тенденціи «обличенія» живописалъ это же общество гр. Сологубъ; жизнь Москвы и московскихъ дворянъ изображалась въ повѣстушкахъ Загоскина; бытовыя сценки изъ жизни дворянской усадьбы встрѣчаются въ повѣстяхъ Даля; жизнь малороссійскихъ дворянъ живо и «колоритно» неразъ изображалась Гребенкой, и особенно Квиткой Основьяненко; изображенію солдатской жизни посвящены нѣкоторыя произведенія Даля; отношенія солдатчины къ крѣпостничеству смѣло изображены въ повѣстяхъ Н. Полевого, особенно Н. Павлова; типы мелкихъ чиновниковъ неразъ мелькаютъ въ бытовыхъ очеркахъ Булгарина и Сенковскаго; Гребенка тоже охотно изображалъ этотъ бытъ; жизнь мастеровыхъ, лавочниковъ и другихъ «сѣрыхъ людей» охотно и умѣло изображалась Далемъ, Погодинымъ; ему же принадлежатъ лучшія, по тому времени, изображенія простонародья.

Лермонтовъ—Герценъ.

Одоевскій.

Сологубъ. Загоскинъ. Даль. Гребенка. Основьяненко.

Полевой; Павловъ; Булгаринъ; Сенковскій.

Погодинъ.

Такимъ образомъ, художественный реализмъ и до Гоголя уже овладѣлъ русской литературой; но если много цѣннаго въ русской жизни удалось освѣтить его свѣтомъ, если много серьезныхъ вопросовъ было заброшено въ русское самосознаніе благодаря этимъ попыткамъ правдиво изобразить русскую дѣйствительность, то, всетаки, до Гоголя и его «Мертвыхъ Душъ» эти попытки были блѣдны, были безсильны, потому что ни у кого изъ названныхъ писателей (кромѣ, конечно, Пушкина) не было такого яркаго, могучаго таланта, какъ у Гоголя, не было того страстнаго, фа-

натическаго желанія узнать всю Русь, во всей ея ширинѣ, и ей «послужить». Только ученики его—Тургеневъ, С. Аксаковъ, Л. Толстой, Гончаровъ и др. могутъ идти съ нимъ рядомъ по силѣ письма и по сознательности [1]) отношенія къ жизни.

Н. А. Котляревскій о реализмѣ „Мертвыхъ Душъ“

Талантъ Гоголя помогъ ему создать *школу* русскаго реалистическаго романа. Совершенно справедливо Н. А. Котляревскій характеризуетъ ширину и глубину этого таланта.

Гоголь, «какъ большой художникъ, творитъ людей словами, и они стоятъ, какъ живые, передъ нами, но, кромѣ этой жизненности и жизнеспособности, эти люди обладаютъ и еще однимъ качествомъ, которымъ они обязаны тому же таланту автора, но, главнымъ образомъ, его зоркому и серьезному взгляду на жизнь. Это качество—ихъ типичность. Они всѣ «типичны», т. е. ихъ умственный складъ, темпераментъ, ихъ привычки, образъ ихъ жизни не есть нѣчто случайное, или исключительное, нѣчто лично имъ принадлежащее,—весь ихъ внутренній міръ, и вся обстановка, которую они создаютъ вокругъ себя—художественный итогъ внутренней и внѣшней жизни цѣлыхъ группъ людей, цѣлыхъ круговъ, классовъ, воспитавшихся въ извѣстныхъ историческихъ условіяхъ; и эти условія не скрыты отъ насъ, а пояснены намъ именно благодаря «типичности» тѣхъ лицъ, которыхъ авторъ выставилъ, какъ художественный синтезъ всѣхъ своихъ наблюденій надъ жизнью.

«Возьмемъ ли мы помѣщичьи типы, и мы сразу увидимъ, что въ нихъ дана вся патологія дореформеннаго дворянства, съ его маниловщиной на чужомъ трудѣ, съ кулачествомъ Собакевича, не отличающаго одушевленнаго раба отъ неодушевленнаго, съ ноздревщиной, которая знаетъ, что, въ силу дворянскаго своего положенія, она всегда сумѣетъ вывернуться и не погибнетъ, съ самодурствомъ Кошкарева, который учреждалъ министерства и департаменты въ своей усадьбѣ, мня себя самодержавнымъ, или, наконецъ, съ благомысліемъ и добродушіемъ Тентетникова, который прѣлъ на корню, избавленный отъ необходимости къ чему-либо приложить свою волю и энергію.

«Почти въ каждомъ изъ гоголевскихъ типовъ можно найти такую типичность. Всегда выведенное имъ лицо интересно и само по себѣ, какъ извѣстная разновидность человѣческой природы, и кромѣ того, какъ цѣльный образъ, по которому можно догадаться о культурныхъ условіяхъ, среди которыхъ онъ выросъ. Въ этомъ смыслѣ Гоголь для своей эпохи былъ единственный писатель: ничей взоръ не проникалъ такъ вглубь русской жизни, никто не умѣлъ придать такую типичность своимъ образамъ и, если въ оцѣнкѣ художественнаго разсказа выдвигать на первый планъ эту способность писателя обнаруживать тайныя пружины окружающей его жизни, показывать намъ, какими общими теченіями мысли, какими чувствами, стремленіями, среди какихъ привычекъ живетъ не одно какое-нибудь лицо, а цѣлыя группы лицъ, изъ которыхъ слагается общественный организмъ,—если эту способность цѣнить въ бытописателѣ-реалистѣ, то, безспорно, исторію русскаго реальнаго романа придется начинать съ Гоголя».

---

[1]) Гоголь могъ ошибаться въ пониманіи русской жизни, но это не уничтожаетъ и не умаляетъ „сознательности“ его отношеній.

Русская критика о Мертвыхъ Душахъ».

Русская критика и въ оцѣнкѣ «Мертвыхъ Душъ» разошлась кореннымъ образомъ; впрочемъ, больше отзывовъ было восторженныхъ; тѣмъ не менѣе, русской критикой, какъ было уже указано (стр. 136 и др.), Гоголь былъ недоволенъ,—онъ желалъ обстоятельнаго разбора своей «поэмы», а услышалъ только брань, или неумѣренныя восхваленія.

Булгаринъ.

Булгаринъ призналъ многое въ произведеніи Гоголя забавнымъ и смѣшнымъ, призналъ наличность умныхъ замѣчаній, но заявилъ, что всѣ эти счастливыя частности тонутъ въ странной смѣси вздора, пошлостей и пустяковъ. Въ общемъ, «поэма» показалась ему не совсѣмъ приличной и, во всякомъ случаѣ, произведеніемъ несерьезнымъ. Гоголя онъ сравнилъ съ Поль-де-Кокомъ. Таково же отношеніе къ «Мертвымъ Душамъ» Сенковскаго,—онъ не отрицаетъ присутствія въ «поэмѣ» легкаго остроумія, но не видитъ серьезной художнической наблюдательности: «стиль его грязенъ, картины зловонны»,—говоритъ придирчивый критикъ,—правды русской жизни онъ въ поэмѣ не нашелъ. Полевой, застарѣлый романтикъ, не могъ признать гоголевскаго реализма и призналъ въ «Мертвыхъ Душахъ»—грубую карикатуру, которая перешла за предѣлъ изящнаго. Произведеніе это онъ называетъ «неопрятной гостиницей», «клеветой на Россію». «Сколько грязи въ этой поэмѣ!—продолжаетъ Полевой.—И приходится согласиться, что Гоголь—родственникъ Поль-де-Кока. Онъ—въ близкомъ родствѣ и съ Диккенсомъ, но Диккенсу можно простить его грязь и уродливость за свѣтлыя черты, а ихъ не найти у Гоголя».

Сенковскій.

Полевой.

Кромѣ такихъ немногихъ суровыхъ отзывовъ, большинство было восторженныхъ; критики были «поражены новизной явленія, поражены богатствомъ картинъ, типовъ и положеній, но никто изъ нихъ не рѣшается высказаться по существу и съ достаточной полнотой опредѣлить все значеніе «Мертвыхъ Душъ» для русской жизни, хотя каждый изъ нихъ и торопится сказать, что эта поэма въ общественномъ смыслѣ явленіе очень знаменательное» (Котляревскій). Изъ серьезныхъ критикъ надо указать отзывъ Шевырева, который, впрочемъ, слишкомъ много говоритъ о будущихъ русскихъ идеальныхъ герояхъ, обѣщанныхъ Гоголемъ. Этотъ критикъ указалъ, между прочимъ, на торжество реализма въ нашей литературѣ и на то значеніе, которое въ этой побѣдѣ сыграли «Мертвыя Души». К. Аксаковъ отъ произведенія Гоголя былъ въ такомъ восхищеніи, что поставилъ Гоголя рядомъ съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Это преувеличеніе вызвало даже рѣзкую отповѣдь Бѣлинскаго, въ защиту униженныхъ міровыхъ геніевъ. Самъ Бѣлинскій не посвятилъ «Мертвымъ Душамъ» цѣлой статьи, но нѣсколько разъ въ разныхъ работахъ отзывается о нихъ сочувственно. «Мертвыя Души», по его словамъ, «твореніе чисто-русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столь же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта и, въ то же время, глубокое по мысли, соціальное, общественное и историческое». Бѣлинскій былъ живо затронутъ также лиризмомъ Гоголя, романтическими порывами его духа, его страстнымъ исканіемъ живой русской души; Бѣлинскаго заинтересовали

Шевыревъ.

К. Аксаковъ.

Бѣлинскій о «Мертвыхъ душахъ».

и обѣщанія Гоголя дать продолженіе поэмы съ другими лицами, хотя, послѣ «славянофильскихъ» восторговъ Шевырева и К. Аксакова по поводу этихъ будущихъ идеальныхъ русскихъ героевъ, онъ сталъ критически относиться къ обѣщаніямъ Гоголя. Онъ даже въ этихъ обѣщаніяхъ прозрѣлъ опасность, грозящую гоголевскому таланту, и сталъ печатно убѣждать его «не увлекаться такими замыслами, которые не отвѣчаютъ вполнѣ опредѣлившемуся характеру его таланта». По адресу К. Аксакова, Бѣлинскій сказалъ: «истинная» критика «Мертвыхъ Душъ» должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о тройкѣ,—нѣтъ, истинная критика должна раскрыть паѳосъ поэмы, который состоитъ въ *противорѣчіи общественныхъ формъ жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ*, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни для какого опредѣленія. Увлеченный Гегелемъ, Бѣлинскій такъ же страстно, какъ и Гоголь, старался опредѣлить идеальныя стороны народности русской,—то положительное, что она должна внести въ сокровищницу человѣческой культуры, чтобы завоевать право на почетный титулъ «историческаго» народа. Ясное опредѣленіе русскихъ идеаловъ—и искаженіе этихъ идеаловъ въ изображенной Гоголемъ русской жизни,—вотъ, что рекомендовалъ Бѣлинскій обращать вниманіе серьезному критику «Мертвыхъ Душъ».

Вліяніе Гегеля на исканія у насъ «русской народности».

О причинахъ появленія въ свѣтъ «Избранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» было уже говорено выше [1]. Гоголь въ этомъ произведеніи поторопился «передъ смертью» досказать то, чего онъ не могъ,—не имѣлъ времени и таланта высказать то, чего онъ не могъ,—не имѣлъ времени и таланта высказать путемъ беллетристики—путемъ продолженія «Мертвыхъ Душъ». И вотъ, онъ обнародовалъ нѣкоторыя интимныя письма свои къ ближайшимъ друзьямъ и знакомымъ,—въ результатѣ, получилась странная книга, въ которой торопливо, сбивчиво, мѣстами съ горячимъ воодушевленіемъ, мѣстами съ какимъ-то фальшиво-приподнятымъ паѳосомъ говоритъ онъ о тѣхъ вопросахъ, которые мучили его передъ смертью. Это книга «больная», но эта книга правдивая. И нельзя было тяжелѣе придумать оскорбленія умирающему человѣку, какъ сказать, что онъ «лгалъ» въ своей книгѣ. И это Гоголю сказали. Въ своей «Авторской исповѣди» онъ говоритъ по этому поводу слѣдующее: «...называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣвшимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цѣли—это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца... Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить такое обвиненіе: «Не ошибаюсь ли я самъ? вѣдь-я тоже человѣкъ. Дѣло тутъ душевное. Душа человѣка—кладезь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкоторыхъ признаковъ нельзя основываться... Нѣтъ, въ книгѣ «Переписка съ друзьями», какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть также въ ней много того, что не скоро можетъ быть доступно всѣмъ... Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человѣкомъ, который, при умѣ,

«Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями».

---

[1]) См. выше стр. 138.

обнимающемъ со всѣхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною и глубокою любовью».

Гоголь былъ правъ, говоря, что мысли его не умрутъ—многое изъ того, что онъ высказалъ въ своей книгѣ, нашло развитіе въ наши дни въ литературной и публицистической дѣятельности Л. Толстого.

Содержаніе.

Слишкомъ пестро и разнохарактерно содержаніе «Выбранныхъ мѣстъ», чтобы можно было сколько-нибудь стройно и полно изложить «философію» Гоголя. Приходится довольствоваться лишь болѣе главнымъ. Во первыхъ, въ этомъ произведеніи много чисто-автобіографическаго; боязнь смерти, горячая, фанатическая любовь къ Богу, заботы о строеніи своего «душевнаго дѣла», самобичеваніе, различныя признанія касательно своихъ сочиненій—все это не имѣетъ общественнаго значенія. Такое значеніе остается только за мыслями Гоголя о государствѣ, обществѣ, русскомъ народѣ и русской интеллигенціи, о значеніи литературы, ея содержаніи и цѣляхъ. Гоголь, въ юности идеализировавшій бюрократическій строй русской жизни, подъ конецъ, совершенно въ немъ разочаровался. И въ «Мертвыхъ Душахъ», и въ «Перепискѣ» найдемъ мы рѣзкія нападенія его на систему управлять страной при помощи «бумагъ изъ Петербурга», при помощи коммиссій и іерархіи чиновниковъ. Вмѣсто этого строя Гоголь мечталъ о какомъ-то «патріархальномъ устройствѣ» государства: во главѣ его стоитъ государь, который къ подданнымъ относится сердечно, какъ «отецъ», съ вѣрою и любовью. Такими-же государями «въ миніатюрѣ» должны были быть «генералъ губернаторы» и «губернаторы»; гуманно, просто, безъ чинопочитанія должны были относиться другъ къ другу люди въ этомъ гоголевскомъ государствѣ. Прямой путь къ этому идеалу «очищеніе своей собственной души и сердца». Не реформы въ западномъ духѣ необходимы отечеству, говорилъ Гоголь, а моральное возрожденіе каждаго отдѣльнаго человѣка. То же приблизительно въ наши дни говорилъ Л. Толстой Къ просвѣщенію въ западномъ духѣ онъ относился такъ же, какъ тотъ же Л. Толстой. Жизнь идеальнаго государства будетъ течь быстро и правильно, когда каждый опредѣлитъ свой «долгъ» и, довольствуясь малымъ жребіемъ, честно понесетъ его въ жизни: мужикъ пусть пашетъ землю, пусть помѣщикъ патріархально къ нему относится, оберегаетъ его, наставляетъ, хвалитъ, наказываетъ, судитъ, и чиновникъ пусть честно исполняетъ свою работу, купецъ пусть честно работаетъ,—и тогда все процвѣтетъ безъ реформъ.

Патріархальный складъ государственной жизни.

Помѣщикъ-дворянинъ, его значеніе въ государствѣ.

Особенное вниманіе удѣлилъ Гоголь помѣщику-дворянину. Это, по его представленію,—маленькій государь въ своемъ помѣстьи: онъ передъ Богомъ отвѣчаетъ за своихъ крѣпостныхъ,—оттого «святой» называетъ онъ работу въ деревнѣ разумнаго, добродѣтельнаго помѣщика. Не освобожденіе крестьянъ нужно мужикамъ, училъ Гоголь, не школы и не книги, а разумное руководительство и религіозное воспитаніе, Трудъ землепашца и дворянина-помѣщика, живущаго неотлучно въ деревнѣ,—основа процвѣтанія Россіи.

Апоѳеозъ «труда» и работы надъ «землей».

Это тяготѣніе къ «землѣ», обожествленіе труда, особенно физическаго [1]) опять сближаетъ Гоголя съ Л. Толстымъ.

Судя по письмамъ, русскимъ обществомъ своего времени Гоголь былъ недоволенъ: онъ неразъ говоритъ о какой-то тревогѣ, которая растетъ въ русской

[1]) Онъ помѣщику рекомендуетъ косить вмѣстѣ съ крестьянами.

интеллигенціи, о растерянности, пустотѣ русской мысли, о какихъ-то исканіяхъ чего-то. Гоголь правъ былъ, отмѣтивъ переходный характеръ русскаго общественнаго самосознанія, но онъ ошибся, не угадавъ близости 60-хъ годовъ и всего переустройства русской жизни на новыхъ либеральныхъ началахъ. Въ своей книгѣ онъ повторилъ ту ошибку, въ которую впали многіе русскіе люди временъ Грознаго, которые мечтали исправить русскую жизнь, возстановивъ «пошатавшуюся старину» тогда, когда въ русскомъ обществѣ уже назрѣвало предчувствіе реформы Петра. Вотъ почему и книга Гоголя нѣсколько походитъ на «Домострой», съ его патріархальными взглядами на жизнь, съ его идеализаціей изжитыхъ формъ жизни.

«Русское общество» въ пониманіи Гоголя.

Зато совсѣмъ не по старинному смотрѣлъ Гоголь на «женщину»,— ее онъ боготворитъ, ей отводитъ первое мѣсто въ исторіи человѣческой жизни, общественной и семейной. Отзвуки юношескаго романтизма привели Гоголя къ такому преклоненію.

Женщина.

Съ историко-литературной точки зрѣнія любопытны нѣкоторыя письма его о поэзіи русской. Онъ отмѣчаетъ органическую связь русской лирики съ поэзіей древне-русской, церковной. Онъ указываетъ, что русскіе поэты даже XVIII вѣка изъ Св Писанія почерпали и образы, и настроенія. Ломоносовъ, Державинъ, Пушкинъ, Языковъ даютъ ему особенно много основаній для этого утвержденія. Восхваленіе Россіи, русскаго царя въ нашей поэзіи—есть отзвукъ того полурелигіознаго паѳоса, съ которымъ о царяхъ и родинѣ говорится только въ Ветхомъ Завѣтѣ. И Гоголь лирическому поэту своего времени рекомендуетъ Ветхій Завѣтъ, говоря, что тамъ источникъ вѣчной и возвышенной, божественной поэзіи. Изъ христіанскихъ церквей онъ отдаетъ предпочтеніе православной: въ ней больше заботъ о небесномъ, въ ней больше смиренія, больше любви къ людямъ, больше гуманности... И опять, въ его словахъ мы слышимъ словно указаніе русскому писателю, откуда брать ему идеалы—изъ Св. Писанія, изъ ученія Восточной Церкви: «Святые отцы» и «Златоустъ»—лучшія книги для народа, говоритъ Гоголь. И въ этихъ словахъ передъ нами воскресаетъ старая, допетровская Русь, когда, дѣйствительно, эти книги были настольными у русскаго грамотѣя.

Мысли Гоголя о значеніи церковной поэзіи для новой русской поэзіи.

Православная церковь.

Касается Гоголь неразъ вопроса объ отношеніяхъ Европы и Россіи: онъ критически, даже съ юморомъ относится къ «квасным патріотамъ», къ славянофиламъ, но критикуетъ и «западниковъ». Къ «Западу» онъ относится съ полнымъ недовѣріемъ,—ему кажется, что западная культура иссякаетъ, и что скоро къ Россіи «за мудростью» обратятся иностранцы. «Всѣ европейскія государства, говоритъ онъ, теперь болѣютъ необыкновенною сложностью всякихъ законовъ и постановленій», идеалы религіозные тамъ забыты, и «душевнымъ дѣломъ» никто не занимается. Не то онъ видѣлъ въ Россіи, по крайней мѣрѣ, въ томъ кругу, къ которомъ онъ вращался: очевидно, въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти губернаторши, помѣщики, «значительныя лица», поэты, которымъ онъ писалъ свои письма, думали больше о своей душѣ, о «своемъ внутреннемъ строеніи», чѣмъ о землѣ. И это утѣшало Гоголя. Онъ говоритъ, что русское общество его времени «все чего-то ищетъ, ищетъ уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ надъ политическими и надъ учеными». Гоголь

Отношеніе Европы Россіи.

не зналъ о другихъ настроеніяхъ русскаго общества, и это незнаніе сдѣлало для людей иныхъ убѣжденій его книгу непонятной, и глупой, и неприличной, и вредной...

Разнообразія тона и стиля «писемъ».

Гоголь писалъ свои письма къ разнымъ лицамъ, къ умнымъ и глупымъ, къ восторженнымъ и спокойнымъ; онъ самъ говоритъ, что писалъ такъ, чтобы его всякій понялъ,—оттого въ его письмахъ много разнообразія даже въ манерѣ письма. Грубоватому и недалекому помѣщику онъ писалъ грубоватое письмо, говоря, очевидно, понятнымъ для него стилемъ. Это письмо особенно возмутило Бѣлинскаго. Гоголь совѣтуетъ помѣщику внѣдрять крестьянамъ уваженіе къ честнымъ и хорошимъ работникамъ; передъ образцовымъ «мужикомъ» обыкновенные должны были снимать шапки; если кто не сниметъ, то по адресу такого Гоголь рекомендовалъ помѣщику употребить «крѣпкое слово»: «ахъ, ты, невымытое рыло! Самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочетъ оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги!» Это «невымытое рыло»—только «мужицкій стиль», которымъ, очевидно, Гоголь хотѣлъ указать лишь на моральную неочищенность мужика. «Мужика не бей, говоритъ онъ въ томъ же письмѣ. Съѣздить его въ рожу еще не большое искусство. Но умѣй пронять его хорошенько словомъ». Это «съѣздить въ рожу»—уже, очевидно, помѣщичій жаргонъ, подъ который поддѣлывается Гоголь, стараясь сдѣлаться вполнѣ яснымъ своему простоватому и грубому корреспонденту.

Вообще многое изъ того, что указалъ Гоголь въ русской жизни, и умно, и вѣрно; его собственные взгляды часто возвышены и чисты, но когда онъ переходилъ на практическую почву, то совѣты его часто наивны, даже неумны... Такъ, въ этомъ же письмѣ къ помѣщику онъ рекомендуетъ помѣщику, для поднятія въ деревнѣ авторитета сельскаго батюшки, всюду брать съ собой этого батюшку на работу и каждый день сажать его за господскій столъ. Гоголь не пожелалъ заглянуть по человѣчески въ душу этого несчастнаго священника, который даже пообѣдать въ кругу своей семьи не имѣетъ права! Наивны совѣты тому же помѣщику сжечь передъ мужиками нѣсколько ассигнацій въ доказательство того, что онъ, помѣщикъ, не корыстолюбивъ!

Отношеніе русскаго общества къ этому произведенію.

Когда эти странныя письма сдѣлались достояніемъ публики, они ни въ комъ, кромѣ истинныхъ друзей Гоголя, не вызвали къ себѣ сочувствія. Особенно возмущены были люди либеральнаго склада мыслей, недавніе поклонники Гоголя. Они увидѣли въ книгѣ его измѣну его прежнимъ честнымъ убѣжденіямъ; наиболѣе энергично такое отношеніе выразилось въ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю. Самъ фанатикъ по темпераменту, самъ больной и измученный жизненной борьбой, критикъ много злого и несправедливаго сказалъ Гоголю, уже стоявшему одной ногой въ могилѣ. Въ этомъ столкновеніи двухъ великихъ современниковъ сказалось все русское общество, съ различными полюсами его тогдашняго міровоззрѣнія.

Бѣлинскій написалъ Гоголю, что прежде «любилъ его со всею страстью», видя въ немъ надежду, честь, славу русской земли, «одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса». Теперь отъ этой страсти осталось «презрѣніе и ненависть», такія же страстныя... Книгу Гоголя онъ назвалъ «хитрой, но черезчуръ нецеремонной продѣлкой для до-

стиженія небеснымъ путемъ чисто-земной цѣли». Онъ съ негодованіемъ остановился на выраженіи: «ахъ, ты—невымытое рыло!»... Не вникая въ истинный смыслъ это грубости, онъ назвалъ Гоголя «проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія»; онъ нападаетъ на религію Гоголя: «не истиной христіанскаго ученія, говоритъ онъ, а болѣзненной боязнью смерти, чорта и ада вѣетъ изъ вашей книги»; онъ высмѣялъ стиль книги, указалъ на слухи о томъ, что книга Гоголя написана была имъ для того, чтобы попасть въ наставники цесаревича...

«Авторская исповѣдь».

Въ отвѣтъ на эту «критику», жестокую и незаслуженную, и на другія подобныя же написалъ Гоголь свою «Авторскую исповѣдь». Глубокою горестью, тоской проникнуто это, ясное по мысли, спокойное по изложенію сочиненіе. Гоголь умиралъ, непонятый современниками и потерявшій надежду, что они его поймутъ, что простятъ его за промахи, поблагодарятъ за то страстное желаніе принести пользу родинѣ, которое руководило имъ въ жизни и которое онъ перенесъ въ свои сочиненія. У грядущихъ поколѣній проситъ онъ въ своей трогательной «Авторской исповѣди» справедливости и милости...

Гоголь, какъ личность; трагедія его жизни.

Гоголь принадлежалъ къ характерной для Россіи семьѣ людей «алчущихъ правды»—«счастливаго» довольства собой ему не было дано въ удѣлъ. Въ этомъ заключается его *личное* «несчастіе». Несчастливъ былъ онъ и оттого, что натура его представляла собою причудливое соединеніе самыхъ противорѣчивыхъ качествъ: эгоизма и—способности самопожертвованія и смиренія,—смѣшеніе земного и небеснаго... Немного Хлестаковъ (по его собственному признанію) и Муразовъ,—онъ вѣчно боролся съ собою, вѣчно хлопоталъ надъ устройствомъ своей души и, окрыленный лучшими чувствами, игралъ не безъ самодовольства несвойственную ему роль «пророка»! Гоголь—«герой безвременья». Если бы онъ появился въ древней Руси, быть можетъ, онъ сыгралъ бы тогда великую роль именно въ той дѣятельности, которая такъ влекла его къ себѣ.

Въ этомъ отношеніи, онъ совершенно непохожъ на Пушкина,—душа того отличалась равновѣсіемъ, въ ней не было раздвоенія, которое исковеркало Гоголя.

Трагедія Гоголя, какъ писателя.

Если мы вглядимся въ Гоголя, какъ въ «писателя»,—мы и здѣсь увидимъ ту же раздвоенность: «художникъ-реалистъ» и «моралисть-проповѣдникъ» не слились въ его лицѣ. Пушкинъ никогда не брался «учить» людей добру, и, тѣмъ не менѣе, училъ ихъ, пробуждая добрыя чувства. Онъ никогда не подчинялъ своего творчества морали и высоко держалъ свое знамя писателя,—Гоголь, наоборотъ, проповѣдникъ, по призванію, съ дѣтскихъ лѣтъ, и великій художникъ—по таланту, хотѣлъ принести въ жертву морали свой прирожденный талантъ,—но оказался не въ состояніи «учить» людей такъ, какъ хотѣлось ему. Трагедія его литературной карьеры и заключается въ томъ, что, когда, подъ вліяніемъ Пушкина, въ немъ «моралистъ» уступилъ «художнику», и онъ написалъ свои безсмертныя произведенія,—онъ былъ ими недоволенъ. Когда же «моралистъ» въ немъ побѣдилъ «художника», онъ сталъ печатать такія вещи, которыя нравились ему, но перестали нравиться другимъ и встрѣчены были укоромъ. Эта двойная борьба со своей душой и своимъ талантомъ была причиной несчастья его жизни. Это былъ съ дѣтства

«отравленный талантъ», который творилъ трудно,—кровью сердца и слезами очей своихъ.

Даже свѣтлую и свободную любовь Пушкина къ «землѣ» онъ до боли заострилъ своей проповѣдью состраданія къ ближнимъ. Эта любовь перестала быть свободной и радостной.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій о характерныхъ особенностяхъ таланта Гоголя.

Въ цѣнной работѣ проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго: «Гоголь» мы найдемъ указаніе еще другихъ психологическихъ причинъ гоголевскихъ неудачъ, найдемъ и очень мѣткую характеристику особенностей его таланта и манеры письма.

Сравнивая пріемы творчества Пушкина и Гоголя, проф. Овсянико-Куликовскій отмѣчаетъ существенное различіе ихъ. Пушкинъ относится къ разряду писателей-*наблюдателей*,—рисующихъ жизнь полностью, какъ она есть; Гоголь относится къ разряду писателей-*экспериментаторовъ*—тѣхъ, которые производятъ надъ жизнью *эксперименты, опыты*, подходятъ къ ней поэтому съ опредѣленной идеей, и изъ жизни выдѣляютъ только нѣкоторыя, интересующія ихъ черты [1]). Художникъ-наблюдатель стремится дать правдивое и полное изображеніе жизни. Онъ «присматривается и прислушивается къ жизни, стараясь понять ее,—онъ стремится постичь *человѣка въ жизни*, взятой въ опредѣленныхъ предѣлахъ мѣста и времени, и въ своихъ созданіяхъ онъ не столько обнаруживаетъ и передаетъ *свою манеру видѣть и слышать жизнь и свой даръ чувствовать человѣка*, сколько, открывая намъ широкую картину дѣйствительности, даетъ намъ возможность, при ея помощи, развивать и совершенствовать наше собственное пониманіе жизни, нашъ собственный даръ чувствовать человѣка и все человѣческое». У художниковъ-экспериментаторовъ нѣтъ такого безпристрастія въ творчествѣ: онъ на фактахъ, взятыхъ изъ жизни, *доказываетъ свою идею*: въ силу нарочитаго подбора нужныхъ чертъ, нужныхъ типовъ, «изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ярко, такъ отчетливо, что ея мысль, ея роль становятся понятны всѣмъ».

Пушкинъ и Гоголь.

Гоголь, и какъ человѣкъ, былъ экспериментаторъ,—онъ постоянно дѣлалъ опыты надъ своей душой, не стѣснялся дѣлать опыты и надъ душой своихъ друзей. Вотъ почему онъ никогда не жилъ *просто* [2]). Въ этомъ отношеніи, онъ тоже противоположность Пушкину. «Душа, открытая всѣмъ впечатлѣніямъ и всѣмъ сочувствіямъ, любознательный и воспріимчивый умъ, разносторонность натуры, живой интересъ къ дѣйствительности въ многообразныхъ ея проявленіяхъ—таковы тѣ особенности душевной организаціи, въ силу которыхъ Пушкинъ былъ въ искусствѣ «худож-

---

[1]) Эти два пріема «пушкинскій», и «гоголевскій», «явились» отправными точками, отъ которыхъ пошли въ русской литературѣ XIX ст. два направленія, два теченія, двѣ школы, до сихъ поръ еще не сказавшія своего послѣдняго слова и продолжающія развиваться дальше. «Пушкинское» и «гоголевское» проходятъ, съ 30-хъ годовъ и доселѣ, по всей русской литературѣ, то сближаясь, то разлучаясь, дополняя другъ друга. Къ писателямъ «пушкинской» школы относится, напримѣръ, въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ Тургеневъ; къ «гоголевской»—Гончаровъ, Достоевскій, Л. Толстой, Чеховъ...

[2]) См. многочисленные факты, это подтверждающіе, въ книгѣ проф. Овсянико-Куликовскаго.

никомъ-наблюдателемъ» и вмѣстѣ «мыслителемъ», а въ жизни—мыслящимъ «передовымъ человѣкомъ», откликавшимся на всѣ важнѣйшіе интересы и запросы времени. Онъ бодро и сочувственно, съ заинтересованнымъ вниманіемъ, смотрѣлъ на Божій міръ и, наблюдая людей и жизнь, почти не заглядывалъ, развѣ урывками и случайно, въ свою собственную душу. Онъ не думалъ о себѣ, какъ не думаетъ о себѣ естествоиспытатель, наблюдая природу. Не таковъ былъ Гоголь: сосредоточенный и замкнутый въ себѣ, склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ меланхоліи и мизантропіи, натура неуравновѣшенная, Гоголь смотрѣлъ на Божій міръ сквозь призму своихъ настроеній, бо́льшею частью, очень сложныхъ и психологически-темныхъ, и видѣлъ ярко и въ увеличенномъ масштабѣ преимущественно все темное, мелкое, пошлое, узкое въ человѣкѣ; кое-что отъ этого порядка онъ усматривалъ и въ себѣ самомъ,—и тѣмъ живѣе и болѣзненнѣе отзывался онъ на эти впечатлѣнія, идущія отъ другихъ, отъ окружающей среды... Онъ изучалъ ихъ одновременно и въ себѣ, и въ другихъ».

Вотъ почему, въ сравненіи со «свѣтлымъ», широкимъ пушкинскимъ умомъ, огромный, но узкій, односторонній, умъ гоголевскій былъ «темнымъ» (Овсянико-Куликовскій). Потому и умъ, и творчество его были несвободны. И, какъ это ни странно, — они оказались въ рабствѣ у давно пережитыхъ религіозныхъ и моральныхъ взглядовъ древней Руси [1]). Въ Гоголѣ русская старина, забытая въ XVII и XVIII вѣкѣ, опять воскресла, но, не будучи въ состояніи сродниться, слиться съ жизнью XIX столѣтія, изломала того великаго человѣка, которымъ овладѣла. Послѣ этой великой искупительной жертвы, въ дѣятельности Тургенева, Толстого, Достоевскаго и другихъ великихъ его учениковъ мы увидѣли уже органическое и мирное скрещеніе старыхъ русскихъ идеаловъ съ новой жизнью.

Историческое значеніе Гоголя.

Изъ всего вышесказаннаго ясно великое историческое значеніе Гоголя:

1) Если Пушкинъ, какъ художникъ, открылъ *поэзію древней Руси*,— поэзію ея идейной жизни, то Гоголь, какъ человѣкъ и писатель, сдѣлался проводникомъ въ новую русскую жизнь нравственныхъ и религіозныхъ идеаловъ старины. Достоевскій и Л. Толстой—его ученики.

2) Вслѣдствіе этого онъ кореннымъ образомъ измѣнилъ у насъ пониманіе и роль «писателя»; онъ первый придалъ ему характеръ «пророка», «проповѣдника» христіанской морали; литературу онъ, *при помощи Бѣлинскаго*, объяснившаго истинный смыслъ его творчества, сдѣлалъ общественной силой (см. ниже стр. 255).

3) Гоголь органически связанъ съ реалистической литературой XVIII вѣка,—съ русскими сатириками и драматургами этой эпохи. Какъ Пушкинъ, онъ подвелъ *итоги* всей предшествовавшей литературы, упорно раскрывавшей безотрадныя стороны русской жизни.

---

[1]) Быть можетъ, это объясняется тѣмъ, что Гоголь, по словамъ проф. Овсянико-Куликовскаго, по натурѣ своей былъ „мыслителемъ“, по плохимъ „ученикомъ“, т. е. своего умственнаго кругозора не расширялъ „чтеніемъ“, какъ это дѣлалъ, напримѣръ, Пушкинъ. Вотъ почему домашнее религіозное воспитаніе Гоголя сдѣлалось основаніемъ его „философіи“. Онъ и не вышелъ изъ ея узкихъ предѣловъ, не расширилъ ее, а углубилъ.

4) Подобно Пушкину, онъ не только подвелъ итоги прошлой литературной жизни,—онъ *намѣтилъ и содержаніе послѣдующей.* Оттого самъ Бѣлинскій поставилъ его во главѣ *новаго періода* русской литературы. Въ этомъ новомъ періодѣ, впрочемъ, не умерли и пушкинскія традиціи. Въ русской литературѣ XIX в. мы должны различать двѣ литературныя школы—«пушкинскую» и «гоголевскую.

5) Въ исторіи русскаго реализма онъ потому играетъ большое значеніе, что первый заговорилъ о *теоріи реализма*, первый сознательно выработалъ пріемы новаго творчества.

6) Гоголь страстно любилъ Россію и всею душою хотѣлъ проникнуть въ «духъ» русскаго народа, опредѣлить его будущее. Вотъ почему въ исторіи русскаго «народничества» играетъ онъ большую роль.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.

(1811—1848).

Біографія его. В. Г. Бѣлинскій родился въ бѣдной семьѣ военнаго врача въ Свеаборгѣ. Тяжелы были первыя впечатлѣнія ребенка. Отецъ его, «неудачникъ въ жизни», былъ человѣкъ умный и, для своего времени, образованный, но озлобленный; онъ плохо жилъ со своею женою, мало заботился о семьѣ и не уживался съ людьми. Страсть къ вину совсѣмъ погубила его. — Біографія Бѣлинскаго. Отецъ его.

Мать Бѣлинскаго тоже не отличалась уживчивостью и мягкостью, но она еще меньше могла имѣть вліянія на ребенка, чѣмъ отецъ, который всетаки импонировалъ ему своимъ умомъ, умѣніемъ критически относиться къ жизни и людямъ, знаніями и начитанностью. — Мать.

Одинокій, замкнутый въ себѣ, росъ Бѣлинскій въ родной семьѣ, рано научившись относиться сознательно къ окружающей его жизни. Первоначальное образованіе получилъ онъ въ уѣздномъ училищѣ въ г. Чембарѣ (Пензенской губ.), гдѣ выдѣлился изъ среды товарищей своимъ развитіемъ и начитанностью. Въ семьѣ Бѣлинскій чувствовалъ себя тяжело: нищета, злоба, взаимные укоры и общее недовольство царили тамъ; ребенку приходилось выносить иногда даже незаслуженные побои отъ пьянаго отца; это возмущало его не по лѣтамъ развитое самолюбіе и отталкивало отъ семьи, гдѣ царилъ произволъ. — Дѣтство Бѣлинскаго.

Продолжалъ онъ свое образованіе въ Пензенской гимназіи. Здѣсь онъ сблизился съ учителемъ естественной исторіи Поповымъ, который отнесся къ нему сердечно и давалъ ему книги изъ своей большой библіотеки. Гимназіи Бѣлинскій не кончилъ: пересталъ ее посѣщать и, оставивъ ее, держалъ экзаменъ прямо въ университетъ. Уже въ это время ранней юности увлекся онъ романтизмомъ — Жуковскій, Марлинскій, Шиллеръ, Радклиффъ были его любимыми писателями, — вмѣстѣ съ юными своими друзьями слѣдилъ онъ и за русской журналистикой: Полевой и Надеждинъ были тогда самыми популярными журналистами. Они особенно увлекали и юношу-Бѣлинскаго. Этотъ ранній періодъ своей сознательной жизни онъ самъ называлъ впослѣдствіи «бурнымъ періодомъ» («Sturm und Drang»). Въ это время пробужденія критицизма и молодого задора онъ чувствовалъ себя большимъ либераломъ и безпощадно относился къ тогдашней русской дѣйствительности. — Литературные вкусы Бѣлинскаго въ юности.

Бѣлинскій въ университетѣ.

Въ 1829 году, выдержавъ экзаменъ, Бѣлинскій поступилъ въ Московскій университетъ на словесный факультетъ. Здѣсь онъ увлекся только Надеждинымъ, который знакомилъ своихъ слушателей съ нѣмецкими философскими системами, особенно пропагандируя міросозерцаніе Шеллинга. Въ университетѣ Бѣлинскій пробылъ только три года,—онъ не ужился съ тяжелымъ режимомъ, которымъ обставлена была тогда жизнь «казеннокоштныхъ» студентовъ въ Московскомъ университетѣ; кромѣ того, запутался въ одной студенческой исторіи и, наконецъ, провинился тѣмъ, что сочинилъ драму «Дмитрій Калининъ», которая представляетъ собой очень рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права [1]). Драма, своимъ страстнымъ либерализмомъ, произвела на товарищей Бѣлинскаго сильное впечатлѣніе. Онъ имѣлъ наивность представить ее въ цензурный комитетъ, состоявшій тогда изъ профессоровъ университета. Когда открылось, что авторъ драмы—«казеннокоштный» студентъ Бѣлинскій, уже неоднократно навлекавшій на себя гнѣвъ ближайшаго начальства самостоятельностью своихъ мыслей и поведенія, онъ былъ исключенъ «за неаккуратное посѣщеніе лекцій» и «по ограниченности способностей». Ничего не далъ Бѣлинскому самъ университетъ, но зато тамъ Бѣлинскій сблизился съ кружкомъ Станкевича. Юноши участники кружка чтеніемъ и бесѣдами усердно восполняли недостатки тогдашняго университетскаго образованія. Особенно увлекались они нѣмецкой философіей Шеллинга, потомъ Гегеля; изучали всемірную литературу, разрабатывали вопросы эстетики и исторіи философіи. Бѣлинскій всей душой отдался этому кружковому самообразованію, и сразу выдѣлился въ обществѣ друзей своимъ умомъ, своей страстной жаждой знанія.

Драма «Дмитрій Калининъ».

Кружокъ Станкевича.

Бѣлинскій былъ сильно смущенъ своимъ изгнаніемъ изъ университета; онъ даже долго не рѣшался сообщить домой о своей неудачѣ. Онъ испыталъ въ это время крайнюю нужду, ради куска хлѣба, пришлось ему зарабатывать дешевыми уроками, и переводами бульварныхъ романовъ и пр.

Первые литературные опыты.

Сближеніе съ Надеждинымъ приводитъ его къ журналистикѣ; онъ дѣлается переводчикомъ съ французскаго въ журналахъ своего бывшаго профессора: «Телескопѣ» и «Молвѣ»; переводилъ онъ всякую мелочь,—краткія газетныя сообщенія, анекдоты. Въ семьѣ дѣла шли все хуже и хуже, и Бѣлинскому приходилось постоянно вмѣшиваться въ жизнь родителей, заступаться за братьевъ, хлопотать объ ихъ судьбѣ. Его поддерживала только дружба съ Станкевичемъ и другими членами этого кружка,—людьми, «отборными по уму, образованности, талантамъ и благородству чувствъ»,—какъ онъ характеризовалъ ихъ въ одномъ письмѣ.

Семейныя отношенія.

Значенія кружка Станкевича въ жизни Бѣлинскаго.

Отъ нихъ позаимствовался Бѣлинскій своими знаніями нѣмецкой философіи, знаніемъ философскихъ теорій эстетики и исторіи. Мы видѣли уже, что всѣ эти теоріи и у Шеллинга, и у Гегеля отличались крайней отвлеченностью. Увѣровавъ въ нихъ, и Бѣлинскій, и его друзья стали мыслить отвлеченно,—отъ жизни русской они ушли въ идеальныя умо-

---

[1]) Все это время, до сближенія со Станкевичемъ, онъ былъ «либераломъ» и, по его словамъ, «былъ полонъ героическихъ стремленій, горячо ненавидѣлъ существовавшій общественный строй, въ то же время мучительно сознавалъ себя нулемъ».

Вліяніе нѣмецкой философіи на убѣжденія Бѣлинскаго.

зрительныя построенія, — и вотъ юношескій либерализмъ Бѣлинскаго, только что навлекшій ему большую непріятность, сталъ безслѣдно вывѣтриваться. Недавно еще Шиллеръ, благородный защитникъ правъ угнетеннаго человѣчества, былъ для него «богомъ»,—теперь Бѣлинскій отвернулся отъ него съ тою рѣшительностью и безповоротностью, на которую былъ способенъ только онъ. Теперь онъ превозносилъ Пушкина, Гёте, Шекспира за то, что тѣ, якобы, стояли внѣ мелочей будничной жизни, что они съ олимпійскимъ величіемъ созерцали вѣчную красоту, и только ей одной служили въ своихъ міровыхъ созданіяхъ.

«Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мысли! Люби добро,—и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ»,—писалъ въ одномъ письмѣ юноша Бѣлинскій, покоренный идеалами отвлеченнаго прекраснодушія. «Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія, безъ всякой политики, сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ. Просвѣщеніе—вотъ путь ея къ счастью». Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ, что политическія движенія французовъ для Россіи ненужны: каждый народъ имѣетъ свой смыслъ, свое значеніе, свой путь. Постепенность развитія—залогъ истиннаго прогресса: «правда, говоритъ онъ, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще—дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать Россіи, въ теперешнемъ ея состояніи, конституцію—значитъ погубить Россію». Онъ теперь оправдывалъ правительство, которое «не позволяетъ писать противъ крѣпостного права, а, между тѣмъ, исподволь освобождаетъ крестьянъ». Приводя другіе подобные факты, онъ восклицаетъ: «въ Россіи все идетъ къ лучшему». Онъ рекомендуетъ христіанскую любовь къ ближнему—какъ разумное основаніе общественной и государственной жизни. Онъ готовъ вѣрить, что эта «христіанская политика» есть особый удѣлъ русскаго народа: «быть апостолами просвѣщенія— вотъ наше назначеніе!» говоритъ онъ. «Итакъ, будемъ подражать апостоламъ Христа, которые не дѣлали заговоровъ и не основывали ни явныхъ, ни тайныхъ политическихъ обществъ, распространяя ученіе своего божественнаго Учителя. Не суйся въ дѣла, которыя до тебя не касаются, но будь вѣренъ *своему* дѣлу, а твое дѣло—любовь къ истинѣ. Къ чорту политику, да здравствуетъ наука!.. Къ чорту французовъ!», которые занимаются политикой: «Германія—вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества!»—съ такой страстностью впиталъ въ себя Бѣлинскій «умиротворяющія» идеи Шеллинга, особенно Гегеля.

Онъ самъ потомъ говорилъ, что отъ этихъ идей тогда «освирѣпѣлъ, опьянѣлъ», разсыпалъ «неистовыя проклятія» на благороднаго Шиллера за то, что тотъ призывалъ борьбой защищать права человѣчества: «я сорвался съ цѣпи и побѣжалъ благимъ матомъ»—разсказываетъ Бѣлинскій. Когда онъ познакомился съ гегелевской «философіей религіи» и «права», усвоилъ основы историческаго міросозерцанія Гегеля, онъ всѣ эти идеи принялъ открытой душой; по его словамъ: «новый міръ» ему открылся...

«Сила есть право—и право есть сила»,—писалъ онъ. «Нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова—это было освобожденіе! Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей! я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности!—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равнозначительно слову «Богъ»... Это и былъ тотъ моментъ, когда Бѣлинскій увѣровалъ, что *все дѣйствительное разумно*. «Я гляжу на дѣйствительность, говоритъ онъ, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность». По его словамъ, онъ сближается теперь даже съ пошляками,—«мнѣ уже не душно въ ихъ кругу, они уже интересны для меня объективно»—«всякій правъ и никто не виноватъ; нѣтъ ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа. Кто развивается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже во всѣхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины»; «требуя отъ каждаго именно только того, чего отъ него можно требовать, я получаю отъ него одно хорошее и ничего худого... Надо во внѣшности своей походить на всѣхъ!» говоритъ онъ, покоренный «фаталистическимъ» ученіемъ Гегеля, который личности, герою, единицѣ мало отводитъ мѣста въ исторіи, а массу, толпу—дѣлаетъ основой міровой эволюціи.

„Все дѣйствительное разумно“.

„Чистое искусство“.

Увлекается теперь Бѣлинскій «чистымъ искусствомъ». Одинъ изъ его друзей, Панаевъ, такъ характеризуетъ его: «Увлекшись толкованіями гегелевой философіи и знаменитою формулою, извлеченною изъ этой философіи, что «все дѣйствительное разумно»,—Бѣлинскій проповѣдывалъ о примиреніи въ жизни и искусствѣ. Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ!), что всякій общественный протестъ казался ему преступленіемъ, насиліемъ... Онъ съ презрѣніемъ отзывался о французскихъ энциклопедистахъ XVIII столѣтія, о критикахъ, не признававшихъ теоріи «искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ новой жизни, къ общественному обновленію; онъ съ особеннымъ негодованіемъ и ожесточеніемъ отзывался о Жоржъ-Зандъ. Искусство составляло для него какой-то высшій, отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, занимающійся только вѣчными истинами и не имѣвшій никакой связи съ нашими житейскими дрязгами и мелочами». Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*. Къ такимъ причислялись Гомеръ, Шекспиръ и Гёте. Шиллеръ не подходилъ къ этому воззрѣнію, и Бѣлинскій, нѣкогда восторгавшійся имъ, охлаждался къ нему по мѣрѣ проникновенія своею новою теоріею».

Журнальная дѣятельность Бѣлинскаго.

Свои убѣжденія Бѣлинскій приложилъ скоро къ дѣлу. Въ это время его участіе въ журналахъ сдѣлалось болѣе серьезнымъ, и въ 1834 году, черезъ два года послѣ изгнанія изъ университета, печатаетъ онъ свою большую критическую статью «Литературныя мечтанія». Здѣсь онъ широко примѣняетъ и свои философскіе взгляды, и свои знанія русской литературы. Съ этой работы начинается серьезная литературная дѣятельность Бѣлинскаго. Этой дѣятельностью онъ добываетъ себѣ средства къ существованію, подвергая свою судьбу каждый день тѣмъ случайностямъ, которыя въ то суровое время мѣшали свободному существованію русской журналистики. Послѣ

напечатанія писемъ Чаадаева журналъ Надеждина «Телескопъ», которымъ жилъ Бѣлинскій, оказывается закрытымъ; юному критику приходилось искать новаго источника доходовъ. Но, признавъ, что «все дѣйствительное разумно», Бѣлинскій не унывалъ,—онъ пожилъ въ деревнѣ своего друга Бакунина, побывалъ на Кавказѣ. Ненадолго онъ устроился, было, въ «Московскомъ Наблюдателѣ», но и этотъ журналъ оказался недолговѣчнымъ, и Бѣлинскому приходилось пользоваться поддержкой друзей—В. Боткина, К. Аксакова, Ефремова. «И именно въ эти тяжкіе годы Бѣлинскій жилъ стремленіями къ «абсолютной жизни», теоретически доказывалъ «разумную», «прекрасную» дѣйствительность» (Пыпинъ).

Въ поискахъ денегъ, онъ сочинилъ даже грамматику, но она не пошла на книжномъ рынкѣ и не доставила денегъ. Бѣлинскій продолжалъ жить «въ долгъ».

Въ 1837 году онъ встрѣтится съ Герценомъ, вернувшимся въ Москву изъ ссылки. Герценъ, жившій тогда горячими политическими интересами, былъ пораженъ происшедшей съ Бѣлинскимъ перемѣной,—они сразу разошлись послѣ первой же словесной стычки, но диспуты ихъ продолжались. Герценъ самъ изучилъ Гегеля и по своему сталъ толковать нѣкоторыя его «истины». Бѣлинскій, бредившій Гегелемъ, стоялъ за свой политическій «квіетизмъ», за эстетическое пониманіе цѣлей поэзіи, за разумность дѣйствительности... Быть можетъ, горячія, возмущенныя рѣчи Герцена уже послѣ перваго спора заронили искру сомнѣнія въ душу Бѣлинскаго, такъ какъ, онъ, хотя и долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, не уступалъ своему оппоненту, тѣмъ не менѣе, понемногу сталъ охладѣвать къ своей философіи и, «утомившись отвлеченностью», началъ «жаждать сближенія съ дѣйствительностью». Вліяніе Герцена на міросозерцаніе Бѣлинскаго.

Въ концѣ 1839 года онъ переселяется въ Петербургъ, чтобы вести критическій отдѣлъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» Краевскаго. Въ первые годы онъ проводитъ еще свои гегеліанскіе взгляды («Очерки Бородинскаго сраженія», «Менцель, критикъ Гёте», «Горе отъ ума»), но уже съ конца 1839 года начинается въ жизни Бѣлинскаго періодъ сомнѣній въ истинѣ своихъ взглядовъ, подготовляется переворотъ, и въ серединѣ 1840 года онъ рѣзко мѣняетъ свои «примирительные» взгляды на «протестующіе». Въ письмахъ своихъ онъ пишетъ теперь слѣдующее: «Проклинаю мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью! Да здравствувтъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія!» Теперь всѣ «цѣнности», въ глазахъ Бѣлинскаго, сразу переоцѣниваются: Гёте оказывается «отвратительною личностью», Жоржъ-Зандъ сдѣлалась «апостоломъ», героиней. Больше всего достается теперь «дѣйствительности». Бѣлинскій называетъ ее «палачомъ», «пошлостью», «гнусностью»: борьба съ жизнью опять окрылила его: «въ душѣ чувствую больше жару и энергіи, больше готовности умереть и пострадать за свои убѣжденія»,—пишетъ онъ въ одномъ письмѣ. Онъ говоритъ, что, сбросивъ иго нѣмецкой философіи, проснулся—«и страшно вспомнить мнѣ о моемъ снѣ»; теперь Германія для него—«нація абсолютная, но государство позорное»,—взамѣнъ того выросли теперь въ его глазахъ французы, еще недавно посылаемые «къ чорту»!.. Онъ зло издѣвается теперь надъ

Бѣлинскій въ Петербургѣ.

Новыя идеалы Бѣлинскаго.

Гегелемъ, называетъ его «Егоръ Ѳедорычемъ», кланяется его «философскому колпаку» и пр. «Что мнѣ въ томъ,—восклицаетъ онъ,—что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что мнѣ въ томъ, что моимъ, или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно, и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно? Не прикажешь ли уйти въ себя? Нѣтъ, лучше умереть!».

Бѣлинскій о перемѣнахъ своего міросозерцанія.

Удивляясь самъ рѣзкимъ переворотомъ своего міровоззрѣнія, оправдывалъ онъ себя тѣмъ, что они—разультатъ его честнаго исканія истины [1]). «Теперь я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь—въ паѳосѣ правды и чести,—восклицаетъ онъ,—и, мимо ихъ, мало замѣчаю какое бы то ни было величіе!.. Во мнѣ развилась какая-то фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая только возможна при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести»; «борьба за понятія—дѣло святое, и горе тому, кто не боролся!»—говоритъ онъ.

Въ это время онъ очень сблизился съ Герценомъ и, подчинившись его вліяніямъ, увлекся сенсимонизмомъ и политическими тревогами, которыми наканунѣ 1848 года сталъ волноваться Западъ. «Ты знаешь мою натуру,—пишетъ онъ другу,—она вѣчно въ крайностяхъ. Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старой идеей, отрицаю ее до нельзя, а въ новою перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита! Итакъ, я теперь въ новой крайности,—это идея сенсимонизма [2]), которая стала для меня идеею идей, альфою и омегою вѣры и знанія. Она для меня поглотила и исторію, и религію, и философію». На семейную жизнь и положеніе женщины онъ смотрѣлъ теперь глазами сенсимонистовъ. Отъ своего философскаго эгоизма Бѣлинскій рѣшительно отвернулся. «Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее,—восклицаетъ онъ,—когда страдаетъ личность! Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи... Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ!».

Требованія, предъявляемыя имъ теперь къ литературѣ.

Теперь мѣняется у него и критическое мѣрило,—не красотъ, не литературныхъ достоинствъ требуетъ онъ, а только, чтобы она была *дѣльна*, служила жизни. «Ты—сибаритъ, сластёна,—пишемъ онъ другу,—тебѣ, вишь, давай поэзію, да художества—тогда ты будешь смаковать и чмокать губами! А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась аллегоріею. Главное—чтобы она вызывала вопросы...». Любопытенъ теперь отзывъ его о томъ стихотвореніи Пушкина («Поэтъ и Чернь»), которымъ онъ восхищался недавно. «Помню,—разсказываетъ Тургеневъ,—съ какою комическою яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на отсутствующаго, разумѣется, Пушкина за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»—

Отношеніе къ Пушкину.

«Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!»

---

[1]) «Тотъ не любитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться»,—говоритъ онъ.

[2]) См. выше, стр. 71—72.

«И конечно!—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю—и прежде, чѣмъ любоваться красотою истукана, будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на зло всякимъ негодующимъ барйчамъ и виршеплетамъ!» Бѣлинскій самъ сознавалъ крайность, несправедливость своего пристрастнаго, непримиримаго отношенія къ тому, что противорѣчило его убѣжденіямъ, но фанатически стоялъ за «нетерпимость». «Если сдѣлаюсь терпимымъ,—писалъ онъ,—знай, что съ той минуты во мнѣ умерло то прекрасное-человѣческое, за которое столько хорошихъ людей любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того»... «Я знаю, что сижу въ односторонности,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ,—но не хочу выходить изъ нея—и жалѣю и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней!» Этотъ партійный «фанатизмъ» наложилъ тяжелую печать на литературную дѣятельность Бѣлинскаго въ послѣдній періодъ его творчества [1]). Фанатизмъ Бѣлинскаго.

При строгостяхъ тогдашней цензуры, своихъ новыхъ «убѣжденій» Бѣлинскій не могъ печатно проявлять,—свои «идеи»,—онъ могъ проводить ихъ лишь въ дружескихъ, интимныхъ бесѣдахъ да въ письмахъ. И вотъ, вмѣстѣ со своими друзьями-единомышленниками, онъ внимательно слѣдитъ за политическою жизнью Европы, интересуется всѣми иностранными литературными новинками, главнымъ образомъ, по вопросамъ соціологическимъ. Въ печати-же свой неизрасходованный пылъ «неистовый Виссаріонъ» тратилъ, главнымъ образомъ, на высмѣиваніе славянофиловъ, не стараясь особенно вникнуть въ ихъ философскіе взгляды, и съ легкою совѣстью путая ихъ взгляды со взглядами Погодина и Шевырева,—главными литературными застрѣльщиками «оффиціальной народности». Между тѣмъ, съ славянофилами у него до конца жизни осталось нѣчто общее: да это и немудрено,—и онъ, и они—вышли всѣ изъ-подъ крыла Станкевича, воспитались на Гегелѣ [2]). Бѣлинскій, напримѣръ, съ неменьшею страстностью, чѣмъ тѣ же славянофилы, чѣмъ Гоголь, всегда интересовался русскимъ народомъ, пытался себѣ опредѣлить его «духъ». Бѣлинскій въ интимномъ кругу друзей. Бѣлинскій и славянофилы.

«Русская личность пока—эмбріонъ,—писалъ онъ въ одномъ письмѣ,—но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона! какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность! Русакъ пока еще, дѣйствительно, ничего, но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а, между тѣмъ, чего то хочетъ, къ чему-то стремится!». Такимъ образомъ, если славянофилы и Гоголь идеализировали положительные идеалы русскаго народа, воплотившіеся въ «народѣ-богоносцѣ», «народѣ-пахарѣ», святомъ подвижникѣ древней Руси,—Бѣлинскій идеализировалъ силу «протеста» и «критицизма», дѣйствительно, имѣющуюся въ русскомъ народѣ: былинный Бѣлинскій и «русская народность».

---

[1]) Между тѣмъ, въ одномъ письмѣ онъ же рѣшительно осуждаетъ «гадость и пошлость духа партій», которыя требуютъ готовыхъ рѣшеній и затемняютъ истину.

[2]) Даже соціальными ученіями славянофилы увлекались, — отсюда преклоненіе ихъ передъ русскою «общиной».

образъ Василія Буслаева, многія пословицы русскаго народа, русскіе реформаторы, въ родѣ св. Владимира и Петра, еретики древней Руси — вотъ, представители этого «протестующаго начала».

Бѣлинскій не прочь былъ идеализировать даже современное русское общество, только идеальныхъ героевъ онъ искалъ совсѣмъ не тамъ, гдѣ Гоголь. «Что хорошіе люди — говорилъ онъ — есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего, что ихъ на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы, и что, наконецъ, Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ, непонятныхъ исключеній—все это для меня аксіома, какъ дважды два четыре»,—но изображать этихъ героевъ въ литературѣ было нельзя,—ихъ, по словамъ Бѣлинскаго, не пропустила бы «цензурная таможня». «А почему?—продолжаетъ онъ,—потому именно, что въ нихъ человѣческое—въ прямомъ противорѣчіи съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ быть иногда героемъ добра, въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть, съ другихъ сторонъ, гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но — невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтьми».

Успѣхъ Бѣлинскаго въ средѣ читателей.

Долго работалъ Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ». Это была пора расцвѣта его таланта. Съ жадностью читались его статьи молодежью, заучивались наизусть, какъ стихи. Наконецъ, въ силу принципіальныхъ разногласій, онъ разошелся въ 1846 г. съ издателемъ. Опять подошли крутыя времена,—тѣмъ болѣе, что теперь Бѣлинскій былъ уже семейнымъ человѣкомъ и, къ тому же, обострилась его хроническая болѣзнь легкихъ. Въ цѣляхъ леченія ѣздилъ онъ и на югъ Россіи, но эта кратковременная поѣздка мало пользы принесла ему: плоть его замѣтно разрушалась, но духъ горѣлъ все тѣмъ же огнемъ.

«Современникъ».

Въ 1847 году основанъ былъ новый журналъ «Современникъ». Лучшіе писателя того времени были сотрудниками новаго органа: Герценъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Дружининъ, Достоевскій, Некрасовъ въ эти первые годы «Современника» помѣщали въ немъ свои повѣсти и романы [1]). Привлечены были и такіе ученые, какъ Соловьевъ, Кавелинъ. Бѣлинскій въ этомъ журналѣ велъ отдѣлъ критики.

Бѣлинскій заграницей.

Въ 1847 году ему, для поправленія легкихъ, пришлось ѣхать заграницу. Но изъ леченія зальцбруннскими водами никакого серьезнаго толка не вышло: между тѣмъ, работать было нужно, чтобы не жить на счетъ друзей, чтобы не умереть съ голоду... И вотъ, почти умирающій, взбудораженный, съ разбитой грудью и съ издерганными нервами, Бѣлинскій продолжаетъ горѣть «огнемъ неугасимымъ»,—пишетъ свои пламенныя статьи, всѣмъ интересуется, попрежнему восхищается и возмущается, какъ юноша... Заграницей написалъ онъ свое письмо Гоголю внушенное фанатизмомъ партійности. Вѣдь, въ сущности, Гоголь говорилъ въ своихъ «Избранныхъ мѣстахъ» многое такое, во что еще недавно самъ Бѣлинскій вѣрилъ, и о своей вѣрѣ заявлялъ

---

1) Почти всѣ эти писатели составили «кружокъ» Бѣлинскаго; его горячія рѣчи въ кругу этой избранной молодежи имѣли большое воспитательное значеніе для молодыхъ писателей.

даже въ печати (ср. стр. 239 съ 230 и др.),—и всетаки Бѣлинскій, почти умирающій, не простилъ умирающаго Гоголя и жестоко «распялъ» его!

Въ 1848 году болѣзнь его быстро приняла опасный характеръ, но онъ все работалъ съ тою же энергіей; наконецъ, работать стало не подъ силу... Онъ зналъ, что идетъ смерть, но ясность интересовъ оставалась та же. Неутомимый труженикъ умеръ бѣднякомъ, потому что никогда не былъ «пріобрѣтателемъ», а только честнымъ слугой своей родины. Болѣзнь и смерть.

Бѣлинскій принадлежалъ къ той же семьѣ «алчущихъ правды», какъ и Гоголь, но онъ былъ счастливѣе великаго юмориста,—больше ясности и широты было въ его умѣ, отличался онъ большею вѣрою въ истину—и энергіею въ ея достиженіи. Къ служенію истинѣ не примѣшивалъ онъ личныхъ заботъ о себѣ, о своей душѣ,—онъ весь отдался русскому обществу, только ему служилъ. Личность Бѣлинскаго.

Литературная дѣятельность Бѣлинскаго ясно распадается на три періода: первый періодъ захватываетъ время отъ начала его критической работы до увлеченія Гегелемъ (съ начала 30-ыхъ годовъ до ихъ конца). Это періодъ, когда онъ находился подъ вліяніемъ Надеждина, «скептической школы», и отчасти Шеллинга. Второй періодъ, съ конца 30-ыхъ годовъ, захватываетъ первые годы сороковыхъ. Въ этотъ періодъ времени Бѣлинскій находится подъ вліяніемъ Гегеля. И, наконецъ, сороковые годы, до смерти представляютъ третій періодъ, когда великій критикъ увлекся идеями общественными и политическими. Литературная дѣятельность Бѣлинскаго.

а) Первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго совпалъ съ участіемъ его въ журналахъ Надеждина. Надеждинъ былъ самъ знаменитый, въ свое время, критикъ, популярный профессоръ, поклонникъ и пропагандистъ «шеллингіанства». Первый періодъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго.

Надеждинъ былъ ученикомъ извѣстнаго профессора Московскаго университета Каченовскаго, основателя у насъ «скептической школы» въ наукѣ русской исторіи. Этотъ «скептицизмъ», какъ научный пріемъ, имѣлъ въ свое время большое значеніе, такъ какъ помогъ русской исторической наукѣ отдѣлаться отъ многихъ фантастическихъ построеній, провѣрить подлинность источниковъ. За свой скептицизмъ Каченовскій былъ нелюбимъ современниками,—его бранили тѣ, кому дорогъ былъ авторитетъ Карамзина, кто вѣрилъ всякимъ историческимъ утопіямъ [1]),—но послѣдующія поколѣнія отдали ему за это должное. Надеждинъ и скептическая школа въ московскомъ университетѣ.

Литературными выразителями этого скептицизма были Надеждинъ и сотрудникъ «Телескопа»—Чаадаевъ [2]). У Надеждина, какъ литературнаго критика, высказывается такое же отрицательное отношеніе къ русской исторической жизни, какъ у Чаадаева, и, въ то же время, основнымъ Скептицизмъ въ литературѣ.

[1]) Правда, со своимъ «скептицизмомъ», Каченовскій иногда вдавался въ крайности: такъ онъ усумнился въ подлинности «Слова о полку Игоревѣ».
[2]) См. выше, стр. 64 - 66.

эстетическимъ требованіемъ его было требованіе «народности» въ художественномъ творчествѣ. Получалось противорѣчіе, изъ котораго никогда не вышелъ Надеждинъ: онъ отрицалъ существованіе у насъ литературы, отрицалъ смыслъ въ русской исторической жизни,—и требовалъ какой-то «народности» отъ литераторовъ, требовалъ отказаться отъ европеизма и искать *своего*.

Въ примѣненіи къ литературѣ, Надеждинъ свой скептицизмъ выразилъ тѣмъ, что отрицательно относился и къ псевдоклассикамъ, и къ современнымъ писателямъ, которыхъ называлъ «псевдоромантиками». Онъ требовалъ созданія такого направленія, въ которомъ соединился бы истинный классицизмъ (античный) съ истиннымъ романтизмомъ (поэзія среднихъ вѣковъ, къ которой онъ относилъ и Шекспира). Человѣкъ образованный, ловко владѣвшій перомъ, начитанный въ философіи и умѣвшій обращаться съ терминами, Надеждинъ, въ свое время, производилъ впечатлѣніе своими статьями, въ которыхъ была и ѣдкость остроумія, и свобода сужденій. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ строгихъ критиковъ Пушкина.

Изъ школы Надеждина вынесъ Бѣлинскій рѣшительность и смѣлость сужденія, требованія народности отъ литературы, скептицизмъ къ русской исторіи, шеллингіанское пониманіе поэзіи и, къ сожалѣнію, нѣкоторую несогласованность въ самыхъ основахъ своего міросозерцанія.

Всѣ эти особенности сказались въ первой большой статьѣ его «Литературныя мечтанія».

«Литературныя мечтанія». Въ основѣ этой статьи положена мысль, что у насъ нѣтъ литературы, потому что нѣтъ еще общества, не выяснилась еще физіономія народа, не опредѣлилась русская народность. Между прочимъ, Бѣлинскій дѣлаетъ попытку опредѣлить самыя понятія «литература» и «народность».

Опредѣленія понятія «литература». Литература, это—«собраніе такого рода художественно словесныхъ произведеній, которыя суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся внѣ его, вполнѣ выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны». Итакъ, литература—зеркало жизни; поэтъ служитъ только красотѣ, но невольно, безсознательно, какъ эхо, отражаетъ всю жизнь. Искусство—высшее откровеніе божественнаго духа въ человѣкѣ, поэтъ—глашатай вѣчной истины, жрецъ, служитель «чистой красоты». «Духомъ»

Опредѣленіе «народности». народа называетъ Бѣлинскій ту сторону его бытія, въ которой онъ отражаетъ какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; если народъ не въ состояніи этого сдѣлать, «онъ не живетъ, а прозябаетъ», и цѣнности исторической не имѣетъ. Восторженныя строки посвящаетъ онъ красотѣ и стройности мірозданія. Для него природа—живой организмъ, конкретное воплощеніе мірового духа. Всѣ эти идеи—отраженіе шеллингіанства, наслѣдіе лекцій и бесѣдъ Надеждина.

Скептицизмъ Бѣлинскаго. Надеждинскій скептицизмъ выразился въ строгомъ отношеніи къ русской литературѣ, ея у насъ нѣтъ, есть лишь писатели, но нѣтъ между

ними той органической преемственности, которая говорила бы о развитіи, объ исторіи... Это рѣшительное сужденіе Бѣлинскаго совершенно ошибочно: онъ не зналъ русской литературы XVIII в. во всемъ ея объемѣ, зналъ лишь произведенія отдѣльныхъ писателей, а потому не замѣтилъ тѣхъ звеньевъ, что соединяетъ ихъ крупныя произведенія, при помощи мелкихъ, въ нѣчто органически-цѣлое.

Манера письма.

Съ небрежной развязностью критикуетъ Бѣлинскій писателей XVIII и XIX вѣка, безапелляціонно раздавая приговоры,—для ученика Надеждина не было авторитетовъ. Такъ же рѣшителенъ его отзывъ о Пушкинѣ: творчество его изсякло,—«Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ его вдохновеніемъ». Съ такою же опредѣленностью говорилъ онъ и о мелкихъ писателяхъ своего времени. Онъ опредѣлилъ свое время, какъ «переходное», когда кончился одинъ періодъ, «пушкинскій», и когда всѣ старые боги оказались упраздненными.

Другія статьи этого періода.

Къ этому же періоду относится много другихъ статей Бѣлинскаго, — лучшія: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя». «О стихотвореніяхъ Баратынскаго, Кольцова, Бенедиктова», «О романахъ Лажечникова» и др.

Бѣлинскій о Гоголѣ.

Говоря о Гоголѣ, онъ написалъ цѣлую исторію русской повѣсти, сочинилъ разсужденіе объ идеальной и реальной поэзіи. Въ Гоголѣ онъ призналъ художника, который вѣрно отражаетъ дѣйствительность, призналъ «народность» его повѣсти, ихъ художественныя красоты. Вѣрный себѣ, онъ превозноситъ «безсознательность» Гоголя, отсутствіе моральныхъ и иныхъ тенденцій и еще разъ развиваетъ свои взгляды на творчество и творца. «Способность творчества,—говоритъ онъ,—есть великій даръ природы; актъ творчества, въ душѣ творящей, есть великое таинство, минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія; творчество безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью». «Поэтъ—рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него».

Понятно, что, придерживаясь такихъ взглядовъ, Бѣлинскій долженъ былъ это время восхищаться стихотвореніями Пушкина: «Поэту», «Чернь», «Эхо».

Второй періодъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго.

Гегель.

Второй періодъ литературнаго развитія Бѣлинскаго далъ ему «систему», которая сразу внесла порядокъ въ его міросозерцаніе. За эту «стройность» системы, въ которой все такъ было послѣдовательно, все было рѣшено, все на мѣстѣ, Бѣлинскій и привязался къ Гегелю. Теперь въ его мысляхъ и статьяхъ нѣтъ уже тѣхъ неясностей, несогласованностей, даже противорѣчій, которыя были у него наслѣдіемъ надеждинской школы [1]). Въ

[1]) См. объ этихъ противорѣчіяхъ въ работѣ акад. Жданова: „Памяти В. Г. Бѣлинскаго“, стр. 22 и др.

своихъ критическихъ статьяхъ сталъ онъ теперь настойчиво твердить о «разумности дѣйствительнаго», о наличности развитія въ историческомъ ходѣ русской жизни; еще настойчивѣе сдѣлались теперь его попытки опредѣлить «духъ» русскаго народа.

Наиболѣе типичными статьями этого періода были статьи: «Менцель, критикъ Гете», «Очерки Бородинскаго сраженія» «Горе отъ ума».

«Менцель, критикъ Гёте». Въ первой изъ названныхъ статей Бѣлинскій защищаетъ «дѣйствительность». «Все, что есть, необходимо,—говоритъ онъ,—разумно и дѣйствительно... Посмотрите на природу, приникните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца—и увидите, въ ея безконечномъ разнообразіи, удивительное единство; въ ея безконечномъ противорѣчіи—удивительную гармонію. Кто можетъ найти хотъ одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи Предвѣчнаго Художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка ненужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный,—столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно дѣйствителенъ, то неужели высшій его—міръ исторіи—есть не такое же разумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами? И однако же есть люди, которые твердо убѣждены, что все идетъ въ мірѣ не такъ, какъ должно. Удивительно ли послѣ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смирительнымъ домомъ, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представителей человѣчества, выполнителей судебъ Божіихъ! Хороша исторія»!.. Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочнаго пониманія дѣйствительности, необходимо соединеннаго съ отвлеченностью и односторонностью. «Разсудокъ» умѣетъ только отвлекать идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета; только «разумъ» постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идеею и схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, повидимому, одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несовмѣстныхъ,—схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа, или человѣка—хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся.

Обращаясь къ «дѣйствительности» въ жизни, Бѣлинскій говоритъ: «Самыя преступленія, какъ бы они ни были ужасны, все это для него явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности, вслѣдствіе внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ». Онъ высмѣиваетъ тѣхъ историковъ, которые берутся говорить объ «ошибкахъ» великихъ историческихъ дѣятелей. Съ этой точки зрѣнія онъ осуждаетъ и Менцеля, критика Гёте.

Въ статьѣ объ «Очеркахъ бородинскаго сраженія» Глинки, онъ, стоя на своей излюбленной точкѣ зрѣнія, обращается къ русской жизни и защищаетъ разумность монархической власти,—ея великое значеніе. «Царь есть намѣстникъ Божій,—говоритъ онъ,—а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразованіе единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума» [1]). Всѣ эти идеи, даже патріотическія настроенія, не чуждыя шовинизма, удивительно совпадаютъ съ мыслями Пушкина [2]) и настроеніемъ его патріотическихъ одъ [3]). «Очерки бородинскаго сраженія».

Въ статьѣ о «Горѣ отъ ума» онъ напалъ на автора за его стремленіе бороться съ русскою «дѣйствительностью». Поэтому онъ отрицательно отнесся къ Чацкому, назвалъ его «крикуномъ, фразеромъ, идеальнымъ шутомъ», призналъ его лицомъ комическимъ, и причину его «горя» увидѣлъ не въ «умѣ», а въ «умничаньи» [4])... Гораздо выше комедій Грибоѣдова поставилъ онъ гоголевскаго «Ревизора», въ которомъ видѣлъ объективное изображеніе дѣйствительности, безъ всякихъ попытокъ при помощи «резонеровъ» «поучать» зрителей. «Гореотъ ума».

Въ этой статьѣ критикъ дѣлитъ поэзію на два вида: на «поэзію положенія», или «дѣйствительности»—и «поэзію отрицанія», или призрачности. «Подъ словомъ *дѣйствительность* разумѣется все, что есть міръ видимый и міръ духовный,—міръ фактовъ и міръ идей. Разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи,—словомъ, открывающійся самому себѣ духъ есть дѣйствительность,—тогда, какъ все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоположность дѣйствительности, какъ ея отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее... Человѣкъ служитъ царю и отечеству, вслѣдствіе возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслѣдствіе желанія быть орудіемъ истины и блага, вслѣдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и духовнаго родства съ нимъ—это міръ дѣйствительности. «Овому талантъ, овому два» и потому, какъ бы ни была ограничена сфера дѣятельности человѣка, какъ бы ни незначительно было мѣсто, занимаемое имъ не только въ человѣчествѣ, но Что такое «дѣйствительность»?

---

[1]) Въ этой статьѣ Бѣлинскій говоритъ о томъ, что престолъ долженъ быть наслѣдственнымъ,—онъ находитъ, что президентъ Соединенныхъ Штатовъ только «почтенная, но не священная особа», да и сами Соединенные Штаты—не народъ.

[2]) Пушкинъ о монархіи говоритъ слѣдующее: «Зачѣмъ нужно, чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самого закона? Затѣмъ, что законъ—дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона недалеко уйдешь!.. Государство безъ полномощнаго монарха — автоматъ: много-много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и выѣденнаго яйца не стоитъ».

[3]) См. выше, стр. 77—78.

[4]) Опять близкое совпаденіе съ мыслями Пушкина.

и въ обществѣ, но если онъ, кромѣ своей конечной личности, кромѣ своей ограниченной индивидуальности, видитъ въ жизни нѣчто общее и, въ сознаніи этого общаго, по степени своего разумѣнія, находитъ источникъ своего счастья, — *онъ живетъ въ дѣйствительности* и есть «дѣйствительный человѣкъ», а не призракъ, истинный, сущій, а не кажущійся только человѣкъ. Если человѣку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе отечества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего городка, своей деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслажденіе, для ихъ выгодъ лишаться собственныхъ, личныхъ выгодъ—*и тогда онъ живетъ въ дѣйствительности.* Если же онъ не возвышается и до такихъ интересовъ,—пусть будетъ онъ супругомъ, отцомъ, семьяниномъ... но только не въ животномъ, а въ человѣческомъ значеніи, источникъ котораго есть любовь, какъ бы ни была она ограничена, лишь бы только была ограниченіемъ его личности—онъ *опять живетъ въ дѣйствительности.* На какой бы степени ни проявился духъ, онъ—дѣйствительность, потому что онъ любовь, или безсознательная разумность, а потомъ—разумъ, или любовь, сознавшая себя... Когда его сознаніе, или его субъективно объективное существованіе, заключено только въ смыслѣ, или конечномъ разсудкѣ, наглухо заперто въ соображеніи своихъ личныхъ выгодъ, въ эгоистической дѣятельности, а не въ разумѣ, какъ въ сознаніи себя только чрезъ общее, какъ въ частномъ и преходящемъ выраженіи общаго и вѣчнаго —*онъ призракъ, ничто*, хотя и кажется чѣмъ-то». Съ такой точки зрѣнія осудилъ Бѣлинскій героевъ «Ревизора», видя въ нихъ извращеніе дѣйствительности.

Что такое русская народность?

По прежнему страстно стремился Бѣлинскій опредѣлить духъ русской народности: нашему гегеліанцу нужно было выяснить «субстанцію» духа русскаго народа, защитить его права на почетное званіе «историческаго народа». «Народность» опредѣлить ему, при его скептицизмѣ, было не легко — не могъ онъ примкнуть къ «патріотамъ», не выносилъ онъ и «космополитовъ»—

«Терпѣть не могу я,—писалъ онъ,—восторженныхъ патріотовъ, выѣзжающихъ вѣчно на междометіяхъ, или на квасу да кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенной формой любви; но, признаюсь, жалки и непріятны мнѣ спокойные скептики, абстрактные человѣки, безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ! Какъ бы не увѣряли они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество, страны—не вѣрю я ихъ интересамъ».

Говоря о народности, Бѣлинскій скорѣе готовъ былъ примкнуть къ своимъ постояннымъ литературнымъ противникамъ— славянофиламъ, чѣмъ оказаться въ одномъ лагерѣ съ противниками національной идеи.

«Что «личность» въ отношеніи къ идеѣ человѣка,—говоритъ онъ,— то «народность» въ отношеніи къ идеи человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ,—словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу, я

скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, чѣмъ оставаться на сторонѣ тѣхъ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа,—а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики».

Онъ вѣрилъ въ русскій народъ, въ его будущее: «Да, въ насъ есть національная жизнь,—говоритъ онъ,—мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать!». «Мы вѣримъ и знаемъ,—писалъ онъ въ одной статьѣ,—что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всѣ элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной и, принявши, должна сама быстро развить ихъ изъ себя» [1])

Взглядъ на русскую исторію и литературу.

Теперь, въ періодъ увлеченія Гегелемъ, онъ примиряется съ русской исторіей, признаетъ существованіе исторіи русской литературы. Но не изученіе фактовъ привело его къ этому вѣрному заключенію, а Гегель съ его системою „развитія".

«Важнѣе всего то,—пишетъ онъ въ 1842 г.,—что наша юная, возникающая литература, какъ мы замѣтили выше, имѣетъ уже свою исторію, ибо всѣ ея явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и всѣ находятся въ, болѣе или менѣе, живомъ, органически-послѣдовательномъ соотношеніи между собой».

Взглядъ на Пушкина.

Теперь въ его глазахъ страшно выросъ Пушкинъ, какъ явленіе, органически связанное съ многовѣковой русской литературой, какъ результатъ ея развитія.

«Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ,—говоритъ онъ,—тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ — значитъ писать о цѣлой русской литературѣ; ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что, несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно, у нея есть исторія».

Третій періодъ въ дѣятельности Бѣлинскаго.

Третій періодъ въ дѣятельности Бѣлинскаго. Наиболѣе цѣнной работой Бѣлинскаго въ этотъ періодъ было большое критическое изслѣдованіе дѣятельности Пушкина въ связи съ его предшественниками, начиная съ Ломоносова; цѣнны отдѣльныя статьи о Лермонтовѣ, Кольцовѣ и, наконецъ, рядъ годичныхъ „обозрѣній" текущей русской литературы съ 1844 по 1847-ой годъ.

Цензурныя условія времени не позволяли Бѣлинскому быть откровеннымъ съ читателями,—приходилось отводить душу въ

---

[1]) Ср. мнѣніе Достоевскаго о „всемірной отзывчивости, какъ главнѣйшей способности нашей національности".

интимныхъ бесѣдахъ, а печатно лишь говорить намеками и общими фразами.

Взглядъ Бѣлинскаго на смыслъ литературы.

Конечно, взглядъ его на значеніе литературы теперь мѣняется. „Въ наше время,—писалъ онъ въ 1843 г.,—искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общѣе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе,—сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ".

Значеніе писателя.

Въ 1848 году, незадолго до смерти, Бѣлинскій писалъ еще рѣшительнѣе: „Поэтъ—прежде всего, человѣкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Онъ и долженъ служить времени. Поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ всей его эпохѣ". Это заключеніе обязываетъ критика объяснять писателя „изъ его времени". „Исключительно эстетическая критика,—продолжаетъ Бѣлинскій,—потеряла всякій кредитъ—на смѣну ей пришла критика историческая".

Взглядъ на Пушкина.

Такимъ опытомъ «исторической критики» было его новое изслѣдованіе о Пушкинѣ. Теперь Пушкинъ, въ глазахъ Бѣлинскаго, нѣсколько опускается, для него теперь это только—великій поэтъ-художникъ, озаренный гуманными идеалами, надѣленный тонкимъ чувствомъ изящнаго. Онъ сдѣлалъ для русской поэзіи великое дѣло, облагородивъ ее истинной красотой, но этимъ и кончилась его миссія. Теперь Бѣлинскій «старается извинить» Пушкина за его стихотворенія «Поэту», «Поэтъ и Чернь»,—ошибочно видя въ нихъ полное и единственное «profession de foi» Пушкина, его взглядъ на поэзію и значеніе поэта [1]). Онъ «извиняетъ» поэта историческими причинами, условіями его жизни и т. д. По поводу «ревности» Алеко и жизни Татьяны онъ пишетъ прочувствованныя страницы о «правахъ любви», о предразсудкахъ общества, неправильномъ положеніи женщины въ культурномъ обществѣ. Взгляды сенсимонистовъ видны въ его пламенныхъ рѣчахъ [2]).

Взглядъ на народную поэзію.

Къ народной русской поэзіи Бѣлинскій всегда относился скептически, быть можетъ, отчасти въ пику славянофиламъ, которые превозносили народное творчество, откуда извлекали идеалы русскаго народа. Въ 1841 г. по поводу «Слова о полку Игоревѣ» онъ писалъ, что въ этомъ произведеніи нѣтъ никакой глубокой идеи. По его словамъ, это ничего больше, какъ простое и наивное повѣствованіе о томъ, какъ князь Игорь, съ удалымъ братомъ Всеволодомъ и со всею дружиной, пошелъ на половцевъ. О былинахъ онъ говоритъ слѣдующее: «Искать въ нихъ общей мысли—все равно, что ловить жемчужныя раковины въ Фонтанкѣ. Онѣ ничѣмъ

---

[1]) См. выше, стр. 79—81.
[2]) См. выше, стр. 71—72.

не связаны между собою; содержаніе всѣхъ ихъ одинаково, обильно словами, скудно дѣломъ, чуждо мысли. Поэзія въ прозѣ содержится въ нихъ, какъ ложка меду въ бочкѣ дегтя».

Разнообразіе и пестрота содержанія сочиненій Бѣлинскаго.

Пестро и разнообразно содержаніе работъ Бѣлинскаго. Онъ далъ оцѣнку сочиненій Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоѣдова; по выраженію Аполлона Григорьева, «имя Бѣлинскаго, какъ плющъ, обросло четыре поэтическихъ вѣнца,—четыре великихъ и славныхъ имени сплелось съ нимъ такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, постоянно бываешь въ необходимости говорить о немъ, — высокій удѣлъ, данный судьбой немногимъ изъ критиковъ, едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному Бѣлинскому». Но кромѣ оцѣнки названныхъ писателей, говорилъ Бѣлинскій и о многихъ другихъ прежнихъ и современныхъ ему. Онъ далъ характеристики всѣхъ вожаковъ русской литературы XVIII и начала XIX вв.: говорилъ неразъ о Ломоносовѣ, Кантемирѣ, Державинѣ, Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, о старшихъ современникахъ своихъ—Баратынскомъ, Кольцовѣ, Языковѣ, Лажечниковѣ, Одоевскомъ, Марлинскомъ,—о младшихъ: Ап. Майковѣ, Достоевскомъ, Тургеневѣ, Некрасовѣ. Исполняя обязанности «присяжнаго» критика, онъ слѣдилъ за всякой литературной новинкой своего времени, и среди авторовъ, имъ оцѣненныхъ, найдется много такихъ, имена которыхъ намъ теперь незнакомы. Въ своихъ всегда содержательныхъ статьяхъ онъ обстоятельно разработалъ много идей самаго различнаго характера: касался онъ и эстетики, и театра, и общественныхъ вопросовъ, и философіи, и науки...

Страстность статей Бѣлинскаго.

Его статьи были всегда содержательны: это ихъ особенность; иногда по поводу пустой книжонки Бѣлинскій высказывалъ широкія, захватывающія мысли, которыя покоряли читателя, главнымъ образомъ, благодаря страстности ихъ тона и убѣжденія. Эта страстность—отличительная черта Бѣлинскаго. Онъ самъ говорилъ, что его лучшія работы—«импровизаціи», что, отдавшись вдохновенію, онъ чувствовалъ себя, какъ будто на каѳедрѣ, въ роли горячаго оратора. Онъ самъ признаетъ, что онъ—прирожденный полемистъ, что полемика—его стихія. И, дѣйствительно, въ этой страстности въ этой энергичной вѣрѣ въ истину своихъ словъ — сила Бѣлинскаго. Онъ многое повторилъ изъ того, что сказано было его ближайшими предшественниками, напр. Надеждинымъ, но никто не сумѣлъ *такъ горячо, проникновенно* говорить съ читателями, какъ Бѣлинскій. «Когда вы перечитываете Бѣлинскаго,

Акад. П. Н. Ждановъ о Бѣлинскомъ.

говоритъ акад. Ждановъ, вы не всегда съ нимъ соглашаетесь, вы можете отыскать у него противорѣчія, обмолвки, даже фактическія неточности,—но всѣ эти наблюденія, весь вашъ критическій скептицизмъ не охраняютъ васъ отъ обаянія искренняго таланта и горячаго убѣжденія, — чувствуешь, что кровью написана всякая строка». Оттого такъ жизненны его статьи: «полвѣка тому назадъ умеръ писатель, а въ его сочиненіяхъ все чувствуется біеніе живого человѣческаго сердца» (Ждановъ). До него не было у насъ критиковъ, писавшихъ «кровью и слезами», слившихъ свою жизнь съ работой въ такой мѣрѣ, какъ Бѣлинскій.

Русская критика до Бѣлинскаго.

Русская критика начала свое существованіе со временъ появленія Карамзина. Критическіе разборы Ломоносова, Тредіаковскаго, Сумарокова,—эти споры о словахъ, стѣшанные съ личными выходками, не играютъ никакого значенія въ исторіи нашей критики. Лишь когда литературный переворотъ совершенъ былъ Карамзинымъ, началась у насъ принципіальная критика. Враги Карамзина, старые «псевдоклассики», не успѣли еще печатно защитить себя отъ карамзинскаго сентиментализма, какъ народился у насъ романтизмъ Жуковскаго, потомъ Пушкина. Самая горячая борьба разгорѣлась, какъ разъ, около имени Пушкина. Его первыя поэмы «Русланъ и Людмила», особенно «Кавказскій Плѣнникъ» и «Бахчисарайскій фонтанъ» (съ предисловіемъ Вяземскаго) вызвали у насъ оживленную полемику о «романтизмѣ». Врагами «романтизма» выступали «классики» Мерзляковъ, Каченовскій, Катенинъ, отчасти Надеждинъ. Защитниками—кн. Вяземскій Бестужевъ, Веневитиновъ, Полевой. Споръ вышелъ довольно безтолковый, часто переходившій на личную почву, но всетаки много выяснившій. «Романтики» переспорили «классиковъ»,—и романтизмъ, какъ художественная школа, не только получилъ у насъ права гражданства, но и окончательно задавилъ ложный классицизмъ. Особенно большую роль въ этой побѣдѣ сыгралъ талантливый публицистъ, широкообразованный Полевой. Онъ принесъ къ намъ «теорію романтизма» и сдѣлался, его главнымъ застрѣльщикомъ. Но Пушкинъ, въ эти дни торжества романтизма, поднялся уже до художественнаго «реализма». На помощь ему явился Гоголь со своими повѣстями и комедіями,—и Полевой остался старовѣромъ. Тогда явился Бѣлинскій.

Псевдоклассики-романтики.

Полевой—романтикъ

Историческое значеніе Бѣлинскаго.

Его главное значеніе и заключается въ томъ, что онъ:

1) разъяснилъ современникамъ высокую поэзію «реалистической» литературы,—этимъ онъ облегчилъ современникамъ пониманіе Пушкина и Гоголя. Явившись самъ, какъ литературное слѣдствіе дѣятельности обоихъ великихъ нашихъ писателей, онъ отплатилъ имъ тѣмъ, что объяснилъ ихъ величіе современникамъ. Благодаря ему, эти писатели выросли въ русскомъ самосознаніи,—ихъ вѣрнѣе поняли, оцѣнили [1]). Этимъ облегчена была возможность болѣе глубокаго вліянія на послѣдующую русскую литературу,—этимъ *ускоренъ былъ темпъ развитія русской литературы*;

[1]) Впрочемъ, мы видѣли, что его оцѣнки далеко не всегда были вѣрны: такъ ширина пушкинскаго міросозерцанія не умѣстилась въ его одностороннемъ умѣ.

2) въ русскую критику онъ внесъ опредѣленныя эстетическія, философскія и общественныя основы;

3) изъ критики, до того отличавшейся педантскимъ доктринерствомъ, сдѣлалъ онъ живую общественную силу, внеся жгучую струю отзывчивости къ общественной жизни. Благодаря этому, писатель у насъ сдѣлался «общественнымъ дѣятелемъ»;

4) онъ неизмѣримо расширилъ область критики, выведя ее изъ тѣсной рамки узко-эстетическихъ вопросовъ въ широкія области идейныхъ интересовъ эпохи;

5) «эстетическую» критику замѣнилъ «исторической».

6) Его значеніе велико и какъ личности. Не имѣя возможности *въ печати* высказывать свои убѣжденія, онъ сумѣлъ *въ своемъ интимномъ кружкѣ* вліять на литературную молодежь своимъ горячимъ словомъ: вотъ почему ученики Пушкина и Гоголя *въ литературномъ отношеніи*, такіе писатели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Некрасовъ и многіе другіе, сдѣлались учениками Бѣлинскаго *въ идейномъ отношеніи* [1]).

Гоголь, Бѣлинскій Пушкинъ.

Гоголь, Бѣлинскій и Пушкинъ шли по разнымъ путямъ человѣческаго самосознанія. Гоголь, въ своихъ исканіяхъ истины, шелъ узкимъ путемъ самоуглубленія, питался исключительно „своими соками“, не освѣжая ихъ, не пополняя ихъ „вліяніями извнѣ“. Бѣлинскій совсѣмъ не занимался „душевнымъ дѣломъ“,—и жилъ только чужими вліяніями, широко и свободно черпая ихъ изъ жизни русской и западноевропейской интеллигенціи и мѣняя ихъ попеременно. Пушкинъ въ своей жизни соединилъ оба эти пути: его внутренняя работа органически слилась съ широкимъ и, въ то же время, осторожнымъ изученіемъ чужихъ мыслей, чужого ума. И Гоголь, и Бѣлинскій отразили двѣ крайнія стороны русской души—первый—тяготѣніе къ самоанализу, къ „внутреннему дѣянію“ (древняя Русь, русское сектантство, ученія Толстого)—и второй—легкость увлеченія „послѣднимъ словомъ“, пришедшимъ „извнѣ“, (XVII и особенно весь XVIII, начиная съ реформы Петра, философскія и политическія увлеченія XIX вѣка). Эти „увлеченія“ всегда легко отрывали русскихъ людей отъ однихъ „авторитетовъ“, чтобы безотчетно-рабски подчинить ихъ другимъ. Изъ „скрещенія“ всѣхъ этихъ „воздѣйствій“ Пушкина, Гоголя и Бѣлинскаго—воздѣйствій литературныхъ и идейныхъ сложилось все содержаніе, характеръ, особенности и идеалы русской литературы XIX-го столѣтія.

---

[1]) Оттого на стр. 235, въ оцѣнкѣ Гоголя, сказано, что онъ *при помощи Бѣлинскаго* сдѣлалъ литературу общественною силой.

Ленкниготорг
81
Р 13



Цѣна 1 р[illegible] 20 коп. въ переплетѣ

Складъ изданія
у Н. Башмакова и К°,
С.-Петербургъ—Итальянская 31.

Книги имѣются у
Бр. БАШМАКОВЫХЪ
въ Казани и Москвѣ.

D04734403P
Duke University Libraries

ПАРОВ. ПЕРЕПЛ. ФРИДРИХА КА[illegible]